Г. П. МАКОГОНЕНКО

ДЕНИС ФОНВИЗИН

ДЕНИС ФОНВИЗИН
Г. П. МАКОГОНЕНКО

Г. П. МАКОГОНЕНКО

ДЕНИС ФОНВИЗИН

Г. П. МАКОГОНЕНКО
ДЕНИС ФОНВИЗИН



Г. П. МАКОГОНЕНКО

ДЕНИС ФОНВИЗИН

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1961 ЛЕНИНГРАД

Оформление художника
Г. Сайбаталова

ВВЕДЕНИЕ

Для Пушкина успехи молодого русского театра неизменно связывались с деятельностью Фонвизина:

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы...

Слова эти написаны в 1823 году на юге, в пору, когда Пушкин считал, что «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян», когда для него понятия «просвещение» и «свобода» были равнозначны.

Освобождение народа, «уничтожение закоренелого рабства» в современных условиях могло быть, по мысли Пушкина, осуществлено просвещенными дворянами при «единодушии» всех состояний, которые «соединятся» «в желании лучшего», «противу общего зла». [1]

Фонвизин — создатель образов советника и бригадира, Митрофана и Простаковой — друг свободы? Нет ли здесь преувеличения? Нет. Оказывается, Пушкин был точен. Просто мы очень мало знаем и о Фонвизине и о многих других просветителях XVIII века. Пушкин знал больше.

История русского Просвещения еще не написана. Это не значит, что ничего не делается для его научного изучения. Советскими учеными сделано много, но сделанного уже недостаточно.

Еще не учтены все те оригинальные художественные и политические, исторические и социологические сочинения, которые определяли уровень и интенсивность

[1] Эти мысли Пушкин записал в 1822 году в «Заметках по русской истории XVIII века». — См.: Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VIII, М. — Л., изд-во АН СССР, 1949, стр. 123.

идеологической жизни России XVIII века, не раскрыт истинный масштаб неутомимой практической деятельности просветителей на поприще политическом, журнальном, издательском. Не показана роль русского Просвещения в развитии литературы, живописи и архитектуры. Только поставлен вопрос — как просветительская идеология формировала эстетический кодекс, определяла и направляла художественную практику писателей, воспитанных в недрах классицизма. Новое, постоянно рождавшееся в литературе XVIII века, многие важнейшие эстетические открытия писателей-просветителей, обращенные в будущее, навстречу Пушкину, не всегда получают должную оценку. Не раскрыты во всей полноте связи с французским и немецким Просвещением, недостаточно изучена переводческая, пропагандистская работа просветителей по ознакомлению русского читателя с достижениями философской и художественной мысли Запада.

Мы очень мало знаем о жизни и общественной деятельности даже таких крупных просветителей, как Фонвизин и Новиков, Радищев и Крылов. В их биографиях много неясного, огромное количество «белых пятен». Мы не знаем имени философа 1770—1780-х годов, подписывавшего свои работы в журнале «Зеркало света» инициалами Н. Д. Только в последнее десятилетие стала открываться громадность работы Новикова — писателя, философа, историка, деятельность которого обычно сводилась только к изданию «Трутня» и «Живописца», а затем масонских журналов. Всего несколько лет тому назад было установлено, что Я. П. Козельский — философ, автор книги «Философические предложения», и Я. П. Козельский — депутат, выступавший в защиту крестьян в Комиссии по сочинению проекта нового уложения, — не одно лицо, а два деятеля — братья.

Плохо обстоит дело с изданиями сочинений просветителей. Многие их произведения, посвященные политике, философии, истории, оказались похороненными в различных журналах, давно ставших библиографической редкостью. Не разысканы до сих пор многие сочинения крупных писателей. Завершено издание полного собрания сочинений А. Н. Радищева, но некоторые его интересные произведения, написанные в Лейпциге, еще не найдены. Вышел том впервые собранных произведений Новикова, но не изданы все его работы. Появилось двухтомное изда-

ние «Избранных произведений русских мыслителей второй половины XVIII века», в которое не попало множество интересных, имеющих принципиальное значение произведений просветителей.

Но, может быть, как это ни покажется странным на первый взгляд, менее всего изучено наследие такого крупного писателя, как Д. И. Фонвизин, наименее точно определено его место в русской литературе, в русском Просвещении и в политической жизни. Мешало такому изучению прежде всего отсутствие полного собрания сочинений писателя.

История издания сочинений Д. И. Фонвизина — одна из трагических страниц русской литературы. Как нам удалось установить, первая попытка выпустить полное собрание сочинений была сделана самим Фонвизиным в 1788 году. Издание, полностью подготовленное автором, не увидело света, было запрещено полицией. К 1792 году относится вторая попытка издать сочинения Д. И. Фонвизина, предпринятая издателем и переводчиком П. И. Богдановичем, которому автор перед смертью передал рукописи и план собрания сочинений. Но и на этот раз издание было запрещено. Вскоре П. И. Богданович был выслан из Петербурга в Полтаву, куда и вывез все фонвизинские рукописи. Дальнейшая судьба этих рукописей до сих пор неизвестна.

В 1830 году вышло первое авторитетное собрание сочинений Д. И. Фонвизина в четырех частях, подготовленное П. П. Бекетовым и изданное книгопродавцем И. Г. Салаевым. Часть произведений в собрании П. П. Бекетова воспроизводилась по печатным изданиям, другая — по рукописям, которые удалось редактору получить у родственников писателя.

Собрание сочинений, подготовленное П. П. Бекетовым, познакомило читателей с большим числом новых произведений Фонвизина: со статьями из журнала «Друг честных людей, или Стародум» — «Письмо Взяткина» (дополнен и исправлен текст прежней публикации), «Разговор у княгини Халдиной», «Наставление дяди племяннику»; с комедией «Выбор гувернера», неоконченным стихотворением «К уму моему», письмами к Я. И. Булгакову, П. И. Панину из Монпелье и Рима, И. П. Елагину, с двадцатью пятью письмами сестре, Ф. И. Аргамаковой, с отрывком из журнала путешествия в Вену

и «Чистосердечным признанием в делах моих и помышлениях» (с дополнением окончания второй книги и сохранившегося текста третьей книги к ранее напечатанному началу этого сочинения). Перепечатано с рукописи «Жизнеописание Н. И. Панина». Из «Собеседника любителей российского слова» включены «Примечания на критику „Сословника“», «Письмо к сочинителю „Былей и небылиц“», «Челобитная российской Минерве». Напечатано также «Размышление о суетной жизни человеческой». «Недоросль» опубликован по рукописи, включавшей последние исправления и дополнения автора.

Издание 1830 года, подготовленное П. П. Бекетовым, делалось, однако, не по плану Фонвизина. План и рукописи, подготовленные Фонвизиным, оказались неизвестными П. П. Бекетову. Оттого многие важные переводные и оригинальные произведения Фонвизина, которые автор сам собирался включить в собрание своих сочинений, в издание П. П. Бекетова не попали. В процессе подготовки своего издания П. П. Бекетову удалось создать новый фонд рукописей Фонвизина. Весьма вероятно, что некоторые рукописи П. П. Бекетов не счел возможным по каким-либо причинам печатать. К величайшему сожалению, и этот фонд рукописей Фонвизина, вслед за рукописями, попавшими в руки П. И. Богдановича, утрачен. Ввиду этого многие публикации П. П. Бекетова служат для нас первоисточником.

В 1848 году вышла первая серьезная книга, посвященная жизни и творчеству Фонвизина, написанная П. А. Вяземским. Подготовляя ее, П. А. Вяземский собрал довольно значительный материал, относящийся ко второй половине XVIII века, в котором главное место занимали автографы Фонвизина. Большую часть он опубликовал в приложениях к отдельным главам своей книги. Особую ценность имеют письма: 37 писем к П. И. Панину из Петербурга за 1771—1772 годы, 4 письма сестре из Петербурга за 1763—1769 годы. Остальные публикации — отрывки неоконченных оригинальных и переводных произведений писателя — комедия «Добрый наставник» (одно явление), отрывок из журнала путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву, отрывок перевода из «Илиады» и поэмы Геснера «Смерть Авеля». Публикации П. А. Вяземского сделаны крайне небрежно — он печатал тексты не только

с пропусками и ошибками, но и делал произвольные вставки и исправлял стиль.

К счастью, большая часть собранного П. А. Вяземским рукописного фонда литературного наследия Фонвизина сохранилась и ныне находится в литературном архиве в Москве (ЦГАЛИ). До нас дошли рукописи опубликованных Вяземским писем Фонвизина к П. И. Панину, что дает возможность исправить многочисленные ошибки и восстановить пропуски, сделанные редактором; сохранились также отрывок комедии «Добрый наставник», фрагменты переводов «Илиады» и «Смерти Авеля». Там же находятся рукописи некоторых сочинений Фонвизина, известных Вяземскому, но не опубликованных им: «Мнение о избрании пиес в „Московские сочинения“», дневники последнего заграничного путешествия. Представляет большой интерес список «Друга честных людей, или Стародума».

В 1866 году Глазунов издал под редакцией П. А. Ефремова «Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина». Подготовленное Ефремовым собрание сочинений — наиболее полное, научно-авторитетное издание, в известной мере приближавшееся к замыслу самого Фонвизина. Ефремов не только напечатал все уже известные к тому времени сочинения Фонвизина, проверив их или по рукописям, или по печатным публикациям, но и дополнил свое издание новыми произведениями. Главный вклад П. А. Ефремова — двадцать шесть писем Фонвизина к сестре и родным за 1763—1774 годы. Многие письма к родным и П. И. Панину из заграничных путешествий проверены по рукописям, в результате чего внесены исправления и дополнения. Впервые были напечатаны письма Воинову и П. Б. Пассеку.

Собрание сочинений Фонвизина под редакцией П. А. Ефремова (1866) до сих пор оставалось единственно авторитетным. Появившееся в 1888 году издание Шамова, превосходя ефремовское по полноте, было сделано на низком научном уровне. Но и ефремовское издание сегодня не может нас удовлетворить: оно далеко от полноты, тексты некоторых произведений напечатаны с неавторитетных списков, другие содержат ошибки, в третьих сделаны купюры. Так, даже перепечатка некоторых произведений, например «Торгующего дворянства», сделана неряшливо, с пропусками слов, с произвольными

вставками предложений вместо пропущенных фраз. Отсутствуют у Ефремова многие важные произведения, которые упоминает Фонвизин в проспекте своего собрания сочинений. Наиболее полно у Ефремова представлено эпистолярное наследство писателя. Но и здесь имеются значительные пропуски. Так, из писем Фонвизина к П. И. Панину мы знаем, что из Парижа он послал три письма, а опубликовано только два, из Монпелье послано четыре, а Ефремовым напечатано только три, и т. д. Как показывает изучение некоторых архивов, П. А. Ефремов иногда, имея в своем распоряжении автографы, не публиковал их. Укажу на один пример: ознакомившись с собранием рукописей Публичной библиотеки Петербурга, он опубликовал из него письмо П. Б. Пассеку, а лежащие тут же рядом письма П. И. Панину из Петербурга и Я. И. Булгакову и П. И. Панину из Парижа — пропустил. Правда, может быть сделано это потому, что прочесть эти автографы чрезвычайно трудно.

В конце века Н. С. Тихонравов принялся за подготовку полного собрания сочинений Фонвизина. По свидетельству В. Якушкина, Тихонравов собрал много новых, ранее неизвестных произведений писателя. Сам Якушкин передал Тихонравову копию заграничного дневника Фонвизина за 1787 год. [1]

Н. С. Тихонравов предложил Отделению русского языка и словесности Академии наук издать подготовленные им три тома «Материалов для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина». В первый том входили драматические произведения («Альзира», «Корион», «Бригадир», «Недоросль»). Во второй — сочинения и переводы, вовсе не бывшие в печати или не включавшиеся ни в одно собрание сочинений Фонвизина. В третий — произведения, приписываемые Фонвизину. Смерть Н. С. Тихонравова оборвала работу. В 1894 году вышел лишь первый том «Материалов», содержавший в основном драматические сочинения. По свидетельству В. Якушкина, рукописи произведений Фонвизина, которые должны были войти во второй том, остались у наследников ученого. Через несколько лет наследники продали все бумаги и кни-

---

[1] См.: «Малоизвестные сочинения Д. И. Фонвизина». — «Русские ведомости», 1894, № 336. Дневник, из которого публиковал отрывки П. П. Бекетов, ныне находится в Москве, в ЦГАЛИ.

ги библиотеки Тихонравова Румянцевскому музею. Ныне огромное собрание Н. С. Тихонравова хранится в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, но рукописей неизвестных произведений Фонвизина там нет. Так созданный новый фонд автографов Фонвизина опять исчез.

Вышедший единственный том «Материалов» имеет важное значение. «Альзира» и «Корион» не печатались при жизни автора и дошли до нас в многочисленных списках. Н. С. Тихонравов печатает «Альзиру» по списку Исторического музея, относящемуся ко второй половине XVIII века. На обороте первого листа списка имеется помета П. П. Бекетова: «В рукописи поправки сделаны собственною рукою переводчика Д. И. Фонвизина». Эту наиболее авторитетную редакцию трагедии Тихонравов и положил в основание своей публикации. «Корион» напечатан по рукописи XVIII века, находившейся в собрании Н. С. Тихонравова. «Бригадир» воспроизведен им также по рукописному списку. Автор примечаний к «Материалам» Л. Н. Майков указывает, что это — рукопись из собрания Н. С. Тихонравова. В. Якушкин в рецензии на «Материалы» утверждает, что такой рукописи в собрании Тихонравова не было и что он пользовался списком, принадлежащим библиотеке Малого театра. Как показало изучение различных изданий «Бригадира», текст, напечатанный Н. С. Тихонравовым, не отражает последней воли автора и потому не может быть признан авторитетным.

Наибольшую ценность в «Материалах» представляет текст «Недоросля». Н. С. Тихонравов печатал комедию по первому ее изданию (1783). В подстрочных примечаниях им приведены варианты из других публикаций (второго издания в 1788 г., издания, подготовленного П. П. Бекетовым, и писарского списка, хранящегося в Румянцевском музее — ныне в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина). Особое значение представляют опубликованные варианты из рукописного списка, в которых мы встречаем поправки, сделанные рукой Фонвизина. По всей вероятности, это — последняя редакция «Недоросля». В списке имеются вставки, отсутствующие в первом и во втором изданиях. Некоторые из них не могли быть напечатаны по цензурным причинам. Авторитетность текста этого списка подтверждается и тем, что в основном он почти совпадает с текстом

«Недоросля» бекетовского издания, напечатанного с рукописи, ныне утраченной.

В советское время подготовкой полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина занимался крупнейший знаток литературы XVIII века Я. Л. Барсков. Смерть исследователя помешала ему осуществить свой замысел. Архив Я. Л. Барскова хранится в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Изучение его показывает, что ученым была проделана значительная работа. Заслуживают внимания предпринятые им розыски рукописей Фонвизина. В Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) он обнаружил несколько автографов, бывших, по всей вероятности, в свое время в собрании П. А. Вяземского, и сделал фотокопии с них. Это отрывок комедии «Добрый наставник», заметка «Мнение о избрании пиес в „Московские сочинения"», отрывки двух прозаических сочинений — «О древних римских обычаях», «Иппократ и Демокрит», а также отрывки переводов «Илиады» и «Смерти Авеля». Ныне эти рукописи находятся в ЦГАЛИ. Была известна Я. Л. Барскову и рукопись «Рассуждения о непременных государственных законах», хранящаяся в ЦГАДА.

Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина так и не было подготовлено в советское время. Многократно выходили в Гослитиздате избранные сочинения, включавшие «Бригадира», «Недоросля», статьи из «Собеседника любителей российского слова» и «Друга честных людей». Печатались некоторые письма. Новым в этих однотомных изданиях было «Рассуждение о непременных государственных законах» (так называемое «Завещание Панина»), но и оно уже было известно читателю по специальным публикациям середины XIX — начала XX веков. Почти ежегодно в различных издательствах страны выходили комедии Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль». Поскольку не был установлен канонический текст этих комедий, они печатались с различных и, к сожалению, чаще всего неавторитетных изданий. Как показывает проверка, при этих переизданиях к старым ошибкам прибавлялись новые.

Существующие издания сочинений Фонвизина не могут дать полное представление о нем как о писателе-просветителе, ибо в них не хватает многих важных работ. Известно, что Фонвизин часто свои сочинения публико-

вал анонимно, и оттого они остались неизвестны нам. Другие произведения запрещала цензура, и они, в свое время не изданные, или остались в рукописях у издателей, или попали родственникам-наследникам.

Без собирания и изучения рукописного наследия писателя, без исследования вопроса об анонимных произведениях Фонвизина и освещения важнейших моментов его биографии нельзя понять истинный размах и содержание писательской и общественной деятельности Фонвизина-просветителя. Проведенные мною разыскания дали неожиданно щедрые результаты — найдено несколько крупных художественных и политических, оригинальных и переводных сочинений, которые или были в свое время напечатаны анонимно, или распространялись в списках. Обнаружение в различных архивах автографов ранее публиковавшихся произведений позволило освободить тексты от многочисленных искажений, восстановить редакторские и цензурные купюры. Разыскано несколько представляющих значительный интерес писем.[1] Но найдено далеко не все — по ходу разысканий установлено, что многие произведения, оставшиеся в рукописи, куда-то исчезли. Список этих произведений также значительно расширяет наше представление о литературной и политической деятельности Фонвизина.

Чрезвычайно плодотворным было изучение творчества и биографии Фонвизина в последнее время. В работах Г. А. Гуковского, П. Н. Беркова, Д. Д. Благого, Л. Г. Барага и К. В. Пигарева определены основные черты мировоззрения писателя и установлены или уточнены многие важные факты биографии и даты создания крупных произведений, раскрыты особенности художественного метода Фонвизина-драматурга и описаны его связи с современной литературой, охарактеризована публицистическая деятельность и показано значение художественного наследия автора «Недоросля» для последующей литературы.

Именно поэтому сейчас, когда к уже известному и установленному прибавились новые материалы — вновь найденные произведения и ранее неизвестные факты жизни писателя, перед литературоведением встала задача:

---

[1] См.: Д. И. Фонвизин. Собр. соч. в двух томах. М. — Л., Гослитиздат, 1959.

показать во всей полноте творчество и деятельность, место и роль в общественном движении и литературе Фонвизина — талантливейшего драматурга, замечательного прозаика, политического писателя, — воистину великого русского просветителя, который в течение четверти века бесстрашно воевал с самодержавием Екатерины II.

Решительно встав на позиции просветительства уже в 1760-х годах, Фонвизин все свое дарование художника подчинил служению великой цели. Идеология Просвещения подняла его на гребень возникавшего освободительного движения. Передовая идеология определила его эстетические искания, его художественные достижения, решительное сближение им литературы с действительностью.

Пушкинская оценка удивительно лаконична, исторически конкретна и точна. Гоголь отметил эту особенность художественного таланта Пушкина, его «необыкновенное искусство немногими чертами означить весь предмет: эпитет (Пушкина. — *Г. М.*) так отчетист и смел, — писал он, — что иногда один заменяет целое описание».

Определение Фонвизина «другом свободы» «означило весь предмет». Оно и должно послужить основанием «целого описания» жизни писателя, его творчества, его деятельности.

1762-1769

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЮНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ПРИ ДВОРЕ ЕКАТЕРИНЫ II

Весной 1762 года, после успешного семилетнего обучения в латинской школе Московского университета, Д. И. Фонвизин был переведен в студенты. Несмотря на юный возраст — семнадцать лет, он зарекомендовал себя довольно плодовитым переводчиком и смелым сатирическим поэтом. В «Чистосердечном признании», написанном в конце жизни, Фонвизин рассказывал: «Природа дала мне ум острый... Весьма рано появилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по Москве; [1] а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою; все же те, коих острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезным и в обществе приятным... Меня

[1] Где же эти сочинения? Ни одно из них до нас не дошло. А ведь они долгое время после смерти писателя сохранялись. Из письма наследников Фонвизина от 1829 года мы узнаем, что ранние опыты писателя были переданы ими для ознакомления редактору сочинений Фонвизина П. П. Бекетову. В письме говорится, что Бекетову были переданы без права публикации «сочинения и переводы, коими ознаменовано было вступление его (Фонвизина. — *Г. М.*) на литературное поприще», а также те произведения, которые «впоследствии» писатель «называл грехами юности своей» (ЦГАЛИ, ф. 517, оп. II, ед. хр. 7). Следовательно, еще в 30-х годах XIX столетия они существовали и были известны не только наследникам, но и издателю. Дальнейшая судьба этих рукописей неизвестна.

стали скоро бояться, потом ненавидеть... Сочинения мои были острые ругательства...»[1]

Еще в школьные годы Фонвизин стал профессионально заниматься переводами. В 1761 году вышла и успешно разошлась переведенная им книга басен Гольберга. Для журнала «Полезное увеселение» он подготовил четыре небольших переводных статьи. Переход в студенты ознаменовался еще большим размахом переводческой деятельности: начата была работа над переводом трагедии Вольтера «Альзира» и многотомным романом Террасона «Жизнь Сифа, царя египетского» (первый том романа вышел осенью 1762 г.).

Уже первые литературные опыты писателя оказываются связанными с творчеством просветителей — Вольтера и Гольберга. С юных лет просветительское учение о человеке, социальные и политические проблемы привлекают внимание Фонвизина. Вот почему неожиданные политические события в Петербурге, обозначившие новую эпоху в жизни русского государства, вызвали интерес студента-литератора, захватили и вовлекли его в свой стремительный круговорот.

28 июня 1762 года жена Петра III Екатерина Алексеевна, опираясь на гвардейские полки, совершила дворцовый переворот. Политическим вдохновителем переворота был воспитатель наследника Павла — Никита Панин. Требования дворянских либералов, лидером которых был Панин, сводились к установлению конституции. Русское самодержавие по своей форме было деспотией; власть монарха, ничем не ограниченная, превращала его в самовластного тирана. Нужны были «фундаментальные» законы, ограничивавшие власть императора, необходимо было и учреждение, которое бы контролировало действия самодержца и гарантировало неприкосновенность конституции. Несмотря на то, что все эти требования не меняли существа политического строя России, — он продолжал оставаться дворянской монархией, — в условиях того времени они носили прогрессивный характер. Некоторые группы дворянства, возглавленные братьями Орловыми

---

[1] Д. И. **Фонвизин**. Собр. соч. в двух томах, т. 2. М. — Л., Гослитиздат, 1959, стр. 90. В дальнейшем все цитаты из произведений Фонвизина даются по этому изданию, с указанием в скобках тома и страницы.

(они непосредственно осуществляли дворцовый переворот), не соглашались с требованиями Панина и его последователей ограничить самодержавную власть. Завязалась острая политическая борьба внутри дворянства, многое определявшая в общественной и литературной жизни 1760—1770-х годов. Екатерина ловко лавировала в этой борьбе — при вступлении на престол давала щедрые обещания, а по мере укрепления своей власти принимала меры к разгрому дворянских либералов, желавших ограничить ее самодержавие.

22 сентября 1762 года в Москве в торжественной обстановке была проведена коронация. В древнюю столицу прибыли двор и правительственные учреждения из Петербурга, съехались крупные помещики со всей страны. Торжества по случаю коронации продлились почти год — только в июне 1763 года Екатерина вернулась в столицу.

Первые шаги новой императрицы на государственном поприще носили явно демонстративный характер. Подданные оповещались, что с ее приходом наступит новая эпоха в правлении, эпоха реформ. Об этом совершенно недвусмысленно говорилось уже в первом манифесте. Обличая правление Петра III, Екатерина объявляла и свое, дотоле неслыханное, определение природы самодержавия, исключавшее «необузданное самовластие»: «Самовластие, не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами, в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственною бывает причиною».[1] Кончался же манифест почти прямым обещанием реформ: «Мы всех наших верных подданных обнадеживаем всемилостивейше», что вся власть будет употреблена «в соблюдение нашего православного закона», «в укрепление и защищение любезного отечества», «в сохранение правосудия, в искоренение зла и всяких неправд и утеснений». Но монархиня не удовлетворилась этим и здесь же провозгласила: «Наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство нашего любезного отечества в своей силе и принад-

---

[1] В. А. Бильбасов. История Екатерины Второй, т. II. СПб., 1891, стр. 76.

лежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка».[1]

Екатерина II широко привлекала ко двору энергичных, одаренных людей. Она оказывала покровительство деятелям литературы и театра. Крупную роль в литературной и общественной жизни стали играть драматург и поэт Сумароков, первый актер молодого русского театра Волков. Видимо, все это волновало Фонвизина, перед ним, хотя и смутно, начинали рисоваться заманчивые картины возможной его общественной, политической и литературной деятельности при дворе. Во всяком случае, именно после коронации он неожиданно решает бросить университет, чтобы поступить на службу в Коллегию иностранных дел; тем более что в это время в коллегию принимали новых людей. Выбор поприща служебной деятельности определялся, очевидно, и отличным знанием трех иностранных языков и связями с вице-канцлером А. М. Голицыным. Оформление на службу несколько задержалось. В октябре, когда двор и Екатерина находились в Москве, Фонвизин подал челобитную на имя императрицы, в которой изъявлял желание «служить при делах государственной Коллегии иностранных дел», просил «определить» его «с милостивым награждением чина» «к делам оной Коллегии».[2]

При челобитной он прилагает образцы переводов с трех языков — латинского, французского и немецкого. Заслуживают внимания перевод с латинского — Марка Туллия Цицерона «Речь за Марцелла» и с французского — «Политическое рассуждение о числе жителей у некоторых древних народов». Фонвизин выдержал испытание не только как переводчик. Выбранные им «материи» для переводов свидетельствовали о политических интересах студента. Даже перевод, представленный для образца, звучал актуально: Цицерон в речи за Марцелла превозносил Цезаря за то, что он «умерял страсти свои, выдерживал гнев свой, в победах поступал великодушно». Проблема «страстей» государя была и оставалась цент-

---

[1] В. А. Бильбасов. История Екатерины Второй, т. II, стр. 82.

[2] Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, рук. отд., Тих. I, папка № 32, ед. хр. 3.

ральной в политической жизни России XVIII века. Превозносить монарха, умеряющего свои страсти, значило выступить с уроком царям.[1]

Выдержав испытание, Фонвизин был определен в коллегию. Первые же месяцы службы принесли ему успех: в декабре того же года его отправили за границу, к герцогине Мекленбург-Шверинской, для передачи ордена, которым ее наградила Екатерина. В январе 1763 года Фонвизин вернулся в Москву, где еще продолжались коронационные празднества, и приступил к исполнению своих обязанностей.

В последний год пребывания в университете была написана Фонвизиным сатирическая басня «Лисица-казнодей» (проповедник). Басня — первое дошедшее до нас оригинальное произведение сатирика — посвящена острейшей политической теме. В Ливийской стороне, рассказывается в басне, умер царь лев. На «огромные похороны» собрались все звери. Лисица, «взмостясь на кафедру», «с смиренной харей» начала «вопить» льстивую хвалу умершему монарху. Стоявший тут же крот с возмущением шепчет собаке: «О лесть подлейшая! Я знал льва коротко, — он был пресущий скот». Поэт с презрением говорит о лисице, льстивом панегиристе царей. Но главным объектом сатирического изображения оказывается лев и его правление. Царь лев был не только «скот», но и «зол и бестолков, и силой вышней власти он только насыщал свои тиранские страсти». Его трон был «сплочен» «из костей растерзанных зверей». «В его правление любимцы и вельможи сдирали без чинов с зверей невинных кожи» (I, 208). С гневом отвергает Фонвизин такого «мудрого царя правление». Реальные политические события начала 1760-х годов, смена монархов — смерть Елизаветы,

---

[1] В архиве МИДа в описи значится: «Дело об определении в Коллегию переводчиком бывшего лейб-гвардии Семеновского полка сержанта Дениса Фонвизина». Дата заведения дела — 21 июля 1762 года. К сожалению, самого дела в архиве нет, оно значится как утраченное. Видимо, Фонвизин еще до приезда двора и Голицына подавал прошение о зачислении на службу в Коллегию иностранных дел. Оформлено же дело было в октябре в Москве. Н. С. Тихонравов, очевидно, знаком был с этим делом; во всяком случае, в его архиве сохранились копия челобитной Фонвизина на имя Екатерины и копии представленных им в коллегию переводов (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, рук. отд., Тих. I, папка № 32, ед. хр. 3).

приход Петра III — способствовали росту сознания молодого писателя. Через несколько лет Фонвизин, внимательно следивший за политической жизнью России и Запада, в одном из писем подчеркнет мысль, что события, происходящие на его глазах, многому учат: «История нашего века будет интересна для потомков. Сколько великих перемен! Сколько странных приключений! Сей век есть прямое поучение царям и подданным!» (II, 370).

Басня красноречиво говорит о том, что в Коллегию иностранных дел пришел не просто переводчик, но талантливый писатель, человек, начинавший самостоятельно разбираться в политических порядках самодержавного правления. Канцлер М. И. Воронцов, руководивший иностранной коллегией, заметил дарование юного переводчика и приблизил его к себе. Как вспоминал впоследствии Фонвизин, канцлер именно ему отдавал «важнейшие бумаги» для перевода. Среди «важнейших» были и различные политические сочинения.

Успех в коллегии сопровождался успехами при дворе, чему способствовали литературные занятия Фонвизина. Довольно быстро он свел знакомство с всесильными братьями Орловыми — сначала с младшим, Владимиром, а затем и со старшим, самим фаворитом Екатерины — Григорием. Зная, что Екатерина и ее приближенные увлекаются Вольтером, переписываются с ним и другими французскими просветителями, Фонвизин, закончив перевод «Альзиры», прочел его при дворе. Из писем 1763 года родным мы узнаем, что Федор Орлов начинает звать Фонвизина к себе на обеды. В тех же письмах Фонвизин сообщает, что вручил братьям Орловым экземпляры «Альзиры». Перевод понравился Григорию Орлову, и он приблизил к себе юного остроумного литератора. Несомненно, эти связи и успехи при дворе и в коллегии определили издание в октябре 1763 года нового указа Екатерины, которым Фонвизину повелевалось, «числясь при иностранной коллегии», «быть для некоторых дел при нашем статс-советнике Елагине».

И. П. Елагин, близкий Екатерине человек, поддерживавший ее еще до восшествия на престол, состоял при кабинете императрицы «для принятия челобитен». Елагин был не только сановником, но и человеком образованным, дилетантски занимавшимся поэзией, драматургией, переводами, историей. Он сразу оценил ум и талант своего

нового помощника. В Фонвизине он нашел и замечательного собеседника. Как свидетельствует сам писатель, Елагин любил «проводить время» с ним. При всем различии их положения и убеждений было немало и того, что сближало этих людей. Сближал прежде всего интерес к театру, к отечественным нравам, к русской истории. Бывая дома у Елагина, Фонвизин принимал участие в домашних концертах (играл на скрипке), в которых отличалась младшая дочь Елагина, любительница русских песен. В одном из писем к родным он рассказывал: «Впрочем, все те миноветы, которые играют в маскарадах, и я играю на своей скрипке пречудным мастерством. Да нынче попалась мне на язык русская песня, которая с ума нейдет: «Из-за лесу, лесу темного». Черт знает! Такой голос, что растаять можно. И теперь я пел; а натвердил ее у Елагиных. Меньшая дочь поет ее ангельски» (II, 331).

В это время Фонвизин близко сходится с молодым литератором, князем Федором Козловским. Козловский был связан с группой бывших студентов Московского университета, ныне служивших в столице. В числе его приятелей был и солдат Измайловского полка, будущий издатель, сатирический писатель и просветитель Николай Новиков. По словам Фонвизина, излюбленное занятие кружка «состояло в богохулении и кощунстве». Следствием этих бесед и споров явилось фонвизинское сатирическое «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке».

В «Послании» Фонвизин высмеивает основы церковного учения и защитников религии, проповедующих божественную мудрость в создании мира и человеческого общества. Стихотворение построено как диалог между авторами и слугами. На вопрос автора: «На что сей создан свет?» дядька писателя Шумилов и слуги отвечают поразному. «Наставник и учитель» Шумилов, богобоязненный старик, рачительный хранитель «и денег и белья» своего барина, отказывается отвечать на подобный вопрос. Не зная, зачем созданы на свете люди, он с гордостью говорит о себе: «Я знаю то, что нам быть должно век слугами и век работать нам руками и ногами».

В образе Шумилова с жизненной достоверностью передана Фонвизиным рабская преданность крепостного слуги. Именно этот тип людей позже Пушкин изобразит в своем Савельиче.

Иначе показаны Ванька и Петрушка — люди молодые, смышленые, дерзкие, не боящиеся говорить с барином без рабского подобострастия. Они философски отвечают на поставленный вопрос: зачем создан свет, они не знают, только видят, что в обществе царят обман, насилие, что люди живут не по-божески, а по расчету, неправдой. Ванька решительно заявляет:

Попы стараются обманывать народ,
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,
Друг друга — господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя.

Стихотворение свидетельствует о желании Фонвизина сблизить поэзию с действительностью. Используя опыт Сумарокова — баснописца, писавшего разговорным языком и безбоязненно использовавшего даже вульгарные слова и выражения, молодой поэт смело обращается с избранным им жанром. Послание — жанр высокой лирической поэзии. Его адресатом должно быть лицо благородного сословия. Фонвизин вводит в стихотворения элемент пародии. Уже басня «Лисица-казнодей» строилась как пародия на официально-панегирические стихи. В «Послании к слугам моим» пародийно снижен адресат — им оказываются дворовые, мужики. Но, обращаясь к слугам своим, поэт не издевается над ними. Заставляя Ваньку и Петрушку сатирически характеризовать дворянское общество, поэт солидаризируется с их выводами. Новым в «Послании» и было желание поэта предоставить голос человеку «низкого звания», мужику, слуге. Этот голос позднее прозвучит в фонвизинском «Корионе» (образ Андрея), в сатирическом журнале «Трутень» (1769), где Новиков напечатает письмо Филатки. Крестьянин, получив высокую «кафедру» сатирического журнала, громогласно заговорит о страшных отягощениях. Попов в комической опере «Анюта» (1772) выведет на сцену крестьян. Все это — свидетельство демократизации литературы, поисков новых форм в искусстве, способных отвечать насущным потребностям нового времени, времени нарастания борьбы с экономической, политической и культурной гегемонией дворянства.

Религиозное свободомыслие молодого писателя также сближало его с Елагиным, который, по отзывам современников, отличался в «богохулении и кощунстве» не менее Фонвизина. В лице Елагина Фонвизин находил

ценителя своих сатирических стихов типа «Послания к слугам моим». Следует отметить, что Елагин сам являлся автором ряда сатирических стихотворений. Сближал Фонвизина с Елагиным и общий интерес к политическим делам и необычным для русского двора событиям.

«...самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма“» [1] резко отличалось от самодержавия прошлого и будущего веков. Великие преобразования Петра в течение ряда десятилетий для многих поколений деятелей русского общественного движения служили ярким и выразительным примером деятельности просвещенного монарха. Позже, действуя в своих интересах, Екатерина II подхватила выдвинутую энциклопедистами политическую теорию просвещенного абсолютизма. «„Просвещение“ — это был в восемнадцатом веке лозунг царизма в Европе...» [2]

Екатерина объявила себя ученицей Монтескье и Вольтера, последовательницей их учений. Понимая, что политическая теория энциклопедистов содержит черты, весьма подходящие для намеченной ею тактики, она составляет программу широкой пропаганды прежде всего политических сочинений французских «властителей дум». Как говорит Гримм, она за это принялась уже на девятый день своего царствования, то есть в дни, полные политических интриг, тревог и опасений, — так это было важно, даже необходимо. Вслед за серией писем к Вольтеру, Даламберу и Дидро с предложением посетить Россию и перенести сюда печатание «Энциклопедии», вслед за выдачей вспомоществования Дидро и т. д. было дано указание подготовить переводы на русский язык основных трудов этих мыслителей.

В 1763 году Е. Р. Дашкова, в этот период ближайший друг Екатерины, в московском журнале «Невинное упражнение» напечатала отрывки из книги Гельвеция «Об уме»; Хераскову, служившему в университете, было предложено подготовить серию переводов из «Энциклопедии». Демонстрация либерализма получилась внушительная: при Екатерине печатался труд, гонимый во Франции.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 308.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 1-е, т. XVI, ч. II, стр. 14.

Но Екатерина не только занималась демонстрацией своего либерализма — в те же годы она действительно развертывает небывало активную деятельность по подготовке к реформам. Задумав созвать Комиссию по сочинению проекта нового уложения, она начала писать Наказ будущим депутатам. Излагая принципы будущего русского законодательства, Екатерина открыто заимствовала или просто переписывала главные положения книги французского просветителя Монтескье «Дух законов» и итальянского юриста-просветителя Беккариа.[1]

Работая над Наказом, императрица принимала меры к тому, чтобы ближе познакомиться с взглядами русских дворян на важнейшие социальные и политические проблемы. В 1763 году она получает от Петра Панина записку по крестьянскому вопросу. Панин предлагает определить законом крестьянские повинности и ограничить власть дворян, ибо они в своих действиях «частенько выступают и из сносности человеческой».[2]

В Петербурге заводится Вольное экономическое общество. По инициативе Екатерины общество объявляет конкурс на решение важного вопроса — необходимо ли крестьянам иметь собственность. Под неприкрытым нажимом императрицы премию получает сочинение, в котором доказывается право крестьян владеть собственностью.

В январе 1766 года Елагин подает Екатерине свое «мнение» о необходимости дать крестьянам землю в потомственное пользование. При этом правительство, по проекту Елагина, должно определить размеры их денежных взносов и работ. Правда, Елагин предлагает начать реформу сначала в дворцовых имениях. Трудно предположить, что Елагин, беседовавший с Фонвизиным по разным вопросам, не поделился с ним своими мыслями, своим проектом решения важнейшей в ту пору крестьян-

---

[1] В письме Даламберу Екатерина сознательно рассказала о своем методе использования труда Монтескье: «Вы увидите... как там (в Наказе. — *Г. М.)* на пользу моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его. Надеюсь, что если бы он с того света увидел меня работающею, то простил бы эту литературную кражу во благо двадцати миллионов людей, которое из того последует» («Бумаги императрицы Екатерины II», т. II. СПб., 1872, стр. 29).

[2] В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX вв. СПб., 1888, стр. 22.

ской проблемы. Фонвизину, во всяком случае, эта «материя» была близка. К 1764—1765 годам относится его первое политическое сочинение, посвященное именно этим вопросам. Я имею в виду «Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина».

Впервые на принадлежность этой работы Фонвизину указал П. А. Вяземский: «Известно также, что он переводил, и, вероятно, по поручению начальства, книгу: «О вольности французского дворянства и о пользе третьего чина», тут же приложено и „Рассуждение о третьем чине“».[1] В 1882 году этот перевод был напечатан в «Архиве князя Воронцова» (т. XXVI). Такие авторитетные исследователи творчества Фонвизина, как Г. А. Гуковский (см.: «История русской литературы», т. IV, М. — Л., изд-во АН СССР, 1947) и П. Н. Берков (см.: «Театр Фонвизина и русская культура» в сб. «Русские классики и театр», М. — Л., «Искусство», 1947), считали возможным рассматривать это произведение как фонвизинское, называя его «полупереводным-полуоригинальным». В последнее время против этого мнения решительно выступает К. В. Пигарев: «Среди литературоведов было распространено мнение, что заключительная часть этого трактата представляет собой оригинальное произведение Фонвизина и тем самым является изложением его социальной программы. Документальные данные этого не подтверждают, а поскольку перевод сделан, вероятнее всего, в качестве служебного задания, то едва ли он дает право для подобных выводов».[2] «Документальные данные», о которых упоминает К. В. Пигарев, это подпись Фонвизина на рукописи, хранящейся в архиве МИДа: «Переводил переводчик Денис Фонвизин».[3]

В Коллегии иностранных дел, где служил Фонвизин, был заведен порядок, по которому переводчикам поручалось внимательно следить за всеми новыми политическими трактатами, появляющимися в Англии, Франции и Германии. В архиве МИДа сохранилось несколько папок, содержащих «Различные политические сочинения». То были или переводы, или краткие изложения, рефераты —

---

[1] П. Вяземский. Фон-Визин. СПб., 1848, стр. 283.

[2] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина. М., изд-во АН СССР, 1954, стр. 57.

[3] МИД СССР, ф. Внутренние коллежские дела, д. № 5632—5640.

так называемые «сокращения». Подобные сочинения имели чисто практические цели. Они либо информировали крупных государственных чиновников о положении дел в Европе, либо подсказывали принятие необходимых мер в делах внешних, либо служили основанием для выводов о некоторых делах внутренних. Видимо, получил задание и Фонвизин. Представленное им сочинение он озаглавил: «Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». Итак, перед нами не перевод, а сокращение, то есть краткое изложение существа проблемы того сочинения, которое было предложено молодому переводчику. И действительно, судя по размеру и стилю, перед нами изложение главных мыслей сочинения неизвестного нам автора. К. В. Пигарев, державший в руках рукопись Фонвизина, хранящуюся в архиве МИДа, не заметил, что она называется «Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина», и именует трактат так же, как он озаглавлен в «Архиве князя Воронцова», — «Краткое извлечение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». А это не случайное расхождение: дело в том, что публикация 1882 года сделана с другого списка, хранящегося в семейном архиве Воронцовых. Следовательно, мы сталкиваемся с новым для нас фактом — фонвизинское сочинение распространялось в списках. Одна рукопись хранится в архиве МИДа, другая — в архиве Воронцовых. Несомненно, необходимость снятия копии (хотя бы одной, а может быть, существовали и другие, до нас не дошедшие) была обусловлена значительностью изложенных в «Сокращении» мыслей.

В этой связи следует вспомнить, что в 1766 году Фонвизин выпустил перевод книги «Торгующее дворянство». В ней развивались некоторые близкие к «Сокращению» вопросы. Вот почему можно предположить, что работа над «Сокращением» шла приблизительно в то же время. Но К. В. Пигарев называет более раннюю дату перевода. «Сокращение» подписано: «Переводил переводчик Д. И. Фонвизин». Переводчиком Фонвизин был в Коллегии иностранных дел с октября 1762 до начала 1764 года. Следовательно, в это время и был сделан перевод, делает вывод К. В. Пигарев, поскольку с 1764 года Фонвизин, получивший новое звание, подписывался иначе: «Переводил титулярный советник». Но факты свидетельствуют,

что и позже Фонвизин, подписываясь, называл должность: «переводчик коллегии», а не звание: «титулярный советник», так как, находясь при Елагине, Фонвизин продолжал числиться за Коллегией иностранных дел. В архиве Академии наук имеется распоряжение Ивана Тауберта о выплате Фонвизину за перевод книги Юсти «О правительствах» (перевод, к сожалению, до нас не дошедший): «Государственной коллегии иностранных дел переводчик Фонвизин представил книгу, переведенную им с немецкого языка на российский, называемую «Юстиева о правительствах», которая состоит из трех частей, и требовал за каждую часть о выдаче ему по пятидесяти рублев, а за всё ста пятидесяти рублев, а ниже той цены не брал, а по указу ее императорского величества канцелярия Академии наук приказали: у оного переводчика Фонвизина означенную книгу за показанную от него цену взять и с запискою в расход и с распискою о том комиссару Збоczęstoмирскому дать указ, а книгу отослать в новую типографию при ордере и велеть оной напечатать тысячу двести экземпляров, в том числе сто на заморской, а остальные на здешней, обыкновенной бумаге, и по напечатании с показанием цены подать репорт».[1] Распоряжение написано 5 марта 1765 года.

«Сокращение» состоит из двух частей: в первой говорится о вольности французского дворянства, вторая, называющаяся «Рассуждением о третьем чине», раскрывает значение для Франции третьего чина. Кончается же «Рассуждение» проектом создания в России такого же «третьего чина». Содержание проекта свидетельствует, что его автор не только хорошо знает социальные порядки в России, но и горячо заинтересован в их изменении. Вот почему можно предположить, что проект был написан Фонвизиным. В атмосфере всеобщего интереса к предстоящему созыву Комиссии для выработки проекта нового законодательства рождались многие книги, проекты, записки. Среди них должно рассматривать и «Сокращение» с конкретными предложениями социальных реформ, заинтересовавшее, видимо, некоторых деятелей и оттого распространявшееся в списках.

В связи с проблемой атрибуции заслуживает внимание письмо Н. С. Тихонравова второму отделению Академии

[1] Архив АН СССР, ф. 3., оп. 1, № 476, стр. 103.

наук от 22 апреля 1892 года. Н. С. Тихонравов обратился в Отделение русского языка и словесности с предложением издать подготовленный им сборник «Материалов для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина». Поиски фонвизинских сочинений заняли много лет. Все собранные произведения Тихонравов разделил на три группы: 1) произведения, которые переиздаются для восстановления правильного текста; 2) произведения неизданные или не вошедшие ни в одно из прежних изданий; 3) произведения, приписываемые Фонвизину. Академия наук приняла предложение, и Тихонравов приступил к изданию «Материалов». Но успел он сдать в печать только произведения первого раздела, куда вошли: «Альзира», «Корион», «Бригадир» и «Недоросль». 27 ноября 1893 года Н. С. Тихонравов умер.

Издание оказалось незавершенным, поскольку все неопубликованные фонвизинские произведения остались у наследников ученого, которые отказались передать их академии. Так до сих пор мы даже не знали, какие именно *новые* произведения должны были войти во второй раздел «Материалов». Сейчас обнаружен в архиве Академии наук оригинал письма Тихонравова, в котором дается точный перечень этих произведений. Среди других упоминается и интересующее нас сочинение — «О вольности французского дворянства и о пользе среднего состояния, или мещанства».[1] Заслуживают внимания два факта: первое — Н. С. Тихонравов совершенно категорически включает это произведение не в отдел *приписываемых*, а в отдел *неизданных* сочинений Фонвизина. Второе — название его не совпадает ни с названием списка, хранящегося в архиве МИДа, ни с названием, опубликованным в архиве Воронцовых. Возможно, в руках Н. С. Тихонравова был *третий* список статьи Фонвизина, где понятие «третьего чина», характерное для Франции, заменено термином русским — «среднее состояние». Вспомним, что в Комиссии по сочинению проекта нового уложения работала специальная группа, занимавшаяся делами «о среднем роде людей».

---

[1] Архив АН СССР, ф. 9, оп. 1, № 658. Письмо Н. С. Тихонравова представляет большой интерес. Мы печатаем его в приложении.

Пока не найден оригинал сочинения, который послужил основанием для «Сокращения», нет окончательной уверенности в том, что Фонвизину принадлежит проект введения в России «третьего чина». Но ясно одно — идеи «Сокращения» были близки и дороги Фонвизину. В последующем Фонвизин будет часто переводить такие политические сочинения, которые выражали бы и личную позицию его, переводчика. «Сокращение» было первым таким опытом.

В экономической и общественной жизни России Фонвизин полагает необходимым существование трех классов: дворянства, «народа земледельческого», то есть крестьян, и «третьего чина» (купцы, заводчики, «художники», то есть ремесленники, и т. д.). Фонвизин проявляет не только глубокое понимание огромного значения в жизни страны крестьянства и «третьего чина», но и уважение и восхищение деятельностью, энергией, талантами крестьян и тех, кто составляет «третий чин». «Народ земледельством своим производит плоды, различных сортов товары, первые материи богатства... третий чин, составляя одно с народом, от коего происходит сам и который оного привлекает, старается о мануфактурах, устанавливает промены вещей, оценивает товары, учреждает оных расходы» (II, 114).

Фонвизину чужд сословно-кастовый взгляд на крестьян. Для него народ — земледельцы, ремесленники, купцы — «убежище наук и освященное место человеческого познания». Дворяне, как свидетельствует опыт, успешно осваивают науки. Но это не значит, что люди из народа неспособны быть учеными или добродетельными. Наоборот, «нет такого рода заслуг и добродетели, которых бы не производил третий чин».

Сопоставляя дворянство и «третий чин», Фонвизин с воодушевлением отмечает, как условия жизни позволяют людям «третьего чина» превосходить дворян и в знаниях и в добродетелях. «Благородные имеют, без сомнения, похвальные качества, но иногда недостает им случая производить оные в действо. Напротив того, третий чин упражняется ежедневно в благоразумии, честности, изобильном вспомоществовании, точности, постоянстве, терпении и правосудии» (II, 114). Высоко ценя общественную и экономическую роль земледельца и «третьего класса» в жизни страны, отмечая их высокие нрав-

ственные качества, Фонвизин выдвигает свое понимание необходимых условий, при которых процветало бы отечество. Решающим Фонвизин считает восстановление вольности нации, вольности всех сословий.

Выступая против угнетения человека человеком, против общественного строя, при котором «люди составляют собственность людей», Фонвизин в то же время считал, что в создавшихся реальных условиях, когда народ еще невежествен, освободить крепостных сразу нельзя. Поэтому он и выдвигает требование «приуготовить нацию». В «Рассуждении о третьем чине» разработана подробно программа такого «приуготовления»: «третий чин» вербуется из числа земледельцев. Став ремесленником, купцом, человек приобретает право на свободу. В стране должны быть созданы цеха из ремесленников, и «каждый цех должен купить освобождение всем своим членам». Крестьяне должны получать право на образование своих детей в университетах; каждый окончивший университет получает свободу: «Равным образом все те, кои, упражняясь с успехом в науках, обучатся в университете вышним наукам, как-то: юриспруденции, философии, математике, медицине, хирургии, аптекарству и прочим полезным знаниям, должны иметь увольнение по аттестатам, кои они получать будут. Когда всякий в состоянии будет упражняться в том, к чему имеет дарование, составят все нечувствительно корпус третьего чина с прочими освобожденными, о коих выше упомянуто. Равным образом должно быть сему и в рассуждении художеств. Все те, кои в оных успеют, должны иметь освобождение» (II, 115—116).

Подобная программа принадлежит просветителю. То же обстоятельство, что Фонвизин не верит в возможность дать земледельцам свободу сразу, что считает необходимым сначала «приуготовить нацию», объясняется его идейной слабостью. Но ведь подобной точки зрения придерживался не только он, но и многие другие просветители, в частности Вольтер и Дидро. До Фонвизина же в возможность немедленного освобождения крепостных верил только Козельский, а в 80—90-х годах — Радищев.

Как истый просветитель, Фонвизин намечает практический путь «приуготовления нации». В заключении «Рассуждения о третьем чине» Фонвизин пишет о том, что должно быть сделано в современной ему России:

«Словом, в России надлежит быть: 1) дворянству совсем вольному, 2) третьему чину совершенно освобожденному и 3) народу, упражняющемуся в земледельстве, хотя не совсем свободному, но по крайней мере имеющему надежду быть вольными» (II, 116).

Важно отметить, что Фонвизин решительно и по принципиальному вопросу разошелся с Сумароковым. Уже в 60-х годах Фонвизин как просветитель требовал вольности для всех сословий, в том числе и для крестьян. Сумароков стоял на иной, классово-дворянской, помещичьей точке зрения. Потому он даже подвергал жесточайшей критике намерение Екатерины поставить на обсуждение вопрос о возможности освобождения крестьян. Критикуя ее Наказ, он писал: «Сделать русских крепостных вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, попуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междуусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах и бывают зарезаны отчасти от своих. Вотчины их превратятся в опаснейшие им жилища». [1]

XVIII век — век Просвещения. Именно в это столетие в ряде стран Западной Европы, и прежде всего во Франции, развернулась борьба с феодализмом. Французское буржуазное просветительство, сложившееся в 40—50-х годах XVIII века, было последовательной антифеодальной идеологией. Просветители подвергали уничтожающей критике религию, социологию и политику самодержавно-крепостнических государств; объявили все существовавшие государственные феодальные порядки неразумными, подлежащими уничтожению. Вражда к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической областях, защита просвещения и свободы, вера в мирный путь социальных преобразований, отстаивание интересов всех слоев народа — вот что прежде всего характеризует убеждения просветителя.

В области политики западные просветители отстаивали концепцию просвещенного абсолютизма. Энциклопе-

---

[1] Сборник Русского исторического общества, т. X, стр. 85—86.

дисты — одни радикальные, другие революционные в вопросах философии, религии, учении о природе, смело вызывавшие всю окружающую и ненавистную им феодальную действительность на суд разума, неистово штурмовавшие небо, провозглашавшие великие принципы свободы, — оказывались беспомощными, когда переходили к вопросам социальным, вопросам истории, к объяснению механизма переустройства человеческого общества. Идеализм в объяснении общественной жизни, буржуазная ограниченность, рождавшая страх перед народной революцией, — вот что, в конечном счете, определило формирование политической концепции просветителей, их мечты об идеальном просвещенном монархе, о великом вожде, который, восприняв их учение, окажется единственной силой, способной осуществить это учение в своей законодательной практике, облагодетельствовав тем самым человечество, терпеливо и покорно ждущее прихода этого избранника.

Действительно, для Вольтера именно просвещенный абсолютизм представлялся желанной формой государственного устройства, при этом философ мыслился им прежде всего как советчик при монархе, как вдохновитель мудрых законов, преобразующих общественный порядок.

В счастливый случай, дарующий народу «просвещенного монарха», верил Гольбах. «Велением судьбы, — писал он, — на троне могут оказаться просвещенные, справедливые, мужественные, добродетельные монархи, которые, познав истинную причину человеческих бедствий, попытаются исцелить их по указаниям мудрости». [1]

В одной из радикальнейших материалистических книг эпохи, книге Гельвеция «О человеке», выражается все та же надежда на приход великого законодателя, «благодетеля человеческого рода», жаждущего действовать «по скрижалям философа». Страстная вера философа, не знающего других путей общественного преобразования, слышна в следующих словах Гельвеция: «Как утверждают мудрецы, все возможности должны в течение более или менее долгого времени осуществиться. Почему же отчаиваться в будущем счастье человечества?» [2]

---

[1] Гольбах. Система природы. М., Соцэкгиз, 1940, стр. 430.
[2] Гельвеций. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. М., Соцэкгиз, 1938, стр. 336.

Дидро разделял эту веру Гельвеция. Больше того — он счел себя обязанным поддержать ее в своих «Опровержениях книги Гельвеция „Человек“». В ответ на сомнение Гельвеция — придет ли этот мудрый законодатель — Дидро с жаром восклицал: «Он придет, он придет когда-нибудь, тот справедливый, просвещенный и сильный человек, которого вы ждете, потому что время приносит с собою все, что возможно, а такой человек возможен».[1]

Такие убеждения порождали соответствующую тактику. «Проводить свои цели при дворе, осуществлять их при помощи государей — такая тактика характеризует определенную историческую, и довольно продолжительную, фазу развития буржуазного просвещения. Государи и их дворы остаются всегда для этого просвещения только средствами для осуществления их целей».[2]

Самоотверженно отстаивая свободу человека, Просвещение оказывало возраставшее из десятилетия в десятилетие влияние на все области общественной жизни, и в том числе на искусство и литературу.

Важнейшей чертой развития русской общественной мысли XVIII века было развитие просветительской идеологии. Своеобразие социально-исторического развития России определило особенности освободительного движения в России. Первых революционеров дало дворянство. В дальнейшем освободительное движение шло по пути все большей демократизации. Декабризм опирался на замечательные традиции русского Просвещения XVIII века, начавшего борьбу с царизмом и крепостничеством. Русское Просвещение подняло впервые знамя антифеодальной борьбы. Не буржуазия, а дворянство выдвинуло из своей среды первых просветителей. Не буржуазным, а дворянским было это Просвещение, то есть прямым идейным предшественником дворянской революционности.

В 60-х годах XVIII века, в пору усилившегося крестьянского протеста, в канун пугачевского восстания, окончательно сложилась просветительская идеология. На общественную арену выступили такие просветители, как философ Яков Козельский, писатель и издатель Николай Новиков, драматург и поэт Денис Фонвизин. К ним при-

---

[1] Д. Дидро. Соч., т. II. М., Гослитиздат, 1946, стр. 323.

[2] Ф. Меринг. Литературно-критические статьи, т. I. М. — Л., «Academia», 1934, стр. 740—741.

мкнули разночинцы-ученые С. Десницкий, Д. Аничков и пропагандист и популяризатор просветительской идеологии, профессор Николай Курганов. Все они опирались на опыт огромной практической работы и идейное наследие своих непосредственных учителей и предшественников: ранних просветителей — Кантемира, Тредиаковского и Ломоносова.

Формирование русского Просвещения определялось реальными условиями политической жизни страны, обострением социально-политических противоречий крепостнического государства. «Вряд ли найдется другая страна в мире, где бы крестьянство переживало такие страдания, такое угнетение и надругательство, как в России». [1] Во второй половине XVIII века гнет крепостничества принял особо жестокие формы. Возраставшие из десятилетия в десятилетие права дворян были записаны в специальных самодержавных указах «о вольности дворянской». Крестьян полностью отдали на «милость и попечение» помещиков. Ответом на эту политику самодержавно-помещичьего государства явились крестьянские бунты. Царствование Екатерины проходило в зареве больших и малых восстаний. Напряженный характер борьбы крестьянства за свои права в 60—70-х годах определил лицемерно-либеральную, полную фарисейских обещаний, а на деле цинично-крепостническую и деспотическую политику Екатерины.

В течение всего века русское крестьянство боролось самоотверженно и беспрестанно, но одиноко. Отсутствие союзника-гегемона, которым в эпоху борьбы с феодализмом могла быть только буржуазия, рождало трагизм крестьянских восстаний крепостнической эпохи — они оказывались обреченными. Будучи стихийными, неорганизованными, они были лишены ясной политической программы борьбы. Идейному движению крестьян свойственны такие черты, как патриархальная вера «в доброго барина», как царистские убеждения, всегда разоружавшие народ в подлинно демократической борьбе за свободу.

В XVIII веке революционность крестьянства, — поскольку не было другого класса, способного вести революционную борьбу, — оказывала огромное влияние на

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 300.

развитие передовой русской общественной мысли, на просветительские убеждения, на облик складывающейся русской культуры.

Своеобразие русского Просвещения не сводилось только к тому, что «вожаками» антифеодальной борьбы выступали не идеологи буржуазии, а лучшие люди из дворян. Отлично знакомые со всеми достижениями передовой западноевропейской идеологии, учитывавшие опыт французской, английской и немецкой философии, социологии, политических и экономических учений, литературы, искусства, театра, русские просветители, в силу различных причин, чего-то не принимали (например, воинствующего атеизма Гельвеция, Гольбаха и Дидро), с чем-то спорили. Многие важнейшие проблемы они формулировали самостоятельно, определяя тем самым свой вклад в мировое Просвещение.

Историческая задача ликвидации экономической и культурной отсталости России выдвигала требование европеизации, развертывания культурно-просветительной деятельности (отсюда, например, выпуск Н. Кургановым «Письмовника», создание типографии и училищ Н. Новиковым, издание им учебников и т. д.), широкой организации переводческого дела.

Русские просветители отрицали крепостное право, показывали губительные следствия рабства для всей нации, разрабатывали планы его ликвидации. Но печать дворянской ограниченности, несомненно, лишала их антикрепостнические убеждения остроты и ненависти. Исключение составляет А. Радищев, который был революционером, идеологом народной революции.

Как и западные, русские просветители (за исключением А. Радищева), веруя в мирный путь социального обновления отечества, стояли на позиции просвещенного абсолютизма. Эта политическая доктрина, получившая широкое распространение в Европе, носила умозрительный характер. Просветители теоретически допускали возможность появления такого монарха, который стал бы издавать законы на основе их сочинений или их рекомендаций. Вот почему, когда в середине XVIII века некоторые монархи — Фридрих II и Екатерина II — стали заигрывать с просветителями, они не смогли пройти мимо деклараций и обещаний неожиданно объявившихся своих венценосных друзей. Мощная демонстрация Екатери-

ны — переписка с Вольтером, указ о созыве Комиссии по сочинению проекта нового уложения, издание Наказа, материальная поддержка редактора «Энциклопедии» Дидро и многое, многое другое — заставила и Вольтера и Дидро поверить в искренность ее намерений. А поверив, они объявили Екатерину просвещенным монархом и стали возводить ей «алтари в Европе».[1] В 60-х годах и только еще вступавшие на арену общественной деятельности молодые русские просветители Н. Новиков и Д. Фонвизин также с доверием отнеслись к действиям Екатерины. Но их заблуждение длилось недолго, перелом в отношении к новой императрице наступил сразу после закрытия Комиссии — в 1769 году. «Фарса с депутатами» (как определил Пушкин затею Екатерины с Комиссией) многим русским людям помогла отказаться от иллюзий и заблуждений, верно оценить самодержавие Екатерины.

Это обстоятельство изменило характер деятельности русских просветителей: оставаясь по-прежнему на позициях просвещенного абсолютизма, они выдвинули в качестве первоочередной, насущно важной задачи борьбу с правлением Екатерины, разоблачение ее деспотической, антинародной политики. И здесь они неожиданно столкнулись с политической позицией Вольтера и Дидро, которые продолжали поддерживать авторитет Екатерины, раздувать легенду о ней как о просвещенной монархине. Конкретные обстоятельства определили интерес русских просветителей к Павлу, законному наследнику престола, чью власть захватила Екатерина. Вот отчего особенностью деятельности русских просветителей и стало преимущественное внимание к политике.

Если все необходимые отечеству социальные преобразования могут быть осуществлены мирным путем, путем реформ сверху, властью просвещенного монарха, а таким монархом мог быть в реальных условиях России Павел, то, следовательно, главной задачей оказывалась борьба с режимом Екатерины, раскрытие перед обществом гибельности для нации ее самодержавства. Такая борьба,

---

[1] Вольтер сообщал Екатерине о признании ее «республикой философов»: «Дидерот, Даламберт и я созидаем Вам алтари», «ученые мужи будут еще при жизни Вашей боготворить Вас» («Переписка российской императрицы Екатерины II и г. Вольтера». М., 1803, стр. 18, 21).

казалось, практически подготавливала вступление на престол Павла. Только после его прихода к власти встанут на очередь и начнут осуществляться социальные реформы. Вот почему для русского Просвещения характерна разработка прежде всего *политических проблем, участие просветителей в практической политической борьбе, подчинение литературно-публицистической деятельности задаче обличения Екатерины, борьбы с ее властью.* Вопросы философии, экономики, истории, эстетики и многие другие разрабатывались, но они не занимали господствующего места, которое прочно было закреплено за политикой.

Отлично знакомый с учением просветителей, Фонвизин принимает теорию просвещенного абсолютизма и в течение всей своей жизни станет исповедовать ее. Реальные обстоятельства общественной жизни России способствовали тому. Фонвизин выступил как политический писатель в середине 60-х годов. Только к концу десятилетия он увидит рядом с собой новых деятелей, своих союзников и соратников. На кого же могли опереться эти первые просветители? Дворянская ограниченность мешала понять творческий характер революционной энергии народа. В России и на Западе в XVIII веке только один Радищев (и то в 80-х годах) окажется способным преодолеть классовую ограниченность, понять истинную роль народа в историческом процессе, провозгласить народную революцию как единственный путь к свободе и решительно отвергнуть концепцию просвещенного абсолютизма.

Не мог Фонвизин возлагать надежд и на дворянство. Ясность реалистического мышления, острая наблюдательность и отличное знание жизни убеждали его, что русское дворянство, чудовищным и преступным крепостным правом обреченное на паразитизм, морально вырождается, живет эгоистической, животной жизнью, далеко от патриотического понимания своего долга и своих обязанностей, как обязанностей перед отечеством и народом. Монарх — «единственный источник законов» в России — оказывался главной надеждой Фонвизина. Как просветитель, он верил, что всем бедам родины можно помочь изданием хороших законов. Будут хорошие законы — Россия станет вольным и процветающим государством. Значит, следовало принять все меры для воздействия на

монарха. Предание сохранило слова Екатерины, сказанные в раздражении: «Худо мне жить приходит: уж и господин Фонвизин хочет учить меня царствовать!» [1] Эти слова несправедливы по отношению к позиции Фонвизина в 80-х годах, когда он отлично понимал деспотический характер правления Екатерины, но они точно передают его позицию в 60-х годах, когда он действительно сознательно сближался с двором и подчинял всю свою деятельность задаче учить царствовать Екатерину. Делал он это потому, что верил в нее, как верили многие русские люди, как верили Вольтер и Дидро.

Воздействовать на монарха просветитель мог только своими сочинениями. Написав «Сокращение», Фонвизин в течение двух лет трудится над политическими сочинениями, занимаясь пропагандой некоторых близких ему и важных в русских обстоятельствах трудов немецкого юриста-просветителя Иоганна Юсти. Екатерина, готовя свой Наказ, повторяла политическую концепцию Монтескье. Фонвизин не разделял многих взглядов Монтескье, и оттого его внимание привлекли сочинения Юсти, который часто по важным вопросам расходился с прославленным французским просветителем, полемизировал с ним, предлагал иные решения. Фонвизин задумал издать три сочинения Юсти, точнее — три книги, составленные самим переводчиком из различных трудов Юсти: «О правительствах» (3 части), «Полицейская наука» (в 4-х книгах), «Торгующее дворянство» (3 части). Работа над переводом и подготовкой всех трех сочинений к изданию проводилась с середины 1764 по лето 1766 года, то есть в то время, когда писался Екатериной Наказ.

Выполнить подобную громадную работу без материальной поддержки Фонвизин, естественно, не мог. И такая поддержка была оказана Екатериной. К сожалению, пока еще не найден указ императрицы, которым Академии наук предлагалось заключить с Фонвизиным договор на издание всех указанных сочинений и оплачивать по 50 рублей за каждую часть. Найденные в архиве Академии наук расчеты с Фонвизиным по переводу этих сочинений и письма Фонвизина прямо свидетельствуют, что такой договор был заключен и деньги за переводы выплачивались.

---

[1] П. Вяземский. Фон-Визин, стр. 285.

Вот это, ранее нам неизвестное, письмо Фонвизина: «В канцелярию Академии наук доношение. Переведенной мною книги, Юстиево «Торгующее дворянство» называемой, взношу я первую часть, за которую прошу по договору выдать мне пятьдесят рублев, равно как и за прочие две, за каждую по толикому же числу, по вручении манускрипта каждой части. При сем договорился я еще перевести Юстиеву «Полицейскую науку» в четырех книгах, а деньги получать мне за каждую книгу по пятидесяти рублев по вручению манускрипта каждой книги. Титулярный советник Д. Фонвизин. Апреля 10 дня 1766 г.». [1]

В тот же день Иван Тауберт дал распоряжение оплатить первую часть «Торгующего дворянства» и подтвердил необходимость выплаты Фонвизину по пятьдесят рублей за каждую часть других сочинений Юсти. Всего за три сочинения Юсти (10 частей) Фонвизин должен был получить 500 рублей — сумму по тем временам немалую, свидетельствующую, что юного просветителя при дворе ценили и поддерживали.

Первое сочинение Юсти — «О правительствах» — было подготовлено в 1764 году: в феврале 1765 года уже шли переговоры об оплате всех трех частей. [2]

К сожалению, книга до нас не дошла. Есть все документы, свидетельствующие, что Фонвизин перевод сделал, рукопись сдал в канцелярию Академии наук, деньги получил сполна, а из печати она не вышла. Почему? Нам неизвестна точная причина. Возможно, объяснением может служить следующее предположение: познакомившись с книгою, Екатерина увидела, что в ней Юсти широко полемизирует с Монтескье, и в частности — с теми статьями, которые она перенесла в Наказ. А Наказ должен был вскоре выйти из печати и служить руководством депутатам. Издавать книгу, в которой опровергались бы некоторые статьи Наказа, было явно ни к чему.

---

[1] Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 296, л. 279.

[2] «Указ ее императорского величества самодержицы всероссийской. Из канцелярии Академии наук комиссару Степану Зборомирскому по определению оной канцелярии велено иностранной коллегии переводчику Фонвизину за перевод им с немецкого языка на российский данной из Академии книги, называемой Юстиевой «О правителях», состоящей в трех частях, всего сто пятьдесят рублев выдать вам, записав в расход с распискою. Марта 7 дня 1765 года. Иван Тауберт. Секретарь Михайло Гурьев». Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 21, л. 1.

Факт утраты рукописи не может служить основанием для замалчивания данного перевода Фонвизина. Он чрезвычайно важен и для понимания его общественной позиции в 60-х годах и для выяснения путей формирования его просветительских убеждений. Это тем более необходимо, что рукопись «О правительствах», или, как ее именует Тауберт, «О правителях», не есть просто перевод какого-то труда Юсти. У Юсти такого произведения нет. Есть большое сочинение «Die Natur und das Wesen der Staaten, als die Grundwissenschaft, der Staatskunst, der Polizei und aller Regierungswissenschaften» (1760). В некоторых его главах как раз и говорится о различных формах правления, о взаимном долге подданных и правителей. Остальные посвящены совсем иным вопросам. Книга Юсти — большой по объему труд, состоящий из восьми частей. Фонвизин представил в Академию только три части. Видимо, он составил новую книгу, выбрав из сочинения Юсти все, что отвечало его собственным интересам. Решив дать русскому читателю книгу, которая бы учила разбираться в политических вопросах, он должен был, по-видимому, перевести следующие части — пятую, седьмую и восьмую. Пятая, под названием «О разных образах правления», состоит из четырех глав: «О единоначалии», «О многоначалии», «О народоначалии» и «О смешанных правления образах». В седьмой говорится «О содержании верховной власти и подданных между собой». В ней было три главы: «О тесном союзе между правителем и подданным», «О должности подданных к правителю», «О должностях правителя к подданным». Самой большой является восьмая часть — «О существе законов», состоящая из одиннадцати глав («О законах естественных», «О законах политических», «О гражданских законах», «О повреждении законов» и т. д.).

Как показывает вся последующая переводческая практика Фонвизина, его переводы точны. Индивидуальность переводчика проявлялась в отборе материала и в стиле. Фонвизин умел создавать точные и лапидарные определения. Вот почему утраченная книга могла бы блестяще охарактеризовать политические убеждения Фонвизина 60-х годов. Обращение к Юсти хоть немного поможет нам представить круг политических, типично просветительских воззрений Фонвизина в пору его ранней деятель-

ности при дворе Екатерины, в канун созыва Комиссии по сочинению проекта нового уложения.

Юсти подробно разбирает обязанности правителя к подданным: «Правитель должен всегда взирать на соединенную волю народа»,[1] «Правитель не должен собственного хотения своего примешивать к воле народной» (стр. 202). Обязанности правителя излагаются как своеобразные заповеди: «Соединенная государственная воля есть намерение общественного благоденствия, а сие есть и будет посему первейшею правителя должностию» (203); «Государь должен свой народ любить» (205); «Правителю надобно быть справедливу к своим подданным» (208); «Умеренность весьма надобна мудрому правителю» (210) и т. д.

В книге Юсти часто употребляется термин «народ». Ему дается такое определение: «Народ или область вкупе есть весьма одинакое нравственное тело... Верховная власть или правитель и подданные суть наиглавнейшие части народного тела» (175). И еще: «Все одинакие люди, народ составляющие, имеют каждый особливую силу. Соединение всех сих одинаких сил в одну силу есть то, что составляет народное общество и существо верховной власти» (176).

Как же осуществляется механизм взаимоотношений народа и власти? Их объединяет одна цель — добиваться «общего благоденствия». «Воля каждого человека есть хотение благополучия; воля же гражданского общества или всякого народа вообще не может посему иное что быть, как намерение общего благополучия... Таким образом, верховной власти препоручено излагать и в действо производить соединенную волю народа, то правителю не должно иного желать, кроме благоденствия народа или всея области» (203).

Юсти широко декларирует на основе договорного происхождения власти гражданские вольности всех подданных в монархическом государстве. «Невозможно, да и естеству мыслящего существа противно, чтоб оно добро-

---

[1] В 1770 году в Москве в переводе Авраама Волкова вышло полностью сочинение Юсти, которое привлекло внимание Фонвизина, под заглавием: «Существенное изображение естества народных обществ и всякого рода законов». Примеры из Юсти я даю в переводе Волкова, как близкие к эпохе Фонвизина.

вольно покорилося самопроизвольной власти или мучительству. Люди соединяют воли свои, сей соединенной воле послушествуют они, а как соединенная сия воля не инако явиться может, как законами, то и не имеют они другого намерения, как покориться законам. А как долго граждане повиноваться должны для общественного благоденствия учиненным законам, то суть они действительно вольны. Сие есть существенное написание гражданския вольности. И так во всех полагаемых во основание законах государственных долженствует гражданская вольность главным быть намерением» (336). И общий вывод: «Гражданская сия вольность может достигнута быть во всех разных правления образах» (336).

Я уже говорил о полемике Юсти с Монтескье. Приведу один только, но очень примечательный пример. Как известно, Монтескье отличает монархию от деспотии, полагая, что в монархии государь правит на основании каких-либо законов, а в деспотии он властвует «без правил и законов». Юсти решительно заявляет, что для такого разделения нет оснований, так как и в деспотическом правлении есть свои законы. Для Юсти монархия и деспотия являются единой формой правления единоначалия. Деспотизм есть такая же монархия, только там происходит «злоупотребление властью единоначалия», и тогда это будет «насильственное правление».

Подготовка книги «О правительствах», составленной на основе сочинения Юсти, означала желание Фонвизина в канун созыва Комиссии «учить царствовать Екатерину», напоминать ей об обязанностях правителя перед подданными. Вместе с Юсти он глубоко верил, «что разум есть законодатель». Поэтому нравы народные зависят от мудрых законов. Всем сердцем двадцатилетний просветитель желал оказать влияние на монарха и тем самым добиться изменения нравов в своем отечестве, способствовать установлению «всеобщего благоденствия».

Как истый просветитель, Юсти огромную роль в деле осуществления «всеобщего благоденствия» отводит философам, передовым людям в государстве. Мало издать хорошие законы, необходимо еще следить за тем, чтобы они неуклонно выполнялись. Кто же этим может заняться? Юсти предлагает ввести своеобразный институт «поверенных», «слововодцев», которые будут пожизненно назначаться по два в каждый крупный город для того, чтобы

контролировать местные власти. Потому они должны «иметь дерзновение о всем том государю самолично представлять, что они признают противным во основание положенным государственным узаконениям» (99). Свою деятельность писателя Фонвизин рассматривал как деятельность такого добровольного поверенного, который должен «иметь дерзновение» обо всем говорить государю.

Судьба перевода «Полицейской науки» нам неизвестна. Третья работа Фонвизина, связанная с Юсти, — «Торгующее дворянство» — вышла в начале лета 1766 года.

В 1754 году маркиз де Лассе в парижском журнале «Mercure de France» напечатал статью, в которой, высоко оценив полезную для государства деятельность купечества, выступил против разрешения дворянам торговать. Аббат Куайе, ненавистник дворянства, в 1756 году выпустил книгу «Торгующее дворянство, противуположенное дворянству военному», направленную против статьи де Лассе. Немецкий юрист и экономист Юсти перевел статью де Лассе и ответ на нее — книгу Куайе, снабдив свой перевод предисловием и примечаниями. Фонвизин, ознакомившись с книгой Юсти, перевел и сочинение аббата Куайе и предисловие Юсти. Критика паразитизма французского дворянства, его нравов, представлений о чести, службе и т. д. была близка Фонвизину. Его перевод имел актуальное значение, поскольку прямо относился и к русскому «благородному сословию».

Выбор и перевод «Торгующего дворянства» также определялся политическими обстоятельствами. Полагая, что в государстве все сословия должны заниматься общеполезной деятельностью, что у каждого есть свои обязанности перед отечеством, Фонвизин и хотел пропагандировать мысль о необходимости дворянству заняться нужным и крайне полезным в то время для России делом — торговлей. Это было необходимо тем более, что Екатерина, повторяя мнение Монтескье, решительно выступила в Наказе против того, чтобы дворянство занималось торговлей. Связанный с Елагиным, Фонвизин мог знать точку зрения Екатерины по данному вопросу. Так как речь шла о Наказе депутатам, то есть о выработке нового законодательства, то цель Фонвизина становится ясной: он хотел вынести на общественное обсуждение другое решение важной проблемы — о занятиях, обязанностях и долге «благородного» русского сословия.

Служба при дворе нужна была Фонвизину для осуществления его просветительских планов. Но она докучала ему, связывала, отнимала много времени, мешала творчеству. И все же, кроме переводов политических, Фонвизин успевал в это время заниматься и переводами художественных сочинений. В частности, он подготовил новое издание басен Гольберга, переделал пьесу Грессе «Сидней», которая под названием «Корион» с успехом была сыграна в 1765 году на сцене придворного театра.

Особый интерес представляет работа над вторым изданием басен Гольберга. Учитывая успех первого издания, Фонвизин, готовя новое, дополнил книгу переводом сорока двух басен. Из них одна — «Пан делает учреждение» — представляет особый интерес. В басне зло высмеивалась претензия благородных зверей занимать господствующее положение в лесном царстве, провозглашался просветительский принцип, что не порода и происхождение, а лишь заслуга перед обществом отличает человека. Содержание басни таково: звери и птицы «самого знатного класса» — львы, барсы, слоны, орлы и ястребы — возмутились тем, что «самые малые» настаивают на равенстве с ними, и обратились к Пану с просьбой издать табель о рангах, из которого «малые звери» узнали бы, какие почести они обязаны воздавать «благородным тварям». Пан, выслушав благородных, не поддержал их, а взял сторону «нижайших» тварей и издал «учреждение» — закон, который устанавливал новый принцип разделения зверей и птиц на классы. В «учреждении» было записано: «Давать старшинство не по природе, а по внутреннему достоинству, добродетели и прилежанию, через что приносят они людям истинную пользу» (I, 388).

«Учреждение» произвело революцию в лесном государстве. В первый класс попали: пчелы, овцы, коровы, лошади, козы; во второй — верблюды, быки, потому что все они «великую приносят пользу» — «кормят и одевают человека», «работают». Кто же попал в пятый, последний класс? Во-первых, все «благородные» твари, доказывавшие свои права на господство, — львы, тигры, барсы, орлы, ястребы, — и, во-вторых, крысы, мыши, змеи, клопы... Все эти звери, насекомые и птицы пятого класса уравнивались на том основании, что «проводят жизнь свою или совсем бесполезно, или еще и вредно».

Басня, включенная в сборник, который выходил накануне созыва Комиссии по сочинению проекта нового уложения, становилась, безусловно, актуальной. Фонвизин предлагал свое «учреждение» — в нем господствовало истинно просветительское отношение к человеку, записаны были требования улучшить положение тех, кто «работает», «великую приносит пользу», «кормит и одевает», решительно осуждено дворянство за паразитический образ жизни.

Следует отметить, что, переводя басню, Фонвизин кое-что в ней переменил. Изменения эти примечательны. Приведу только некоторые из них. Прежде всего Фонвизин изменил заглавие: в немецком оригинале — «Пан определяет ранги», у Фонвизина — «Пан делает учреждение». В оригинале: «Так называемые благородные звери не могли вынести, что самые малые настаивают на равенстве с ними». Фонвизин перевел это место иначе: «Звери, приписывающие себе по силе своей первенство, не могли терпеть того, что нижайшие хотят с ними равняться» (I, 387). Как видим, поправка небольшая, но существенная. Она — свидетельство отличного понимания Фонвизиным происхождения прав дворянства. Права эти не есть награда за услуги отечеству, воздаяние почестей потомкам за славные дела предков. Первенство и права в обществе захвачены дворянством силой — вот на что намекал Фонвизин своим переводом.

Служба у Елагина была хлопотливой и отнимала много времени. Помимо непосредственных дел (исполнение поручений Елагина, ведение служебной переписки, приготовление переводов), Фонвизин, как состоящий на службе при дворе, обязан был посещать дворцовые куртаги, маскарады, присутствовать на официальных парадных приемах, на торжественных спектаклях. В зависимости от местопребывания Екатерины, Фонвизин жил то в Петербурге, то в Царском Селе, то в Петергофе.

Придворная жизнь тяготила Фонвизина. Его письма к сестре в Москву наполнены жалобами: «Сегодня при дворе маскарад, и я в своей домине туда же поплетусь»; «скучно»; «вчера я был на куртаге, и, не знаю что, стало мне так грустно, что я, не дождавшись конца, уехал»; «с куртага приехал домой смущен»; «народу было пре-ужасное множество; но клянусь тебе, что я, со всем тем,

был в пустыне. Не было почти ни одного человека, с которым бы говорить почитал я хотя за малое удовольствие». Общий вывод категоричен: «В свете почти жить нельзя, а в Петербурге и совсем невозможно». В другом письме Фонвизин уточнил свою мысль: «Честному человеку жить нельзя в таких обстоятельствах, которые не на чести основаны» (II, 331, 324, 338).

Письма к родным далеко не полно характеризуют петербургскую жизнь Фонвизина. Причина тому — осторожность писателя. По разным обстоятельствам он не мог писать все. Не мог, в частности, и потому, что родные, хорошо зная изменчивость и превратность судьбы царских любимцев, когда прослышали о его придворных связях, стали заклинать сына не заниматься «политикой». Фонвизин стал более сдержанным. В одних письмах он прямо сообщает, что не станет писать обо всем подробно, потому что «боится выговоров». Правда иногда прорывалась, и он сообщал: «В субботу зван обедать к графу Ф. Г. Орлову, и едем также кататься в Царское Село». Но тут же спохватывался и успокаивал: «Только вы меня очень застращали. Может быть, и откажу» (II, 325).

Так продолжалось до конца 1766 года. Фонвизин завоевал себе уважение при дворе. К нему относились не как к секретарю Елагина, а как к даровитому писателю. Смелость суждений, глубокий ум, насмешливость и остроумие — все это создавало Фонвизину, поэту-сатирику, начинающему драматургу и популярному переводчику, особое, независимое положение. Его знакомства искали. Постоянное пребывание при дворе позволило писателю хорошо узнать Екатерину, понять ее политику, увидеть многочисленные дворцовые интриги, от которых, в конечном счете, зависело положение подданных. Наступал 1767 год — год издания Наказа, выборов депутатов в Комиссию по сочинению проекта нового уложения, открытие заседаний Комиссии в Москве. Следующий — 1768 — год прошел под знаком работы Комиссии и крупных, всколыхнувших все общество политических споров. Что делал в это время Фонвизин? Каково его отношение к важнейшим политическим событиям в России? Мог ли он, активно действовавший просветитель, оставаться в стороне?

В научной литературе о Фонвизине мы не найдем ответа на эти вопросы. Исследователи с каким-то удивитель-

ным равнодушием проходят мимо этих двух лет жизни Фонвизина. А пройти мимо них нельзя хотя бы потому, что сразу после «пропавших» в биографии Фонвизина двух лет весной 1769 года появился «Бригадир». Что же предшествовало ему? Какой опыт жизни — личной и общественно-политической — подсказал и определил создание первой, воистину русской комедии? Необходимо произвести разыскание и постараться выяснить, что делал Фонвизин в эти два года. Но прежде чем заняться данными разысканиями, следует вернуться назад и рассказать о работе Фонвизина-драматурга, которая протекала параллельно с деятельностью политического писателя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ПУТИ К ОРИГИНАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

В 1760 году директор Московского университета повез в столицу лучших учеников для представления их куратору И. И. Шувалову.[1] Среди «избранных» оказался и Фонвизин. На приеме у Шувалова Фонвизин увидел Ломоносова. Во время пребывания в Петербурге он попал на спектакль и был захвачен театром. «Но ничто в Петербурге так меня не восхищало, — свидетельствует Фонвизин, — как театр, который я увидел в первый раз от роду. Играли русскую комедию, как теперь помню, «Генрих и Пернила» (комедия Гольберга в переводе Нартова. — *Г. М.*). Тут видел я Шумского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал изо всей силы. Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно».

Первые впечатления от театра определили судьбу Фонвизина. По возвращении в Москву он имел возможность посещать спектакли театра Локателли, в котором играла и университетская труппа с 1759 года. В то же время он начал свой новый перевод; на этот раз его внимание привлекла не проза, а драматургия — трагедия Вольтера «Альзира».

Свободомыслие воспитанника Московского университета сказалось уже в самом выборе трагедии Вольтера — ему оказалась близкой та, в которой обличался христиан-

[1] К. В. Пигарев убедительно доказывает, что поездка Фонвизина в Петербург относится к началу 1760 года (см.: «Творчество Фонвизина», стр. 45—47).

ский фанатизм, раскрывалась гибельность для человека церковно-религиозной морали. Вольтер утверждал, что жители Перу, язычники инки, более гуманны и человечны, чем их завоеватели — испанцы-христиане. Но сюжет трагедии — Альзиру, дочь местного князя Монтеза, любящую свободолюбивого инка Замора, принуждают выйти замуж за нелюбимого правителя Перу, жестокого тирана Гусмана — развивал и другую тему. Автор отстаивал свободу чувства, право человека на счастье.

Перевод трагедии не был удачей начинающего драматурга. Он характеризует лишь исходный момент идейного развития Фонвизина. Художественную беспомощность перевода вряд ли можно объяснить тем, что переводчик еще не обладал необходимым опытом. В это же время им был сделан на высоком художественном уровне перевод басен Гольберга. Видимо, дело в другом. Прежде всего ошибочен был выбор жанра. Фонвизин обладал огромным самобытным талантом комического писателя. Он удивительно остро умел видеть смешное в жизни и тонко, со скульптурной выразительностью и лаконизмом, запечатлевать смешное в слове, в жесте, в поступках человека. Трагическое не разжигало в его душе нужного творческого огня. Очевидно, внутренняя холодность и не позволила вдохнуть жизнь в переводимую трагедию. Мешали Фонвизину и стихи — он не был поэтом, хотя и пытался пробовать свои силы в поэзии. Оттого перевод, лишенный поэтической свободы и вдохновения, оказывался часто буквальным или в лучшем случае профессионально грамотным, не больше. Видимо, сам Фонвизин впоследствии ясно понял причину своей первой неудачи. Во всяком случае, он не издал «Альзиру» и не включил ее в подготовленное им в 80-х годах полное собрание своих сочинений и переводов.

Гораздо большее значение для его будущей драматургической работы имел перевод басен Гольберга, о котором уже упоминалось выше. Басня, или, как ее в XVIII веке называли, «малая комедия», близка к драматическим жанрам. Вот почему, переводя басни и приурочивая их к русским нравам, Фонвизин оттачивал мастерство диалога, учился раскрывать характеры героев через выразительную, социально окрашенную речь.

Интерес к театру, к русской драматургии с особой силой проявился у Фонвизина в пору службы у Елагина.

Елагин любил театр, занимался переводами комедий, сам переложил на русские нравы комедию «Русский-француз», приблизил к себе и сделал своими секретарями двух начинающих драматургов — Лукина и Фонвизина, оказывая им покровительство. В январе 1766 года Елагин был назначен «главным директором над спектаклями и музыкой при дворе». Вместе с двумя своими секретарями он стал непосредственно заниматься делами русского театра, определяя пути его развития.

Наступил второй этап в жизни русского театра и русской драматургии. В этот период значительную роль сыграли сначала комедии Лукина, а потом комедии Фонвизина. Первый этап — с конца 40-х годов до 1765 года — связан прежде всего с деятельностью Сумарокова и его школы, с победами русского классицизма в литературе и театре. Приход в театр Фонвизина совпадает с началом общего штурма эстетической системы Сумарокова, с концом гегемонии его школы. Вот почему необходимо кратко охарактеризовать значение, роль и судьбу классицизма в русской литературе и театре.

Классицизм зародился во Франции в XVII столетии. То было время расцвета феодально-абсолютистского государства. Абсолютизм кончал с феодальной раздробленностью, помогал созданию мощного национального государства. Тогда-то и сформировался классицизм как направление, способствовавшее созданию большого общегосударственного национального искусства. В условиях борьбы со всяким «своеволием», строжайшей государственной дисциплины и жесточайшей регламентации всех форм политической и общественной жизни классицизм выдвинул культ гражданских добродетелей, требуя от человека отказа от всех личных чувств и желаний во имя высших государственных интересов. Новая философия той эпохи, сформировавшая рационалистический метод познания действительности, провозглашавшая величие человеческого разума, единственно способного постичь истину, помогала формированию эстетики классицизма.

Освободившись от теологических представлений о человеке, художники эпохи классицизма силою творящего разума создали идеальную личность. Рожденный воображением идеальный характер как воплощение всего истинно прекрасного как бы отрывался писателями от времени и условий своего существования. Но то было

иллюзией. В действительности на выработку этого идеала решающее влияние оказывали условия социального бытия художника в феодальном обществе — идеальные герои великих писателей французского классицизма были, в сущности, списаны с придворных.

Общественное и частное значение человека в феодальном государстве определялось в конечном счете его сословной принадлежностью, а не индивидуально-неповторимыми чертами личности. Подобный взгляд обусловливал и выбор героев для искусства. Ими могли быть только люди благородного происхождения. Но и дворянин представлял интерес для поэта-классициста не со стороны своей неповторимости и несхожести с другими людьми. Единственной ценностью являлось государство, поглощающее личность. Истинность, красота, реальность человеческого характера для классицизма — в его строжайшем следовании нормам и законам, продиктованным разумом. Так устанавливалось как бы существование двух миров, в которых жил человек, — эмпирический (чувственный) и разумный. В одном жили те, кому в силу низкого происхождения неведомы были идеалы высокого, разумного существования, или те из благородных, кто нарушал эти нормы, в другом — те, кто строил свою жизнь в соответствии с идеалами. Отсюда родилось эстетическое противопоставление высокого и низкого, трагического и комического, которое послужило основанием для деления литературы на жанры.

Чувственная практика человека, мир действительный, реальный могли находить в какой-то мере свое выражение в низких, комических жанрах (комедия, басня, ироикомическая поэма). В высоких жанрах лирической поэзии, и полнее всего в трагедии, выступала разумная, абстрагированная, отвлеченная действительность. Тем самым человек оказывался оторванным от обстоятельств своей жизни, от реальных условий бытия, от всего того, что воспитывало и формировало его убеждения, интересы и поступки. Классицизм демонстративно помещал своего героя в отвлеченные обстоятельства. Так, в трагедии, например, действие обычно происходило в давние времена, сцена изображала условный архитектурный пейзаж, повторявшийся из спектакля в спектакль, из пьесы в пьесу: колонны, своды некоего дворца. Это было нужно, чтобы художник мог сосредоточиться на раскрытии логики

чувств, чаще всего на анализе подавления страстей и торжества долга. Интерес к внутреннему миру человека, пропагандировавшийся классицизмом, имел большое значение для искусства. Но в силу своей антииндивидуалистичности классицизм оказался неспособным в анализе духовного состояния героя раскрывать мир живой личности.

Классицизм требовал правды от искусства, верности природе. Но то была не эмпирическая правда, правда живой стихийной жизни, а правда высокая, разумная, логически организованная, правда *должного*, а не *сущего*.

Искусство классицизма антииндивидуалистично. Потому дух дисциплины, борьбы с личностью автора, его произволом определял и необходимость создания нормативной поэтики. Она регламентировала и подчиняла волю писателей правилам. Регламентировался весь творческий процесс.

Вся литература делилась на жанры. За жанром закреплялся определенный материал произведения. Разграничивалось понятие комического и трагического, отделялись стихотворные жанры от прозаических. Особенно строго регламентировались драматические жанры. Поэзия превращалась в науку.

Русский классицизм возник как исторически необходимое явление, отвечавшее жизненно важным, назревшим потребностям. Оттого он и определил развитие поэзии и драматургии, сделал литературу активной выразительницей своего времени, участницей великого дела просвещения отечества. Особо велики заслуги перед литературой Ломоносова, определившего ее содержание, темы и задачи. Ломоносовская поэзия свидетельствовала, что главная тема русских писателей — патриотическая любовь к отечеству, забота о благе и процветании России.

Первые драматические сочинения для вновь созданного театра писались именно в этой атмосфере борьбы за гражданственность литературы. И театр в России с первых своих шагов стал школой гражданского воспитания, высокой кафедрой, с которой проповедовались идеи общественного блага и патриотического служения отечеству.

Два жанра — сатира и ода — благодаря опытам Кантемира и Ломоносова получили наибольшее развитие. Перед русской литературой открывались широкие возмож-

ности дальнейшего расцвета. Она была оплодотворена великими идеями, располагала энергичным и звучным тоническим стихом и, освобожденная от монополии церковнославянизмов, опиралась на богатства русского языка. Эта традиция была подхвачена и развита в следующие десятилетия. Практически были подготовлены условия для рождения национальной драматургии. Огромная роль в развитии русской трагедии и комедии принадлежит А. П. Сумарокову, выступившему в конце 40-х годов, и созданной им школе, развернувшей свою деятельность уже в 50-х годах.

Творчество Сумарокова, директора первого постоянного театра, ведущего и самого плодовитого драматурга, естественно занимает центральное место в 50-х годах. Один из энергичных идеологов русского дворянства, Сумароков стоял на враждебных Ломоносову-просветителю позициях. Не интересы народа, а права дворянства, не пафос строительства национальной русской культуры, а энергичное создание рафинированной культуры господствующего класса, культуры, которая должна соответствовать высокой политической роли в самодержавном государстве российского «благородного сословия», — вот что вдохновляло Сумарокова. Но было бы ошибкой не видеть, что объективно огромная практическая деятельность Сумарокова, поэта и драматурга, выходила часто за узкие рамки и задачи, которые ставил перед собой Сумароков-политик. Исторически дело складывалось таким образом, что долгое время главными деятелями русской культуры, русского общественного движения были дворяне. Создаваемая ими в XVIII веке литература, обслуживая интересы своего класса, в лучших своих образцах выражала и общенациональные интересы, входила в сокровищницу развивавшейся русской культуры.

Сумароковская школа закрепила успехи, достигнутые на предшествовавшем этапе развития, учла победы Кантемира, Тредиаковского и Ломоносова, практически обеспечив расцвет прежде всего поэзии и драматургии. В 50-х годах помимо Сумарокова активно работали Херасков и Ржевский. В следующее десятилетие сумароковская школа, пополнившись новыми именами, стала определять облик и драматургии и поэзии.

Из девяти написанных Сумароковым трагедий шесть — «Хорев», «Гамлет», «Синав и Трувор», «Артистона»,

«Семира», «Димиза» — были написаны в период с 1747 по 1758 год. Они-то и сыграли решающую роль в формировании русского трагического репертуара. Поставленные театром, они служили для молодых драматургов образцом. Силой своего авторитета Сумароков надолго определил круг тем и политическую проблематику складывающейся русской трагедии, поэтику драматического повествования и метод изображения человека в театре.

Современники очень высоко оценили общественную заслугу Сумарокова, как одного из основоположников русского театра.

«Основатель российского театра, — писал автор журнальной заметки о Сумарокове, — услужил он тем России больше, нежели Корнелий Франции... ибо Корнелий исправил и возвысил своими прекрасными произведениями французские позорища, а г. Сумароков создал и, не имея предшественников, дал вдруг восчувствовать сие наиблистательнейшее и трудное творение разума человеческого».[1]

Творческая практика Сумарокова-драматурга закрепила победу классицизма в театре. Используя достижения великих французских драматургов XVIII века, молодой, крепнущий, набирающий силы русский классицизм в то же время не был сколком с западноевропейских образцов. Условия общественно-политического развития России, национальные традиции и, наконец, время наложили на него свою неповторимую печать, определили его политическое и эстетическое своеобразие.

Одной из особенностей русского классицизма явилось развитие в нем сатирического направления. Сумароков создает русскую басню, определив ее дальнейший расцвет. Драматургический талант поэта проявился и в баснях — каждая из них представляет небольшую драматическую сцену. «Басня есть малая комедия, — писал Александр Лабзин, — все различие их в том, что в оной звери бывают разумны, а в сей люди часто глупей скотов и, что еще хуже, злее зверей».[2]

Одновременно с басней — «малой комедией» — Сумароков писал «большие» комедии. Цель комедии, по Сума-

---

[1] «Санкт-петербургский вестник», 1778, ч. 1, стр. 39—40.

[2] Предисловие А. Л. (Александра Лабзина) к книге «Фигарова женитьба». М., 1787, стр. XI.

рокову, — «издевкой править нрав». Стараясь обличать ненавистные ему пороки, комедиограф обращал внимание на явления «низменные», на реальную практику людей. Первая группа комедий относится к 1750 году — «Тресотиниус», «Чудовища», «Пустая ссора» («Ссора у мужа с женою»). Современный исследователь драматургии Сумарокова приходит к выводу: «Интрига в комедиях 1750 года несложна; количество действующих лиц — довольно большое. Как и полагалось в большинстве классических комедий, неудачное сватовство является основной линией развития сюжета. В центре стоят «положительные» герой и героиня, браком которых завершается комедия; им противопоставлен отрицательный претендент или несколько претендентов; обязательны родители невесты или по крайней мере отец ее; слуги «любовников» или слуга хозяина дома, подьячий... являются также обязательными персонажами». «Да и в самом выборе имен имеется своя система. «Любовник», отец невесты, друг «любовника», служанка, слуга, то есть персонажи, хорошо знакомые придворному зрителю по французским комедиям и по итальянским интермедиям, получают имена из классической французской комедии — Дорант, Валер, Октавий, Клариса, Оронт, Финета, Тирса, Эраст, или из итальянских интермедий: Арлекин, Пасквин».

Справедливо заключение: «Как ни схематичны и художественно несовершенны комедии 1750 года, но они положили начало дворянской русской комедии. Не ставя в комедии больших проблем, в противоположность Фонвизину и Капнисту, выступившим, правда, позднее со своими произведениями, Сумароков все же наметил основные объекты сатиры дворянской комедии... (петиметры и «вертопрашки», подьячие-взяточники, ловкие слуги и т. д.)».[1]

В течение четырех десятилетий классицизм был господствующим литературным направлением. С середины 60-х годов положение начало меняться. Все менее могла

---

[1] П. Н. Берков. А. Н. Сумароков. — Сб. «Русская драматургия». Л. — М., «Искусство», 1959, стр. 113—114. См. также: А. Косман. Комедии Сумарокова. — Ученые записки ЛГУ, серия филологических наук, № 33, вып. 2, 1939; Б. П. Асеев. Русский драматический театр XVII—XVIII вв. М., «Искусство», 1958, стр. 122—138.

отвечать требованиям времени литература классицизма. Писатели-просветители и писатели-разночинцы стали искать иных путей в искусстве. Развертывавшаяся общественная борьба предъявляла новые требования и к писателям-классицистам. Начинался кризис классицизма. Сохраняя ведущую роль в литературе и театре до конца века, классицизм в то же время резко менял свой былой облик. В тех же 60-х годах в поэзии и драматургии стали появляться произведения, написанные с враждебных нормативной поэтике позиций.

Начиная с 60-х годов просветители направляли внимание писателей на самые больные стороны общественных отношений России: положение крепостного, паразитическую жизнь дворянства, произвол и беззакония представителей местной и центральной власти, деспотические действия самодержавной императрицы. Развивать сатиру в тех конкретно-исторических обстоятельствах значило не только повышать общественную активность и боеспособность литературы и театра, но и способствовать их сближению с действительностью. Отстаивание интересов народа направляло внимание поэтов и драматургов к условиям его жизни, его быту, культуре. Беспрестанно расширялось идейное содержание литературы, и это не могло не вызвать обновления форм и поэзии, и драматургии, и прозы, пересмотра правил классицизма.

Возникнув на почве сословной феодальной идеологии, классицизм был явлением глубоко прогрессивным для своего времени. Разработанный им художественный метод и богатство жанров способствовали, по сравнению с предшествовавшим этапом, несравненно более широкому охвату жизненного материала литературой. Высокие жанры — трагедия, ода, героическая поэма — рассматривали человека со стороны его отношения к обществу и государству. Они выполняли воспитательную функцию, учили смирять личные чувства во имя общего, поднимали человека до подвига, воспитывая мужество и верность долгу.

Средние жанры — элегии, песни, стансы, анакреонтические оды — рассматривали человека со стороны его частного бытия. В стихах этих жанров описывались те или иные возможные состояния человека или возможные отношения между людьми (любовь, дружба, разлука, счастье, смерть и т. д.). И здесь классицизм, показав

относительное богатство состояний человеческого духа, также воспитывал читателя, ибо учил культуре чувства.

Но в самой эстетической системе классицизма таилось глубокое и роковое противоречие. Как и всякое искусство, классицизм был призван отражать жизнь. Эстетический же кодекс классицизма ставил между писателем и окружающей его действительностью преграду в виде правил. Правила заставляли строго отбирать материал, и многое оказывалось за бортом, лишалось права на свое воплощение. Реальная человеческая практика, жизнь общества представали в «очищенном», идеальном виде. Человек и общество в их литературном воплощении лишались присущего им в действительности богатства, сочности, яркости, сложности и противоречивости. В искусстве господствовали схема, логически холодная мысль, математическая отрешенность от жизни.

Участие в политических и социальных событиях, общественная практика, условия социального бытия беспрестанно обогащали писателя, способствовали быстрому накоплению жизненного материала, который не мог находить свой исход в главных и ведущих жанрах. В этих обстоятельствах определилась особая роль «низкого», сатирического жанра в русской литературе. Правила предусматривали — правда, крайне ограниченно, но все же предусматривали — проникновение «низкой» действительности, реальной практики людей в басню, в комедию, в ирои-комическую поэму. Высокие жанры оказались наиболее отдаленными от жизни, поскольку живая практика людей, как низкая, «грязная» действительность, не могла быть в них изображена.

Низкие жанры, и прежде всего комедия, прямо и непосредственно испытывали на себе «штурм» действительности, поскольку правила разрешали изображать кое-что из этой «низкой» действительности, правда с определенным пренебрежительным отношением к ней. В комедиях правила меньше мешали художнику еще и потому, что в них можно было обращаться к живой речи народа, к его пословицам. А в пословицах, по словам Гоголя, «уже в самом образе выраженья... отразилось много народных свойств наших».[1] Тем самым драматурги оказывались

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. М., изд-во АН СССР, 1952, стр. 392.

способными передавать поступки и поведение русского человека в какой-то мере национально обусловленными, ярче и определеннее рисовать картины русской жизни.

Чем интенсивнее шло вторжение реальной действительности в литературу и театр, тем значительнее с каждым годом оказывался этот прорыв в нормативной поэтике.

Политическая и социальная борьба определила и разделение между писателями передового лагеря и дворянскими деятелями по вопросам эстетическим. В конечном счете просветители отказались от классицизма и выработали новую эстетику, которая пробивала дорогу реализму и народности. То была сложная и противоречивая работа. Не сразу находились нужные поэтические формы для нового содержания. Вот почему богатый опыт классицизма, созданные им традиции еще долго использовались литературой новых идей вообще и драматургией в частности.

Развитие в России Просвещения подорвало монополию собственно дворянской идеологии. В те же 60-е годы происходит оформление и других антидворянских течений. В литературе появляются разночинцы (Чулков, Попов), все активнее начинает звучать голос представителей молодой буржуазии. Новую литературу интересовала реальная жизнь с ее противоречиями, окружающий человека своеобразный, неповторимый быт, демократический герой, его судьба, его горести и его стремление к счастью. Рационалистическая поэтика классицизма, как уже говорилось выше, мешала воплощению нового содержания. Оттого сложение новой эстетики «действительной живописи», которая развивалась в направлении реализма, сопровождалось борьбой с классицизмом. Борьбу вели и писатели-просветители и писатели демократического лагеря. Уже в 60-х годах начинает меняться облик литературы: главное место занимает проза. Пишутся романы, в многочисленных журналах появляются произведения различных прозаических жанров (письма, очерки, путешествия и т. д.). В драматургии все большее место начинает занимать прозаическая комедия.

Служба у Елагина сблизила Фонвизина с кругом литераторов, во главе которых стояли Елагин и Лукин. Фонвизинский интерес к театру приобрел благодаря этому

практический характер, писатель оказался в центре борьбы за демократизацию драматургии.

Значительным событием в театральной жизни 60-х годов было появление комедий новых драматургов — В. И. Лукина, Б. Е. Ельчанинова и И. П. Елагина. Огромная работа Сумарокова и его школы по созданию репертуара для театра все же не могла полностью удовлетворить запросы жизни. Из года в год росла потребность в новых комедиях. Чтобы удовлетворить спрос, заказывались многочисленные переводы. На сцену хлынул поток развлекательных (главным образом французских) комедий, переведенных не писателями-профессионалами, а любителями театра — дилетантами.[1] Переводная развлекательная комедия не очень пришлась по вкусу русским зрителям, среди которых с каждым годом появлялось все больше разночинцев. При этих обстоятельствах и определилась эстетическая позиция новых молодых драматургов. Они стремились не забавлять, а воспитывать зрителя, обращая его внимание на реальные пороки русской жизни и русских людей.

Лукин в 60-х годах пишет несколько комедий: «Мот, любовью исправленный», «Пустомеля», «Награжденное постоянство» и, наконец, «Щепетильник». Ельчанинов создает комедии «Награжденная добродетель» и «Наказанная вертопрашка». Все эти драматические сочинения, объединенные единством эстетических позиций, противостояли комедиям Сумарокова. Авторы решительно объявляли, что хотят показывать именно русскую действительность, изображать жизнь и быт русских людей. Эта ориентация на сближение театра с жизнью, несомненно, была прогрессивной.

Наиболее значительной для театра оказалась деятельность Лукина. Он поставил задачу демократизации театра, создания своего, национального репертуара. Но избранные им пути решения этой важнейшей задачи противоречили замыслу. И Лукин и другие драматурги его круга, видя засилье в русском театре переводных пьес (что объяснялось как идеологической позицией дворянства, так и младенческим состоянием русского театра), выступили против этого явления и, ратуя за национальную

---

[1] См. об этом подробнее в книге П. Н. Беркова «В. И. Лукин». М. — Л., «Искусство», 1950, стр. 25—29.

драматургию, объявили необходимым «склонять их (чужие пьесы. — *Г. М.*) на русские нравы». Рассматривая театр как средство воспитания, Лукин заявлял: «Мне всегда несвойственно казалось слышать чужестранные речении в таких сочинениях, которые долженствуют изображением наших нравов исправлять не столько общие всего света, но более участные нашего народа пороки». [1]

Так возникли комедии, переложенные на русские нравы. Переделка не была радикальной — герои получали русские имена, в тексте появлялись названия русских городов, изображались отдельные русские обычаи, в других случаях обличались конкретные «русские пороки». Комедия Ивана Елагина «Русский-француз», например, являясь «склонением на русские нравы» комедии Гольберга, обличала галломанию русских дворян. Сюжет гольберговской комедии очень подходил к этому — молодой датчанин, побывав в Париже, возвращался на родину ярым французоманом.

Идейная позиция драматургов, подобных Лукину, несомненно была компромиссной. Она отражала новые явления русской жизни, формирование в России буржуазной идеологии. Молодая русская буржуазия, не ведя политической борьбы с дворянством, не воевала и с дворянским искусством. Она лишь считала, что наряду с существующим дворянским искусством должно быть искусство, обслуживающее и выражающее ее интересы. Так появились в 60-х годах романы Эмина, Комарова и др.

Несомненно, развитие капитализма в России в XVIII веке имело важное значение. Появившаяся буржуазия стала создавать свою идеологию, которая все же была относительно прогрессивной уже в силу своего антифеодального, антидворянского, хотя и очень умеренного, содержания. Но, не будучи вожаком крестьянских масс, буржуазия не стояла в авангарде идеологической борьбы, не являлась борцом за подлинный демократический и революционный переворот. Вот почему буржуазные писатели России, такие, как Эмин, Лукин, позже — Плавильщиков и другие, очень робко поднимали антикрепостнические темы, стоя в общеидейной борьбе на более правых

---

[1] Сочинения и переводы Владимира Лукина, ч. 2. СПб., 1765, стр. V.

позициях, чем писатели-просветители — Новиков, Фонвизин, Крылов, не говоря уже о революционере Радищеве.

Непоследовательность Лукина в осуществлении своего намерения содействовать демократизации театра не должна помешать объективно оценить проделанную им работу. Лукин печатал свои комедии, снабжая их предисловиями, в которых отстаивал принципы содержательной драматургии, обращался к драматургам с патриотическим призывом воссоздавать «русский характер», изображать жизнь не знатных и чиновных, а простых людей. Нельзя забывать и того, что его комедии, с успехом шедшие на сцене, формировали вкус не только зрителей, но и начинающих писателей.

Изображение «русского характера» являлось исторически наиболее важной задачей, которая вставала перед всей литературой, и в частности — перед драматургией. Так был сделан новый, еще очень робкий шаг по пути сближения искусства с действительностью.

Фонвизин в те же годы испытал свои силы в драматургии. Связанный с Лукиным и Елагиным, он также займется «склонением на русские нравы» иностранных сочинений. Его выбор пал на драму Грессе «Сидней». Вскоре театру была передана стихотворная комедия «Корион». «Склонение» началось с перенесения действия в Россию — дело происходит в Подмосковье. Появились упоминания о русских делах — производство в чины, увеселения в Москве и т. д. Имена полностью не были русифицированы, только слуга имел действительно русское имя — Андрей. Героиню звали Зиновия, а два главных героя получили имена, заимствованные из античной драматургии, — Корион и Менандр.

Все в «Корионе» было чуждо русской жизни, русской действительности. Наивен и условен сюжет: Корион, когда-то обманувший любящую его Зиновию, после ее отъезда из Москвы раскаивается, бросает службу, приезжает к себе в имение для того, чтобы покончить с собою. Преданный слуга Андрей с завидной легкостью растраивает замысел своего барина, отыскивает Зиновию и соединяет счастливых влюбленных.

Фонвизин, видимо, уже тогда начинал понимать, как глубоко чужд русским условиям жизни и этот сюжет и этот вездесущий слуга-делец, как условна в комедии стихотворная речь. Поэтому «склонение на русские нравы»

не вызывало у Фонвизина особого энтузиазма. Приступить к созданию оригинальных комедий драматург еще не мог. Но яркий комический дар писателя позволил ему сентиментальную драму Грессе превратить в веселую комедию. Условное страдание влюбленных, и в частности — страдание Кориона, стало объектом едкой насмешки. Несомненной удачей явился образ слуги Андрея: он не столько предприимчив в соответствии с традицией буржуазной драматургии, сколько по-фонвизински насмешлив и смышлен. Он снисходительно относится к своему барину, отлично понимая, что страдание его — игра, дань моде, которая, как всякая мода, заморского происхождения. Андрей, занимая центральное место в комедии, ведет действие, устраивает судьбу героев, произносит большие монологи, в которых высказывает свой взгляд на вещи. Он начинает и кончает комедию. И притом как кончает! После драматических перипетий Кориона и Зиновии (Корион принял яд и прощается с возлюбленной, но оказывается, что Андрей вместо яда дал барину стакан чистой воды) комедия заканчивается издевательской сентенцией слуги:

Не должно никогда так светом нам гнушаться:
Мы видим, каково со светом расставаться.
Хоть в жизни много нам случается тужить,
Однако хочется подолее пожить (I, 43).

Насмешливость Андрея, его философствование, его ирония близки оригинальному сатирическому произведению Фонвизина — «Посланию к слугам моим».

Первые опыты поэтического творчества способствовали переходу Фонвизина к работе над оригинальной русской комедией. Во второй половине 60-х годов Фонвизин пишет две комедии — «Недоросль», незавершенную пьесу, посвященную проблемам воспитания (так называемая ранняя редакция «Недоросля»), и «Бригадир».

«Недоросль» 60-х годов интересен прежде всего тем, что в нем, собственно, впервые в сценической форме стали воплощаться непосредственные авторские впечатления, личные наблюдения над реальной русской действительностью.

До сих пор в литературоведении существовало довольно единодушное мнение, что эта пьеса действительно написана Фонвизиным. В последние годы с опроверже-

нием этой точки зрения выступил исследователь творчества Фонвизина К. В. Пигарев. Поскольку проблема атрибуции «Недоросля» стала дискуссионной, необходимо подробно остановиться на этом вопросе.

Впервые сообщение о существовании рукописи ранней редакции «Недоросля» появилось в 1900 году в книге П. Н. Полевого «История русской словесности с древнейших времен до наших дней». Рукопись комедии хранится в Институте русской литературы Академии наук СССР. Сводный текст комедии опубликован только в 1933 году. [1] Историки литературы рассматривали неоконченную комедию Фонвизина как первую редакцию «Недоросля» 1782 года. К. В. Пигарев [2] на основе изучения рукописи и прежде всего почерка и водяных знаков на бумаге опровергает эту точку зрения. Он заявляет, что, во-первых, автор комедии не Фонвизин, во-вторых, что она написана неизвестным сочинителем в 80-х годах, *после* появления фонвизинского «Недоросля» («под свежим впечатлением от первой постановки или первого появления в печати комедии Фонвизина»). Согласиться с выводом К. В. Пигарева нельзя, поскольку доводы его не представляются убедительными.

Каковы аргументы К. В. Пигарева? Текст комедии сохранился в двух списках. Первый список сделан большей частью скорописью, одним лицом; второй (продолжающий первый) — несколькими (по Г. Коровину — двумя, по К. В. Пигареву — четырьмя) писцами. В тексте, писанном писарскими почерками, встречается правка, сделанная скорописью (тем же почерком, каким написана большая часть первого списка). Г. Коровин считает, что скоропись — это авторский почерк, оттого им и сделаны поправки в тексте, написанном писцами. К. В. Пигарев сравнил почерк фонвизинских писем 60-х годов со скорописью новонайденной рукописи и, установив, что они непохожи, сделал вывод: комедия принадлежит не Фонвизину, а другому автору, и написана в 80-х годах под влиянием фонвизинского «Недоросля».

Подобные доказательства лишены убедительности. Мне кажется, что, прежде чем сличать почерк фонвизинских

---

[1] См. публикацию Г. Коровина в «Литературном наследстве», № 9—10, 1933.

[2] См.: К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина.

писем с почерком «авторской» скорописи рукописной комедии, следовало бы доказать, что так называемая скоропись действительно принадлежит автору найденной комедии. Ведь это ничем не подтвержденное предположение. В самом деле, о чем говорит сохранившаяся рукопись? Ее для кого-то переписывали и, странно, привлекли для небольшой работы четырех писцов. Значит, она, видимо, переписывалась наспех, одновременно несколькими писцами. Скоропись могла принадлежать не автору, а владельцу рукописи, пожелавшему иметь список понравившейся ему комедии. Достав на время оригинал, он, не имея под руками писцов, мог начать переписывать сам, а потом поручил эту работу писцам. После того как работа была сделана, он сверил рукопись с оригиналом и внес поправки. Так ли было в действительности или нет — сказать трудно. Но главное состоит в том, что нельзя бездоказательно утверждать, будто скоропись обязательно принадлежит автору. Можно согласиться с К. В. Пигаревым, что это лишь одна из возможных гипотез, но решать вопрос о принадлежности комедии Фонвизину только на основании подобного предположения нельзя. [1]

Нельзя согласиться с выводом К. В. Пигарева еще и потому, что из системы своих доказательств он совершенно исключил анализ содержания и стиля комедии. А без этого не может быть и речи об атрибуции какого-либо произведения вообще.

Неоконченный «Недоросль» связан органически с эпохой 60-х годов, он пронизан ароматом того времени и личными, еще свежими впечатлениями от недавних занятий в университете самого автора, близок к той неповто-

---

[1] В 1959 году появилась статья А. П. Могилянского «К вопросу о раннем „Недоросле“» («XVIII век», т. 4, М. — Л., изд-во АН СССР), в которой на основе изучения и анализа данных палеографической экспертизы рукописей «Недоросля» доказывается, что бумага первой рукописи относится не к 80-м годам, как утверждал К. В. Пигарев, а к 70-м годам XVIII века. Следовательно, ранний «Недоросль» написан до «Недоросля», законченного в 1781 году. Далее А. П. Могилянский на основе палеографического анализа предлагает новую гипотезу и называет в качестве автора раннего «Недоросля» брата Д. И. Фонвизина — Павла Ивановича. Выдвинутые А. П. Могилянским аргументы малоубедительны прежде всего потому, что при анализе им совершенно игнорируются содержание и стиль комедии.

римо фонвизинской стилистической манере, которая проявилась с таким блеском уже в следующей комедии — «Бригадир».

Именно в 60-х годах, после нескольких лет деятельности Московского университета и гимназий — московской и казанской, после появления в обществе первых воспитанников университета и гимназий, так остро воспринимались проблемы воспитания, так живо обсуждались в дворянских кругах преимущества школьного образования перед домашним. О воспитании в это время писали просветители Козельский, Курганов, Новиков, вопрос этот был предметом обсуждения в Комиссии по сочинению проекта нового уложения, им активно стало заниматься правительство, предлагая свое решение педагогических задач. Тогда же было открыто в Петербурге Воспитательное общество благородных девиц при Воскресенском (Смольном) монастыре. Об огромном интересе общества к воспитанию вообще и к обучению благородных девиц в институте в частности свидетельствуют любопытные отчеты в «Санкт-петербургских ведомостях». Каждую весну в институте устраивались публичные экзамены, на которых присутствовали родители, родственники и знакомые учащихся. По словам газеты, счастливые слезы успешно сдающих экзамены девиц «ясно показывали нежное чувство сердец всех». Плакали от восторга и зрители, умиленные успехами в науках совсем юных воспитанниц, и позже успехи учащихся привлекали внимание общества и печати. Так, в одном из отчетов за 1773 год сообщается, в частности, об успешных экзаменах «в российском, немецком и итальянском языках — в чтении, письме и переводе, в арифметике, в истории, в хронологии, в географии, в изыскании на глобусе... в рисовании... в музыке вокальной и инструментальной... во всех женскому полу свойственных рукоделиях и во всех частях, без изъятия домоводства или экономии» — Елизаветы Васильевны Рубановской, будущей жены Радищева.[1] В атмосфере общественного интереса к проблеме воспитания у молодого драматурга и родился замысел рассказать о том, что мешает настоящему воспитанию преданных отечеству, образованных, сознающих свой долг граждан.

---

[1] «Санкт-петербургские ведомости», 1773, № 44, 31 мая (Прибавления).

Обращает на себя внимание и ряд совпадений в биографиях Фонвизина и героя раннего «Недоросля» — Миловида. Беседа Добромыслова с Аксеном о важности и преимуществе школьного образования как бы навеяна обстоятельствами жизни самого Фонвизина. В прошении, поданном в октябре 1762 года в Коллегию иностранных дел, Фонвизин писал: «В прошлом 1754 году написан я в оный (Семеновский. — *Г. М.*) полк в солдаты и отпущен для обучения в императорский Московский университет, в котором обучался латинскому, французскому и немецкому языкам и разным наукам и за обучение произведен в полку по порядку до нынешнего моего чина» (II, 609) — армейского поручика. Миловид, как известно, тоже «за то, что прилежно учился и науку свою скоро окончил», получал быстро чины и окончил учение в чине армейского капитан-поручика.

Фонвизин завершил свое образование в возрасте семнадцати — восемнадцати лет; Миловид — в семнадцать лет. Фонвизин по приезде в столицу предается светским удовольствиям, ходит в кружок «разумных людей» князя Козловского, с увлечением посещает театры, маскарады. То же делает и Миловид — он посещает «комедии, маскарады, клобы», «частное собрание», где общается «с благородными и разумными людьми».

Решительно относя комедию об Аксене и его сыне Иване к 80-м годам, К. В. Пигарев заявляет: «есть данные полагать, что она написана после появления фонвизинского „Недоросля“».[1] Какие же это данные? К сожалению, исследователь умолчал о них. Сравнительный же анализ двух «Недорослей» показывает, что в комедии об Аксене и его сыне Иване нет ни одного мотива, ни одного намека на историю, случившуюся с Митрофаном. Если бы действительно ранний «Недоросль» писался каким-то другим драматургом после гениальной комедии о Митрофане, о Простаковых и Скотинине, то совершенно очевидно была бы видна несамостоятельность автора, мы обязательно обнаружили бы обильные реминисценции из всем известной комедии. Но их, как я уже сказал, нет. Наоборот, сравнительный анализ двух комедий свидетельствует, что ранний «Недоросль» *не повторял* «Недоросля» 1782 года, а *предварял* его.

---

[1] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 206.

Более того — ранний «Недоросль» тематически и стилистически очень близок к «Бригадиру». Та же издевка над необразованными, ведущими скотский образ жизни помещиками, та же проповедь идеи, что истинный долг дворянина состоит в том, чтобы «быть полезным обществу и добрым слугою отечества», те же стилистические приемы в создании комических эффектов. В раннем «Недоросле» одним из источников комического является непонимание Улитой иностранных слов, произносимых сыном Добромыслова. Например, он говорит, что посещает в Петербурге «комедии, маскарады, клобы». Та с неподдельным изумлением восклицает: «Ахти мне, у вас и клопы в дело идут?» После объяснения она с горечью заявляет: «Теперь-то я поняла, где ж мне знать... Не прогневайся, батька мой, мы очень настращены мирскими речами» (II, 606).

Открытый в «Недоросле» прием комического использован в «Бригадире», где он блистательно и многообразно применен во взаимоотношениях бригадира и бригадирши с сыном и бригадирши с советником. И там после многократных комических недоразумений бригадирша жалуется, что она «не разумеет» речей Ивана, даже когда он, «кажется, по-русски говорит», «не разумеет» и слов советника, а кого понимает, так только своего мужа, который «говорит, как попугай».

В раннем «Недоросле» для комического эффекта обыгрываются различные значения одних и тех же слов. Например, Иван учит азбуку. Буквы, как известно, в славянском языке имели названия. Дойдя до буквы Е (есте), он, прерывая занятие, заявляет: «Очень я есть хочу». Назвав П (покой), он заявляет: «Полно». А на уговоры матери почитать еще отвечает: «Да не дура ль ты, ведь видишь, что тут написано, чтоб дать покой? А она свое мелет» (II, 586). Ту же игру слов мы наблюдаем и в письмах Фонвизина и в «Недоросле» 1782 года (чтение часослова Митрофаном и толкование слов Кутейкиным).

И еще одна деталь: автор раннего «Недоросля» — писатель, тонко чувствующий слово. Он, например, глагол «трогать» употребляет в двух значениях — в собственном и в переносном. Так, Иван заявляет: «Ну, говори — я тебя ничем не трону», — то есть не ударю, даже не прикоснусь к тебе. Но отец Ивана, Аксен, употребляет это

слово уже в карамзинском смысле: «Довольно того, что и слова твои меня трогают», то есть волнуют (II, 592 и 589). Вряд ли можно указать на другого драматурга этих лет, который был бы так же, как и Фонвизин, чуток к языку, так мастерски владел им, так смело употреблял неологизмы. Стоит отметить и то, что именно у Фонвизина в произведениях, относящихся к тем же 60-м годам, мы встречаем глагол «трогать» в смысле «волновать»: «Сии печальные слова нас тронули» («Сидней и Силли»).

Какова идея и тема раннего «Недоросля»?

В центре пьесы — провинциальный помещик Аксен Михайлович, его жена Улита Абакумовна и сын Иванушка. Первое же явление вводит нас в обстановку быта помещичьего дома: Иванушка под руководством своей матери учит азбуку. Здесь же, в качестве надзирателя, его отец. Конкретность происходящих на сцене событий подчеркивается специальной авторской ремаркой: «Театр представляет комнату, в которой стоит стол, на столе тарелка с блинами и чашка с маслом. И за тем столом Улита учит Иванушку. Аксен по комнате ходит» (II, 583).

Данная ремарка носит принципиальный характер. Она свидетельствует о желании драматурга воссоздать на сцене точную, конкретную обстановку жизни русских провинциальных дворян. Быт как бы определял, подсказывал и поступки и поведение героев. Это было новшеством в драматургии.[1] Автор стремился рисовать естественное, обычное, будничное поведение героев в типических для них условиях. Именно тот же принцип, только проведенный более последовательно, полнее и смелее, мы наблюдаем в «Бригадире» Фонвизина. Вспомним вступительную ремарку к комедии: «Театр представляет комнату, убранную по-деревенски. Бригадир в сюртуке ходит и курит табак. Сын его в дезабилье, кобеняся, пьет чай» и т. д.

Весь короткий первый акт раннего «Недоросля», состоящий всего из трех явлений, посвящен демонстрации массового и типичного для русского дворянства той эпохи процесса домашнего воспитания. Смысл первого акта: показать, что воспитание у большинства темной, необразованной массы дворян сводится к питанию. Этот тезис

---

[1] См. об этом ниже, на стр. 128 и 132.

для наглядности подтвержден и в приведенной выше ремарке.

Второй акт состоит главным образом из увещеваний Иванушки слугой Федулом: слуга поучает барина, разъясняя ему необходимость грамоты всякому человеку, и тем более дворянину, который обязан служить. Третий акт знакомит читателя с иной, отличной от «питательной», системой воспитания. В усадьбу к Аксену Михайловичу приезжает сосед Добромыслов с сыном Миловидом. Автор демонстрирует перед зрителем просвещенного дворянина, его моральный облик и его воззрения на цели и задачи образования. Добромыслов отдал своего сына «в чужие руки»: Миловид воспитывался в Петербурге. Причем воспитывался, судя по всему, не у частного учителя, а в каком-то казенном учебном заведении. Отец, рекомендуя своего сына, заявляет, что он «уже выучился по-немецки, по-французски, по-итальянски, арифметику, геометрию, тригонометрию, фортификацию, архитектуру, историю, географию, танцевать, фехтовать, манеж и на рапирах биться, и еще множество наук окончил, а именно на разных инструментах музыкальных умеет играть» (II, 606). Исходя из перечня «наук», которыми овладел Миловид, и указания, что он учился в Петербурге, можно предположить, что этим учебным заведением был или Шляхетный, или Пажеский корпус.

Добромыслов представляет ту часть дворян, которые отлично поняли, что в новых условиях без образования служить нельзя. Преимущества общественного воспитания перед домашним были очевидны — правительство за учение, за науки награждало чинами. Аксен, воспитывавший своего сына по старинке, сам в свое время начал служить «безо всяких наук». За сорок два года службы он с трудом дотянул до капитанского чина, который дали ему, кстати сказать, только при отставке. Сын же Добромыслова, Миловид, сразу после выхода из училища, еще не служа, получает тот же чин.

С окончанием демонстрации успехов Миловида завершался третий акт, а равно и вся комедия. Показав зрителю неприглядный облик помещичьей семьи Аксена Михайловича, высмеяв варварскую систему воспитания двадцатилетнего недоросля, показав преимущества школьного образования, автор как бы неожиданно для себя исчерпал тему. Получилась живая, верная действитель-

ности картинка, мастерская зарисовка выхваченного из русской жизни явления, сатирическая сценка, данная в тонах мягкого юмора, но не вышло драматического сочинения. Не было в нем и сюжета, который помогал бы развитию действия.

Вместе с тем ранний «Недоросль» — уверенный и твердый шаг навстречу будущим замечательным драматическим произведениям. Фонвизин прочно стал на российскую почву. Существующая, окружающая его жизнь — вот что должно было стать содержанием его драматических сочинений. Не хватало ему не столько художественного, сколько общественно-политического опыта. Университет дал образование, но воспитать писателя могла только жизнь, обстоятельства его общественного бытия. Обстоятельства эти с конца 1766 и начала 1767 года стали определяться важнейшим политическим событием 60-х годов — созывом и началом работ Комиссии по сочинению проекта нового уложения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОПЫТЫ В ПРОЗЕ

Классицизм многие десятилетия был господствующим литературным направлением в России. Поэзия занимала в нем ведущее и определяющее положение. К 60-м годам замечательных успехов достигла лирическая поэзия — ода (политическая, религиозная, философская, анакреонтическая), эклога, элегия, песня, эпиграмма. В жанре эпическом все большее место стала занимать ирои-комическая поэма. Широкое распространение получили стихотворная басня, притча, сатира. В театре торжествовали стихотворная трагедия, опера.

Искусство классицизма было ориентировано на просвещенного дворянина, на придворные круги, на избранного, рафинированного читателя, умевшего понимать красоту рационалистических образов и логизированной поэтики, совершенство произведения, сработанного по математическим правилам, способного оценить заимствования и подражания образцам античной и французской литературы. Поэты создавали особый поэтический язык, «язык богов». Проза оказывалась презренной. Прозаический жанр, и прежде всего роман, получивший на Западе широкое распространение, не только игнорировался, но и преследовался. Исторически складывалось так, что проза обращалась к другому, демократическому читателю. Оттого она стала развиваться в противоположном и враждебном дворянству лагере литературы.

Первое серьезное достижение в области прозаических жанров относится именно к 60-м годам. Успешное

развитие промышленности, торговли и ремесел меняло социальный состав городов. Все больше появлялось выходцев из крестьянства, представителей «среднего рода людей», которые, быстро овладев грамотой, начинали открыто высказывать свои интересы и требования к литературе и искусству.[1] Появился и проявлял активность демократический читатель и в обеих столицах. Спрос рождал предложение. Начала развиваться литература, обслуживающая прежде всего нового читателя. И в основном это была проза. В Петербурге и Москве стали открывать новые типографии, на Руси начала развертываться книжная торговля, создавались журналы, наполненные прозаическими — оригинальными и переводными — произведениями, открывались общедоступные театры, сначала в Петербурге и Москве, а позже в губернских городах — Воронеже, Харькове, Твери, Нижнем Новгороде и т. д.

В 80-х годах в России ежедневно уже давали представления одновременно несколько десятков театров. В них были объединены сотни русских актеров и актрис, режиссеров-постановщиков, музыкантов, художников. По своему социальному положению новые деятели театра были разночинцы. При всей зависимости театра от хозяев — помещика-мецената или государственного чиновника — все же из года в год возрастала практическая роль именно этой, демократической интеллигенции и в развитии театрального мастерства и в создании эстетического театрального кодекса.

В то же десятилетие стал оказывать все большее влияние на театр и зритель. Дело в том, что увеличение числа ежедневно дававшихся театральных представлений приводило к резкой демократизации зрителя. В театре был создан парадиз (раек), он заполнялся разночинной публикой, среди которой оказывались и ремесленники и даже крестьяне, приходившие в губернские и столичные

---

[1] Заслуживают внимания сведения о населении Петербурга, опубликованные Ф. Туманским в 1793 году. В 1786 году всего в Петербурге было жителей: в ноябре (наименьшее число) — 255 696 человек, в июле (наибольшее) — 302 123. «В лейб-гвардии полках и в прочих военных командах разного звания людей» — около 70 тысяч. Купцов, мещан, цеховых мастеров, различного рода ремесленников — 12 084 человек. В 1790 году их было 10 716 человек. (См.: Ф. Туманский. Описание Санкт-Петербурга. — «Российский магазин», 1793, ч. II, стр. 142—159).

города на заработки. Театр воспитывал своего зрителя, зритель, в свою очередь, начинал предъявлять театру все более решительные требования. Вкусы партера, где сидела дворянская публика, и райка расходились. Раек не хотел смотреть трагедию, где действуют князья и государственные сановники, его не устраивали и светские комедии. Раек желал, чтобы на сцене появились социально близкие ему люди, чтобы их характеры были верны действительности, чтобы герои жили в условиях, знакомых им всем, чтобы говорили они на языке, понятном простому русскому человеку. Оттого зритель райка любил драму и комедию в истинно русских нравах. Требования нового зрителя должны были учитывать не только театры, но и писатели.

Крылов в самом начале 90-х годов отметил, что именно зритель начинал определять позицию драматургов: одни ориентировались на партер, другие — на парадиз. Некоторые, писал он, «гордые комические писатели стараются смешить партер, не заботясь о том, понимает ли их парадиз». Такое пренебрежение оскорбляло многих зрителей, ибо тот, кто «глядит комедию из райка», чувствует, «сколь обидно честному человеку слушать два часа, не понимать ни слова и платить деньги только за то, чтобы видеть, как другие смеются». Но есть драматурги, которые учитывают вкусы райка и пишут комедии из русской жизни. Вот что, по словам Крылова, происходит в зрительном зале, когда ставятся подобные комедии: «Зрителей стекается множество, открывают занавес, и — какое приятное удивление! — на сцене появляется целый народ в лаптях, в зипунах и в шапках с заломом, — в парадизе раздались радостные восклицания. Сапожники, разносчики, каменщики — все узнавали на сцене своих земляков... На сцене заплясали, и весь парадиз зачал прищелкивать; казалось, что сцена и парадиз составляет одно семейство. Тогда-то гордый партер в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лишний, что он не понимал в свою очередь ни слова изо всего, что переговорено в три часа, и что, наконец, в свою очередь заплатил он деньги за то, чтобы послушать, как хохочет парадиз».[1]

---

[1] «Санкт-петербургский меркурий», ежемесячное издание 1793 года, ч. 2, стр. 47—48.

Новый, разночинный читатель особый интерес проявлял к роману. Естественно, на первых порах эту потребность удовлетворял переводной западноевропейский роман — авантюрный, плутовской, волшебный, сентиментальный, нравоучительный, политический. Но вслед за переводами стали появляться первые опыты романов из «отечественных нравов». В 60-х годах плодотворную деятельность развернул Федор Эмин. В 1766 году появился его роман «Письма Эрнеста и Доравры», который явился своеобразным «склонением», переделкой специально для русского читателя знаменитого романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза». До «Писем» Ф. Эмин издал несколько оригинальных романов — «Любовный вертоград, или Непреоборимое постоянство Камбера и Арисены», «Непостоянная фортуна, или Похождение Мирамонда», «Приключения Фемистокла». [1]

Наибольшую активность из писателей-разночинцев 60-х годов проявил М. Д. Чулков. С 1766 по 1768 год он выпускает четыре части сборника повестей и сказок «Пересмешник, или Славенские сказки». Книга была вызовом литературе классицизма. Он пишет прозой, пишет о том, что знает и что волнует демократического читателя, тем же языком, на каком говорит его читатель. Среди полуфантастических, волшебно-авантюрных сказок выделяются повести на бытовые темы, в которых раскрываются черты подлинной жизни простого народа. Широкую популярность получил и роман Чулкова «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины» (1770).

Истый разночинец, Чулков ценит в человеке не породу, а разум, такие личные достоинства, как смелость, умение постоять за себя, хватку и т. д. Просветительные взгляды на крестьянский вопрос были чужды Чулкову, но вся его литературная работа проникнута духом демократизма. Так наряду с поэтами — сторонниками эстетического кодекса классицизма — в России начала трудиться значительная группа писателей и переводчиков-прозаиков. Быстро формировались жанры —наряду с романом стали появляться повести, были, путевые записки, письма и т. д.,

---

[1] См.: Г. Гуковский. Эмин. — «История русской литературы», т. IV, стр. 256—264; Г. Гуковский. Идеология русского буржуазного писателя XVIII века. — Известия Отделения общественных наук АН СССР, 1936, № 3, стр. 429—458.

определялись темы и герои, вырабатывался слог, решались практически и теоретически важные вопросы дальнейшего развития русского литературного языка.

Интерес к прозе у Фонвизина проявился рано — еще в Московском университете. И это не было случайностью. Практическая работа писателя свидетельствует, что интерес этот был устойчивым, постоянным и, главное, принципиальным. На одних этапах писательского пути в центре внимания Фонвизина была драматургия, в последнюю пору — проза. Вклад Фонвизина в развитие русской прозы огромен, но, к сожалению, до сих пор он не оценен, опыт его не изучен, некоторые его прозаические произведения даже не учтены, мимо них прошли исследователи. В то же время ближайшие преемники и наследники Фонвизина — писатели начала XIX века — отлично понимали роль Фонвизина в развитии прозы и литературного языка. Например, Батюшков, собиравшийся подготовить очерк истории русской литературы, Фонвизину-прозаику отводил специальную главу. В плане он записал: «Фонвизин — образование прозы».[1]

Заключение это глубоко справедливо. Произведения Фонвизина 70—80-х годов — равно как и сочинения Новикова тех же лет — создания оригинальные, находящиеся на высоком художественном уровне. Карамзин, выступив как прозаик в 90-х годах, не только учитывал опыт Фонвизина и Новикова, но и сознательно отступал от уже завоеванных принципов, определяя иные, в сущности враждебные Фонвизину и по идейному содержанию, и по темам, и по стилю, пути развития русской прозы. Фонвизинско-крыловское направление будет поддержано в 10-х годах XIX столетия Батюшковым и Федором Глинкой, а на новом этапе — Пушкиным.

Опыты Фонвизина в прозе в 60-х годах — это еще поиски пути, проба сил, выработка определенных принципов слога прежде всего. Но для того чтобы понять позднейшие достижения Фонвизина, необходимо остановиться на его прозаических переводах 60-х годов, которые представляют собою своеобразную творческую лабораторию писателя.

Опыты в прозе Фонвизин начал с переводов. Остро чувствуя потребность времени, связанный с хозяином

---

[1] К. Н. Батюшков. Соч., т. II. СПб., 1885, стр. 337.

университетской книжной лавки Вевером, отлично знавшим вкусы и запросы нового читателя, Фонвизин начал переводить роман французского писателя Террасона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского» (работа продолжалась до 1768 г.). Серьезность отношения Фонвизина к своей работе определяется не только выбором произведения для перевода: «стремясь к пользе общества», он перевел роман политический, дававший наставление монархам, способствовавший «исправлению нравов». Но Фонвизин не ограничился переводом и написал к готовой книге специальное предисловие, в котором изложил свое понимание многих важнейших проблем прозы.

Прежде всего Фонвизин дает определение жанра романа. «В том нет нималого сомнения, чтоб книга сия не была роман». Что же делает это произведение романом, каковы признаки жанра? Фонвизин внушает читателю, что в романе «предприятия имеют желаемые окончания». И автор, воспользовавшийся даже «справедливой историей», то есть действительным историческим фактом, «поступает так, как велят собственные мысли». Тем самым Фонвизин утверждал, что роман не протокольная запись действительных фактов и событий, но создаваемая творческим воображением и волей художника картина жизни. Автор романа — творец и характеров и событий, он волен придать любому предприятию «желаемое окончание». Кроме того, роман должен иметь интересный сюжет. В «Жизни Сифа» это — история соединения разлученных людей («Известные особы, которые, будучи совсем в отчаянии друг друга увидеть, являются вместе»). Важную роль в романе играет диалог, речь героев, которая раскрывает характер, помогает читателю следить за движением событий («Особливо множество речей, кои они (герои. — *Г. М.*) между собой имели»). Значительное место в романе занимает герой. Определяя нравственный кодекс героя, Фонвизин писал, что он, побуждаемый «геройской добродетелью», должен совершать поступки, ведущие «к благополучию общества». Оттого цель романа глубоко нравственная, он должен воспитывать читателя, помогать «исправлению нравов» (I, 221—222).

Там же, в университете, Фонвизин начал перевод басен Гольберга. Гольберг — крупнейший датский просветитель, «северный Вольтер». В его прозаических, драма-

тических и поэтических сочинениях даны картины неравенства состояний, сатирически изображены буржуа-филистеры и дворяне, которые вели паразитический образ жизни, открыто высказано уважение к трудящемуся сословию и прежде всего к крестьянству.

Басни Гольберг писал прозой. Работа над их переводом, несомненно, имела большое значение для последующей литературной деятельности Фонвизина. Сатирические по своему характеру, басни требовали от начинающего писателя не только отличного знания русского языка, но и запаса жизненных наблюдений, которые помогали бы передавать применительно к русским нравам смысл сатирических выпадов датского писателя.

Изучение переводов позволяет утверждать, что работа Фонвизина носила глубоко творческий характер, что переводчик обнаружил и самостоятельность и оригинальность своего таланта. Фонвизин не просто перевел предложенный ему сборник, а отобрал (из 251 басни — 182) то, что счел нужным и интересным для русского читателя. Перевод его точный, но не буквальный.[1] Фонвизин сокращал некоторые басни, убирал из них все те бытовые подробности, которые могли помешать русскому читателю понять их содержание, вносил в них русский колорит. Басня «Лошадь знатной породы», направленная против сословных предрассудков, учила ценить в человеке не знатность, а добродетель. Длинное нравоучение Гольберга Фонвизин заменил лаконичным пересказом, сохранив его дух: «„Мы никогда не смотрим на знатность вашу, и нам дело не до прадеда твоего, а до тебя самой". Баснь учит, что не должно предпочитать знатность добрым качествам, ибо оная есть одна только химера» (I, 290).

Сличение перевода с немецким текстом, с которого был сделан перевод, убеждает, что Фонвизин стремился к лаконизму, к точности повествования и к художественной выразительности. Это проявлялось и при переводе самого текста и при переводе заголовков. Басня у Гольберга, например, называлась: «Странные и борющиеся друг с другом учения среди зверей». Фонвизин дает свое заглавие: «Распря у зверей». Гольберг пишет: «Тут они

---

[1] О работе Фонвизина над переводом басен Гольберга см.: К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 50—52.

услышали громкий говор, как если бы они стояли у дверей школы». Фонвизин переводит: «Тут слышен был такой крик и шум, как в нынешних приказах». У Гольберга Юпитер говорит: «Сюда я тоже не зайду, так как от этих непрерывных молитв и просьб мне будет так же тягостно, как было от дыма в первой стране». Фонвизин переводит: «Пойдем от них прочь, — говорил Юпитер, — у меня начинает от этого крику голова болеть».

Еще более выразительна поправка, внесенная в басню «Молитва волков». В ней обличались чиновники, беззастенчиво грабившие население. Фонвизин, используя свои наблюдения над русскими подьячими, прибегает к народной пословице при характеристике морального кодекса чиновников. Народ говорит: «Вор слезлив, плут богомолен». Волк в басне изъясняется в полном соответствии с пословицей. Он говорит: нам, волкам, «совсем невозможно молиться с усердием, когда сперва не нагрешим много, и чем более злодейство, тем ревностнее покаяние» (I, 339). Через восемь лет в комедии «Бригадир» плут советник откровенно заявит: «...несть греха, иже не может быть очищен покаянием... Согрешим и покаемся» (I, 65).

Подготовленный Фонвизиным сборник басен Гольберга — это книга маленьких нравоучительных и сатирических рассказов, проникнутых гуманной идеей глубокого уважения к человеку, исполненных просветительского презрения к сословной спеси. Книга пользовалась широкой популярностью у читателя. За тридцать семь лет она вышла тремя изданиями.

Несомненно, перевод басен был первой серьезной и большой удачей Фонвизина-художника. Мы уже здесь видим особенности стилистической манеры будущего сатирика — лаконизм повествования, любовь к афористически четким фразам-формулам. К сожалению, в языке и в слоге перевода еще не всегда ясна печать фонвизинской индивидуальности. Писатель нередко оказывается во власти литературной традиции. Его речь несвободна, она скована определенными штампами, переводчик порой не может преодолеть «сопротивление» синтаксиса. Широко и естественно используя просторечие, Фонвизин в то же время не может совсем отказаться от славянизмов, и текст басен пестрит такими словами, как *сей*, *оный*, *приял, кои* и т. д.

Перевод с немецкого ставил перед Фонвизиным свои специфические трудности. Нельзя было сохранять сложную и не свойственную русскому языку грамматическую конструкцию фразы оригинала. И в тексте перевода мы найдем множество замечательных примеров отличной творческой передачи силы и энергии подлинника: «Волк занемог горячкою и требовал доктора». Или: «Когда хочешь воровать, то промышляй столько, чтоб мог откупиться, для того что наказывают обыкновенно малых воров, а не больших». Или: «Не спускай ни в чем тому, кого сильнее ты, защищай себя от равного и уступай тому, кто тебя сильнее» и т. д.

Но иногда вкус изменял юному переводчику, и, не найдя соответствующей формы, он переводил буквально, механически перенося фразы немецкой конструкции. Оттого в переводе встречается большое количество громоздких предложений, построенных на использовании относительного местоимения «который», и казенно-канцелярских слов и оборотов («не могла быть без той птицы ниже в самую ночь»).

Работа над переводом басен Гольберга была своеобразной школой мастерства. Фонвизин преодолевал сопротивление слова и синтаксиса, добивался свободы и ясности в выражении мыслей своих героев, характерности их речи.

Во второй половине 60-х годов Фонвизин переводит с французского повесть Арно «Сидней и Силли». Автор примыкал к новому литературному направлению — сентиментализму, который с середины 50-х годов стал широко распространяться в Англии и Франции, а затем в Германии. Сентименталисты, опираясь на просветительскую идеологию, учили ценить человека не за его происхождение, а за индивидуальные качества личности, за ум, добродетель и прежде всего за способность к богатому, напряженному чувству. Сентиментализм выражал идеалы и интересы того третьего сословия, чья жизнь признавалась классицизмом «низкой», неразумной, недостойной серьезного воплощения в искусстве. Оттого писатели-сентименталисты объявили войну классицизму. Сентиментализм открывал большие возможности для передачи богатства действительного мира, способствовал в известной мере демократизации искусства. В прозе, в драматургии появился человек среднего сословия со своими интересами и страстями.

Просветителю Фонвизину был близок эстетический кодекс сентиментализма. Отстаивая права человека на свободу, он не мог не приветствовать искусство, которое героем своим сделало не дворянина или крестьянина, но *человека* и его богатую нравственную жизнь. Оттого любимым писателем Фонвизина был великий Руссо. В свете увлечения сочинениями Руссо и следует рассматривать фонвизинский перевод сентиментальной повести «Сидней и Силли».

Повествование в «Сиднее и Силли» ведется от имени рассказчика. Но прежде чем развернуть перед своими слушателями историю добродетельного человека Сиднея, своей великодушной помощью спасшего от смерти несчастного Силли, автор заявляет: «По-моему, она (жизнь Сиднея. — *Г. М.*) стоит всех многих храбрых дел ваших Александров и Цесарей, которыми человеческая память столь бесплодно обременяется». В этих словах — идейный смысл повести, объяснение причины, по которой Фонвизин избрал ее для перевода: жизнь рядового человека, но человека щедрого и добродетельного, важнее, интереснее и ценнее жизни прославленных императоров или «благородных» дворян.

Перевод повести заставил Фонвизина искать и создавать особые слова и обороты, новый стиль для выражения нравственной жизни героев, их напряженного чувства, их горячих, бурных эмоций. В литературе, где господствовал классицизм, где торжествовали Сумароков и его ученики, Фонвизину не на что было опираться. Следовало полагаться на себя, искать и находить. Вот герой повести, тяжелораненый Силли, рассказывает Сиднею о своей ненависти к людям, об ожесточении и обиде, о желании мстить всему человечеству: «Я еще вижу свет, я еще людей вижу и не могу растерзать их сердце, не могу истребить их! О боже!.. Люди!.. Я сих-то бы чудовищ и растерзать хотел! Если искра жалости в вас остается, если не все вы львы, не все вы тигры, то пустите умереть меня!» (I, 420)

Любящий Юлию Силли беден и потому отказывается от возлюбленной. Вот его письмо, передающее боль и страдание души: «Я тебя люблю, дражайшая Юлия, и никогда другого к тебе чувства иметь не буду... Я беден: не хочу иметь суетности, говоря с тобою. Я несчастней-

ший в свете человек, следственно и нельзя быть мне твоим мужем. Забудь меня, владычица души моей... Ах, что я говорю?.. Если буду я иметь силу жить еще на свете, то мне дозволено будет иметь и душу мою, наполненную тобою: после Юлии кто мною владеть может? Прости... прости... еще тебя прошу, забудь меня...» (I, 430—431)

Поддержанный Сиднеем, Силли возвращается на родину, и его мысли вновь обращаются к возлюбленной Юлии. Душа Силли в смятении, он исполнен противоречивых желаний, и Фонвизин умеет выразить словом бурю страстей Силли: «Я хочу видеть Юлию. Но к чему сие, несчастный? Разве не устал ты еще от бедствий? Какое бешенство влечет тебя к смертельному удару, тебя ожидающему?.. А если Юлия не замужем... могу ли я быть ее супругом? Мне ли во зло употреблять Сиднеевы милости? То ли благодарность, чтоб искушать вновь его благодеяния?» (I, 434)

Новое содержание — напряженная, интенсивная душевная жизнь личности — заставляет Фонвизина создавать особые словосочетания, широко применять фразеологические кальки (с французского), которые бы передавали эмоциональную взволнованность, минутное состояние души. Отсюда — «владычица души моей», «небесное создание», «свирепый нелюдим», «открыть свою душу», «небесная радость», «можешь ли ты быть счастлив, не владея тем, чем ты страстен?», «простите мне за мои душевные выражения», «сии начальные слова нас тронули», «никто не тронулся отверстым его гробом».

Перед нами типично сентиментальный поэтический стиль и принципы обогащения языка галлицизмами, которые через двадцать лет будет утверждать Карамзин. Фонвизин не стал сентименталистом, но опыт изображения человека во всей сложности его чувств он усвоил. В последующем вполне определится писательское кредо Фонвизина — он станет изображать действительный и объективный мир, окружающий человека. Изображать достоверно и точно, показывать человека в мире реальных людей, событий, вещей. Культивируемая сентименталистами подмена — не мир реальной жизни, а мир души человека, не сама жизнь, а отношение к ней — не удовлетворяла Фонвизина. Карамзин будет, с одной стороны, продолжать опыт «Сиднея и Силли», с другой —

свои сентиментальные повести противопоставлять прозе Фонвизина 70—80-х годов.

Каждый новый перевод помогал Фонвизину накапливать опыт, совершенствовать мастерство. Испробовав свои силы в разных жанрах — сатирической басни, политического романа, сентиментальной повести, — он в конце 60-х годов поставил задачу создания слога, «каковото еще не имеем». Практически на эти размышления его натолкнула работа над переводом поэмы в прозе «Иосиф» французского писателя Битобе. Поэма переводилась, видимо, в течение 1767—1768 и вышла в 1769 году. К переводу Фонвизин приложил обращение к читателю от переводчика, в котором он поставил очень важный для развития литературы вопрос — каким должен быть язык современной прозы. «Все наши книги писаны, — читаем мы там, — или славенским, или нынешним языком. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в переводе таких книг, каков «Телемак», «Аргенида», «Иосиф» и прочие сего рода, потребно держаться токмо важности славенского языка, но притом наблюдать и ясность нашего; ибо хотя славенский язык и сам собою ясен, но не для тех, кои в нем не упражняются» (I, 443).

Данная мысль свидетельствует, что Фонвизин усвоил ломоносовское учение о необходимости использовать славянские слова для передачи «важного», «высокого» содержания в политических, философских или религиозных сочинениях. При работе над «Иосифом» чувство меры изменило Фонвизину, и он излишне славянизировал свой перевод. В нем мы видим чрезмерное скопление и архаических слов и грамматических форм. Нарочитая славянизация приводила писателя к тому, что он даже искусственно, грамматически неправильно образовывал славянские формы. Чаще всего такая «примерная» славянизация осуществлялась при использовании флексий. Объясняется это тем, как признался сам Фонвизин, что он еще испытывал затруднения «в изобретении слога» и боялся использовать «нынешние слова и речения». Рассуждение на эту тему и представляется мне наиболее интересным. Фонвизин пишет: «Приходили мне на мысль наши нынешние слова и речения, весьма употребительные в обществе, но, не имея примеру, оставил я оные, опасаясь того, что не довольно изобразят они важность авторской мысли» (I, 444).

Итак, при переводе «Иосифа» он пошел старым путем — передавать важность мысли славянскими словами, понятными современному читателю. Использованию «нынешнего языка», то есть современного, разговорного («употребительного в сообществе»), мешало, во-первых, отсутствие примера, образца, традиции и, во-вторых, боязнь, что «нынешний язык» не передаст «важности» мысли автора. Мы видим, что, не умея практически решать задачу создания нового слога, Фонвизин в то же время оказался способным выдвинуть ее, поставить и перед собой и перед литературой.

Создание «нового слога» — исторически закономерное дело, подготовленное успехами и достижениями русской литературы, развивавшейся на основе ломоносовского учения о трех штилях. Учение, выдвинутое великим реформатором русского языка, ограждало русский литературный язык от пагубного влияния как церковнославянизмов, так и европеизмов, обогащало его ценностями языка церковнославянского и, наконец, указывало источник вечного его обновления — живую речь народа. Следовательно, «реформа Ломоносова имела своей задачей концентрацию живых национальных сил русского литературного языка», [1] способствовала его демократизации.

Свое практическое осуществление учение о трех штилях получило в классицизме с его строгой жанровой регламентацией. Высоким штилем, где определяющее место занимали церковнославянизмы (не обветшалые и понятные читателям), писались «геройские поэмы, оды, праздничные речи о важных материях». Средним штилем, где использовались церковнославянизмы и слова, общие русскому и славянскому языкам, писались «театральные представления», эклоги, сатиры, элегии. Как видим, учению о трех штилях, при всей его исторической важности и необходимости, свойственна ограниченность: оно как бы теоретически обосновывало недоверие к возможностям языка русского передавать высокие мысли, изображать геройство. Тем самым в плане историческом дóлжно было сделать следующий, новый шаг по пути дальнейшей демократизации литературного языка. Смысл этой демо-

---

[1] В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., Учпедгиз, 1938, стр. 97.

кратизации сводился к раскрепощению языка от его жанровой зависимости, к извлечению из каждого слова всех его возможных значений и оттенков, к отказу от использования в слове только одного, раз навсегда закрепленного смысла (только высокое или только низкое), к смелому использованию разговорного русского языка для выражения «высоких мыслей и геройства».

В 60-х годах, как уже говорилось, стала широко развиваться проза, в эстетическом плане противостоящая поэзии классицизма. На этом фоне все яснее чувствовалась ограниченность учения о трех штилях. На очередь встала задача создания «нового слога». Опираясь на опыт Ломоносова, продолжая начатую им демократизацию литературного языка, русские просветители Фонвизин и Новиков — в прозе и позже Державин — в поэзии и решили эту задачу.

Верно угадывая потребности времени, Фонвизин раньше других показал, что довольствоваться тремя штилями Ломоносова уже нельзя. Понимая, что русский литературный язык не может не обращаться к богатствам славянского языка, он до конца дней своих будет широко и свободно использовать ясные, не обветшалые славянские слова как в сочинениях на политические темы, так и в произведениях сатирических. Переводческая деятельность убедила его в оправданности и естественности обогащения русского языка галлицизмами, германизмами и всякого рода европеизмами, французскими кальками. Но главное состояло в другом. Необходимо было показать «пример», начать новую традицию использования «нынешних слов и речений, всеми употребляемых в обществе», — то есть разговорной речи образованного общества (включавшей в себя и европеизмы и просторечия) — для выражения любого содержания: и высокого, важного, и низкого — сатирического, смешного. Проза ориентировалась на широкого демократического читателя. С ним следовало говорить на языке, ему понятном. Русская литература, год от года приобретавшая все большее общественное значение, должна была использовать живой русский язык, обогащая и совершенствуя его.

Писательская деятельность Фонвизина в 70-х и 80-х годах и пошла по пути преодоления ломоносовского учения о трех штилях, по пути создания «нового слога». То,

чего не сделал Фонвизин в 60-х годах, он в значительной мере исполнил позже в лучших, зрелых своих оригинальных произведениях. Важную роль в выработке этого слога сыграли его письма.

Писать письма Фонвизин любил. Он писал много, писал в течение всей жизни, в самых различных обстоятельствах, писал к родным, к друзьям, к государственным, политическим и литературным деятелям России. Но большая часть огромного эпистолярного наследия до нас не дошла: многие письма, видимо, безвозвратно погибли, другие до сих пор не обнаружены и находятся где-то в архивах или в частных собраниях. Сохранившиеся письма делятся на две части: в одной (письма из Петербурга) запечатлена картина общественной и культурной жизни столицы за десятилетний период (с 1763 по 1774 г.); в другой (письма с дороги) писатель рассказал о своих заграничных впечатлениях, о знакомстве с Францией, Германией, Италией. Письма из Франции будут рассмотрены позже. Сейчас необходимо остановиться на письмах из Петербурга родным.

Письма помогали писателю вырабатывать «новый слог». Конечно, написание их в 60-х годах диктовалось чаще всего чисто «служебными» целями — юноша Фонвизин сообщал родным о новостях своей самостоятельной жизни в столице. Но, несомненно, даже в этот ранний период письма были для него не просто средством связи, бытовым документом. Он пишет не только родителям, но и сестре. И письма эти отличаются друг от друга. Сестре Фонвизин пишет пространнее и доверительней. Он сообщает и о своих душевных переживаниях и об интересных столичных событиях, рассказывает о многих людях, дает оценки их поступкам, нередко срисовывает характеры с натуры. Тем самым Фонвизин невольно включался в ту традицию использования письма как определенного нового литературного жанра, который начал складываться в середине XVIII века.

Широко известна была публицистическая роль писем Вольтера. Он переписывался с огромным числом лиц самого различного положения, начиная от своих близких друзей, кончая монархами. Письма служили средством пропаганды его идей, источником информации о делах «республики философов». Переписывался Вольтер и с Екатериной и с ее приближенными.

В 1747 году Рейналь, завязав переписку с герцогиней Саксен-Готской, положил начало новому жанру письма-газеты. С 1753 года друг Дидро Мельхиор Гримм станет писать письма по тому же, что и Рейналь, адресу. Он и превратит письма в бесцензурную газету, заполненную политическими, литературными и театральными новостями, на которую будут подписываться многие монархи.

Письма Гримма («Correspondance littéraire, philosophique et critique») сразу завоевали популярность и получили широкое распространение. Они выходили почти сорок лет. Одним из подписчиков «Correspondance» была Екатерина: экземпляр этих писем находился в Коллегии иностранных дел, где служил Фонвизин.

Письма становились одним из популярных жанров и нового литературного направления — сентиментализма. В сочинениях Ричардсона и Руссо письма использовались для выражения интимно-психологического состояния героев. Новое искусство находило новые жанры. Письмо открывало возможность самораскрытия личности.

В 60-х годах письма Фонвизина еще не стали явлением литературы. Но они интересны как проба сил молодого писателя. В них мы встречаемся с намерением превратить письмо в газету, наполнить ее различными политическими и бытовыми известиями. Проявляется и намерение передать в письме свое душевное состояние близкому человеку — сестре. Тогда они становились выражением личности писателя, в них запечатлевался индивидуально неповторимый взгляд умного и наблюдательного человека на самые разнообразные и противоречивые явления, с которыми сталкивала его жизнь. Единство личности и определяло своеобразное единство стиля его писем. Письма — дневник, журнал дел и помышлений. Оттого в них и вырабатывался «новый слог», где высокое и низкое раскрывалось «нынешними словами и речениями», с широким и свободным использованием европеизмов и общепонятных славянских слов.

В письмах, как уже говорилось, раньше всего начал вырабатываться «новый слог», но именно *вырабатываться*. В произведениях 70-х годов видны уже вполне отчетливо черты этого «нового слога».

В письмах к родным 60-х годов еще чувствуется недоверие к современному языку и его возможностям передавать высокое. Оттого в них, как правило, торжествует

быт, описание дел и поступков частного человека. И все же даже в этих письмах мы находим несколько попыток «нынешними» словами рассказать о многих важных «материях». Они заслуживают самого пристального внимания.

Сразу же по переезде в Петербург Фонвизин в письме к сестре Федосье Ивановне сообщает, что, помимо обычных писем к родным, он будет писать ей «журнал своей жизни». Поначалу журнал заполнялся информацией — что делал, куда ходил, с кем проводил время. Написан журнал «нынешним языком», то есть русским, общепринятым в среде культурного дворянства, к которому принадлежал Фонвизин. Отсюда — свободное употребление многочисленных галлицизмов. «Сатир писать не буду; пожалуй, будь в том уверена, что я человек, не хвастая могу сказать, резонабельный. Ты меня привела в резон, и я сделал жертвоприношение Аполлону, сожегши ту в печи». В речи Фонвизина кальки свободно сочетаются с «грубыми» словами и пословицами: «Однако плюнем на них. Стихотворец подобен попу, которому, живучи на погосте, не всех оплакать» (II, 326).

Во второй половине 60-х годов содержание писем меняется. Все чаще появляется желание рассказать в «журнале» о своей нравственной жизни, сделать письма исповедью. Опыт переводческой работы, и в частности перевод сентиментальной повести, дает себя знать.

Вот запись, рассказывающая о растущем чувстве неудовлетворенности условиями жизни при дворе: «Теперь сижу я один в моей комнате и, говоря с тобою через письмо, чувствую в тысячу раз более удовольствия, нежели вчера и третьего дня, окружен будучи великим множеством людей. Воображаю тебя, говорю мысленно с тобою, тужу с тобою о том, что мы разлучены, и бог знает надолго ль... Вот состояние мое каково сию минуту. Уже великодушие меня оставило и миновалась та холодность, с которою рассуждал я о том, что б могло тронуть человека. Я не знаю сам, отчего прежний мой веселый нрав переменился на несносный. То самое, что прежде сего меня смешило, нынче бесит меня; мне кажется, всего лучше я теперь сделаю, если в доказательство тому напишу к тебе мой журнал» (II, 336).

Предмет письма серьезный, Фонвизин рассказывает о важном — о перемене своего нрава, характера. Он стре-

мится запечатлеть в слове «состояние свое», каково было «в сию минуту». Осуществляется это «новым слогом», то есть средствами разговорного языка. В нем свободно сочетаются русские слова и речения — «тужу с тобою», «бог знает, надолго ль», «нынче бесит меня» и галлицизмы — «журнал», «что б могло тронуть человека» и т. д. Подобное смешение не создает комического эффекта, оно естественно и потому свободно передает важную мысль автора. Слово утрачивает свою былую закрепленность за жанром, за штилем, оно используется само по себе по заложенной в нем возможности выразить нужное автору содержание. Подобный пример не случайность. «Теперь представь себе, матушка, в каких прескучных я обстоятельствах. Живу один, как изгнанник и как бы недостойный жить с вами. Бог, видно, наказывает меня за грехи мои, только не знаю, за какие. Принужден я иметь дело с злодеями или с дураками. Нет мочи более терпеть, и думаю, скоро стану делать предложение Ивану Перфильевичу о перемене моей судьбины» (II, 338).

Свободное отношение к языку позволяет Фонвизину славянизировать свою речь, не впадая в архаику. Вот наиболее характерный пример: «Ныне страстная неделя, и дух мой в едином богомыслии упражняется. В животе моем плавает масло древяно, такожде и орехово. Пироги с миндалем, щепки и гречневая каша не меньше помогают мне в приобретении душевного спасения... Слушал завтрени, часы и вечерни, также был у обеден, одним словом делал все то, что должно делать согрешившему ведением и неведением» (II, 340—341).

Совершенно очевидно здесь стилистическое использование церковнославянизмов для комического эффекта. Нельзя не оценить этот опыт писателя. Работая над комедией «Бригадир», Фонвизин воспользуется им, и речь советника будет построена именно в этом стилевом ключе: славянизмы будут служить задачей сатирического, комического раскрытия характера плута, прикрывающего свои мошенничества личиной лицемера, святоши.

Не трудно заметить, что в эту раннюю пору при написании писем Фонвизин преследовал нередко чисто литературную цель. Письма из средства связи превращались в «журнал души», они создавали образ писателя, раскрывали внутренний мир личности с ее индивиду-

Автограф обнаруженного в ЦГАДА письма Д. И. Фонвизина родным из Петербурга от 27 сентября 1764 года. Отрывок из него впервые напечатал А. Афанасьев в «Библиографических записках» (1859 г., № 1). Во всех собраниях сочинений писателя письмо печаталось в неполном виде, по тексту А. Афанасьева.

ально неповторимым взглядом на жизнь, на отношение к событиям и людям.

В письмах Фонвизина мы видим не только торжество «слов и речений» разговорного языка, но и устранение потерявших ясность славянизмов, осторожное использование европеизмов. Писатель меняет конструкцию фразы, пытается преодолеть тяжелый, латинизированный синтаксис. Его синтаксические конструкции логически просты. Строя предложение, он избегает инверсий и устарелых союзов, приближается к разговорной речи, стремится к краткости, ясности, точности и выразительности. Фраза перестает быть описательной, она начинает передавать действие, становится энергичнее, стремительнее. «К Аргамакову я писал шутя и божусь, что нимало дух мой не беспокоится. Да и в кого здесь влюбляться? Все немки ходят бледны, как смерти. Поди, Христа ради! Что ты на меня клеплешь, а что всего досаднее, и пеняешь! Не подумай еще того, бога ради, что я теперь лукавлю. Да для чего бы то?» Или: «Не опасайся неудачи писать стихи. Можно ль, чтоб ты написала худо! А я оставил намерение послать теперь то, что делал. Боюсь опять выговоров; только истинно, кажется бы не за что». Или: «К пользе человеческого рода каждую неделю дают здесь по трагической или комической штуке. Льются слезы о несчастии театрального героя, а бедный Чур., который несчастлив не на шутку, забыт, да и помнить о нем не велят». Или: «Когда большие бояре держатся в черном теле, тогда они всего любезнее в свете; а как скоро из него выходят, то всех людей становят прахом перед собою и думают, что царствию их не будет конца». Или: «Честному человеку жить нельзя в таких обстоятельствах, которые не на чести основаны» (II, 334, 348, 338).

Так писал Фонвизин в середине 60-х годов. Сатирические журналы 1769 года поддержат Фонвизина в его начинании. Общими усилиями «новый слог» будет успешно создаваться. Только недооценкой прозаической работы Фонвизина и Новикова можно объяснить существование легенды о Карамзине — создателе «нового слога», который будто бы спас русскую литературу тем, что объявил войну ломоносовскому учению о трех штилях и освободил язык от славянизмов, архаических грамматических форм и тяжелой латино-немецкой, торжественно-декламационной конструкции. Факты свидетельствуют, что эту

работу начали задолго до Карамзина русские просветители, и в частности — Фонвизин и Новиков. Карамзин, внеся свой огромный вклад в развитие русского литературного языка, завершал дело, начатое до него. Его же ученики объявили своего учителя основоположником русской прозы и главой нового, карамзинского периода русской литературы.

Вопрос о выработке «нового слога» не случайно приурочен к середине 60-х годов, то есть ко времени, когда новые принципы стиля прозы применялись Фонвизиным еще очень ограниченно, только в письмах. Но это нужно было сделать, чтобы увидеть истоки нового, начало сознательной работы по пересмотру мешавшей дальнейшему развитию традиции. Победит «новый слог» в художественных произведениях и Фонвизина, и Новикова, и Державина позже. Талант писателя-сатирика с блеском проявился у Фонвизина к 1769 году, когда был написан «Бригадир». Созреванию таланта способствовали беспримерные в истории России политические события, которые захватили молодого писателя.

События эти — созыв работы Комиссии по сочинению проекта нового уложения, гласное обсуждение представителями нации кардинальных проблем политического и социального бытия народа. Комиссия была созвана в июле 1767 года; подготовка к ее открытию началась с декабря 1766 года. В конце 1768 года Комиссия была уже распущена. И снова мы подходим к вопросу: что делал Фонвизин в эти два года? Где он был? Каково личное его участие в событиях, взволновавших всю Россию? Наконец, был ли он только свидетелем или участником событий?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ

Сведения о жизни и занятиях Фонвизина в 1767—1768 годах не сохранились. Научная литература не располагает нужными фактами и обходит молчанием эти два года. Не проливают света ни мемуары современников, ни воспоминания самого Фонвизина — в «Чистосердечном признании», рассказывая о своей жизни, писатель обошел события этой поры. При скудости сведений о жизни Фонвизина его письма к родным, представляющие собой довольно подробный отчет о пребывании в столице, являются часто единственным источником его биографии. Но на этот раз обращение к письмам огорчает: писем за 1767 и зиму и весну 1768 года нет. Где же искать нужные сведения?

И все же обратимся еще раз к письмам. Поставим вопрос несколько неожиданно: почему нет писем за указанные полтора года? Ответ напрашивается сам собой — поскольку большинство писем пропало и до нас не дошло, то, видимо, пропали и эти, столь нужные нам письма. Так ли это? Изучение писем показывает, что многочисленные пропуски чаще всего объясняются совсем другими причинами. Фонвизин, например, довольно часто ездил в Москву к родным. Естественно, живя в Москве, он не писал писем ни сестре, ни родителям. Таким образом можно предположить: а не потому ли у нас нет писем за весь 1767 и начало 1768 года, что Фонвизин находился в эту пору в Москве? Правда, о получении Фонвизиным более чем годового отпуска у нас

нет никаких данных. Но ведь Фонвизин мог быть в Москве и по служебным делам.

Как известно, Фонвизин служил у Елагина и ведал делами канцелярии по приему челобитных. Характер службы заставлял его все время находиться при дворе, близ особы императрицы. Вот отчего всякий раз, когда Екатерина выезжала из столицы то ли в Петергоф, то ли в Царское Село, Фонвизин вместе с Елагиным сопровождал ее. Поэтому выезд Екатерины из Петербурга предполагал следование за нею в числе огромного придворного штата и Елагина с его секретарями.

Где была Екатерина в 1767 году? Камер-фурьерский журнал дает точный ответ на этот вопрос — 7 февраля 1767 года она «соизволила предприять отсутствие из Санкт-Петербурга к Москве».[1] В Москве она провела февраль, март и апрель. В конце апреля она направилась в Тверь, откуда двинулась в путешествие по Волге. 16 июня Екатерина вернулась из Симбирска на лошадях в Москву, где в связи с началом работ Комиссии по сочинению проекта нового уложения (заседания открылись 31 июля) пробыла до 19 января 1768 года. 26 января 1768 года императрица вернулась в Петербург, куда прибыли и депутаты Комиссии для продолжения работы уже в столице.

Из поденных записок камер-фурьерского журнала видно, что Екатерину в ее путешествии в Москву и по Волге в период с февраля 1767 по январь 1768 года сопровождал Елагин. Кто же из секретарей Елагина вел дела канцелярии по приему челобитен во время всего этого путешествия? Нам известно, что в начале февраля 1767 года Лукин выехал за границу, где и пробыл до января 1768 года. Естественно предположить, что если один секретарь (Лукин) находился за границей весь 1767 год, то все обязанности были переложены на другого секретаря (Фонвизина), который должен был неотлучно находиться при Елагине. Должен, но находился ли? Ведь Фонвизин мог заболеть или получить отпуск, и тогда с Елагиным должен был бы отправиться кто-то третий, лицо нам неизвестное. Можем ли мы подтвердить факт поездки с Елагиным именно Фонвизина? К счастью, можем. Это засвидетельствовал сам Фонви-

---

[1] «Журнал камер-фурьерский за 1767 год», стр. 30.

зин. Позже, в письме от июля 1768 года из Петербурга, Фонвизин писал родным: «Я с своей стороны чрезмерно желаю вас видеть и надеюсь, что скоро то исполнится. На место Ивана Перфильевича (Елагина. — *Г. М.*) определяется генерал-майор Стрекалов, итак мне нужно видеть теперь одно только, то, чтоб дела наши исправно сданы были. *Вы изволите знать, что я их делал целый год»* (курсив мой. — *Г. М.*) (II, 347).

Стрекалов был назначен начальником канцелярии по приему челобитен. Фонвизин и подготавливал сдачу тех дел, которыми он занимался один целый год. В том же письме Фонвизин описывает времяпрепровождение Елагина в столице: «Словом сказать, жизнь свою ведет *точно так, как в Москве, чему вы свидетелем были»* (курсив мой. — *Г. М.*). В Москве — то есть в прошлом, 1767 году, когда он, Фонвизин, вместе с Елагиным служивший в канцелярии по приему челобитен, находился при Екатерине, занятой делами Комиссии.

Что дает нам это письмо? Оно подтверждает: а) что именно Фонвизин целый год занимался делами канцелярии по приему челобитен, б) что он выезжал вместе с Елагиным из Петербурга, в) что вместе с Елагиным он находился в Москве. Остается неподтвержденным только факт поездки по Волге. И хотя у нас нет точной документации этого факта, сомнений быть не может. Зная, что именно Фонвизин вел дела канцелярии по приему челобитен и сопровождал Елагина, можно смело утверждать, что он был и на Волге. Да и по какому праву он мог не поехать? Канцелярии по приему челобитен и ее начальнику положено было находиться при императрице. Секретарь обязан был состоять при своем начальнике.

Совершенно очевидно, что созыв Комиссии по сочинению проекта нового уложения был политическим маневром, нужным императрице прежде всего для распространения в России легенды о Екатерине — просвещенном монархе. С этой же целью была предпринята и частная поездка по Волге накануне открытия Комиссии, в дни, когда повсюду избирались депутаты, составлялись наказы, обсуждались «отягощения». Во время этой поездки сотни депутаций приветствовали Екатерину, произнося речи все на ту же тему: Екатерина — просвещенный монарх.

Фонвизин был свидетелем той подготовки к созыву Комиссии, которая проходила при дворе. Он знал Наказ и не мог искренне его не приветствовать: составленный из истин, сознательно заимствованных у просветителей, он, казалось, вот-вот будет претворен в жизнь — ведь Комиссия-то должна собраться, ведь депутаты избираются, наказы избирателями пишутся. Сразу по прибытии в Москву в феврале 1767 года Екатерина стала обсуждать отдельные, особо важные статьи Наказа с избранными представителями дворянства. Делала это Екатерина осторожности ради. В то же время даже эта мера как бы свидетельствовала о желании императрицы прислушаться к голосу просвещенных людей своего отечества.

После того как Наказ окончательно был готов и отдан в печать, Екатерина отправилась в путешествие по Волге. «Из Твери государыня отправилась 2 мая по Волге со свитою своею на красивых галерах с пушками... Берега Волги покрылись народом, чтобы видеть монархиню, посетившую сии места. Во время темноты ночной освещали шествия императрицы зажженные по берегу костры дров».[1]

Народ выходил не только для того, чтобы видеть императрицу, но прежде всего для того, чтобы воспользоваться случаем и подать челобитные в ее собственные руки. Сразу по возвращении в Москву, 22 июня, в специальном секретном предписании сенату «О собрании сведений касательно увеличивающейся дороговизны на хлеб» Екатерина, между прочим, сообщала, что во время поездки ее канцелярия приняла «более шести сот челобитен». Из них большая часть поступила «от помещичьих крестьян о больших с них сборах» и «от пахотных солдат и от новокрещенных в завладении землями и в недостатке оной».[2]

Эти-то челобитные принимал Фонвизин и составлял экстракты, которые передавал Елагину для доклада императрице. В стране шли выборы депутатов, в наказах записывались жалобы на обиды, заявлялось о «нуждах и чувствительных недостатках народа». Челобитные, при-

---

[1] А. Вейдемейер. Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII века, ч. I. СПб., 1846, стр. 66—67.

[2] Сборник Русского исторического общества, т. X, стр. 216.

нимавшиеся Фонвизиным, также рассказывали о «чувствительных недостатках народа». Во время путешествия перед писателем предстала Россия парадная, торжественно чествующая императрицу, Россия дворян и купцов, и Россия бедствующего народа, страдающего от притеснений помещиков. И, естественно, в обстоятельствах, когда императрица написала Наказ и созвала Комиссию, поехала по Волге, чтобы самой увидеть жизнь народа и собрать челобитные, затем, видимо, чтобы помочь всем жалующимся, Фонвизин не мог не возлагать надежд на Екатерину, не связывать всю свою будущую деятельность с ней. Казалось, воистину в России на престоле сидит просвещенная монархиня.

Это впечатление усиливалось и от множества других, более мелких, но очень характерных поступков императрицы. Среди них заслуживает внимания один: во время путешествия Екатерина предложила своим близким друзьям заняться переводом книги французского просветителя Мармонтеля — «Велизарий». Сочинение, гонимое во Франции, излагавшее просветительские истины, учившее королей царствовать по законам разума, переводилось самой императрицей и ее друзьями. Зная это, нельзя было не радоваться.

Вернувшись в Москву, Фонвизин, как все ждавший открытия Комиссии, сразу попал в круг своих друзей, сотрудников Комиссии. Прежде всего он встретился с Федором Козловским. По свидетельству Новикова, Федор Козловский был и его, Новикова, близким другом. Несомненно, если не в Петербурге, то уже здесь, в Москве, наверняка состоялось знакомство Фонвизина и Новикова, бывших учеников гимназии Московского университета. Дела Комиссии, проблема будущего законодательства, оценка действий Екатерины — все это не могло не обсуждаться в дружеском кружке.

Нам точно известно, что в 1769 году Фонвизин уже отказался от своего юношеского увлечения Екатериной, перестал возлагать на нее надежды и, более того, перешел на сторону Павла. Крушению иллюзий Фонвизина, как, в сущности, и Новикова, способствовала история с Комиссией, выявившая все фарисейство императрицы. У Фонвизина к тому же были и свои основания и причины: он столкнулся с реальными, ему лично хорошо известными фактами, которые уличали Екатерину

в лицемерии, игре в либерализм, обмане народа и общественного мнения. Главный факт — указ 22 августа 1767 года. Указ этот связан был с работой канцелярии по приему челобитен во время путешествия. Ознакомившись с жалобами крестьян на своих помещиков, с жалобами людей, заботливой матерью которых она себя объявила, Екатерина издала указ «О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков и о неподавании челобитен в собственные ее величества руки». Крестьянам не только запрещалось жаловаться на своих помещиков, но и объявлялось, что «как челобитчики, так и сочинители сих челобитен наказаны будут кнутом и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск». В указе сообщалось, что «некоторые из преступников», то есть крестьяне, подавшие жалобы, «за их дерзновение здесь, в Москве, на разных площадях, а достальные в их жилищах публично и жестоко на теле наказаны».[1] Издание подобного указа помогало увидеть подлинное лицо Екатерины, более чем красноречиво разоблачало миф о просвещенном характере ее самодержавия. Тот же указ позволял иными глазами смотреть на открывшиеся заседания Комиссии, учил понимать разыгрываемый императрицей фарс.

События, развернувшиеся в Комиссии, о делах которой и по своему положению, и по интересам, и по связи с друзьями Фонвизин отлично знал, окончательно разрушили иллюзии, навсегда развеяли веру в Екатерину, похоронили надежду на осуществление ею так необходимых стране реформ.

Созыв Комиссии был, безусловно, крупной ошибкой Екатерины, просчетом в ее игре, объясняемым полным непониманием положения дел в России, традиционным пренебрежением к русской культуре, литературе, общественной мысли. Запад, и прежде всего Франция, как идейный законодатель — это другое дело, его можно и стоило бояться, с ним нужно было считаться. Что могла Россия? Выдвинуть небольшую либерально настроенную группу Панина? Но из борьбы, затеянной императрицей в первые годы царствования, не Панин, а именно она, Екатерина, вышла победительницей. Таков был, видимо,

---

[1] «Полное собрание законов России», т. XVIII. СПб, 1830, стр. 335—336.

ход мыслей императрицы, и вот почему она так, в сущности, легкомысленно подошла к созыву Комиссии и к определению ее состава. Предоставив большинство мест недворянам, она полагала, вероятно, что из глухих углов России, городов и провинций прибудут темные, необразованные депутаты; ослепленные царским величием и широковещательными обещаниями русской самодержицы, они будут послушно играть предписанную им роль в ловко разыгрываемой «фарсе».

К 31 июля 1767 года в Москву съехались депутаты. Из них 28 были назначены от правительственных учреждений, 161 выбраны дворянами, 207 представляли города, преимущественно купцов, 57 — от казачьих войск, 112 — от пахотных солдат, черносошных крестьян, однодворцев и иноверцев.[1] Самым важным в идеологической жизни России и было участие более ста депутатов от податных крестьян в обсуждении проекта новых законов. Эти депутаты привезли с собой наказы избирателей, которые наполнены были скорбным перечнем нужд и забот. И, главное, приехали они сюда со вполне деловым намерением заняться составлением таких законов, которые бы покончили с гнетом и бесправием и утвердили начала справедливости для всех сословий. Россия оказалась способной по первому же требованию выдвинуть не один десяток людей, государственно мыслящих, готовых к борьбе и защите своих прав, умеющих отлично понимать смысл многочисленных противоречивых указов и постановлений, разбираться в значении речей образованных дворян с их ссылками на различные юридические документы и т. д. Об этом боевом духе демократически настроенных депутатов, совершенно не приходивших «в некоторый род восторга» от мудрости самодержицы, отлично написал сын маршала Комиссии Бибикова: «Некоторые из них (депутатов. — *Г. М.*), увлеченные вольнодумием, ухищрялись предписывать законы верховной власти, другие предлагали уничтожить рабство».[2]

На первых же заседаниях выявились лидеры разных социальных группировок, с которыми соглашались пред-

---

[1] «Записка сколько и кому знаков выдано». — Гос. истор. архив в Л—де, ф. 1258, д. № 110, л. 11.

[2] «Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова». СПб., 1817, стр. 124.

ставляемые ими группы депутатов, выражая свое согласие подачей мнений, или, как тогда говорили, письменных «голосов», в защиту или против выдвинутой оратором точки зрения.

Со стороны дворянства в первых рядах были князь Щербатов, Семен Нарышкин, Михайло Глазов, князь Вяземский и ряд других. Демократический лагерь выдвинул целую группу политических деятелей, доселе никому не ведомых, прекрасных ораторов, умевших настойчиво и принципиально защищать свои предложения и подавать «примечания». Этими деятелями были: крестьянин Чупров, казак Алейников, пахотные солдаты Жеребцов и Селиванов, однодворец Маслов и ряд других. К этому демократическому лагерю присоединились: дворянин Григорий Коробьин, майор Яков Козельский, депутат города Дерпта ученый Урсинус.

Во время прений стало ясно, что в опрометчиво собранной Комиссии оказалось немало прогрессивно настроенных деятелей России. Тем самым Комиссия как бы превращалась в своего рода съезд, в идейный центр русской демократической мысли, своими работами свидетельствовавший «перед всем светом», что есть в России независимая от правительства, противостоящая сословной дворянской идеологии демократическая общественность.

Главным в работах Комиссии была, бесспорно, деятельность Большого Собрания. Здесь читались наказы, здесь обсуждались поставленные властью и демократическими депутатами вопросы, здесь разгорались битвы, здесь определялись характер и содержание работ всех частных комиссий. Изучение дневных записок Большого Собрания позволяет сделать вывод, что из множества частных проблем две оказались определяющими, заполнившими большинство заседаний, вызвавшими самые ожесточенные диспуты: проблемы прав дворянства и прав крестьянства.

Вопрос о дворянстве, о его правах возник в сентябре 1767 года и дискутировался всю осень, а затем был передан в комиссию «о государственных родах» для сочинения проекта прав благородных. Комиссия «о государственных родах» занималась этим вопросом до июля 1768 года и представила проект (подписанный сочинителем Козловским) для обсуждения на Большое Собрание.

И снова возникла напряженная дискуссия, продолжавшаяся почти до самого закрытия Комиссии.

Крестьянская проблема возникала беспрестанно при обсуждении разных других вопросов, всегда как косвенная тема, ибо специально ею Екатерина заниматься не позволила бы. В мае 1768 года о положении крепостных заговорили при обсуждении частного вопроса о законах против беглых крестьян. Наиболее решительным было выступление депутата Григория Коробьина. После долгого и скандального обсуждения этот вопрос также был передан в комиссию «о государственных родах», которая к декабрю месяцу и подготовила вариант проекта (так и не рассмотренный собранием) «О нижнем роде государственных жителей» (подписано сочинительским помощником Михаилом Поповым).

Обсуждение Комиссией этих вопросов разделило ее на два враждебных лагеря. Дворянские лидеры пытались добиться дальнейшего укрепления своих прав и своей власти, пытались совсем предотвратить возможность какой-либо регламентации правительством их взаимоотношений со своими крестьянами. Демократические депутаты со всей решительностью отстаивали необходимость безотлагательного вмешательства власти в отношения помещиков и крестьян — с целью ограничения прав дворянства и защиты «питателей всякого состояния людей». Они поставили вопрос о дворянской жестокости, о бесчеловечных притеснениях лишенного всякой защиты крепостного, о неслыханных, разорительных тяготах. Как видим, Комиссия оказалась втянутой в обсуждение самых коренных вопросов экономической и политической жизни России тех лет. Деятельность демократических депутатов в Комиссии, несомненно, отражала зревший в недрах народа естественный и закономерный протест против установившегося института рабства.

Демократическими депутатами был нанесен удар общественно-политической концепции дворянства, в частности развиваемой и Сумароковым и его сторонниками, об особой, исключительной роли дворянства в государстве. И Чупров, и Алейников, и Козельский будут доказывать, что весь народ, все сословия, и крестьяне прежде всего, имеют не меньшие, а может быть, и большие заслуги перед государством, что они истинные патриоты, что они своим трудом, питающим всех жителей России,

своими ратными подвигами заслужили право на уважение.

Когда в Комиссии заговорили о положении крепостных в русском государстве, то, естественно, возникал вопрос о правах крестьян и правах дворян. Дворянские депутаты отстаивали право на владение крепостными, ссылаясь и на заслуги предков и, главное, на свою ответственность за просвещение крестьян. Умные дворянские идеологи, такие, например, как князь Щербатов, отлично знали просветительскую точку зрения о невозможности освобождения непросвещенного народа. Об этом писали и Монтескье (его мысль повторила Екатерина в Наказе: «Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных»),[1] и Вольтер, и многие авторы «Энциклопедии». Если нельзя отпускать на волю непросвещенных крестьян, то, значит, их надо просветить. Вот эта миссия, это право и должны быть закреплены за дворянами.

С программной речью по этому вопросу выступил М. Щербатов. Учитывая обстоятельства времени и настроение демократических депутатов, он уже не отстаивает институт рабства, а считает необходимым тоже говорить о... свободе крестьян! Свою речь он начинает торжественно: «Великое сие есть право, чтобы кому свободу даровать! Единое сие имя *свободы* возбуждает в сердцах наших удовольствие; оно, вспоминая человеку естественное его свободное состояние, рождает мысли, чтоб, колико возможно, всех жителей света, лишившихся оныя от повреждения нравов и через обстоятельства, соучастниками оной сделать».

Как видим, Щербатов за свободу. Но... это вовсе не значит, что сейчас и следует заняться освобождением крепостных. Пока такой необходимости нет. Нет, потому что, с одной стороны, «помещичьи крестьяне час от часу богатея и благоденственнее становятся», а с другой, освобождать их нельзя, поскольку они непросвещены. «Еще российский народ требует во многом просвещения, которого ни от кого иного, как от своих господ, крестьяне получить не могут, и, следственно, если бы возможно

---

[1] «Наказ, данный Екатериной II Комиссии о сочинении проекта нового уложения». СПб., 1893, стр. 90.

было, без утеснения надлежало бы стеснить сей союз, их взаимно связывающий, а не клониться его прервать». Отсюда общий вывод — освобождение подорвет основы национального единства, «разорвет сию цепь, связующую помещиков с их крестьянами, которая в толь давних временах благоденствие самих крестьян и целость государства сохранила». [1]

Мы знаем, что Фонвизин придерживался просветительского взгляда на свободу крестьян. Уже в «Рассуждении о третьем чине» была развернута идея постепенной ликвидации крепостного права в России. Через несколько лет в письме П. И. Панину Фонвизин отчетливо и категорически сформулирует свою точку зрения: «Бесспорно, что вольность есть первый дар природы и что без нее народ мыслящий не может быть счастлив» (II, 474).

Но, будучи просветителем, Фонвизин также придерживался убеждения, что «вдруг» свободу народу непросвещенному предоставлять нельзя, что следует сначала его просветить, а потом уже освободить. Так возникал практический вопрос — кто же в самодержавном государстве станет осуществлять эту воистину историческую миссию подготовки к освобождению русского народа? Дворянские идеологи типа М. Щербатова, быстро учтя эту обстановку, громогласно заявляли — мы, дворяне. Это наше право. И пока мы будем просвещать крестьян, они будут работать на нас. В этих условиях Фонвизин выступил против домогательства помещиков быть воспитателями народа. На вопрос — кто же будет просвещать крестьян и тем самым готовить их к свободе? — Фонвизин отвечал: правительство, а не дворяне. Но не просто самодержавное правительство, а правительство просвещенного монарха, каким, он уже это понимал, не является правительство Екатерины II.

Отстаивая свои права, дворянские депутаты говорили о заслугах «благородного сословия», о его чести, о достоинстве и чувстве долга. Полемизируя со Щербатовым, демократический депутат Чупров смело утверждал: «Токмо ныне дело не о том идет, и господа депутаты не на то собраны, чтобы честь себе приписывать, но

---

[1] Сборник Русского исторического общества, т. XXXVI, стр. 309, 311.

о узаконении всех вообще и каждого особенно».[1] Долгие годы дворянство «честь себе приписывало». Наступал исторически важный момент — показать действительное лицо русского дворянства, рассказать о подлинных делах дворян-помещиков, дворян-чиновников, дворян-военных, поведать всему миру, что́ движет их поступками — долг, добродетель, честь или корысть, стремление к наживе и роскоши, к эгоистическому благоденствию, паразитической жизни. И литература Просвещения сразу после закрытия Комиссии в декабре 1768 года ответила на эту потребность времени. С мая 1769 года стал выходить сатирический журнал Новикова «Трутень», в котором было зло обличено «благородное сословие», беспощадно «снята личина» с дворян, чиновников и помещиков. В мае — июне 1769 года Фонвизин привез из Москвы в Петербург сатирическую комедию «Бригадир», в которой создал портрет русского дворянина, высмеял и заклеймил помещика-чиновника и помещика-военного.

Проблематика «Бригадира» в нашем литературоведении обычно никак не связывается с событиями социально-политической жизни России конца 60-х годов. Так, например, современный исследователь отмечает, что «осмеяние «французомании» составляет одну из основных задач комедии».[2] Отсюда — рассмотрение «Бригадира» лишь в ряду литературных явлений, установление преемственности с предшествующим сатирическим изображением «русских-французов» («Третейный суд» Сумарокова, «Русский-француз» Елагина и т. д.). Такой подход, несомненно, ведет к недооценке общественного значения комедии.

«Бригадир» — комедия, порожденная событиями общественно-политической жизни конца 60-х годов. Обличение дворянства, создание его сатирического портрета, осмеяние намерения дворянства «честь себе приписывать», решительное и смелое выступление против самозванно приписанного «права» просвещать крестьян — все это имело первостепенное политическое значение. Как истый просветитель, Фонвизин давал бой дворянской идеологии. Острый интерес Фонвизина к главным

---

[1] Сборник Русского исторического общества, т. XXXII, стр. 504.

[2] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 95.

социальным проблемам русской жизни, общественный опыт писателя, учет той борьбы, которая развернулась в Комиссии, — все это определило внимание драматурга к действительной жизни русских дворян, к реальным конфликтам русского общества, помогло создать комедию, в которой все увидели знакомые, чисто русские обстоятельства жизни дворян, характеры истинно русских помещиков. Высота идейных убеждений Фонвизина помогла ему одержать художественную победу.

С середины 1768 года Фонвизин стал готовиться к уходу со своей придворной службы. Освобождение Елагина от дел в канцелярии по приему челобитен помогло исполнению намерения. Сдав к осени все дела, Фонвизин хочет уйти в отставку, но Елагин отговаривает его. Тогда он берет полугодовой отпуск и приблизительно в конце октября уезжает в Москву, исполненный желания писать комедию. В апреле 1769 года [1] комедия была готова. Кончался срок отпуска, но возвращаться на службу Фонвизин не хотел, и он попросил об отсрочке еще на полгода. Мотивировал он это необходимостью закончить начатые литературные работы. Желание уйти в отставку было не случайным. Не веря Екатерине, он не хотел служить ей и предпочитал заняться литературой. То же сделал Новиков — в начале 1769 года он ушел в отставку и занялся издательской и литературной деятельностью. Как высоко оценивал Фонвизин роль писателя в это время, видно из его обращения к Павлу в 1771 году, то есть всего через два года: «Позволь, о государь, вещать тебе гласом всех моих сограждан». Веря в слово, в его воспитательную силу, понимая общественную роль литературы, Фонвизин как писатель стремился «вещать гласом всех своих сограждан». Первым оригинальным художественным произведением, в котором Фонвизин говорил от имени своих сограждан, и был «Бригадир», которого он привез весной (в мае — июне) 1769 года в Петербург.

Прежде чем комедия попала на сцену, Фонвизин читал ее в придворных кругах и своим друзьям-единомышленникам. Уже в августе в журнале «Трутень» Новиков оповестил всю читающую публику о появлении новой

[1] См.: Д. И. Фонвизин. Собр. соч., т. II, стр. 400.

русской комедии, которая восстанавливала честь русского театра. В «Известиях с Парнаса» сообщалось, что Аполлон показал «новую русскую комедию ***, сочиненную одним молодым писателем. Талия, прочитав оную, приняла на себя обыкновенный свой веселый вид и сказала Аполлону, что она сего автора со удовольствием признает законным своим сыном. Она и записала его имя в памятную книжку, в число своих любимцев».[1]

---

[1] «Трутень», 1769, л. XVIII, стр. 138—139.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«В НАШИХ НРАВАХ ПЕРВАЯ КОМЕДИЯ»

1

В «Бригадире» действуют две семьи провинциальных помещиков. Образ Ивана стоит в центре комедии.

Этот образ создан воспитанником Московского университета, молодым просветителем, который понял всю антиобщественную сущность жизни, обычаев, культуры и нравов тех дворян, которые живут своекорыстными кастовыми интересами. Поэтому первой удачей Фонвизина в «Бригадире» был образ Ивана. Обогащенный опытом жизни, насыщенной крупнейшими политическими событиями, писатель сумел по-новому взглянуть на проблему воспитания. Он понял: дело не только в том, что плоха система «питания», что к карьеризму, нелюбви к родине ведет и петербургская система воспитания, применявшаяся в дворянских учебных заведениях, понял, что дело не в частных случаях. Все дело в социальном укладе жизни дворян-помещиков. Паразитические условия существования воспитывают не только тупого, невежественного и жестокого тунеядца, но и холодного, расчетливого эгоиста, циника и развратника, ярого ненавистника отечества, бездушное существо, не знающее рода и племени.

В «Бригадире» Фонвизин весело смеется над уродствами жизни. Иногда и мы улыбаемся, видя французоманию или идиотически бессмысленную жизнь двадцатипятилетнего бездельника. Но в большинстве случаев появление Иванушки, его речь вызывают негодование

и возмущение. Когда он заявляет, что должен французскому кучеру за любовь к Франции и за холодность к русским, когда он говорит: «Тело мое родилось в России, это правда, однако дух мой принадлежит короне французской», или: «я пренесчастливый человек. Живу уже двадцать пять лет и имею еще отца и мать», или когда он занимается ухаживанием за чужой женой и жестоко оскорбляет мать, не улыбка, а гнев возникает в душе зрителя и читателя. И в этом заслуга драматурга. Образ Ивана строится резко сатирически.

Общественный опыт Фонвизина помог углубить характеристики и других персонажей. Главной задачей драматурга стал показ не абстрактных пороков, понятых как уклонение от идеальных норм человека, а реальной практики, живой будничной жизни рядовых членов «благородного сословия». Образы бригадира и его жены, советника и советницы оказывались как бы живой иллюстрацией к речам Коробьина и Козельского, комедия опровергала хвастливые, кастовые речи Щербатовых и Нарышкиных о врожденном благородстве, о высоких моральных достоинствах, за которые, по их мнению, «по справедливости» они и наделены правом владения подобными себе людьми.

В «Бригадире» на сцену вышли рядовые представители «благородного сословия» — провинциальные помещики бригадир и советник. Несмотря на разность имущественного положения (бригадир — побогаче, и советник уже мечтает прибрать к рукам его деревеньки), они чувствуют себя равными, и это равенство понимается ими в социальном плане. «Мы все дворяне. Мы все равны», — заявляет советница.

Хозяйство в доме бригадира ведет его жена. Глупая и невежественная, она без труда управляет и дворовыми и деревенскими крепостными. Советник же все держит в своих руках. И бригадирша и советник скупы, властны и жадны до денег. За внешней благопристойностью скрывается хищный облик собственников, готовых перегрызть друг другу горло. Характерна в этом отношении сцена любовного объяснения советника с бригадиршей. Пытаясь объясниться в любви, советник неосторожно произносит роковое слово: «Могу ли я просить», на что, вся насторожившись и ощетинившись, бригадирша отвечает: «Да чего ты у меня просить хочешь?

Если только, мой батюшка, не денег, то я всем ссудить тебя могу. Ты знаешь, каковы ныне деньги: ими никто даром не ссужает». Слово «деньги» немедленно заставляет прийти в себя и одурманенного «наваждением» советника: «Не о деньгах речь идет; я сам для денег на все могу согласиться» (I, 66).

И бригадир и советник в прошлом служили. Бригадир, прослужив не один десяток лет, дотянулся наконец до значительного чина и вышел немедленно в отставку. Единственной целью службы была корысть. Получив чин, он не устает чваниться перед женой, советницей, сыном. От бригадира идет прямая родословная к Скалозубу — полковнику, ловко осуществлявшему свою «паркетную» карьеру.

От советника тянутся нити к Фамусову. Дворянин-чиновник, взяточник, наглец, ханжа, он не стыдясь признается, что целью его службы было приобретательство, личное обогащение: «Меня благословил бог достаточком, который нажил я в силу указов» (I, 50). В разговоре с дочерью советник открыто заявляет, что смысл царской службы в наживе. «Я сам бывал судьею: виноватый, бывало, платит за вину свою, а правый — за свою правду; и так в мое время все довольны были: и судья, и истец, и ответчик» (I, 61).

Раскрытие социальной практики дворян-чиновников прямо продолжало те обличения, с которыми выступали не только Козельский и Коробьин, но и крестьянские депутаты — Чупров, Жеребцов, Алейников и Маслов. Это они с трибуны Комиссии заявляли, что в России господствует беззаконие, что ни государственный крестьянин, ни крепостной, ни горожанин не могут найти правду в суде потому, что там сидят только дворяне. Именно эти выступления депутатов вызывали сатирические статьи Новикова в «Трутне» о судьях-взяточниках. Именно эти обличения обеспокоили Екатерину, и она в своем журнале «Всякая всячина» выступила против «шмелей», осмелившихся утверждать, что в России нет правосудия. Некто, под псевдонимом Тихона Добросоветова, со страниц «Всякой всячины» заявил, что обличения «Трутня» — ложь, что в России, под руководством мудрой Екатерины, неправосудие искоренено, а что если и есть отдельные порочные судьи, то это нельзя подвергать

осуждению, ибо взятки берутся по «слабости человеческой», над которой грешно смеяться.[1] Фонвизин включился в эту борьбу, заставив советника выдавать свои пороки за слабости человеческие. Советник заявляет: «Челобитчик толкует указ на один манер, то есть на свой, а наш брат, судья, для общей пользы, манеров на двадцать один указ толковать может» (I, 62). На возмущение дочери, зачем же он делает преступление, осуждая невиновного, советник отвечает в духе объяснения Екатерины: «Для того, что все грешны человецы».

Социальная характеристика бригадира и советника позволяла показывать, что их пороки — корыстолюбие, жестокость, ханжество, преступность, невежество, развращенность — проистекают из их паразитического существования. Поступки бригадира и советника — не отвлеченные пороки, они порождены реальной практикой российского дворянства. Вот почему Фонвизин мог главное свое внимание перенести на изображение моральной развращенности российских помещиков — эта аморальность выступала как следствие образа и уклада их жизни.

Важнейшей задачей передовой литературы той эпохи стала борьба с проповедью сословных, кастовых преимуществ, феодальных привилегий, оправдываемых «благородством происхождения». Против этого выступил в своих сочинениях философ Яков Козельский. Николай Новиков создал в «Трутне» целую галерею сатирических образов дворян, развенчивая тех, кто кичился своею «породою». Вереница дворян-чиновников, дворян-помещиков, столичных вельмож и щеголей прошла перед глазами читателей, и все они предстали в своем реальном обличии невежд, бездельников, бездушных рабовладельцев, развратников и преступников, трутней, общественных паразитов. Кичась своим благородством, дворянские идеологи не признавали крестьян за людей, и Новиков гневно и с возмущением писал об этом: «Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне», «я господин, они мои рабы»; «я человек, они крестьяне», говорит он. «От сей вредной болезни» Новиков прописывал рецепт: «Безрассуд должен всякий день по два раза рассматривать кости господские и кре-

[1] «Всякая всячина», 1769, стр. 214.

стьянские, до тех пор покуда найдет он различие между господином и крестьянином».[1]

Фонвизин в своем «Бригадире» продолжил эту борьбу дворянских просветителей с идеологией рабовладельцев. Комедия вывела на сцену не отдельного «недостойного» из дворянского корпуса, как это делал, например, Сумароков в своих памфлетных комедиях, а рядовых и типических представителей российского дворянства. И оказалось, что над их «благородством» можно не только весело смеяться, — что их поступки могут заставить негодовать: так неприменимы к ним, реально существующим людям, все эти, созданные для оправдания их паразитизма, кодексы чести, добродетели и т. д. Памфлетность и помогла Фонвизину броско, ярко, неотразимо показать истинное лицо российского помещика. При этом писатель поражал своих противников, действуя самым сильным оружием — правдой и смехом. И в бригадире, и в советнике, и в Иване, именно потому, что они были жизненны, читатели сразу узнавали своих современников. Никита Панин, например, немедленно по прочтении Фонвизиным комедии сказал ему: «Я вижу, что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо бригадирша ваша всем родня». Вяземский через много лет, рассказывая о комедии Фонвизина, сообщал: «Влияние, произведенное комедией Фонвизина, можно определить одним указанием: от нее звание бригадира обратилось в смешное нарицание».[2]

2

Политическая задача, стоявшая перед драматургом, определила композиционное строение комедии. Стремясь быть верным действительности, Фонвизин вывел на сцену реальных русских помещиков. При этом он понимал, что традиционный в драматургии классицизма любовный сюжет будет сковывать его героев, помешает им полностью проявить себя. Реальные, выхваченные из русской жизни герои должны быть показаны в таком действии и такой обусловленности своих поступков, которые

---

[1] «Трутень», 1769, л. XXIV, стр. 188, 190—191.

[2] П. Вяземский. Фон-Визин, стр. 209.

определялись бы самой действительностью. Было ясно, что сюжет, как и человеческие характеры, создает жизнь, а писатель должен увидеть, понять его и сделать главной пружиной своей комедии.

Главным для писателя было обличение уродств русской социальной жизни. Обличая, он, сам дворянин, стоял на новых, просветительских позициях. Больше того — он видел, что был не одинок. Дворяне Козельский и Коробьин выступили одним фронтом с крестьянскими депутатами в обличении своекорыстия «благородного сословия». За ними следом войну русским помещикам объявил Новиков. Так Фонвизин начинал чувствовать один из важнейших исторических конфликтов русской жизни — расслоение русского дворянства, вызревание в нем сил, готовых поднять бунт против сословности. К началу XIX века этот процесс проявился чрезвычайно ярко и наглядно. Ленин писал: «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых. „И между ними, — писал Герцен, — развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия“».[1]

60-е годы — только самое начало этого исторического процесса. Позже Фонвизину суждено было видеть, как из дворянской среды вышел первый русский революционер Радищев. В его книге «Путешествие из Петербурга в Москву» путешественник-дворянин порывает со своим классом, встает на путь народной революции, призывает «избить» дворянское племя и казнить монарха. Но путешественник этот был еще одиноким. Радищев был первым и единственным в XVIII веке революционером. В новых исторических условиях — в 10-х годах XIX века, после Отечественной войны — «лучшие люди» из дворянства дадут России революционеров. Историче-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 9 (В. И. Ленин цитирует статью А. И. Герцена «Концы и начала»).

ское столкновение этих двух сил — юной, революционной России и старой России, России дворянско-крепостнической, — изобразил Грибоедов в комедии «Горе от ума».

Вот почему поиски Фонвизиным реального сюжета привели его к попытке столкнуть две силы в дворянстве: косную, своекорыстную партию крепостников с молодыми воспитанниками дворянского Просвещения России: бригадира, советника, Ивана — с Добролюбовым и Софьей.

Деление действующих лиц на два лагеря в комедии обозначено ясно. Добролюбов и Софья — люди той же социальной среды, что и обличаемые персонажи, но иных убеждений, иной морали. Что же это за люди? Существующая в научной литературе точка зрения, что Добролюбов и Софья — традиционные положительные герои классической комедии, глубоко ошибочна. Общий принцип художественного мышления Фонвизина — верность действительности — принес победу и в создании положительных образов. Добролюбов и Софья — это робкая и еще художественно несовершенная попытка изобразить «новых людей», появившихся в России. В сознании Фонвизина этими «новыми людьми» были прежде всего воспитанники Московского университета, по выражению Ломоносова — «национально достойные в науках люди» или близкие им лица. К 1769 году многие из них уже общественно обнаружили себя, проявив на деле и любовь к отчизне и служение «общей пользе». Стремление к общественной деятельности, свободомыслие, уважение человеческой природы в людях «низкого состояния», вера в великую силу воспитания — черты, характерные для круга людей, близких Фонвизину (Н. Новиков, Ф. Козловский и др.). Вот почему идейно-моральный облик Добролюбова и Софьи так похож на облик людей этого типа.

И Добролюбов и Софья верят, что «всему причиной воспитание». Они сами воспитаны в уважении к своему отечеству, его языку, нравам и обычаям. Им ненавистен Иванушка, они с презрением именуют его «скотом», «дурачиной». Им свойственно вольномыслие, столь характерное для Фонвизина, Новикова, Козловского. Софья, например, говорит в ответ на слова отца, что «ангелы возрадуются на небесах, увидя угождение Софьи

бригадирше»: «Как, батюшка, неужели ангелам на небесах так много дела до моей свекрови, что они тогда радоваться будут, ежели я ей угождать стану?» (I, 63) и т. д.

Только Добролюбов и Софья в этом сборище моральных уродов сохранили человеческие чувства достоинства, чести, участия. Отношения молодых людей чисты и целомудренны. Любовь их выдерживает все испытания. Добролюбов с достоинством заявляет по поводу грязных любовных шашней двух семей: «их любовь смешна, позорна и делает им бесчестие. Наша же любовь основана на честном намерении и достойна того, чтоб всякий пожелал нашего счастия» (I, 59—60).

Добролюбов и Софья — единственные, кто проявляет участие к страшной и горькой судьбе Акулины Тимофеевны, этой жертвы семейного деспотизма. И опять эта черта участия к людям забитым, придавленным нуждой и обстоятельствами, к жертвам насилия, это стремление утешить, помочь, эта отзывчивость человеческого сердца, противопоставленные черствому, скотскому эгоизму и равнодушию Ивана, бригадира, советницы, прямо ведут нас к морали новых людей, к нравственному облику писателей, объединенных вокруг новиковского журнала «Трутень». Именно к этому времени мораль «новых» людей получила свое общественное выражение. В новиковском журнале «Трутень» печатались письма на имя издателя, в которых мы встречаем, например, такие выражения: «Вы чувствительны к крестьянскому состоянию», «Вы — прямой друг истинного человечества» и т. д. В «Крестьянских отписках» рассказывается о жестоком, бессердечном помещике Григории Сидоровиче, и его тиранству, жестокости и черствости противопоставляются отзывчивость, сочувствие крестьян, которые, сами будучи рабами и нищими, помогают своему разоренному собрату. Наконец, в том же «Трутне» помещено письмо писателя Аблесимова Новикову, в котором сообщалось: «Я вам знаком... Я к вам искренен... Я из числа людей, ни откуда помощи не имеющих, и, прожив на свете тридцать лет, насилу сыскал трех человек, знающих и чувствующих несчастии себе подобных, и коих добродеяниям в пользу утесненных нет пределов, или, лучше сказать, нет сил моих оные по достоинству прославить. Они люди молодые, светские, возвышенные на такой почтен-

ный степень, на коем подобные им бывают горды и затворяют свой слух от стенания бедных и беспомощных человеков... мои благодетели, или, правильнее сказать, благодетели всех бедных и утесненных, снисходительны, ласковы, ставят должностию помогать помощи требующим».[1]

Отзывчивость Добролюбова и Софьи носит именно этот характер, она принадлежит к добродетелям «новых людей», которые «снисходительны», «ласковы» и «ставят должностию помогать помощи требующим». На сцене появляется Акулина Тимофеевна, оскорбленная — в который раз! — своим мужем. Темная, забитая, с рабской психологией, она все же еще не «оскотинилась» до конца, в ней еще теплится живое чувство забитой и приниженной личности. И она, сама помещица-тиранка, слабо, бесконечно слабо, но все же протестует против насилий и оскорблений. Этот протест выражается всего лишь в жалобе на свою горькую и несчастную судьбу. Софья и Добролюбов обращаются к ней с участием, лаской. Не в первый раз плачет Акулина Тимофеевна от побоев и оскорблений. Но в первый раз облегчает она свое сердце исповедью, ибо впервые встречает человеческое участие и утешение. Рабская приниженность Акулины Тимофеевны возмущает Софью, как истинно нового человека, и она с негодованием заявляет: «Пожалуйста, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество» (I, 85).

Значение положительных героев — Добролюбова и Софьи — именно и прежде всего в их верности действительности, в том, что это первая попытка изобразить реально появившихся в обществе «новых людей». И здесь Фонвизин рвет с нормами классицизма, стремясь и в положительных образах быть верным жизни. Но художественная слабость этих образов, проявляющаяся прежде всего в том, что они даны вне действия, что у них нет дел, определена тем, что Фонвизин изобразил общественное явление, еще только обозначившееся. Еще в самой жизни неясна была та роль, которую займут «новые люди» среди дворян в политической жизни страны.

Образ Добролюбова не приобрел художественной убедительности и потому, что Фонвизин-просветитель все

---

[1] «Трутень», 1769, л. XXIX, стр. 225--228.

надежды на изменения социальных обстоятельств жизни в России возлагал только на просвещенного монарха. Именно он, просвещенный монарх, источник законов в самодержавном государстве, может изменить условия жизни и крестьян, и «третьего чина», и дворян. По Фонвизину, «дворянский корпус» нуждался в оздоровлении и просветительском попечении правительства не меньше, чем «пребывающий в невежестве» простой народ. Оттого и неясна была роль в обществе просвещенных дворян, ненавидевших убеждения, образ жизни и этические принципы бригадиров и советников. Очевидно, они могли служить орудием просвещенного монарха в его деятельности, направленной на благо нации. Но именно к моменту создания «Бригадира», как мы знаем, рухнули надежды Фонвизина на Екатерину, ему стала понятна ее лживая политика, ее игра в просвещенного монарха.

Писатель не смог изложить в комедии свою позитивную программу. Добролюбов, выражая убеждения автора, прямо в лицо взяточнику советнику говорит: «Корыстолюбие наших лихоимцев перешло все пределы. Кажется, что нет таких запрещений, которые их унять бы могли» (I, 81). Это — констатация факта, что екатерининское правление не привело к истреблению лихоимства и взяточничества, что указ императрицы от 20 июля 1762 года остался невыполненным. Правда, тут же Добролюбов делает оговорку: «Мы счастливы тем, что всякий, кто не находит в учрежденных местах своего права, может идти наконец прямо к вышнему правосудию: я принял смелость к оному прибегнуть, и судьи мои принуждены были строгим повелением решить мое дело» (I, 81). Фраза эта не просто естественный комплимент, без которого комедию нельзя было бы поставить на придворном театре. Она выражала и убеждение Фонвизина — только просвещенный монарх может унять дворян-судей в их злодействе. Надеяться на честь и чувство долга советника и ему подобных представителей благородного сословия нельзя. Добролюбов, говоря об этом, сам, оказывается, никак не связан с правительством, он одинок. Связать же его с правительством значило бы возлагать надежду на Екатерину, а прославлять императрицу Фонвизин уже не мог.

Так политические обстоятельства мешали Фонвизину определить общественную роль людей добролюбовского

толка. Естественно, не определилось и место Добролюбова в его столкновении с бригадиром и советником. Но, невзирая на крушение иллюзий, Фонвизин не хотел молчать. Если не была известна программа деятельности, то была осознана необходимость обличения дворянства. Создав жизненно достоверные портреты бригадира, советника и Иванушки, Фонвизин как бы спрашивал идеологов дворянства: и вот эти люди — носители кодекса дворянской чести? Они спасители отечества? Им надлежит доверить воспитание крестьян и приуготовить нацию к свободе? Чем ярче раскрывались характеры главных действующих лиц комедии, тем обнаженнее выступал перед зрителем ее далеко не невинный общественный смысл. Фонвизин хоронил сумароковско-щербатовскую концепцию о правах, чести и заслугах дворянства под веселый и убийственный смех.

Невозможность сделать фигуру Добролюбова общественно-активной помешала драматургу превратить противоречие двух лагерей в их борьбу. Отсутствие столкновений двух групп лишило комедию нового сюжета. Действие в силу этого пошло по другой линии, обусловленной сатирическим замыслом показать ничтожность, невежество, паразитизм российских помещиков. Для этой цели Фонвизин приспособил традиционный любовный сюжет, превратив и его в орудие своей сатиры.

Наивно полагать, что сюжетом «Бригадира» является история соединения любящих друг друга Софьи и Добролюбова. Их любовь — вне действия комедии. Изъятие этой линии ничего не изменит в развитии пьесы.

Действие в «Бригадире» происходит лишь в стане обличаемых. Их-то всех и связывает любовный сюжет. Но, как мы уже знаем, любовь их «смешна, позорна и делает им бесчестие». Советник и бригадир, Иванушка и советница давно утратили человеческий облик, чувство личности давно стерто в них животным эгоизмом, скотским самодовольством. Они неспособны на истинное человеческое чувство, в частности — на любовь. Это явление одним из первых увидел Новиков, и в «Трутне», а затем в «Живописце» появилась серия сатирических образов дворян, которые подменили любовь пошлым и грязным ухаживанием, недостойным человека, циничным и откровенным развратом. Появился даже термин у модников столичного дворянского общества — «махаться».

Вот рассуждение столичной модницы, которой тщатся подражать не только советница и Иван, но и сами бригадир с советником: «Ха-ха-ха. Ах, монкюр, ты уморил меня! Он живет три года с женою и по сю пору ее любит! Перестань, душенька, это никак не может быть: три года иметь в голове своей вздор!.. Ах, как он славен; с чужою женою и помахаться не смеет, еще и за грех ставит! Прекрасно!» [1]

Именно это же заметил Фонвизин по приезде своем в Петербург, о чем с горечью писал в Москву своей сестре: «Странное дело! Ты не поверишь, матушка, что с нынешнего нового года все старые дураки новые дурачества понаделали! Например, Шепел., женатый на Рубанов., разводится с женою... Графа А. А. Бестуж. застал я здесь в покаянной, куда посажен он каяться в том, что не поступал он по правилам здравого рассудка, хотя никто не помнит того, чтобы какой-нибудь род разума отягощал главу его сиятельства (каяться графа Бестужева заставили за то, что, женившись на княжне Долгоруковой, он долго издевался над ней, избивал и, наконец, обобрав, выгнал из дому. — *Г. М.*). Жена господина Деденева закричала здесь караул, ехав по большой улице. Она и действительно имела к тому законную причину, затем что везли ее в прорубь по приказанию мужа ее» (II, 336—337). И так без конца. Естествен был вывод: «Принужден я иметь дело с злодеями или с дураками. Нет мочи более терпеть... Честному человеку жить нельзя в таких обстоятельствах, которые не на чести основаны». Эти впечатления жизни меняли не только характер Фонвизина-человека, но и формировали сатирический склад таланта Фонвизина-драматурга. «Я не знаю сам, отчего прежний мой веселый нрав пременяется на несносный. То самое, что прежде сего меня здесь смешило, нынче бесит меня» (II, 338, 336).

Соответственно нравственному облику тех, кто, по словам Фонвизина, «превосходит уже всякую скотину», любовный сюжет претерпевает изменения. По законам нормативной поэтики классицизма в сочинениях, где действовали отвлеченные и умозрительные персонажи, любовный сюжет должен был помогать создавать образцы добродетелей и служить примером исполнения кодекса

---

[1] «Живописец», СПб., 1772, стр. 75.

дворянской чести. В жизни действуют не отвлеченные герои, но советники и бригадиры, Иванушка и советница. И не любовь, а «маханье» связывает этих «скотов». Так, любовная интрига «Бригадира», подменившая любовный сюжет, оказывается реалистической, выхваченной из действительности и потому отвечающей идейному замыслу сатирического обличения «благородного сословия». И это было победой Фонвизина-драматурга.

Любовное «маханье» связало в единый клубок всех отрицательных персонажей. Иван заводит интригу с советницей, советник с приказной изворотливостью ухаживает за Акулиной Тимофеевной, Игнатий Андреевич приемами заправского солдафона «штурмует» советницу, решительно готовясь оттеснить конкурента-сына. Любовная интрига вскрывала существенную сторону жизни русского дворянства, его разнузданный и циничный разврат. Бесстыдство этих лиц, их закоренелая безнравственность подчеркиваются еще и тем, что любовным «маханьем» занялись семейные люди, съехавшиеся для сговора своих детей. Не может не «оскорблять человечество» соперничество отца и сына. Соперничество служит для Фонвизина ярким и убедительным средством показывать идейное единство и моральную общность как невежественных, неграмотных крепостников, так и новомодных воспитанников иностранных учителей, поклонников французских мод и французской культуры. Отец и сын, перебивающие друг у друга право «махаться» с чужой женой, достойны равного презрения.

Несомненно, что перекрестная любовная интрига, накрепко связывающая всех действующих лиц (исключая Добролюбова и Софьи), откровенно памфлетна. И в этом сказалась активность писателя-сатирика, которого уже все «дворянские дурачества» не смешат более, а «бесят».

3

После всего сказанного следует задать вопрос: как же современная наука определяет художественный метод автора «Бригадира»?

Чем глубже и серьезнее изучается история русской комедии, творчество Фонвизина в целом, его «Бригадир» в частности, тем яснее становятся принципиальное

отличие «комедии в наших нравах» от предшествующей традиции, замечательные художественные достижения и, главное, *открытия* молодого автора, сумевшего благодаря тому создать жизненно убедительные, глубоко типические, социально обусловленные характеры русских дворян середины XVIII века. Так появилась потребность как-то назвать художественные открытия Фонвизина. И назвали их реалистическими. Но, с другой стороны, существующая схема эстетического развития в XVIII веке (классицизм сменяется сентиментализмом) не позволяет признать существование реализма в литературе XVIII века. Оттого и появляются противоречивые оценки и объяснения: «Бригадир» — комедия, написанная с позиций классицизма, но реалистическая, при этом ее реалистичность, жизненность и типичность характеров вовсе не означают существования реализма в XVIII веке, а только наличие его «элементов», «проблесков» и «ростков».

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. «Фонвизин вырос как писатель в литературной среде русского классицизма 1760-х годов, в школе Сумарокова и Хераскова. На всю жизнь его художественное мышление сохранило явный отпечаток влияния этой школы». [1]

П. Н. Берков в своем глубоко содержательном исследовании «Театр Фонвизина и русская культура», анализируя комедию, в одной из сцен обнаруживает «ключ» к фонвизинскому методу: «наблюдения над реальной действительностью кладутся в основу изображаемой жизни не натуралистически, «одной вещей поверхностью», но «проницая в вещей подробность» и «рассматривая действия своего собственного разума». Это, можно без преувеличения сказать, начало триумфального шествия русского критического реализма, дальнейшим и решительным успехом которого был „Недоросль“». [2]

Через несколько лет ученым сделана поправка: «Переход от внешних приемов характеристики к внутренней, к раскрытию внутреннего мира героев при посредстве действия и отношений этих героев между собою —

---

[1] Г. А. Гуковский. Фонвизин. — В кн.: «История русской литературы», т. IV, стр. 191.

[2] «Русские классики и театр», стр. 41.

был ценнейшим завоеванием русского реалистического искусства. Это не был еще критический реализм в полном смысле слова. Фонвизин, возможно, и не подозревал, какое огромное открытие представляет его бригадирша, результат и жертва тяжелых условий русской жизни XVIII века».[1]

Д. Д. Благой в учебнике пишет: «В построении своих пьес Фонвизин точно следовал правилам классицизма. И «Бригадир» и «Недоросль» состоят из пяти канонических актов. Равным образом в обеих комедиях соблюдено единство места и времени. Схематичны в духе классицизма и образы положительных персонажей комедии». В то же время «Фонвизин первым в нашей литературе сумел в персонажах своей комедии дать образцы реалистического обобщения, художественные образы-типы, сочетающие в себе изображение живого человека с показом типических явлений действительности. Это намечалось уже в «Послании к слугам моим», впервые осуществилось в «Бригадире» и проявилось с еще большей силой в следующей комедии Фонвизина, представляющей собой идейно-художественную вершину всего его творчества — „Недоросле“».[2]

В монографии К. В. Пигарева о Фонвизине читаем: «Как во всякой пьесе, написанной в соответствии с эстетическими требованиями классицизма, в «Бригадире» много условного, начиная с сюжета». Но в «Бригадире» есть и реалистические тенденции: «Отдельные недостатки «Бригадира» не должны умалять в наших глазах значения пьесы Фонвизина в целом, как первой национально-русской бытовой комедии... Достижения Фонвизина оказались настолько впечатляющими, что реалистически-бытовые тенденции были усвоены всеми наиболее значительными из современных ему драматургов, не исключая Сумарокова».[3]

Разберемся в этих противоречивых суждениях и попытаемся понять, чем определена такая позиция современных исследователей.

---

[1] «Русская комедия и комическая опера XVIII века». М. — Л., «Искусство», 1950, стр. 21.

[2] «История русской литературы XVIII века». М., Учпедгиз, 1955, стр. 295, 288.

[3] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 101, 103.

По моему глубокому убеждению, подобные суждения являются данью традиции. Недостаточная изученность литературного направления русского классицизма XVIII века, не до конца преодоленные представления о русском классицизме, выработанные учеными XIX столетия, отсутствие фундаментального исследования по истории русской комедии,[1] отрыв русской комедии от параллельно и одновременно развивавшейся драматургии Франции, Германии и Англии, изолированное от этого европейского опыта ее рассмотрение[2] и, наконец, отсутствие четкости в разработке чисто теоретических проблем, связанных с пониманием реализма, и в частности — его истории, — все это приводит к недооценке художественных достижений крупных писателей XVIII века. А Фонвизин был едва ли не самым крупным художником второй половины этого столетия. И, как большой и самобытный писатель, он не просто использовал наследие прошлого, но и прокладывал новые пути в искусстве. Устойчивость некоторых традиционных мнений не должна помешать последовательно и полно оценить действительный смысл художественного новаторства Фонвизина.

Исторически оценивая сделанные еще в 1930-х и 40-х годах смелые по тому времени утверждения таких знатоков литературы XVIII века, как Г. А. Гуковский, П. Н. Берков и Д. Д. Благой, о реалистическом характере комедий Фонвизина, я считаю возможным, опираясь на факты (некоторые из них ранее известны не были), поставить вопрос *о зарождении реализма и формировании нового художественного метода* в фонвизинском творчестве, а не о появлении в его комедиях лишь «элементов» и «проблесков» реализма. Это сделать необходимо прежде всего потому, что тем самым мы сможем исторически

---

[1] Такой труд уже написан П. Н. Берковым, но, к сожалению, до сих пор не издан. Его выход из печати поможет по-новому решить многие, до сих пор неясные, вопросы истории и теории русской комедии.

[2] Обследование многочисленных отдельных комедий, изданных в XVIII веке, оригинальных и переводных, открывает нам еще одну совершенно не изученную страницу истории русской комедии. Многие авторы и переводчики снабжали свои издания специальными предисловиями, в которых разрабатывали важнейшие теоретические вопросы, обосновывая новый художественный метод. Эти предисловия являлись эстетическими манифестами своего времени.

конкретнее оценить наши эстетические богатства. Мнения по этому вопросу, высказанные авторитетными учеными, помогут решению насущно важной проблемы.

Наиболее категорически о зарождении реализма как нового художественного метода в творчестве Фонвизина в свое время писал Г. А. Гуковский. В «Бригадире», указывал он, драматург порывает со многими принципиально важными правилами классицизма. Более того — у Фонвизина «на сцене начинается жизнь, вернее — жизнь вторгается у него на сцену, и тем самым, конечно, в принципе отменяется классическая схема, потому что это — не гротескная жизнь мира комедии классицизма, не возвышенная, надчеловеческая схема мира трагедии, а просто жизнь людей. *Рождается новый метод видения действительности*, еще сложно переплетающийся с традиционным наследием классицизма» (курсив мой. — *Г. М.*)

Данное суждение Г. А. Гуковского совершенно справедливо — в «Бригадире» действительно *еще только рождается* новый метод художественного видения и изображения жизни. Оттого и сильны традиционные приемы и методы построения характера. И это подробно раскрывал Г. А. Гуковский. Полную победу нового метода ученый признавал лишь в характере бригадирши. Остальные образы, и в частности — образы советника и бригадира, оказываются, по его мнению, построенными по методу классицизма, который требовал «показывать не живых людей, а отдельные пороки или чувства, показывать не быт, а схему социальных взаимоотношений».[1] Подобные выводы мне представляются недостаточно обоснованными — не случайно они и не подкрепляются примерами. Возникли они от исторически неточных представлений о литературных связях драматурга.

Вот почему прежде всего требует уточнения вопрос о связях Фонвизина с традицией. Издавна, с начала XIX века, почему-то повелось без особых доказательств считать его писателем-классиком, представителем «латино-французского классицизма».[2] К сожалению, подобное представление дожило до наших дней. Уточняя литературные

---

[1] Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. М., Учпедгиз, 1939, стр. 344, 340.

[2] См., например: Н. Полевой. Очерки русской литературы. СПб., 1839, стр. 100—101.

связи Фонвизина, некоторые литературоведы пишут, что он вырос в школе Сумарокова. Но разве действительные факты это подтверждают?

«Бригадир» написан драматургом в возрасте 24—25 лет. За плечами Фонвизина был богатый опыт литературной деятельности, которая не только не проходила в школе Сумарокова, но и была ей глубоко враждебна. Уже говорилось, что просветитель Фонвизин и дворянский идеолог Сумароков резко расходились во взглядах на крестьянский вопрос и роль русского дворянства. Не был Фонвизин учеником сумароковской школы и в эстетическом плане. Он начал литературную работу с перевода романа, проявляя к этому жанру, вопреки запретам Сумарокова, глубокий принципиальный интерес. Затем Фонвизин перевел сентиментальную повесть и «склонил» на русские нравы психологическую драму «Корион». Если мы откажемся от предвзятого мнения отдельных исследователей и обратимся к фактам, то увидим, что у нас нет никаких оснований считать, что Фонвизин как писатель воспитывался в школе Сумарокова.

Дело обстояло иначе. Ну, конечно же, он отлично знал и комедии и трагедии Сумарокова и — шире — был знаком с богатейшим европейским наследием классицизма, и в частности — с драматургией Мольера. Безусловно, великие художественные достижения этого литературного направления, глубокий анализ человека, строгость и ясность построения драматического действия, закрепленные правилами трех единств, оказали влияние на Фонвизина.

Задумав написать памфлетную сатирическую комедию о русских дворянах, Фонвизин, естественно, опирался на национальную традицию литературного изображения и галломанов, и судейских чиновников-взяточников, и невежественных военных. В самом деле, галломания, например, уже многократно была описана и в комедиях и в журналах. Естественно, что традиция, и в частности — традиция драматургии классицизма, определяла и подсказывала не только объекты изображения, но иногда и принципы этого изображения, использование отдельных ситуаций, поступков героев. Новое никогда не появляется на пустом месте, не рождается вдруг. Об этих связях «Бригадира» с поэтикой классицизма писалось более чем достаточно.

Но в пору формирования эстетического кодекса Фонвизина и в России и на Западе появились новые литературные направления. Мы знаем, что Фонвизин не остался к ним равнодушен. Он был знаком, в частности, с современной французской драматургией, с новой, «слезной» драмой сначала Дидро и Бомарше, а позже Седена и Мерсье. Когда он, решив попробовать свои силы в драматургии, стал искать подходящее произведение для перевода, то выбор его пал не на комедию классицизма, а на психологическую драму Грессе «Сидней». А драма как жанр была враждебна поэтике классицизма, и с ней воевал Сумароков. Но мало того — Фонвизин, как известно, не только перевел, но и переделал драму и, переделывая, шел не по пути Сумарокова, а по пути его литературного врага — Лукина. Вот почему, когда Фонвизин писал «Бригадира», для него образы Сумарокова не были образцом. Он уже научился ценить в «слезной» драме внимание к условиям жизни героев, к их бытовому окружению, а в сентиментальных повестях — интерес к человеку, к его живой жизни, индивидуальному строю чувств.

Увлечение театром сблизило Фонвизина с любителями драматического искусства. Обычно прежде всего называются имена И. Елагина, В. Лукина (до ссоры с ним, происшедшей, видимо, в 1766 г.), Б. Ельчанинова. Каждый из них в первой половине 60-х годов выступил в качестве автора внутренне единых комедий, утверждавших новое направление. Драматурги выступали против развлекательных пьес, ставили перед собой общественно-воспитательные цели. «Всех их объединяло общее стремление создать национальный русский репертуар».[1] Общность эстетических воззрений проявилась и в методах осуществления новых задач — драматурги, выбирая подходящие для русских условий пьесы западных авторов, не просто переводили, а занимались их «преложением», «склонением на русские нравы». Комедия «Корион» — первый опыт Фонвизина в духе нового направления, активным деятелем которого станет Лукин, — обычно никак не связывается с «Бригадиром». Оригинальная комедия

---

[1] П. Н. Берков. В. И. Лукин, стр. 31.

молодого драматурга некоторыми историками литературы, напротив, сближается с традицией сумароковской школы, врагом которой был Лукин. В действительности и театральные связи и драматургические интересы Фонвизина были и разнообразнее и богаче, чем это принято обычно считать.

В письмах к родным из Петербурга (1763—1767) Фонвизин рассказывает подробно о своих театральных увлечениях и круге друзей, связанных с театром. Кто же эти люди? Прежде всего И. Дмитревский — великий русский актер, возглавлявший с 1763 года (после смерти Ф. Волкова) русскую труппу придворного театра; Ф. Козловский — поэт, драматург, университетский товарищ Фонвизина; С. Глебов — поэт, талантливый и плодовитый переводчик, воспитанник кадетского корпуса. Несомненно, ведущую роль в этом кружке театралов занимал Дмитревский. Старший по возрасту, призванный своим положением фактического руководителя русского театра (особенно после отстранения Сумарокова от заведования Российским театром в 1761 г.) заботиться о его репертуаре, он и объединял молодых драматургов и направлял их внимание на решение насущных задач.

А перед театром встала поистине историческая задача — преодоление условностей поэтики классицизма, расширение границ изображения богатств живой жизни, воссоздание правды характера неповторимой личности, раскрытие человека в его социальной и общественной обусловленности.

Как остро ощущалась необходимость нового, отличного от классицизма искусства, свидетельствует распространение в России и переводов «слезных» мещанских драм Детуша и популярность комедий, «склоненных на наши нравы» Лукиным. Но комедии Лукина, выдвинутая им программа создания национального репертуара (изложенная в предисловиях к пьесам), помогая демократизации театра, не изменили положения. То, что предлагал Лукин, нельзя назвать даже полумерами. В лучшем случае подобные «склонения» могли удовлетворить сегодняшнюю потребность зрителя в новом репертуаре. Лукин не только не вступал в борьбу с господствующим эстетическим кодексом в театре, но даже не оказывался способным понять и принять те новые теории, которые

разрушали классицизм, открывали новые возможности перед театром, реформировали его.

Таким реформатором драматического искусства явился Дидро. Опираясь на опыт английской буржуазной драмы и сентиментального романа, на французскую «слезную» драму, он выступил против классицизма с позиций воинствующего просветителя-материалиста. В теоретических работах, двух пьесах — «Побочный сын» и «Отец семейства», в программных предисловиях к обеим пьесам Дидро изложил основы новой теории драматического искусства. Чем была вызвана необходимость преодоления эстетики классицизма? Почему выработка нового художественного метода осуществлялась на идеологической основе Просвещения?

Борясь за раскрепощение личности от феодальной неволи, Просвещение не могло не использовать искусства как могучего оружия критики существующего неразумного строя, как средства воспитания нового идеала жизни. Вот почему и во Франции и в Германии была объявлена жестокая война классицизму. В спорах и полемике рождалась враждебная классицизму эстетическая теория, появлялись художественные произведения, открывавшие новые возможности искусства.

Но ниспровержение классицизма диктовалось и другими, органическими, внутренними причинами. Просвещение как идеология, выражая не только буржуазные идеи, но, в конечном счете, интересы широких народных масс, принесло новый взгляд на человека, на обстоятельства его жизни, на место личности в обществе. Соответственно изменились и содержание и формы искусства. Отличное от классицизма искусство Просвещения провозгласило доверие к реальной действительности, живой жизни, исполненной противоречий и страстей, жизни людей всех сословий, реабилитировало то, что объявлялось классицизмом низким и недостойным искусства, героизировало простого человека и его объективное «натуральное» чувство.

Каково же содержание эстетической системы нового искусства Просвещения? Определение принципов, формирование важнейших особенностей, отстаивание реалистического метода. Советское литературоведение убедительно показало, что зарождение основ реалистического искусства, создание теории реализма осуществлено про-

светителями в XVIII веке, и прежде всего Дидро и Лессингом.[1]

Нет нужды оговаривать, что свойственная просветительской идеологии ограниченность сказалась на непоследовательности развивавшейся в XVIII веке теории реализма. Эта непоследовательность приводила, с одной стороны, порой к неразрешимым противоречиям самого нового буржуазного искусства (например, у Дидро противопоставление точности деталей и обобщения, индивидуального и типического в характере и т. д.), с другой — к использованию и преобразованию классицизма XVII века в новый, просветительский классицизм (Вольтер), а позже в революционный классицизм (Жозеф Шенье). Нередко свойственная Просвещению трактовка человека лишь в сфере частных и глубоко личных интересов толкала писателей в художественной практике к сентиментализму, к «слезной» драме.

Но при всей непоследовательности просветительской идеологии, рождавшей противоречивость художественного творчества писателей-просветителей, совершенно ясно, что именно Просвещение в XVIII веке определило демократизацию искусства, открыло новую возможность изображения человека и объективных обстоятельств его жизни и что этот новый метод был реализмом. Реализм, окончательно победивший в XIX веке и вобравший в себя достижения классицизма и романтизма, обретает свою жизнь именно здесь, в просветительской литературе XVIII века. И не потому вдохновленное Просвещением искусство называется реализмом, что будто бы есть необходимость все хорошее в искусстве вообще, и в классицизме в частности, называть этим именем. Дело в другом. Развернувшееся антифеодальное движение народных масс за свое освобождение породило идеологию, которая открыла человечеству многие истины, ранее ему неведомые. В свете открытий в области и философии, и социологии,

---

[1] Укажу только некоторые работы, посвященные настоящей проблеме: В. Р. Гриб. Жизнь и творчество Лессинга. — В сб.: «Избранные работы». М., Гослитиздат, 1956; Н. Берковский. Реализм буржуазного общества и вопросы истории литературы. — «Западный сборник», т. 1. М. — Л., изд-во АН СССР, 1937; С. Петров. О реализме как художественном методе. — «Вопросы литературы», 1957, № 2; Я. Эльсберг. Проблемы реализма и задачи литературной науки. — «Вопросы литературы», 1957, № 4—5.

и естествознания, шире — научного познания действительности — стала ясной и очевидной недостаточность эстетического метода классицизма. Отвечая на потребности жизни, начал складываться новый художественный метод. И при всех своих противоречиях, исторической ограниченности и непоследовательности именно этот метод, открытый просветительской литературой XVIII века, в последующем обогащенный историческим, социальным и эстетическим опытом человечества, лег в основу реалистического искусства XIX века.

Как уже говорилось, в 60-х годах в России начала складываться идеология Просвещения. С просветительских позиций и стала оцениваться литературная практика сумароковской школы; выдвигаются новые задачи перед прозой, драматургией и театром. Потому реформа Дидро привлекла внимание и русских деятелей театра. П. Н. Берков первым обратил внимание на этот вопрос. Он писал: «Пьесы Дидро, Седена и др. не могли не быть известны Фонвизину, так как в кружке, группировавшемся вокруг Елагина, внимательно следили за состоянием парижского репертуара... Таким образом, учение Дидро о «серьезном жанре» и об «общественных условиях (conditions)» должно было быть известно Фонвизину, и можно считать, что в «Бригадире» следы этого знакомства налицо».[1]

Разыскания подтвердили правильность этого предположения. Обнаружилось, правда, что центром пропаганды теоретических воззрений и драматических опытов Дидро оказался не кружок Елагина, но группа литераторов, объединенных вокруг Дмитревского. В 60-х годах Дмитревский дважды выезжает за границу, и в частности — посещает Францию. Первая пьеса Дидро «Побочный сын» с приложенной к ней статьей «Беседы о „Побочном сыне“» вышла из печати в 1757 году; тогда же комедия и была поставлена на сцене. Вторая комедия — «Отец семейства» — издана в 1758 году, но поставлена только в 1761-м. Дмитревский, несомненно, имел возможность ознакомиться и с пьесами и со спектаклями.

Произведения Дидро вызвали широкий резонанс — противники реформы выступили с ожесточенными нападками на драматурга, быстро появившиеся поклонники

[1] «Русские классики и театр», стр. 36—37.

и последователи стали писать «во вкусе дидеротовом». Самым талантливым и пламенным последователем оказался Бомарше, который в 1767 году выпустил мещанскую драму «Евгения» с приложением теоретической статьи «Опыт о серьезном драматическом жанре», в которой популяризовал основные положения эстетической теории Дидро.

С середины 60-х годов, по возвращении Дмитревского из-за границы, в Петербурге и начинается усиленное изучение статей и пьес Дидро и его учеников. Кто же причастен был к распространению пьес Дидро в России? И. Дмитревский, С. Глебов, Б. Ельчанинов, А. и С. Нарышкины, С. Зиновьев и некоторые другие анонимные переводчики произведений Дидро. В 1765 году в Петербурге выходит в переводе С. Глебова вторая пьеса Дидро «Чадолюбивый отец». Перевод посвящен С. С. Зиновьеву. С. Глебов так мотивировал свою работу над переводом: «Государь мой! Вы хотели видеть комедию г. Дидерота, называемую «Старший в роде» на нашем языке, и хотели, чтоб перевел ее я; желание Ваше исполнилось: я, жертвуя своим свободным временем моим приятелям, коих власть надо мною беспредельна, перевел для Вас оную». [1]

В следующем, 1766 году тот же Глебов издал другую комедию Дидро — «Побочный сын». На этот раз пьеса была посвящена А. В. Нарышкину: «Следуя во всем мне возможном воле моих приятелей, перевел я по желанию Вашему комедию г. Дидерота, называемую «Побочный сын, или Опыт добродетели». [2] Итак, обе комедии Дидро переведены по воле приятелей С. Глебова. В посвящениях им названы имена высокопоставленных лиц — А. Нарышкина и С. Зиновьева, но, как мы знаем, среди приятелей Глебова были и Дмитревский, и Фонвизин, и, возможно, Ельчанинов. Сам же Ельчанинов, по свидетельству Новикова [3] и автора «Известия о некоторых русских писателях» (1768), [4] перевел не только обе комедии

---

[1] «Чадолюбивый отец. Комедия в пять действий. Сочинение г. Дидерота». СПб., 1765.

[2] «Побочный сын, или Опыт добродетели, комедия в пяти действиях г. Дидерота». СПб., 1766.

[3] «Опыт исторического словаря о российских писателях». СПб., 1772, стр. 65.

[4] «Материалы для истории русской литературы». СПб., 1867, стр. 139.

Дидро, но и его теоретические манифесты, приложенные к пьесам. Как известно, в 1768 году Ельчанинов отбыл из Петербурга в действующую армию, а в 1769-м — был убит. Следовательно, его работа над переводами произведений Дидро относится к 1764—1767 годам. Дальнейшая судьба переводов Ельчанинова неизвестна, но важно заметить, что о них знал и автор «Известия», выехавший из России в 1767 году, и Новиков, закончивший работу над «Опытом исторического словаря» в 1771 году. Видимо, эти переводы также читались и обсуждались и «приятелями», а может быть, и более широким кругом тогдашних читателей.

В 1767 году вышел из печати еще один перевод «Побочного сына» Дидро. Неизвестный переводчик[1] в специальном предисловии дает краткое определение смысла реформы Дидро и оценивает его открытие для развития драматургии. Дидро, писал он, «помышлял о зрелищах и показал единоземцам своим новый род драматического стихотворства, новые забавы им предвещающие». «Господин Дидерот, как древле Аристотель, взирал философическими очами на драматическое стихотворство, рассматривал свойства оного и предписывал правила и научил. Он увидел, коль тесны положенные драматическому искусству пределы, и испытал, что можно преступить их не заблудяся. Он думал, что можно увеселять и услаждать чувствительные сердца представлением борющихся в сердцах наших страстей».[2]

Неизвестный переводчик очень точно определил причину интереса к Дидро русских любителей театра — он, с одной стороны, показал им, «коль тесны положенные драматическому искусству пределы» поэтики классицизма, а с другой, — и в этом его главная заслуга, — открыл, «что можно преступить их (правила. — *Г. М.*) не заблудяся». Вот почему сразу после публикации переводов Дидро начали появляться произведения, написанные «во вкусе дидеротовом», — драмы Хераскова, серьезная комедия «Истинное дружество» С. В. Нарышкина. Характерно и это быстро вошедшее в обращение определение — «во вкусе

[1] В карточном каталоге ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде переводчиком ошибочно назван С. Глебов.

[2] «Побочный сын, или Искушении(!) добродетели, комедия в пяти действиях и простою речью писанная. Сочинение г. Дидерота. Предисловие переводчиково». СПб., 1767.

дидеротовом» — его мы уже встречаем в новиковском «Опыте исторического словаря о российских писателях».

По неизвестным причинам комедии Дидро не попали на петербургскую сцену. Однако, несомненно, пьесы и трактаты Дидро оказали влияние на русских драматургов, на театр, на главу русских актеров — Дмитревского. Потому-то, когда в 1767 году в Париже появилась драма Бомарше «Евгения», она не только немедленно стала известна в России, но именно стараниями Дмитревского была поставлена в Москве весною 1770 года. Ее постановке предшествовал литературный скандал.

Широкое распространение пьес Дидро, популярность его теорий, сочувствие его борьбе с «правилами» классицизма определили интерес и внимание читателей к драме Бомарше «Евгения». Этот интерес, это нарастание симпатий к «пакостному роду слезных комедий» встревожили, огорчили и возмутили вождя русского классицизма Сумарокова. Когда появился в Петербурге текст «Евгении», Сумароков, прочтя ее, решился начать борьбу с драматическими произведениями «нового рода». Был разработан план действия — написать письмо-протест Вольтеру и получить ответ от него. Ответ Вольтера мог, по мысли Сумарокова, послужить хорошим оружием в борьбе со «слезной» комедией. Ведь он — человек новых взглядов, близкий к «Энциклопедии» и Дидро и в то же время не принявший его реформы и отстаивавший поэтику классицизма. Письмо было написано в конце 1767 года и отправлено с оказией — в Морею, в штаб Орлова, выезжал князь Федор Козловский, который по пути должен был заехать с официальным поручением к Вольтеру. Письмо Сумарокова не сохранилось — он послал Вольтеру подлинник, не оставив себе даже копии. Но, судя по ответу Вольтера, драматург протестовал против распространения нового рода сочинений и призывал его высказать свое отношение к ним. Несомненно, о содержании письма знал Федор Козловский. Следовательно, знали и его друзья — Фонвизин и Дмитревский. Трудно предположить, чтобы такое событие — обращение Сумарокова к Вольтеру против «слезной» комедии — не стало предметом обсуждения в кружке, где интересовались новым жанром и реформой Дидро. Тем интереснее реакция руководителя этого кружка на письмо Сумарокова: Дмитревский весной 1770 года поставил в Москве «Евгению»

Бомарше, в которой сам сыграл одну из главных ролей — графа Кларендона.[1]

Связанный со многими литераторами, в том числе и с Новиковым, Дмитревский опирался в своей деятельности на их поддержку. Сразу после спектаклей «Евгении» в Москве в журнале Новикова «Пустомеля» сообщалось о шумном успехе поставленной Дмитревским пьесы. Дмитревский, говорилось в «сообщении из Москвы», «заставил о себе говорить по малой мере два месяца». Особенно понравилась зрителям игра самого Дмитревского в «Евгении»: «Искусство, с каким он сей роль представлял (графа Кларендона. — *Г. М.*), принудило зрителей оную комедию просить еще три раза, в чем они были удовольствованы и в каждое представление в новое приходили восхищение; казалось, будто искусство г. Д<митревского> по степеням еще больше возрастало».[2]

Получив ответ Вольтера, Сумароков, вооружась, выступил открыто против нового направления: в 1771 году, издавая свою трагедию «Дмитрий Самозванец», он предпослал ей предисловие, в котором обрушился на постановку Дмитревским «Евгении» в Москве, на «пакостный род слезной комедии» вообще. Для подкрепления своей позиции он приложил ответ Вольтера. Письмо Вольтера носило комплиментарный характер: фернейский мудрец высоко оценивал талант русского драматурга, хвалил за блестящее владение французским языком, высказывал уверенность, что он, еще молодой, «будет долго оказывать честь своему народу». Окончание письма посвящалось прямому ответу на вопрос: «Я полностью согласен со всем тем, что вы говорите о Мольере и о слезной комедии, которая, к стыду нации, заняла место единственного истинно комического жанра, доведенного до совершенства несравненным Мольером».

После Реньяра, который один приближался к Мольеру, продолжал Вольтер, «мы имели лишь нечто вроде уродов. Авторы, которые были не способны сочинить даже хорошую шутку, захотели сочинять трагедии; они были лишены веселости, чтобы писать комедии; они не знали,

---

[1] «Евгения» была представлена в первый раз «на российском театре» 18 мая 1770 года.

[2] Н. И. Новиков. Избр. соч. М.—Л., Гослитиздат, 1951, стр. 273.

каким языком должен изъясняться даже лакей. Они придали мещанское обличье событиям, достойным трагедии». Правда, признавал Вольтер, «говорят, что в этих пьесах есть кое-какой интерес» и они нравятся публике. Но этим не следует обольщаться: «ублюдочные пьесы являются ни трагедиями, ни комедиями; когда у вас нет лошадей, вы очень счастливы поехать на мулах».[1]

Обрушившись на постановку «Евгении» Дмитревским, Сумароков заявлял, что, «дабы не впустить оного («скаредного вкуса» к «слезным» комедиям. — *Г. М.*), писал я о таковых драмах к г. Вольтеру: но они в сие краткое время вползли уже в Москву, не смея появиться в Петербурге; нашли всенародную похвалу и рукоплескание, как скаредно ни переведена «Евгения» и как нагло актриса под именем Евгении Бакхаиту пи изображала... переводчик оныя драмы какой-то подьячий... Подьячий стал судьей Парнаса и утвердителем вкуса московской публики!.. Конечно, скоро преставление света будет».

Опираясь на авторитет Вольтера и следуя за ним, Сумароков также выступает против смешения жанров, против теории Дидро о возможности создания «серьезной комедии», отстаивает декретированную классицизмом чистоту жанров: «Но неужели Москва более поверит подьячему, нежели г. Вольтеру и мне; и неужели вкус жителей московских сходняе со вкусом сего подьячева». Здесь уже под «подьячими» Сумароков имел в виду не только переводчика «Евгении», «подьячим» был и автор «Евгении», сын часовщика Бомарше. Из «подьячих» вышел и постановщик «Евгении» Дмитревский. И вот именно эти «подьячие» начали воспитывать вкус московской публики, и публика была довольна, с восторгом аплодировала новому спектаклю. Обращение Сумарокова к публике кончалось почти истерически: «А ежели ни г. Вольтеру, ни мне никто в этом поверить не хочет, так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пити с солью, кофе с чесноком и с молебном совокупят панафиду».[2]

Но ни заклинания, ни ругательства Сумарокова помочь не могли: он возражал против того, что диктовалось самой жизнью, он хотел задержать рост неодолимой по-

---

[1] А. П. Сумароков. Дмитрий Самозванец. СПб., 1770, стр. X—XI. Оригинал по-французски.

[2] Там же, стр. VI, VIII.

требности в новом искусстве. Дмитревский, воспитанный на классическом репертуаре, овладевший всем лучшим в классицизме, чутко улавливал новые потребности и перестраивал русский театр, открывая дорогу реализму. Естественным оказалось использование вначале опыта французской просветительной драматургии,[1] освоение эстетического кодекса Дидро. Делал это Дмитревский не один, а с «приятелями» — переводчиками, молодыми драматургами, воодушевленными реформой великого французского просветителя. Среди этих «приятелей» Дмитревского был и Фонвизин. После «Кориона» Фонвизин работал над новой комедией «Бригадир». Завершал он ее зимой 1768 и весной 1769 года. В атмосфере интереса к реформе театра, начавшейся борьбы Сумарокова с «пакостным родом слезной комедии», смелого и решительного утверждения на русской сцене требований Дидро, осуществлявшихся Дмитревским, и писался «Бригадир». Талантливый писатель-просветитель чутко уловил в теоретических сочинениях Дидро и его драмах те художественные открытия, которые помогали обновлению театра. Написание комедии диктовалось остро осознаваемой драматургом политической ситуацией конца 60-х годов. Общественный опыт Фонвизина, стремившегося рассказать подлинную правду о жизни русского «благородного сословия», пришел в соприкосновение с художественными открытиями Дидро. Благодаря этому Фонвизин-драматург оказался способным сделать смелый и решительный шаг навстречу жизни, заложить основы нового «драматического стихотворства».

Прямо и косвенно полемизируя с поэтическим кодексом классицизма, Дидро в то же время не ставил перед собой цели полного и последовательного «уничтожения» враждебной ему системы взглядов на задачи театра и поэтического изображения человека на сцене. Он видел и понимал бесспорные достижения классицизма. Он даже

---

[1] В 1771 году была представлена мещанская трагедия «Честный преступник, или Детская к родителям любовь». По словам автора «Драматического словаря» (М., 1787), Дмитревский «к пущей красоте пиесы изобразил первый характер в чрезвычайности» (стр. 156). В 1772 году поставлена уже в Петербурге, а в 1773 году издана мещанская трагедия Седена «Беверлей». Затем, в 70—80-х годах, были изданы и сыграны в театрах драмы Мерсье, комедии Бомарше «Севильский цирюльник» и «Фигарова женитьба», драмы Лессинга и т. д.

считал нужным отмечать его огромные заслуги — например, мастерство Расина в изображении страстей человеческих. Пафос выступления Дидро состоял в повышении активности театра и его воспитательной роли, в требовании широкого и свободного изображения людей всех сословий, в отказе от рационалистических, условных характеров классицистического театра, в изображении индивидуально неповторимых судеб людей, чье поведение социально обусловлено, в воссоздании на сцене реальных, психологически оправданных, конкретных и достоверных обстоятельств жизни героев драмы и комедии.

Жизнь сложна и противоречива, в ней высокое сочетается с низким, печальное с веселым. Классицизм, требуя чистоты жанра, искусственно и нарочито обеднял жизнь. Потому, учил Дидро, должно создать особый жанр пьес, «осваивающих» эту жизненную правду и достоверность. «Я назвал его, — пишет Дидро, — серьезным жанром». «Серьезный жанр занимает «место между двумя жанрами», поэтому «в произведениях серьезного жанра всегда найдутся места, носящие печать комического и трагического жанра».

Дидро практически показал, как надо решать по-новому проблему сценического характера. Следовало отказаться от командования героями — они должны были жить на сцене самостоятельной жизнью, произносить слова, не подсказанные автором, а вызванные определенными их отношениями с другими действующими лицами. Дидро настаивал, что нужно «видеть свой персонаж, когда он выходит на сцену», вкладывать ему в уста речи, согласно происходящим на сцене событиям.

Но самостоятельно живущие герои должны находиться не на условной сценической площадке, а среди определенных предметов, вещей, характерных для быта данной социальной среды и индивидуальности героев. Необходимо поэтому «показать место действия таким, как оно есть». Зритель не захочет видеть «неловкого вранья». Если перед нами герой-современник, буржуа, то «нужно перенести в театр гостиную такой, как она есть».

Все эти требования нашли свое выражение у самого Дидро. Новаторство драматурга проявлялось уже в первой развернутой ремарке. В ней мы впервые видим «описание места действия таким, как оно есть»: «Театр представляет комнату, в которую сбираться (так. — *Г. М.*), убранную

обоями, зеркалами, картинами и стенными часами. Она принадлежит г. Дорбессону. Ночь почти проходит, и уже шестой час утра».[1] Но и этими, довольно подробными, указаниями Дидро-драматург не ограничился и счел нужным определить программу психологического поведения героев на сцене, вытекающего из особенностей их характеров и определенного сюжетно-психологического момента (ждут возвращения тайно ушедшего из дома сына Дорбессона). «Впереди в комнате виден г. Дорбессон, прохаживающийся тихими шагами. Он имеет голову наклоненну, руки подняты и кажет вид совершенно задумчивый. Немного далее, против камина, который в стороне комнаты, командор и племянница его играют в тавлеи (старинная игра в шашки и кости. — *Г. М.*). Позади командора, немного ближе к огню, Жермелей сидит в креслах и держит книгу в руках. Он часто прерывает чтение, взглядывает на Цецилу, в то время как она упражняется игрою».[2]

То же и в другой пьесе Дидро: «Театр представляет гостиную комнату, в ней видны клавиры, стулья, карточные столы, на одном из столов сих лежат тавлеи» и т. д.[3]

Урок, преподанный Дидро, был быстро усвоен драматургией нового направления. Вызвавшая ярость Сумарокова «Евгения» Бомарше начиналась также развернутой ремаркой: «Театр представляет залу, украшенную со вкусом. Чемоданы и связки показывают недавной приезд; в одном углу стоит стол, на котором поставлен поднос со всем чайным прибором и за которым сидят женщины. Госпожа Мюрер читает письмо перед свечою, Евгения держит свое шитье, барон сидит позади стола, Бетси, стоя подле его, держит одною рукою поднос с маленькою рюмкою, а другою оплетенную прутьями бутылку, наливает барону рюмку и смотрит на все стороны».[4]

Все эти художественные открытия не могли не привлечь внимания Фонвизина, уже в первых своих произведениях отнесшегося с доверием к реальной жизни и умевшего видеть и поэтическое и смешное в повседневной практике окружающих его людей («Послание к слугам моим», «Лисица-казнодей», письма к родным).

---

[1] «Чадолюбивый отец», стр. 1.

[2] Там же.

[3] «Побочный сын, или Опыт добродетели», стр. 1.

[4] «Евгения, комедия в пяти действиях, сочиненная г. Бомарше». М., 1770, стр. 1.

4

Обратимся к «Бригадиру». Уже первая ремарка, порывая с принципами построения театрального действия в комедиях классицизма, открыто указывает на принятие драматургом реформы Дидро. Перед зрителями не традиционно-абстрактное в театре классицизма место действия, а совершенно реальный дом русского провинциального помещика: «Театр представляет компату, убранную по-деревенски. Бригадир, в сюртуке, ходит и курит табак. Сын его, в дезабилье, кобеняся, пьет чай. Советник, в казакине, смотрит в календарь. По другую сторону стоит столик с чайным прибором, подле которого сидит советница в дезабилье и корнете и, жеманяся чай разливает. Бригадирша сидит одаль и чулок вяжет. Софья тоже сидит одаль и шьет в тамбуре» (I, 47).

Все здесь обозначено конкретно точно и достоверно — вещи, поведение героев, быт и т. д. Действующие лица не произносят речи для публики, а живут своей жизнью, пьют чай, играют в карты, спорят и т. д. Речь каждого героя определяется и собственными поступками и поступками и речами других лиц. Каждый слышит, что говорит его собеседник, и реагирует на сказанное в соответствии со своим индивидуальным характером. Да, бригадир — военный, не слишком образованный служака. Но он не маска, а живой человек со своими привычками, складом ума, нравственным кодексом. И он не демонстрирует пороки, а свободно живет на сцене, не думая о зрителях и чувствуя себя глубоко правым в своих часто неблаговидных поступках. Мы видим не только солдафона, но и по-своему умного, крайне вспыльчивого, несдержанного человека, деспотического отца и властолюбивого супруга с нескрываемой дворянской амбицией. И это происходит только потому, что Фонвизин органически воспринял совет Дидро видеть и слышать своего героя на сцене. Бригадиру, советнику и бригадирше драматург вкладывает в уста речи, находящиеся в полном соответствии с происходящими на сцене событиями.

Советник хвалит брагадиршу за экономию. Бригадир, не привыкший всерьез относиться к своей жене, иронически замечает, что «она для нее (экономии. — *Г. М.*) больше думает о домашнем скоте, нежели обо мне». Не-

далекая и темная Акулина Тимофеевна в простоте сердечной, оправдываясь, что вынуждена скоту уделять больше внимания, чем мужу, говорит: «Ты, кажется, и поумнее его, а хочешь, чтобы я за тобой присматривала». Уподобление мужа скотине вызывает у того раздражение. Бригадир, повышая тон, заявляет: «Слушай, жена, мне все равно, сдуру ли ты врешь или из ума, только я тебе при всей честной компании сказываю, чтобы ты больше рта не отворяла. Ей-ей, будет худо!» (I, 52) Эти слова сказаны не просто вспыльчивым и грубым человеком в ответ на обиду, которую он не привык спускать никому, — они раскрывают нам и характер бригадира, ощущающего непререкаемость своего авторитета, и его поведение дома, и отношения с женой — многое, о чем не сказано ничего в комедии прямо. Фонвизин умеет создать живой и емкий характер.

Так же выразительны и жизненны сцены с сыном. Отцу, русскому человеку, офицеру старого закала, стыдно за своего глупого сына-галломана. Он с упреком говорит: «Да что ты за француз? Мне кажется, ты на Руси родился... ты все-таки России больше обязан, нежели Франции». Иван, исполненный спеси и чванства, заявляет отцу: «Вот, батюшка, теперь вы уже и льстить мне начинаете, когда увидели, что строгость вам не удалася». Слушая глупую речь сына, опять не удержался бригадир: «Ну. не прямой ли ты болван? Я тебя назвал дураком, а ты думаешь, что я льщу тебе» (I, 72).

Замечателен финал этой беседы. Иван, желая отстоять свою независимость, сравнивает отношения сына и отца с отношением щенка и пса: «а когда щенок не обязан респектовать того пса, кто был его отец, то должен ли я вам хотя малейшим респектом?» В ответе бригадира нет ничего нарочито солдафонского, в нем почти со скульптурной рельефностью выступает его характер, живая личность, способная по-своему гневаться, грозить и поучать болвана сына исполнять обязанности перед родителем: «Что ты щенок, так в том никто не сомневается, однако я тебе, Иван, как присяжный человек клянусь, что ежели ты меня еще применишь к собаке, то скоро сам с рожи на человека походить не будешь. Я тебя научу, как с отцом и заслуженным человеком говорить должно. Жаль, что нет со мной палки, эдакой скосырь выехал!» (1, 74)

Характерен язык бригадира — он лишен условности или какой-либо жанровой закрепленности. Все слова, обращенные к сыну, взяты из живой речи со всеми ее неправильностями и грубостями. В комедии вообще господствует стихия разговорного, бытового языка.[1]

При изображении Ивана и советницы, этих типичных петиметров своего времени, Фонвизин испытывал значительное влияние традиции. Но следует помнить и другое, что задание создать остро памфлетный образ современного дворянского недоросля не требовало большей индивидуализации этих персонажей. Бригадир же, бригадирша и советник (в меньшей степени) воссозданы Фонвизиным с жизненной достоверностью, во всей силе индивидуальных характеров. И, как нередко бывает, одни образы получаются более удачными, другие — менее, так и здесь не все персонажи выписаны с равным успехом. Крупной, событийной удачей, несомненно, был образ Акулины Тимофеевны, жены бригадира. Это замечали современники, об этом писали позже критики и ученые. Как бы подводя итог давней традиции, Г. А. Гуковский писал:

«В самом деле, в отличие от ролей классической комедии, построенных по преимуществу на одной черте, выпяченной в качестве осуждаемого «порока», роль Акулины Тимофеевны психологически сложна. Бригадирша осуждена автором за глупость, скупость, невежество, крохоборство, и в этом отношении она — обычный, хоть и усложненный, отрицательный персонаж классической комедии; но она в то же время — несчастная женщина, забитая солдафоном-мужем и все-таки сердечно преданная ему, она мать, умиляющаяся, глядя на своего сына, и минутами ее становится жалко. Творческой победой Фонвизина в этом смысле является вторая сцена четвертого действия «Бригадира», разговор Акулины Тимофеевны с Добролюбовым и Софьей. Этот разговор совершенно не нужен для хода действия; он лишний с точки зрения правила единства действия; к тому же он нисколько не смешон. Но он крайне нужен для углубленного понима-

---

[1] Н. Греч писал о языке героев фонвизинских комедий: «Язык «Недоросля» и «Бригадира» хорош не искусством, а точным последованием тогдашнему употреблению», «слог его комедий есть точная копия тогдашнего языка изображенных им лиц» («Опыт краткой истории русской литературы». СПб., 1822, стр. 152, 198).

ния образа бригадирши, и это для Фонвизина важнее всяких правил».[1]

Но разговор не только «лишний» — он нарушает чистоту жанра: в веселую комедию врывается грустная нота, зритель вдруг задумывается о судьбе несчастной женщины и начинает жалеть обличаемого человека, над которым только что весело смеялся. Что же это все значит? Дело в том, что Фонвизин не нарушил, а отказался от правил комедий классицизма, от требования чистоты жанра и, пойдя по пути Дидро, создал произведение нового типа, где свободно, как в жизни, сочетается комическое и драматическое. Потому в «Бригадире» исповедь Акулины Тимофеевны не вставной номер, не случайность, не просчет драматурга. «Исповедь» естественно входит в комедию, способствует углубленному раскрытию не только характера бригадирши, но и бригадира. Молодой драматург уже понял, что можно преступить пределы и правила классицизма и «не заблудиться».

Вспомним печальную историю о капитанше Гвоздиловой, рассказанную Акулиной Тимофеевной. «Изрядная молодка», она была отдана родителями своему грозному мужу. Что ни день, то рассерженный хмельной капитан «гвоздил» свою жену так, что никто понять не мог, «в чем душа останется, а не дай, не вынеси за что». Та же судьба и у Акулины Тимофеевны. И ее бьет бригадир, бьет до смерти, даже «без сердцов», «в шутку»! Как-то, рассказывает она, «потолкнул он меня в грудь, так, веришь ли, мать моя, господу богу, что я насилу вздохнула» (I, 85).

Впервые в русской литературе раскрылась с очевидной и потрясающей силой обусловленность человека социальными условиями его жизни. Когда-то в юности Акулина была иной, и даже «неразумной», с точки зрения бригадира. Но вот судьба свела с суженым — и все в ее жизни было сломано, изгажено, извращено. Бригадир свидетельствует: «У меня жена перед свадьбою недели полторы без ума шаталась; однако после того лет десятка с три в таком совершенном благоразумии здравствует, что никто того и приметить не может, чтоб она когда-нибудь была умнее» (I, 49). И вот она сейчас — покорная, запуганная, трепещущая своего мужа-повелителя, темная и забитая

---

[1] Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века, стр. 348.

женщина — и в то же время жадная, хитрая, жестокая помещица. Перед нами сложный, глубоко типичный и в то же время индивидуальный характер русской женщины-дворянки, которая одновременно и тиран и жертва. Жертва тех неразумных обстоятельств, которые порождают крепостное право, развращающее людей, жертва, с исступленной неистовостью отстаивающая свои права, несущие ей гибель, страдания, нравственное вырождение.

«Бригадир» — первая комедия воистину русская и первая комедия подлинно веселая. Пушкин очень высоко ценил веселость и крайне сожалел, что в русской литературе так мало истинно веселых сочинений. Вот почему он с любовью отметил эту особенность дарования Фонвизина, указав на прямую связь Гоголя с фонвизинским творчеством.

«Бригадир» создан в период расцвета русского дворянского классицизма. Основатель школы и создатель русской трагедии и комедии, Сумароков в канун появления «Бригадира» (1764—1768) написал шесть новых пьес. Сумароковские комедии составляли главный репертуар русского театра. Многочисленные переводы, появившиеся лукинские «склонения на русские нравы», а в дальнейшем комедии Княжнина и Николаева утверждали в основном принципы комического, определенные и выработанные классицизмом.

Поэтика классицизма мешала изображению живой жизни. И все же в комедию жизнь врывалась более настойчиво и интенсивно, чем в трагедию. Появлялись имена русских героев, конкретная сатира «на лицо» — «на личность», как тогда говорили. Осмеивавшиеся общие пороки таили в себе все больше намеков на реальные происшествия и события русской жизни, на практику дворянско-самодержавного общества. Но комическое менее всего оказывалось связанным с жизнью. Оно всегда определялось априорными правилами. Правилом стало введение в комедию заимствованных в народном театре приемов буффонады, фарса. Потасовка как акт комического вошла в обиход и в комедийную практику Сумарокова. Смешное возникало от приемов памфлета в комедиях «на личность». Сатирический образ в такой комедии лишался своего обобщенного, типического значения. Комическое возникало из угадывания в конкретном сатирическом облике реального прототипа. Традиционным приемом в поэтике комического являлось недоразумение, знаме-

нитое qui pro quo. Эти недоразумения, вытекавшие из того, что одно принимали за другое, порождались нереальными жизненными обстоятельствами. Они были условны и привносились в действие, создавая живость и эффект несоответствия — этой основы комического.

Наконец, огромное значение в достижении эффекта комического в классицизме имел язык. Нормативная поэтика устанавливает высокие и низкие жанры. За каждым жанром закрепляется строго определенная тема. Тема должна быть выражена соответствующим языком. Комедия — «низкий» жанр. В нее вводилась — относительно, конечно, — реальная, «грубая действительность». Язык персонажей нередко принимал даже натуралистический характер, передавая просторечие, особенно когда это касалось крестьян. Но при этом, по законам поэтики, реальная жизнь вводилась в комедию лишь под знаком порока, как «низкая», грубая действительность. В этом своем качестве она представляла собой объект комического. На сцене появлялся мужик и начинал говорить стихами, и притом грубым языком. Это несоответствие рождало смех. Социальная природа таких законов поэтики очевидна — это была помещичья насмешка над жизнью и бытом крепостных.

Внимание Фонвизина к реальной действительности, желание вывести на сцену живые образы русских дворян, стремление показать их ничтожество, их убогость, их уродство и паразитизм определили новаторство драматурга и в области комического. Главным отступлением писателя от правил классицизма был отказ от искусственного привнесения комических ситуаций в действия реальных лиц. Поэтому в комедии отсутствуют потасовка, недоразумения, переодевания, то есть условные комические эффекты, переходившие из пьесы в пьесу, чуждые духу и природе изображавшихся на сцене действующих лиц.

Отказывается Фонвизин и от сатиры на личность — его образы глубоко правдивы, и сила их в типичности. Герои его говорят свойственным им языком, притом речь их социально дифференцирована. Чужда Фонвизину насмешка над бытом простого народа.

Упрек Вольтера в том, что авторы «мещанских» трагедий и «слезных» комедий оттого отступали от чистоты жанра, «что были лишены веселости», нужной при

написании комедии, был в известной мере справедлив: у многих авторов нового направления, в том числе и у Дидро, действительно веселость отсутствовала.

Фонвизин обладал этим редким даром. Смело включая печальное и серьезное в «Бригадира», он не отступал от своего намерения написать комедию смешную, веселую, обличительную. Самостоятельность Фонвизина и проявилась в том, что, используя опыт Дидро в построении характера, в развитии сценического действия, он не утратил важнейшего и решающего признака комедии — веселости, не стал в подражание писать «слезную» комедию. Его «Бригадир» — истинная комедия, но построенная на отличном от поэтики классицизма понимании не только сценического характера, но и самой природы комического.

Идея комедии — обличение русского дворянства, принцип верности драматурга действительности в образах и сюжете определили и стремление сделать комическую ситуацию жизненной, вытекающей из поведения действующих лиц.

Так, объектом комического стал дворянский корпус. Содержание комического определялось идеей комедии — обнаружением ничтожности, паразитической жизни, скотской морали, духовного убожества тех, кто спесиво провозглашал себя «благородным сословием». Обнаруживалась эта ничтожность в ситуациях, рождавшихся из реальных, внутренне оправданных столкновений действующих лиц. Как уже говорилось, всех отрицательных персонажей связывает любовная интрига. Развитие интриги, определявшееся показом морального облика русских помещиков, и создавало комические ситуации, в которых комизм служит средством социального обличения.

Любовное «маханье» между Иванушкой и советницей внутренне оправдано. Оба — галломаны; у них равное понятие о чести, достоинстве, добродетели. Советница говорит Иванушке: «Ах, радость моя! Мне мило твое чистосердечие; ты не щадишь отца своего! Вот прямая добродетель нашего века». Иванушка сообщает советнице свое мнение по поводу постоянства его невесты Софьи: «Она постоянна!.. Клянусь вам, что ежели я это в ней, женяся, примечу, то в ту же минуту разведусь с нею. Постоянная жена во мне ужас производит. А! мадам! Ежели бы вы были жена моя, я бы век не развелся с вами». На сие замечание Иванушка получает достойный

ответ: «Ах, жизнь моя! Я думаю, что и ты не наскучил бы мне лишними претензиями» (I, 54, 56—57). Именно на этой аморальной основе и завязывается интрига, в развитии которой раскрывается отвратительная сущность героев.

Игнатий Андреевич — человек без моральных устоев. Развратный, грубый и жестокий, он, приехав в семейный дом, не желает терять времени даром и немедленно начинает «штурм» молоденькой советницы. «Маханье» и здесь обусловлено характером бригадира. И этот же характер рождает комические ситуации. Отец и сын — соперники в борьбе за жену друга, к которому приехали, чтобы сватать его дочь. Комизм здесь — сильное оружие Фонвизина в обличении и обнаружении гнусности и уродства жизненных устоев российского дворянства. Та же ситуация и в изображении советника в его интриге с Акулиной Тимофеевной.

Широко использовал Фонвизин и принцип языкового несоответствия. Но в «Бригадире» несоответствие это приобрело новое качество. Всем памятны любовные объяснения героев «Бригадира» — самые веселые сцены комедии. Игнатия Андреевича, всю свою жизнь занимавшегося экзерцициями на плацу, драматург заставляет в этом случае говорить отрывисто, грубо, почти одними военными терминами. Его сын с идиотской настойчивостью, без смысла и понимания твердит французские слова.

Советник — судья, взяточник, крючкотвор, приказный, ханжа-богомол — пересыпает свою речь приказными выражениями, фразами из священного писания. И вот людей, говорящих на условном жаргоне, Фонвизин заставляет объясняться, показывая их тщетные усилия понять друг друга. При этом следует отметить одну важную особенность: все они проявляют удивительную понятливость, когда идет речь о деньгах, о карьере, о деревеньках, о необходимости драть с мужика три шкуры. Но как только герои заговаривают о человеческих чувствах, они выступают перед нами в своем неповторимом идиотизме, в своем духовном убожестве. Игнатий Андреевич объясняется в любви советнице по всем правилам «фрунтовой экзерциции», и ответом ему служит недоумение советницы, силящейся уразуметь непонятные ей слова.

«Бригадир. ...Я, матушка, с тобой давно уже поговорить хотел, да проклятый сын мой с безделками

своими мешал мне всякий раз; и ежели тебе угодно, то я его завтра же за это без живота сделаю.

Советница. За что, сударь, хотите вы его так изувечить?

Бригадир. За то, что, может быть, без него я давно бы тебе сказал мой секрет и взял бы от тебя ответ.

Советница. Какой секрет? Какой ответ?

Бригадир. Я чинов не люблю, я хочу одного из двух: да или нет.

Советница. Да чего вы хотите? Что вы так переменились?

Бригадир. О, ежели бы ты знала, какая теперь во мне тревога, когда смотрю я на твои бодрые очи.

Советница. Что это за тревога?

Бригадир. Тревога, которой я гораздо больше опасаюсь, нежели идучи против целой неприятельской армии. Глаза твои мне страшнее всех пуль, ядер и картечей. Один первый их выстрел прострелил уже навылет мое сердце, и прежде, нежели они меня ухлопают, сдаюся я твоим военнопленным.

Советница. Я, сударь, дискуру твоего вовсе не понимаю, и для того, с позволения вашего, я вас оставляю.

Бригадир. Постой, матушка. Я тебе вытолкую все гораздо яснее. Представь себе фортецию, которую хочет взять храбрый генерал. Что он тогда в себе чувствует? Точно то теперь и я. Я как храбрый полководец, а ты моя фортеция, которая как ни крепка, однако все брешу в нее сделать можно» (I, 79—80).

Еще более комична и зла сцена объяснения советника с Акулиной Тимофеевной:

«Советник. Ох!

Бригадирша. О чем ты, мой батюшка, вздыхаешь?

Советник. О своем окаянстве.

Бригадирша. Ты уже и так, мой батюшка, с поста и молитвы скоро на усопшего походить будешь, и долго ли тебе изнурять свое тело?

Советник. Ох, моя матушка! Тело мое еще не изнурено. Дал бы бог, чтоб я довел его грешным моим молением и пощением до того, чтоб избавилося оно от дьявольского искушения: не грешил бы я тогда ни на небо, ни пред тобою.

Бригадирша. Передо мною?.. А чем ты, батюшка, грешишь предо мною?

Советник. Оком и помышлением.

Бригадирша. Да как это грешат оком?

Советник. Я грешу пред тобою, взирая на тебя оком...

Бригадирша. Да я на тебя смотрю и обем. Неужели это грешно?

Советник. Так-то грешно для меня, что если хочу избавиться вечныя муки на том свете, то должен я на здешнем походить с одним глазом до последнего издыхания. Око мое меня соблазняет, и мне исткнуть его необходимо должно, для душевного спасения.

Бригадирша. Так ты и вправду, мой батюшка, глазок себе выколоть хочешь?

Советник. Когда все грешное мое тело заповедям супротивляется, так, конечно, и руки мои не столь праведны, чтоб они одни взялися исполнять писание; да я страшусь теплыя веры твоего сожителя, страшусь, чтоб он, узрев грех мой, не совершил на мне заповеди божией.

Бригадирша. Да какой грех?

Советник. Грех, ему же вси смертные поработилися. Каждый человек имеет дух и тело. Дух хотя бодр, да плоть немощна. К тому же, несть греха, иже не может быти очищен покаянием... *(С нежностию)*. Согрешим и покаемся.

Бригадирша. Как не согрешить, батюшка! Един бог без греха.

Советник. Так, моя матушка. И ты сама теперь исповедуешь, что ты причастна греху сему.

Бригадирша. Я исповедуюся, батюшка, всегда в великий пост на первой. Да скажи мне, пожалуй, что тебе до грехов моих нужды?

Советник. До грехов твоих мне такая же нужда, как и до спасения. Я хочу, чтоб твои грехи и мои были одни и те же и чтоб ничто не могло разрушити совокупления душ и телес наших.

Бригадирша. А что это, батюшка, совокупление? Я церковного-то языка столько же мало смышлю, как и французского. Вить кого как господь миловать захочет. Иному откроет он и французскую, и немецкую, и всякую грамоту, а я, грешная, и по-русски-то худо смышлю. Вот с тобою не теперь уже говорю, а больше половины речей

твоих не разумею. Иванушку и твою сожительницу почти головою не разумею. Коли чью я речь больше всех разберу, так это своего Игнатия Андреевича. Все слова выговаривает он так чисто, так речисто, как попугай... Да видал ли ты, мой батюшка, попугаев?

Советник. Не о птицах предлежит нам дело, дело идет о разумной твари. Неужели ты, матушка, не понимаешь моего хотения?

Бригадирша. Не понимаю, мой батюшка. Да чего ты хочешь?..» (I, 64—66)

Налицо в данной сцене несоответствие, которое является основой комического. Только здесь мы видим иную, реальную природу этого несоответствия. Речь советника и бригадира не соответствует своему назначению — любовному объяснению. Но это несоответствие не привнесено, не определено априорными законами нормативной поэтики. Оно рождено духовно убогой природой российских помещиков, наблюдаемых Фонвизиным. Оно определено социальной практикой, общественным бытием героев. Так Фонвизин одержал еще одну победу на пути к реалистической комедии. Вот почему Пушкин видел связь между веселостью Гоголя и Фонвизина — их сближала верность действительности.

Несколько слов в заключение. Фонвизин ценил человека не за его сословную принадлежность, а за его личность, нравственные достоинства, ум, убеждения. Но он был дворянин. Его братья по классу в своем большинстве не имели нравственного права пользоваться преимуществами своего состояния. Он видел в помещиках и чиновниках их бесчеловечную сущность и понимал, что это «расчеловечивание» происходит от социальных условий их жизни в качестве рабовладельцев. Просветительские убеждения, как мы видели, и формировали новый, отличный от классицизма, художественный метод. Как писатель, Фонвизин потому и видел в человеке не «породу», не социальную сущность, а личность (нравственно богатую или духовно нищую), характер, индивидуальность. Он понял связь этого человека с условиями его бытия — социального положения, бытового окружения, воспитания и т. д. Именно потому герои фонвизинской комедии стали жить на сцене, находясь в обычных для их образа жизни об-

стоятельствах, в окружении всем знакомых вещей и предметов.

Важно помнить при этом, что современники сразу увидели и поняли то новое, что принес в литературу «Бригадир». Фонвизин сохранил нам отзыв Н. Панина о комедии: «Это в наших нравах первая комедия, и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столько интересною, что все хочется ее слушать» (II, 99). Отзыв был выслушан Фонвизиным в 1769 году, а записан через двадцать лет. Драматург помнил его, помнил потому, что Панин увидел главное, почувствовал и понял то, к чему он сам сознательно стремился, — запечатлеть жизнь такой, какова она есть, сделать снимок с действительности, передать живые характеры русских людей, отказаться от подражания, от схем, от правил и рецептов.

Точно таким же было восприятие и других современников. Н. Новиков в своем «Опыте исторического словаря о российских писателях» писал в 1772 году: Фонвизин «сочинил комедию «Бригадир и бригадирша», в которой острые слова и замысловатые шутки рассыпаны на каждой странице. Сочинена она точно в наших нравах, характеры выдержаны очень хорошо, а завязка самая простая и естественная». [1]

«Бригадир» — первый камень, положенный Фонвизиным в основание воздвигаемого общими усилиями передовых литераторов здания русского реализма. Уже в ближайшие годы, закончив «Недоросля», он закрепит свою первую победу.

---

[1] Н. И. Новиков. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772, стр. 231.

1770-1782

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДРУГ СВОБОДЫ

1

«Бригадир» не только сделал имя Фонвизина популярным, но и способствовал переменам в его судьбе. От Елагина о комедии узнали придворные. Маршал Комиссии Бибиков и фаворит Екатерины Г. Орлов были первыми, кому Фонвизин прочел «Бригадира». Орлов доложил о комедии императрице, и та пожелала услышать новое произведение драматурга в его собственном чтении. После успеха у императрицы Фонвизина стали зазывать все крупные сановники и вельможи столицы. Комедия укрепила общественное положение Фонвизина. Было ясно, что секретарь Елагина — большой писатель, злой сатирик, человек смелой, независимой мысли. Особое внимание обратил на Фонвизина канцлер и воспитатель наследника Павла Н. И. Панин.

В «Чистосердечном признании» писатель так рассказал об этом важном в его жизни знакомстве: «Дни через три положил я из Петергофа возвратиться в город, а между тем встретился в саду с графом Никитою Ивановичем Паниным, которому я никогда представлен не был; но он сам, остановив меня: «Слуга покорный, — сказал мне, — поздравляю вас с успехом комедии вашей; я вас уверяю, что ныне во всем Петергофе ни о чем другом не говорят, как о комедии и о чтении вашем». Познакомившись с Фонвизиным, сказав ему комплимент, Панин попросил прочесть «Бригадира» наследнику. Чтение состоялось через два дня в Петербурге. Но Панин интересовался

не столько комедией, сколько драматургом. Вот почему он предварительно счел необходимым несколько «попытать» Фонвизина, узнать его убеждения. «Я приметил, — вспоминает Фонвизин, — что он в разговорах своих со мною старался узнать не только то, какие я имею знания, но и какие мои моральные правила» (II, 97, 98).

Действия Панина носили не случайный характер. Его воспитаннику в сентябре 1769 года исполнялось пятнадцать лет. Наступал новый период воспитания — наследника следовало готовить к исполнению высоких обязанностей государя Российской империи. Были сменены преподаватели. При этом пришлось в чем-то считаться с требованиями Екатерины. Так, для знакомства Павла с государственными делами и политическими науками был назначен Г. Н. Теплов, ставленник Г. Орлова, смертельного врага Панина. Теплову наказывали так повести преподавание своей науки, чтобы вызвать у мальчика отвращение к ней и к государственным делам вообще. Панин нейтрализовал влияние Теплова приглашением других учителей, и в частности — Левека, Николаи и Лафермьера.[1] Все три преподавателя-иностранца — люди гуманитарного образования, историки и писатели. Они начали знакомить Павла с французской литературой, приучали читать и делать выписки, прививали вкус к политическим сочинениям просветителей.

Изменил Панин и состав лиц, постоянно присутствовавших за обеденным столом наследника. Раньше это были главным образом екатерининские сановники и приближенные к императрице люди, теперь — частные лица, сверстники Павла. Среди них главную роль играли только что приехавшие из-за границы после окончания университета князь А. Куракин (родственник Панина) и граф Разумовский. Панин затем и испытывал Фонвизина — талантливого писателя, недовольного порядками Екатерины, что хотел приблизить его к себе, ввести в круг людей, могущих оказать влияние на его воспитанника. Испытание Фонвизин выдержал: после чтения «Бригадира» у Павла писателю было объявлено: «Вы можете ходить к его высочеству и при столе оставаться, когда только хотите» (II, 99). В декабре 1769 года Панин и организа-

---

[1] См. об этом подробнее в книге Д. Кобеко «Цесаревич Павел Петрович». СПб., 1882, стр. 54—57.

ционно закрепил переход Фонвизина в противоположный Екатерине лагерь — он сделал его своим секретарем по Коллегии иностранных дел.

Переход к Панину — это не простая перемена службы. Панин был в глазах Екатерины и ее окружения, в глазах общественного мнения и народа лицом, охраняющим права Павла на российский престол. Сама Екатерина позже признавалась: «Все думали, что ежели не у Панина, так он (Павел. — *Г. М.*) пропал».[1] Совершив в 1762 году переворот и захватив власть, Екатерина грубо нарушила законные права Павла. Панин с самого начала выступал против Екатерины, предложив ей быть только регентшей при малолетнем императоре Павле. В борьбе победили сторонники Екатерины — Орловы, которые и добились провозглашения ее императрицей. С тех пор многократно, как только проявлялось недовольство режимом Екатерины в народе, так среди многочисленных заговорщиков всплывало имя Павла. С приближением совершеннолетия Павла (сентябрь 1772 г.) вопрос о правах наследника на престол вновь вставал на общественное обсуждение. Сын был соперником матери и потому врагом императрицы. Между ними шла глухая, но упорная борьба, которую нельзя было скрыть. Двор Павла, где главную и определяющую роль играл Панин, противостоял екатерининскому двору. Кто сближался с Паниным и Павлом, тот становился врагом Екатерины. Один из современников, связанный с Екатериной и Паниным, признавался, что жить при русском дворе невозможно, потому что там «быть приятным императрице возможно только тогда, когда состоишь в дурных отношениях к великому князю, а находясь в хороших отношениях к этому последнему, навлечешь подозрения императрицы».[2]

Фонвизин, перейдя на службу к Панину, делал сознательный выбор и вставал на дорогу политической борьбы с Екатериной. Разочаровавшись в политике императрицы, Фонвизин, глубоко преданный просветительским убеждениям, не отказался от мысли служить своему отечеству и народу. Наоборот, видя бедствия государства, причиняемые екатерининским самовластием, он чувствовал себя обязанным бороться с этим самовластием. С другой

---

[1] «Дневник А. В. Храповицкого». СПб., 1874, стр. 434—435.
[2] Сборник Русского исторического общества, т. LXXII, стр. 386.

стороны, то, чего не оказалось возможным добиться от Екатерины, можно было надеяться получить от Павла. Многое в судьбе Павла привлекало Фонвизина. На стороне наследника была справедливость, он сам оказывался жертвой екатерининского деспотизма. Но самое главное — он юн, и его можно воспитать в нужном духе.

Французские просветители Вольтер и Дидро, веря в Екатерину, учили ее, как нужно царствовать, надеясь, что она послушается их советов. Искренне, всем сердцем желая блага России, Фонвизин хотел учить царствовать Павла. Близость к наследнику, знакомство с Павлом открывали перед ним огромные возможности, не воспользоваться которыми он не мог. Он сделал выбор — перешел к Панину, стал бывать «при столе» наследника, вошел к нему в доверенность. Видя, что между сторонниками Екатерины и Павла накануне совершеннолетия наследника завязывается жестокая война, Фонвизин бесстрашно ринулся в эту борьбу.

Недостаточная изученность истории русского Просвещения мешает до сих пор понять действительный смысл и размах политической деятельности таких просветителей, как Фонвизин и Новиков. А эта политическая борьба развернулась сразу после закрытия Комиссии по сочинению проекта нового уложения в декабре 1768 года. «Фарса с депутатами» была понята передовыми деятелями. Они начали борьбу с политикой Екатерины, обличали ее дела, декларации правительства и опекаемых ею дворян-помещиков и чиновников. Логика борьбы с Екатериной толкала просветителей, возлагавших надежды только на реформы сверху и на волю просвещенного монарха, в лагерь соперника Екатерины — Павла. Поскольку в 1772 году Павлу исполнялось восемнадцать лет и он мог прийти к власти, борьба носила практический характер. Речь шла не о простом дворцовом перевороте.

В возведении на престол Павла была заинтересована дворянская оппозиция, возглавлявшаяся братьями Паниными. Панины не шли дальше идей дворянского либерализма. Но они хотели уничтожить деспотический, самовластный режим Екатерины, установить законность в России, ограничить монарха в его самовластии. Убеждения Фонвизина были иными. Но писатель смело шел на блок с этой группой, тем более что в их взглядах на природу русского деспотизма было много общего.

Фонвизин в то же время самостоятельно использовал придворные связи. У него, как и у Новикова, были другие планы и цели. Павел, казалось им, будет действительно просвещенным монархом, поскольку открывалась возможность сделать его таким. Писатели-просветители, и прежде всего Фонвизин и Новиков, чувствовали всю ответственность, которая как бы падала на них, — воспитать Павла в нужном духе, поддержать его, воздействовать на него, подготовить общественное мнение к его приходу. В свете этих обстоятельств открываются и некоторые новые политические аспекты знаменитой полемики новиковского «Трутня» с екатерининской «Всякой всячиной» в 1769 году. Начиная полемику, Новиков хотел разоблачить миф о Екатерине — просвещенном монархе, показать ее деспотизм. А в тех условиях разрушение легенды о Екатерине — «матери отечества», о просвещенном характере ее абсолютизма, всякое умаление заслуг царствующей императрицы объективно поднимало шансы ее противника, желавшего царствовать.

В своей борьбе Новиков был не одинок. В печати гласно высказывалось признание нужности его деятельности. В двадцатом листе журнала «Смесь» сразу после писем Правдулюбова и грозных ответов на них «Всякой всячины» было помещено письмо под названием «Господину издателю „Трутня“»: «Прочитав вашего издания листы, начал я иметь к вам почтение». «Вы выводите пороки без околичностей, осмеиваете грубость нравов испорченных». «Г. издатель, не смотрите на клевещущих на вас, презирайте их, они достойны вашего презрения, и, не смотря, продолжайте свой труд так, как вы начали, выводите порочных, ибо пороки, вообще осмеиваемые, не исправят порочных настоящего времени. Вы тем не раздражите истинных сынов отечества, ибо они вам сплетают за сие похвалы»; помните, «что вы прямой друг истинного человечества».[1]

Как видим, значение сатирической деятельности Новикова определяется прежде всего тем, что на страницах его журнала «Трутень» запечатлелась исторической важности борьба оппозиционной русской литературы с Екате-

---

[1] «Смесь, или Собрание разных философических и критических сочинений в стихах и в прозе», издание второе. СПб., 1771, стр. 154—155.

риной, борьба, обеспечившая возможность дальнейшего развития независимой от правительства политической и социальной мысли, выражающей коренные нужды и отягощения народа. При этом важно учитывать, что русские просветители всегда в своей борьбе апеллировали к широким кругам читателей (передовое дворянство, разночинцы, «среднего рода люди»), действуя методами публичности.

Следует отметить, что обращения подобного типа к широким общественным кругам столицы делались в годы, когда не только оппозиционно настроенные к Екатерине дворяне, но и простой народ проявлял особо пристальное внимание к Павлу, к его жизни, к его судьбе. Назову только некоторые события 1771 года — или известные Фонвизину, или вызвавшие у него отклики.

Так, в апреле 1771 года на далекой Камчатке группа ссыльных подняла мятеж, был убит воевода, капитан Нилов, население приведено к присяге на верность новому государю Павлу Петровичу. Во главе восстания стал венгр Мориц Бениовский. Во время службы в польской конфедерации он был взят в плен русскими войсками в 1768 году, а затем отпущен на честное слово. Но Бениовский вновь вступил в ряды конфедератов и был в 1769 году вторично захвачен и вместе со шведом, майором Винбладом, отправлен на Камчатку. Среди активно действовавших мятежников были: гвардии капитан Петр Хрущев, сосланный за попытку в октябре 1762 года свергнуть Екатерину и передать власть наследнику Иоанну, заключенному в Шлиссельбургскую крепость, артиллерии полковник Иосиф Батурин, армии полковник Григорий Ловцов, гвардии поручик Василий Панов и армейский капитан Ипполит Степанов, осужденные в 1767 году за выступления против екатерининского Наказа о сочинении нового уложения; Яков Батурин, осужденный в свое время за попытку возвести на престол великого князя Петра Федоровича. Примкнули к политическим ссыльным несколько купцов, крестьян, матросов, солдат, казаков и канцеляристов воеводства — всего до семидесяти человек. Захватив галиот «Святой Петр», мятежники ушли в дальнее плавание. После трудного путешествия уцелевшая группа во главе с Бениовским и Хрущевым в июле 1772 года прибыла во Францию. Первый указ Екатерины о камчатском бунте был подписан в январе 1772 года.

Фонвизин об этом мятеже сообщил Петру Панину: «Здешний генерал-полицмейстер получил от брата своего партикулярное письмо, в котором уведомляет он его, что в Камчатке был бунт. Ссылочные люди возмутились, убили воеводу, пограбили город, *учинили новую присягу его высочеству* и, сев на лодки, поплыли в Америку, будто завоевывать ее великому князю» [1] (курсив мой. — *Г. М.)*.

Летом того же года драматические события произошли уже в самой столице. Заболел Павел. По словам Екатерины, у него была «простудная лихорадка, которая продолжалась около пяти недель». Болезнь Павла вызвала волнения в столице, поскольку быстро распространились слухи об отравлении наследника. На основе депеш иностранных послов историк П. Моран так описывает положение в Петербурге в июле 1771 года: «Крики с требованием возмездия достигли дворца; народное возбуждение передалось в казармы; солдаты схватились за оружие, хорошо не зная, против кого придется пускать его в ход». [2]

Мы мало знаем о связях Фонвизина и Павла. После нескольких месяцев службы Фонвизин быстро вошел в доверие к Н. Панину. Бывая у Павла на правах близкого воспитателю человека, Фонвизин беседовал с ним и, несомненно, при своем остроумии и оригинальном даре рассказчика-имитатора мог завоевать симпатии и доверенность юноши. Во всяком случае, эти отношения к лету 1771 года были уже такими, что писатель почувствовал возможность и право выступить с политическим обращением к Павлу. Он выбрал благоприятный момент — выздоровление наследника. Благополучный исход болезни, проявление к Павлу внимания населения столицы давали отличный повод для политического возвеличения наследника, объявления его «отечества надеждой», с чьей жизнью «сопряжено истинное благо народа». Фонвизин написал «Слово на выздоровление его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича в 1771 годе».

---

[1] Характерно, что П. А. Вяземский, впервые опубликовавший это письмо по автографу, убрал фразу: «учинили новую присягу его высочеству». Я восстанавливаю ее по подлиннику (ЦГАЛИ, ф. 517, оп. I, ед. хр. 4, стр. 31).

[2] П. Моран. Павел I до восшествия на престол. М., 1912, стр. 84.

Необходимо исторически оценить политический смысл фонвизинского выступления. «Обращаясь к россиянам», Фонвизин впервые громогласно характеризует того, кого усиленно прячут от народа как государя, прославляет его добродетели, превозносит его воспитателя — лидера оппозиции Никиту Панина.

Под покровом официальных комплиментов Екатерине, матери Павла, Фонвизин публично объявлял «гражданам России», что Павел обладает истинными достоинствами государя, поскольку был воспитан «мужем истинного разума и честности», Н. Паниным. Он «вкоренил в душу» Павла те добродетели, «которые составляют счастие народа и должность государя». Он «просветил познанием его разум», воспитал в нем «человека». Павел поэтому есть истинный «просвещенный государь», и он совершенно подготовлен к царствованию и исполнен желания вступить на престол для того, чтобы сделать своих подданных счастливыми. В конце «Слова» Фонвизин обращается к будущему государю с наставлением, заговорив «гласом всех... сограждан». С полным пониманием величайшей политической ответственности, он в печати сформулировал Павлу важнейшие «истины»: «Люби Россию», «буди правосуден, милосерд, чувствителен к бедствиям людей», «буди властелином над страстями своими и помни, что тот не может владеть другими с славою, кто собой владеть не может. Внимай единой истине и чти лесть изменою», «почитай достоинства прямые и награждай заслуги». Требования к Павлу звучали прямым обвинением Екатерины. Просветительская литература — прежде всего Новиков в «Трутне», Фонвизин в «Бригадире» — заявляла, что именно при Екатерине правосудия нет, прямые достоинства не почитаются и, главное, государыня не является «властелином своих страстей» и потому не имеет права «владеть другими».

«Слово» было напечатано отдельной брошюрой и стало распространяться по России. Дальнейшая судьба «Слова» знаменательна — через год, в дни совершеннолетия Павла, его перепечатает Новиков в своем «Живописце», продемонстрировав идейную близость к Фонвизину и совпадение с фонвизинским желанием подготовить общественное мнение к приходу Павла, с чьим именем связывались все «надежды будущих блаженств» россиян. Заслуживает

внимания и выступление Василия Майкова с одой, посвященной Павлу. Как известно, Майков — друг Новикова. Таким образом, передовая литература, открыто воевавшая с Екатериной, не менее открыто стала прославлять Павла, создавать ему авторитет в глазах населения. Н. Панин не ошибся, приблизив к Павлу Фонвизина, — он оказался мужественным писателем, умелым организатором общественных сил.

Но задуманному делу не суждено было осуществиться. Безнадежность его была определена составом «партии» Панина, убеждениями участников заговора. Боящийся народа и всяких «потрясений», дворянский либерал Панин мог рассчитывать только на дворцовый переворот. Фонвизин верил не только в силу слова. Не принимая народной революции (в этом он сходился с Паниным), писатель в то же время считал оправданным вмешательство подданных в дела государства. Теоретически эта тактика обосновывалась многими просветителями, в частности — Юсти, книгу которого «О правительствах» Фонвизин переводил. Юсти писал следующее: «Когда же, наконец, народ находится в крайнем страхе порабощения от наружных неприятелей, коим противиться невозможно, или от худых поступков правительства, то в таком случае естественным образом основательная власть народа возобновляется. Ибо когда народ увидит, что средство и образ, для употребления соединенных оного сил предустановленные, намерению нимало не способствуют и государство уже к падению наклоняется, то в таком случае будет несогласно с пользою общества, ежели оно в медленности и малодушии станет ожидать своей погибели, но вместо того долженствует народ сам рассмотреть тогда собственные свои надобности и делать полезное заключение». Признав право народа «рассматривать собственные свои надобности», Юсти, а за ним и Фонвизин, сразу же оговариваются, что это вовсе не означает права народа на восстание, на то, чтобы «брать верх» над властью. Потому, говорит Юсти, «весьма погрешит» тот, кто захочет делать революцию. Величайшей «погрешностью» английского народа объявляет он свержение Карла I и суд над ним. Следовательно, естественным компромиссом при таких убеждениях было признание тактики заговора. Фонвизину были ненавистны интриги придворной камарильи,

боровшейся за власть в корыстных целях. Но как просветитель, он оказывался готовым принять участие в заговоре во имя интересов отечества и народа. Он верил, что только некоторые подданные могли, видя, что «государство к падению наклоняется», взять на себя миссию заменить одного монарха другим.

Императрица же совсем не собиралась добровольно уступать власть. Так закипела во дворце ожесточенная борьба, которая требовала от ее участников смелости, решительности, энергичных действий. Нерешительность была главным свойством Панина. Зато его противница обладала с избытком теми качествами, которые нужны для победы. К тому же она опиралась на Орловых, а те зорко охраняли власть «сделанной» ими императрицы.

Летом 1772 года Екатерина совершила было ошибку. Охладев к своему фавориту Григорию Орлову, она отправила его в Фокшаны, а на его место взяла Васильчикова. Когда узнавший об этом Орлов попытался осенью прибыть в Петербург, его не пустили и, продержав некоторое время в Царском Селе, направили в Ригу. Отсутствие Орловых создавало небывало благоприятные условия для действий Панина. Но и в начавшемся поединке победительницей вышла Екатерина. В сентябре нужно было отмечать совершеннолетие Павла. Всякое публичное торжество объективно было бы направлено против Екатерины: совершеннолетний сын — это живой укор матери, незаконно захватившей его власть. И Екатерина придумала ход, который завлек Панина в ловушку, — она предложила отложить торжества на год, чтобы за это время женить Павла. Екатерине нужно было выиграть время. Панин дал согласие. Екатерина воспользовалась передышкой и немедленно изменила свою тактику к сыну. Она вдруг приблизила его к себе, стала внимательной, заботливой и любящей матерью. Быстро было завоевано доверие сына, чему, между прочим, помогло удаление ненавистного Павлу Григория Орлова, который нагло третировал наследника. Несомненно, сближение с сыном диктовалось политическими целями, стремлением отдалить его от Панина, настроить против бывшего воспитателя, внушить мысль, что именно она, его мать, сама сначала введет его в курс государственных дел, а там и передаст власть.

Месяц за месяцем осуществляла свой план Екатерина, принимая самые энергичные меры для изоляции Павла

от всех недовольных ее политикой. Понимая сложность и напряженность ситуации, она вернула Григория Орлова. Вслед за ним в Петербург прибыли и его четыре брата. Григорию Орлову был пожалован княжеский титул. Перехватывая инициативу Панина, Екатерина стала сама выбирать невесту для сына. В сентябре 1773 года Екатерина, подготовившись, нанесла сторонникам Павла сокрушительный удар. Фонвизин с тревогой сообщал о положении дел сестре: «Теперь скажу тебе о наших чудесах. Мы очень в плачевном состоянии. Все интриги и все струны настроены, чтобы графа (Н. И. Панина. — *Г. М.*) отдалить от великого князя... Князь Орлов с Чернышевым злодействуют ужасно графу Н. И., который мне открыл свое намерение, то есть, буде его отлучат от великого князя, то он в ту ж минуту пойдет в отставку... последняя драка будет в сентябре (1773 года. — *Г. М.*), то есть брак его высочества, где мы судьбу нашу совершенно узнаем» (II, 355).

Последний акт драмы Екатерина провела умно и тактично: она объявила торжества по случаю *свадьбы своего сына,* а не по случаю *совершеннолетия наследника престола.* Политическое дело подменилось семейным. Сын, влюбленный в жену, казалось был счастлив. Была счастлива мать, которая щедро воздала всем, кто связан был с Павлом. Прежде всего огромные подарки получил Н. Панин. Тем самым Екатерина как бы показывала всем подданным, что никаких расхождений с наследником и его воспитателем у нее нет и что вопрос о власти, так сказать, семейный и никому постороннему нет до него дела.

Екатерина, выйдя победительницей, укрепила свое положение. Н. Панин был навсегда отстранен от ее сына. Миссия Панина-воспитателя завершилась. Изменилось и положение Павла. До сентября 1773 года он был *наследником* своего убитого *отца* — Петра III. После он перешел на положение *наследника своей матери...* Она царствовала — он ждал. Продолжал ждать и Фонвизин, ничего другого не оставалось. Но ждать для Фонвизина не значило сидеть сложа руки. Для просветителя ждать — значит подготавливать и будущего монарха к царствованию и общественное мнение — к его приходу. Подготавливать Павла к царствованию было задачей практической — Екатерина была уже немолода, и, как знать, ее сын

мог, и даже в ближайшем будущем, законно прийти к власти.

В этой связи следует вспомнить, что глухие раскаты событий 1772—1773 годов, участником которых был Фонвизин, докатились до XIX века. Племянник писателя, декабрист М. А. Фонвизин, в своих воспоминаниях прямо говорит о том, что в 1773 году в связи с совершеннолетием Павла Екатериной был раскрыт заговор в пользу наследника. Участниками заговора он называет братьев Паниных, Фонвизина, князя Н. В. Репнина, Е. Р. Дашкову и некоторых других лиц.[1] Обычно эти записки или замалчиваются, или опровергаются на основании того, что некоторые детали сообщения не сходятся с историческими фактами. Так, К. В. Пигарев сведения М. А. Фонвизина считает апокрифическими. Он пишет: «Рассказ его (М. А. Фонвизина. — *Г. М.*) вызывает недоумение. В 1773 году Григорий Орлов уже не был фаворитом Екатерины и находился вдали от двора. Не жила в Петербурге и Е. Р. Дашкова. П. И. Панин удалился в свою подмосковную еще в 1770 и до августа 1774 года оставался не у дел. Наместничества были учреждены только в 1775 году, а потому сообщение об отъезде Н. В. Репнина в смоленское наместничество является анахронизмом».

Но, думается, подобная аргументация не решает вопроса. Несомненно, М. А. Фонвизин мог что-то спутать, сдвинуть факты, запамятовать то, что слышал от других лиц о давно прошедших событиях. Потому могут быть у него и ошибки. Ведь ошибается же К. В. Пигарев, когда в своих опровержениях решительно заявляет, что Григорий Орлов в 1773 году «находился вдали от двора».[2] Из писем Фонвизина нам известно другое — именно в это время, в конце 1772 года, Екатерина вновь решила приблизить к себе Орлова, разрешила ему объявить ранее выданный титул на княжеское достоинство, а затем и находиться при дворе. В момент наиболее острый — сентябрь 1773 года — при Екатерине был не только Григорий Орлов, но и все его братья. Вот что пишет Фонвизин Обрескову 30 октября 1772 года: «Я чаю, Вам уже известно, что граф Григорий Григорьевич с дозволения ее

---

[1] См.: «Русская старина», 1884, № 4, стр. 60—62.

[2] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 135.

величества объявил сохраняемый у него несколько лет диплом на достоинство князя Римской империи. И поныне живет он с братьями в Царском Селе» (II, 405). Предполагалось, что он поедет или в Москву, или в Ригу. Но все вдруг изменилось, и Екатерина вернула Григория Орлова и его братьев в Петербург — так нужны были их услуги императрице. В сентябре 1773 года Фонвизин сообщал: «Гр. А. Г. Орлов на сих днях сюда прибыл, и теперь все пять братьев съехались» (II, 409). Вызваны были Орловы не зря: на них возлагалась знакомая им обязанность защищать права императрицы. Григорий Орлов возглавил борьбу с Никитой Паниным. Наступили грозные дни. В предчувствии беды Фонвизин писал родным: «Я на бога положился во всей моей жизни, а наблюдаю того только, чтоб жить и умереть честным человеком» (II, 355).

Как видим, письма Фонвизина довольно ясно намекают на ту ожесточенную борьбу, которая развернулась при дворе в 1773 году между лидером сторонников законного императора Павла Н. Паниным и Орловыми, защитниками Екатерины, специально вызванными в Петербург. Потому, думается мне, сообщение М. А. Фонвизина со всеми поправками в деталях (он, например, несправедливо к 1773 г. относит составление проекта фундаментальных законов и записку Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах», которые были написаны позже) имеет огромную ценность. Оно зафиксировало реальный исторический факт участия Д. И. Фонвизина в заговоре против Екатерины, его борьбу за восстановление прав Павла.

2

Второй период деятельности Фонвизина (1770—1782), период писательской зрелости и наибольшей общественной активности, период создания важнейших политических и художественных произведений, прошел под знаком борьбы с Екатериной и веры в Павла, который, вернув себе престол, должен был покончить с самовластием и посвятить себя благу подданных и процветанию России. Должен! Ибо Фонвизин считал делом своей чести быть «советодателем» Павлу и тем самым — «спасителем сограждан своих и отечества».

Естественно, возникает вопрос — какие реальные основания позволяли Фонвизину надеяться на Павла, полагать, что именно он станет просвещенным монархом? Да и были ли такие основания вообще?

Несомненно, обращение к Павлу определялось общеполитической концепцией просветителя, согласно которой все возможные преобразования в стране могут осуществляться лишь волей просвещенного монарха. Разочаровавшись в Екатерине, Фонвизин обратил свое внимание на Павла — другого выхода не было. Это было трагическим заблуждением и Фонвизина и Новикова. Политическая концепция просвещенного абсолютизма — ахиллесова пята просветительской идеологии. Исповедание этой веры приводило ко многим трагическим ошибкам. Так, Вольтер и Дидро, ослепленные своими политическими убеждениями, доверяли Екатерине, провозгласили русскую императрицу «необыкновенной женщиной» с «душой Брута»,[1] благодетельницей рода человеческого, культивировали вреднейшую легенду о просвещенном характере екатерининского абсолютизма.

Пребывание в России, возможность тщательного изучения внутреннего положения в стране и политики Екатерины помогли Фонвизину избавиться от этих иллюзий. Он увидел подлинное лицо самовластия Екатерины и все свое творчество и деятельность посвятил его обличению. В этом сила Фонвизина. Вера в Павла — слабость политической позиции Фонвизина и Новикова. И не случайно позже, в 80-х годах, деятель нового типа Радищев, с глубоким уважением относившийся к Фонвизину и Новикову, покажет, что преодоление этих просветительских иллюзий — первоочередная задача русского освободительного движения.

Но концепция просвещенного абсолютизма не ослепляла Фонвизина. Он был трезвым мыслителем. К тому, чтобы склониться на сторону Павла, у него были, с его точки зрения, очень веские и убедительные основания. Как просветитель, он верил во всемогущую силу воспитания. Воспитанию поддавался всякий человек, независимо от его места в сословном государстве. Значение имело не положение воспитанника, а его возраст. Несмотря на

---

[1] Характеристика, данная Екатерине Дидро. См.: В. А. Бильбасов. Исторические монографии, т. IV. СПб., 1901, стр. 365.

трудности, можно было даже взрослым людям привить любовь к добродетели и научить их ненавидеть пороки. Из мальчика или юноши, казалось, можно вылепить идеального гражданина. Павел был юношей, он любил читать, его увлекали истины, с которыми его знакомили учителя и близко стоявшие к нему люди. До сих пор, к сожалению, мы очень мало знаем об этой стороне жизни молодого Павла.

В наше сознание так прочно вошли факты мрачной деятельности Павла-императора в годы всеобщего страха перед французской революцией, что мы безотчетно оценку Павла-императора антиисторически переносим на Павла-наследника эпохи 70-х годов. К власти Павел пришел сорока двух лет, озлобленный, затравленный матерью, обуянный манией преследования. К тому времени он потерял всех своих друзей. Живя в Гатчине, в окружении приставленных к нему невежественных и грубых солдафонов, авантюристов, иностранцев — искателей приключений и наживы, — он действовал часто в угоду им, нередко по их наущению. Но Павел-император — предмет особого исследования, к теме этой книги не относится. Взгляды же Павла-наследника, и особенно взгляды Павла в 70-х годах, когда с его именем передовые деятели России, и в том числе просветители — писатели, крупные художники и архитекторы, — связывали возможное обновление всей внутренней политики, требуют внимания и изучения. Без их изучения нельзя ясно и исторически верно понять и оценить позицию Фонвизина и его деятельность.

Старая буржуазная наука в продолжение многих десятилетий утверждала и культивировала созданную еще самой Екатериной легенду о просвещенном характере ее царствования. Любовно собранные всевозможные материалы — письма, документы, мемуары — красноречиво свидетельствовали, что убеждения русской императрицы были с веком наравне. Оттого мы знаем о делах французских просветителей, прославлявших и поддерживавших Екатерину, лучше, чем о жизни и деятельности русских просветителей, ее обличавших. Оттого многие документы, характеризующие убеждения Павла 70-х годов и его отношения с русскими просветителями, или пропали, или забылись, или погребены в архивах. Однако существуют материалы, которые проливают свет на интересующий нас вопрос.

Каковы же были убеждения юного наследника? Вот перед нами записка, сделанная Павлом в 1772 году. Она называется: «Размышления, пришедшие мне в голову по поводу выражения, которым мне часто звенели в уши: о „принципах правительства“». «Размышления» характеризуют восемнадцатилетнего юношу как прилежного читателя сочинений просветителей: «Итак, под словами: *принципы правительства* разумеют начало и в то же время основание власти. Рассмотрим теперь, откуда же происходит власть, и увидим, что она первоначально происходит от физической силы, потому что в естественном состоянии сильнейший, победив слабейших, давал им закон — и это источник власти. Люди, собранные в общество и вследствие этого сделавшись образованнее, увидели, что жить вместе не могут, не будучи управляемы, по причине разности их характеров, и избрали себе тогда начальников, которым (отдались, вручили себя) добровольно, предоставив ему (им) волю управлять ими. Эти начальники, сделавшись всемогущими и не видя ничего, что могло бы положить предел их страстям, начали увлекаться ими и совершать бесчинства. Тогда общество помыслило, чем бы умерить эту власть, определив ей границы — (и) вот начало законов. Законы — основа всему, ибо, без нашей свободной воли, они показывают, чего должно избегать, а следовательно, и то, что мы еще должны делать». [1]

«Размышления» — случайно дошедшая до нас записка Павла-ученика. Она передает нам его умонастроения в канун совершеннолетия. К 1774 году относится другой, более важный документ — обширное «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов». [2]

«Рассуждение» было написано при сложных обстоятельствах. Осенью 1773 года на далеком Яике вспыхнуло

---

[1] «Русская старина», 1874, т. IX, стр. 678.

[2] Первым на это «Рассуждение» указал П. Лебедев и процитировал некоторые места из него в своей книге: «Опыт разработки новейшей русской истории. По неизданным источникам. I. Графы Никита и Петр Панины». СПБ., 1863. Местонахождение рукописи «Рассуждения» указано не было. В настоящее время удалось обнаружить это «Рассуждение» вместе с другими бумагами Павла, относящимися к 70-м годам, в Центральном Военно-историческом архиве.

восстание. С каждым месяцем оно ширилось и росло, распространялось по России. Во главе его стоял Емельян Пугачев. Через год восстание охватило уже центральные губернии. Армия Пугачева шла к Москве. Царские генералы терпели поражение от мужицких полководцев. В эту тревожную для Екатерины годину Никита Панин решил еще раз попытать счастья своему воспитаннику. Неожиданная смерть А. И. Бибикова, командующего войсками, действовавшими против Пугачева, создала критическое положение на фронте. Н. Панин проявил на этот раз решительность и добился от Екатерины согласия немедленно назначить на место А. И. Бибикова своего брата. 29 июня 1774 года был подписан высочайший рескрипт, в котором объявлялось, что Петр Панин назначается командующим войсками, действующими против Пугачева, и начальником над тремя губерниями — Казанской, Оренбургской и Нижегородской. Уступив в минуту опасности, Екатерина не растерялась. Она отлично понимала, какую силу представляла теперь «партия» Павла, когда Петр Панин добился огромной военной и политической власти. И она, всегда деятельная, неожиданно вызвала с турецкого фронта давно приглянувшегося ей усердного офицера Григория Потемкина. Сделав его своим фаворитом, она вручила ему власть, прямо назвав опасность и своих врагов.

В письме Потемкину она писала: «Увидишь, из приложенных при сем штук, что господин граф Панин из братца своего изволит делать властителя, с беспредельной властью, в лучшей части империи, то есть Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губернии, a sous-entendu есть и прочие. Что если я подпишу, то не токмо князь Волконский (начальник в Москве. — *П. Л.*) будет огорчен и смешон, но я сама ни малейше не сбережена, но пред всем светом — первого враля и мне персонального оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всех смертных в империи хвалю и возвышаю. Вот вам книги в руки, изволь читать и признавай, что гордые затеи сих людей всех прочих выше».[1]

Именно в это время, когда Потемкин еще не успел покончить с планами Панина, Павел и подал свое

---

[1] П. Лебедев. Опыт разработки новейшей русской истории. По неизданным источникам. Графы Никита и Петр Панины, стр. 116—117.

«Рассуждение». Петр Панин осуществлял военную акцию, подача «Рассуждения» была политической акцией — Павел вновь заговорил о своих правах. Совершенно ясно, что Павел и писал и подавал «Рассуждение» по совету Н. Панина. В нем изложены проекты разных реформ, главным образом в связи с военной обстановкой. Но вводная часть открывалась резкой характеристикой положения в русском государстве, создавшегося после десятилетнего царствования Екатерины. Мы не знаем, как писалось «Рассуждение» и особенно его вводная часть. Судя по другим бумагам Павла, в нем излагался круг близких ему проблем. Потому, очевидно, он сам и писал его. В то же время можно предположить, что в вводной части «Рассуждения» он выразил не только свою точку зрения, а и людей, в это время близких ему, — Н. Панина и Д. Фонвизина. О тех же вопросах они беседовали, когда были вместе, обсуждали и осуждали политику Екатерины. Вот почему «Рассуждение» (прежде всего вводная часть) интересно как первый политический шаг Павла, сделанный под руководством Н. Панина. Именно в ряду с «Рассуждением» следует рассматривать и составление в конце 70-х годов братьями Паниными и Фонвизиным проекта фундаментальных законов, которые должен был ввести Павел после прихода к власти. Заслуживает быть отмеченным тот факт, что этот проект фундаментальных законов открывался вступлением, в котором давалась оценка царствования Екатерины. Вступление под названием «Рассуждение о непременных государственных законах» позднее напишет Фонвизин.

Павел писал в своем «Рассуждении»: «Государство наше теперь в таком положении, что необходимо надобен ему покой. Война, продолжавшаяся пять лет, польские беспокойства одиннадцать лет, да к тому же и оренбургские замешательства, кои начало имеют от неспокойствия яицких казаков, уже несколько лет пред сим начавшегося, довольные суть причины к помышлению о мире, ибо все сие изнуряет государство людьми, а через то и уменьшает хлебопашество, опустошая земли». Но как восстановить мир, тишину и «покой» в России? «К достижению сего надобно начать восстановлением внутреннего спокойствия, зависящего от домашнего положения каждого. Когда сняты будут налоги, пресечены наряды с земли, то каждый, не лишаясь имения своего: отцы детей, а гос-

пода тех, коих трудами живут, не будут иметь причин негодования, и тогда-то пресекутся главные причины неудовольствия».

Далее следует оценка нравственных достоинств русского народа, высказывается мысль о необходимости бережного отношения к тем, чьими трудами все живут. «Наш же народ таков, что малейшее удовольствие заставит его забыть годы неудовольствия и самое бедствие.

По сие время мы, пользуясь послушанием народа и естественным его счастливым сложением, физическим и моральным, все из целого кроили, не сберегая ничего, но пора помышлять о сохранении сего его драгоценного и редкого расположения».

Павел жил замкнуто и уединенно. Его представления о народе внеопытны. Он писал то, что внушали ему близко стоявшие к нему люди, считавшие своим долгом образовывать будущего государя. Представляя Екатерине свое «Рассуждение», Павел, как бы предвидя возможное обвинение, что ему кто-либо помогал в написании записки, отводит его. Он решительно заявляет, что писал «все сие от усердия и любви к отечеству, а не по пристрастию или корысти», писал, «будучи при том очевидцем и узнав сам собою вещи и дела, о которых всякий сын отечества молчать не может».

Читая «Рассуждение», понимаешь, что не напрасно Фонвизин, рискуя жизнью, перешел на сторону Павла, — он по личному опыту понял, что наследнику можно внушить много полезных истин. Павел усваивал их действительно довольно свободно. Он писал: «Человек первое сокровище государства, и труд его — богатство; его нет, труд пропал, и земля пуста, а когда деревня не в добре, то и богатства нет. Сбережение государства — сбережение людей, сбережение людей — сбережение государства. Для сего сбережения потребно средство, которое я, может быть, нашел. Государство почитать должно как тело, государя головою, законы душою, нравы сердцем, богатство и изобилие здоровьем, военные силы руками и всеми прочими членами, кои к защищению служат, а религию законом, под которым все состоим. Благоразумный человек будет почитать сохранение здоровья и сил тела своего первою вещию со стороны физической.

Применим же сие к государству, и так выйдет, что в оном стараться надобно первее всего о сбережении

богатства и изобилия (что есть хлебопашество и рукоделие) и сил военных».[1]

Там же Павел отмечает тяжесть рекрутских наборов, возмущается злоупотреблениями, которые происходят во время наборов, выясняет причины побегов рекрутов и солдат и приходит к выводу, что солдат вынуждает к этому «бесчеловечное» обращение офицеров. Среди «причин» побегов Павел называет: «Разлука с родственниками, ближними и домом, перемена пищи и одежды — пункт из самых главных, и часто перемена климата и воды. Учение все тому, чего он никогда и не видывал, соединенное, по несчастию и глупости, с бесчеловечными побоями, — пункт самый важный. Неизвестность времени службы и потому сумнение о спокойном окончании жизни своей» и т. д. Далее Павел предлагает «способы, потребные к прекращению сего зла». Среди них — сокращение числа набираемых рекрутов, несение службы в тех местах, где проживают рекруты, «прилежное смотрение инспекторов» за тем, чтобы не избивали рекрутов. Предлагает Павел также «завести больше лекарей при полках», «завести инвалидные домы для старых и дряхлых, во-первых по человечеству, а во-вторых, чтоб человек, служа за отечество, имел надежду жизнь свою спокойно окончить в старости и дряхлости, оттого всяк будет охотнее служить, ибо не увидит себя брошенного за увечие и службу, а получит, напротив, вечный хлеб. Если лошадей списывают на заводы увечных и за службу, так как же равных себе да за спасение, может быть, отечества кидаем, как изношенную скотину за то, что она изодралась?»[2]

«Рассуждение» было оставлено Екатериной без внимания. Прибравший власть к своим рукам Потемкин сумел создать такую обстановку, при которой Петр Панин сразу после победы над Пугачевым вынужден был уйти в отставку. Вскоре Павла отправили в Берлин выбирать новую жену, взамен умершей Наталии. Планы и намерения Никиты Панина возвести Павла на престол были пресечены, на этот раз уже навсегда.

---

[1] ЦГВИА, фонд военно-ученого архива. Бумаги, поступившие из кабинета Павла I, д. 16 638, л. 48 (оборот) и 49.

[2] Там же, л. 49 (оборот) и 56 (оборот).

3

Как в этих новых обстоятельствах могла сложиться деятельность Фонвизина-писателя? Если не удалось осуществить смену монарха, который довел государство «до падения», то следовало использовать оружие слова для обличения царствующего самодержца. В то же время действовать следовало осторожно. Фонвизин прибегает к излюбленному своему приему — подбирает для перевода соответствующее политическим обстоятельствам момента политическое сочинение. Выбор пал на «Похвальное слово Марку Аврелию» французского просветителя Антуана Томá.

Римский император Марк Аврелий был показан в просветительской литературе как идеальный монарх-философ. Книга А. Тома являлась сводом политических требований просветителей к царствующим особам, в которой автор торжественно объявлял, что говорит «гласом вольности» перед императором-тираном. Перевод оказывался своеобразной школой гражданского воспитания. Читатель жадно воспринимал многочисленные политические суждения этого «Слова»: «О боже! не создал ты ни царей быть утеснителями, ни народы быть утесненными» (II, 211). Противник рабства, Фонвизин с удовлетворением приводил слова Марка Аврелия: «Я начинаю вольностию, римляне, ибо вольность есть первое право человека, право повиноваться единым законам и, кроме их, ничего не бояться. Горе рабу, страшащемуся произносить ее имя! Горе той стране, где изречение его вменяется в преступление!» (II, 212)

Перевод «Похвального слова» позволял Фонвизину не только пропагандировать идеал свободы человеческой личности, воспитывать ненависть к поработителям и угнетателям человека, но и осуществить главную свою политическую задачу — обличить Екатерину и ее режим. В условиях, когда русская императрица старательно раздувала легенду о себе как о просвещенной монархине, объявлять образцом истинного просвещенного монарха Марка Аврелия — значило осуждать Екатерину и ее политику. Подобное мнение не является натяжкой. Оно подтверждается самым замечательным образом печатной рецензией на фонвизинский перевод. Об этой рецензии следует рассказать подробнее.

Перевод вышел анонимно отдельным изданием в 1777 году. В феврале 1778 года в «Санкт-петербургском журнале» появилась одобрительная рецензия на «Похвальное слово». Рецензент открыто сформулировал политический смысл перевода. Читатель, знакомясь с правлением и законодательством истинно просвещенного монарха Марка Аврелия (каким его изобразил А. Тома), мог сравнивать его с правлением Екатерины и делать выводы: обещания русской монархини «делать все для пользы своего народа» — лживы. Рецензент сам сделал этот вывод, помогая читателю: «Сия книга в рассуждении различных предметов заслуживает внимания общества. Марк Аврелий, император, обожаемый древними римлянами, и ныне еще почитается примером и образцом добродетельных и великих государей; итак, похвала, приносимая ему, приносится в то же время и всем государям, уподобляющимся ему, или, лучше сказать, благотворительному божеству. Почитай, общим мнением утверждается, что господин Томас, прославившийся разными сего рода сочинениями, в сем преизящном своем слове умышленно написал сатиру на правление своего отечества, во время последних лет Лудовика XV. Может статься, что сие было его мнение, но и без того хвала государствованию Марка Аврелия будет всегдашним обличением слабому или не соответствующему пользе народа, а в то же время хвалою всякому премудрому и благотворительному правлению, в котором земные владетели вменяют себе за славу вещать, что они сотворены для своего народа». Далее следовал краткий пересказ «Слова похвального» с умелым использованием текста перевода.

Рецензия эта своим содержанием резко отличается от множества других, помещавшихся в журнале. Обычно рецензент кратко излагал содержание того или иного сочинения и сводил свою задачу к рекомендации его читателю. Рецензия на «Похвальное слово Марку Аврелию» вскрывает подлинный политический смысл произведения («сатира на правление своего отечества»), объясняет причину, побудившую переводчика избрать именно его для перевода («хвала государствованию Марка Аврелия будет всегдашним обличением слабому (государю. — *Г. М.*) или не соответствующему пользе народа»), и тем самым она непосредственно примыкает к переводу, дополняет его.

Кто же мог быть автором такой рецензии? Ее содержание, обличающее в рецензенте лицо, заинтересованное в правильном понимании политического смысла «Похвального слова», делает возможным предположение, что автором был человек, очень близкий Д. И. Фонвизину. То же подтверждает и факт объявления рецензентом имени переводчика («переведена с французского надворным советником Фон-Визиным»). Вряд ли кто посторонний осмелился бы назвать имя переводчика, скрытое им самим, да еще такого произведения, которое объявлялось «сатирой», «обличением» Екатерины. Вспомним, что Новиков, перепечатывая в «Пустомеле» (в 1770 г.) анонимное «Послание к слугам моим», зашифровал имя его автора («Кажется, что нет нужды читателя моего уведомлять о имени автора сего послания, перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем любящим словесные науки довольно известно»). То же было при опубликовании басни «Лисица-казнодей».

В «Известии о новых книгах» [1] говорилось, что при рецензировании переводных сочинений будут делаться «примечания, где переводчик совершенно достиг до красоты своего подлинника и где он совершенно утратил смысл своего автора... верен ли перевод, или волен, или одно только подражание и проч.». Во всех случаях это правило исполнялось — всегда давалась подробная оценка качества перевода. В рецензии на «Слово похвальное» все внимание обращено только на содержание оригинала, о качестве же перевода, в сущности, ничего не сказано, если не считать чисто формального попутного замечания, что переводчик «в переводе своем сохранил силу и красоту подлинника».

Перевод Фонвизина — замечательный образчик высокого ораторского стиля. Будучи точным, он лишен буквализма. Свободно и смело переводя важнейшие политические мысли подлинника, Фонвизин выражал их лаконично, в манере, им уже выработанной. Посторонний рецензент не мог бы пройти мимо действительной «красоты и силы» перевода. Человек, близкий переводчику, понимал, что Фонвизин был заинтересован в раскрытии политического смысла «Слова похвального», а не в похвалах своему переводческому мастерству.

---

[1] «Санкт-петербургский вестник», 1778, ч. I, стр. 56—59.

Еще одно замечание. В рецензии мы встречаемся с чисто фонвизинским юмором. «Похвальное слово» было отлично издано. Упомянув о хорошем типографском оформлении книги, рецензент написал: «Наконец остается нам упомянуть, что сия книга печатана весьма исправно и с немалою типографическою красотою, чем поистине дурное сочинение не сделается хорошим, а хорошее тем принести может читателю сугубое удовольствие».[1]

Фонвизин в августе 1777 года уехал за границу. Об издании в следующем году нового журнала — «Санкт-петербургского вестника» — уже было известно. Знал об этом и Фонвизин от содержателей типографии Вейтбрехта и Шнора, напечатавших «Похвальное слово» и готовившихся своим иждивением издавать «Санкт-петербургский вестник». Статья подписана инициалом «Ф.» За той же подписью в журнале напечатано еще несколько рецензий.

4

Переход на службу в Коллегию иностранных дел к Н. Панину определил не только политическую, но и государственную деятельность Фонвизина. Канцлер Н. Панин, руководитель Коллегии иностранных дел, был выдающимся русским дипломатом. С его именем связаны многие международные акции России, высоко поднявшие престиж русской дипломатии и авторитет русского государства. Среди крупных дипломатических предприятий Н. Панина следует в первую очередь назвать заключение мирного договора с Турцией, Тешинский мир и разработку доктрины вооруженного нейтралитета.

Война с Турцией, длившаяся с 1768 по 1774 год, закончилась победой России, которая укрепила свое положение на юге, ослабив позиции Турции на Кавказе и в Крыму. Русская дипломатия добилась объявления независимости от Турции Крыма и передачи России крепостей Керчи, Еникале и Кинбурна. Россия получила право строить флот на Черном море, Черное море и проливы стали открытыми для торгового мореплавания. Включение Крыма в 1783 году в состав Российской империи является прямым следствием этой войны и Кучук-Кайнаджирского

[1] «Санкт-петербургский вестник», 1778, ч. I, стр. 137.

мира. Особыми пунктами того же договора расширялись права подвластных Турции народов — славян, грузин и румын. Это способствовало развитию освободительной борьбы угнетенных народов против турецкого владычества.

Посредничество России между Австрией, с одной стороны, и Пруссией с Саксонией, с другой, во время войны 1778—1779 годов за так называемое баварское наследство привело к заключению Тешинского мира (13/24 мая 1779 г.). Инициатива России в проведении мирных переговоров, посредничество на Тешинском конгрессе высоко подняли авторитет русской дипломатии и ее руководителя Н. Панина.

Третьим, по словам Фонвизина, «знаменитым происшествием» русской дипломатии является выработка и осуществление политики вооруженного нейтралитета во время войны тринадцати английских колоний с Англией за свою независимость. Политика вооруженного нейтралитета означала сознательную поддержку американскому народу и объективно помогала в его борьбе за независимость. По некоторым важным причинам на этом следует остановиться подробнее.

События американской революции сыграли крупную роль в общественной жизни Западной Европы (во Франции, Германии и Англии) и России. Русское общество проявило большой интерес к американским делам. Оно следило в течение всей войны за ходом боевых действий, изучало конституцию всех тринадцати штатов. Из Франции, Голландии выписывалась необходимая литература, которая знакомила с жизнью новой республики, с делами политических вождей американского народа — Вашингтона, Франклина, Адамса. События американской войны закрепили и в России интерес к политике, к международным делам, к вопросам исторических судеб народов, к политическим и социальным условиям их жизни. Поэтому общественная русская мысль 80-х годов стремилась освоить, учесть и осмыслить всемирно-исторический опыт американской революции 1776—1783 годов. С особой отчетливостью и плодотворностью это освоение обнаруживается в творческой деятельности корифеев русского Просвещения — Радищева, Новикова и Фонвизина.

Фонвизинское отношение к американским событиям определялось прежде всего его служебным положением.

Близкий друг и доверенное лицо Никиты Панина, секретарь руководителя русской дипломатии, он принимал непосредственное участие во всех «знаменитых происшествиях» Коллегии иностранных дел, и в частности — в выработке определенной политической линии, нашедшей свое выражение в доктрине вооруженного нейтралитета. В важный момент войны за независимость (1777—1778 гг.) Фонвизин выехал во Францию, где в Париже встретился с Франклином — послом американской республики во Франции. Об этой встрече официально писалось в парижских газетах, но что именно — нам до сих пор неизвестно. Мы очень мало знаем о большой государственной деятельности Фонвизина-дипломата. И не потому, что не располагаем обильными документами, что мало фактов и материалов. Просто эта тема до сих пор не поставлена, эта сторона деятельности Фонвизина не изучена. Оттого и не собран нужный материал, а имеющийся обычно игнорируется. Вот почему важно привлечь внимание ученых к дипломатической деятельности Фонвизина. И здесь отношение его к событиям американской революции, вся история выработки политики, которая объективно поддерживала американский народ, может многое дать для понимания характера и особенности этой деятельности Фонвизина.

Тринадцать лет он непосредственно занимался международными политическими делами. То была пора идейной зрелости и наивысшей творческой активности Фонвизина. Мечтая о вольности своего отечества, просветитель не мог не сочувствовать освободительной борьбе других народов. Просветительские убеждения Дидро привели его осенью 1773 года в Петербург. Больной и старый, он отважно пустился в далекий путь, веруя, что может воздействовать на Екатерину и способствовать благу неизвестного ему русского народа. Фонвизин был другом и соратником человека, который определял позицию могучего русского государства в международных делах. Обстоятельства на этот раз сложились так, что судьба американской революционной войны во многом зависела от политики России. В этих условиях его, Фонвизина, личные действия, симпатия, энергия не могли не сказываться на результатах русской политики. Таким образом, в годы, когда американская революция привлекла к себе внима-

ние всей передовой общественности Европы, Фонвизин оказался в центре международных дел и событий.

Летом 1776 года тринадцать английских колоний подняли восстание против английского владычества, начали революционную войну, первую в XVIII веке буржуазно-демократическую революцию. Собравшийся континентальный конгресс объявил себя правительством соединенных областей. Просветительская идеология, получив всеобщее распространение, подготовляла исторические события века. Ведущие деятели американской революционной войны — Вашингтон, Франклин, Джефферсон — были воспитанниками и последователями французских просветителей. Провозглашенные ими идеи свободы человека стали воодушевлять массы на борьбу, определили «Декларацию прав человека», легли в основу конституции молодой республики. Революция за океаном поэтому явилась следующим за эпохой Просвещения этапом в развитии политических и социальных идей XVIII века. В данный момент, — и это отчетливо понимал весь мир, — важнейшие исторические события происходили за океаном. Там, в Америке, «была провозглашена первая декларация прав человека и был дан толчок европейской революции XVIII века...» [1]

Борьба за независимость Соединенных Штатов не была частным делом американцев. В этой войне решалась судьба не только молодого народа: рождение и выход на арену исторической и международной жизни нового государства многое меняло в отношениях между странами Европы. Это не могло не вызвать всеобщего интереса к событиям за океаном. Но национально-освободительная война Соединенных Штатов приобретала еще большее значение и благодаря тому, что она была одновременно и революцией, в которой народ отстаивал силой оружия не только свою независимость, но и республиканский демократический строй.

Развитие быстро крепнувших связей между Россией и Америкой шло и по линии государственной, политической, с одной стороны, и по линии общественной, идеологической — с другой.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 1-е, т. XIII, ч. I, стр. 21.

В американские дела были втянуты почти все государства Европы. Россия в этой сложной международной обстановке занимала особую позицию. Обследование исторических документов, в которых отражена внешняя политика русского правительства той поры, и, главное, ознакомление с богатейшими, к сожалению до сих пор неиспользованными материалами архива Министерства иностранных дел позволили кое-что уточнить в русской политике той эпохи, яснее представить роль России в деле победного окончания войны за независимость.

В войне против Англии, которую вели Соединенные Штаты Америки за свою независимость, на стороне республики выступили две крупнейшие страны тогдашней Европы — Франция и Испания. Стремление консервативного английского правительства Норта удержать любой ценой богатейшие американские колонии за собой привело к усиленным поискам союзника, вооруженные силы которого помогли бы разгромить восставший американский народ.

Единственной крупной державой в Европе, чье вмешательство могло изменить ход событий, была Россия. И правительство Норта на протяжении всей войны многократно обращалось к России с разными просьбами — сначала разрешить нанять двадцатитысячный корпус русских солдат, а потом заключить военный союз. На все предложения русское правительство отвечало отказом, ибо оно в американском вопросе руководствовалось выработанными Никитой Паниным и в специальном секретном докладе изложенными принципами. Принципы эти устанавливали: война бывших английских колоний есть крупнейшее событие века, ибо в семью государств мира входит новая держава; война является справедливой и законной; победа Америки может внести необходимое для соблюдения в Европе мира и тишины равновесие; эта победа открывает богатейшие возможности для широкой международной торговли непосредственно с независимым богатым государством. Отсюда, как заключал Панин, «то и оказывалось», что Россия не могла быть не заинтересована в победе Америки.

Принципы этого документа определяли русскую политику:

1) отвергнуть все попытки правительства Норта использовать Россию для подавления американской революции;

2) всячески поддерживать Францию — военного союзника Америки, выражая удовлетворение России ее политикой союза и помощи республике;

3) на предложение Норта о союзе выдвигать контрпредложение услуг посредника для переговоров о мире и прекращении губительной войны на условии предоставления Америке независимости.[1]

Дипломатические дела Екатерина доверила умному политику Панину, который все делал «к величию и славе России». Отделение тринадцати богатых североамериканских колоний от Англии было выгодно России потому, что ослабляло империю Георга III и открывало возможность установления прямых торговых отношений с республикой. Внимательно следя за американскими делами,[2] Екатерина понимала важность для России и для нее лично выработанной Паниным политики. В ее бумагах сохранилась «Записка», в которой дана характеристика текущего международного момента: «В настоящее время все государства переживают кризис, — писала Екатерина. — Они попеременно испытывают те переходные конвульсии, которые потрясают, рушат или превозносят царства... Турция дышит понемногу... Польша привыкает к шаткости судьбы своей. Италия ждет и надеется... Америка образуется».[3] Понимание, что «Америка образуется», желание укрепить в этих обстоятельствах политический авторитет России, трезвый расчет влекли за собой действия, способствовавшие образованию нового государства.

В 1777—1778 годах положение на фронте осложнилось. Силы восставших слабели, английская армия усиливала нажим. Республике нужна была открытая военная помощь. Поверенный (в дальнейшем он будет признан послом республики) Соединенных областей во Франции, известный физик и просветитель Вениамин Франклин принимал все меры к тому, чтобы склонить своего союзника к объявлению войны Англии. Правительство Людовика XVI колебалось. Русский посол в Париже Барятинский доносил

---

[1] См.: архив Воронцова, кн. XXXIV. М., 1888, стр. 393—401.

[2] Обильную информацию об Америке Екатерина получала, в частности, от Гримма, который пользовался верным источником — сообщениями своего корреспондента из Филадельфии. См. письма Гримма Екатерине в Сборнике русского языка и словесности, т. XXI. СПб., 1881.

[3] Сборник Русского исторического общества, т. II, стр. 410.

Панину, что американцы добиваются военной помощи от Франции, угрожая в противном случае приступить к переговорам о мире с Англией. В ответ Панин предлагал Барятинскому дать понять французскому министру Вержену, что Россия с удовлетворением встретит вступление Франции в войну.

В сентябре 1777 года Фонвизин выехал во Францию. Поводом для путешествия была названа болезнь жены. Обращение к доктору Деламюру, жившему в Монпелье, принесло немедленное исцеление. В письме к Петру Панину от 25 января 1778 года (письмо недавно обнаружено) Фонвизин сообщал: «Не тщетно предпринял я столь дальнее путешествие. Главная причина ее (жены. — *Г. М.*) болезни истреблена, и le ver solitaire, от коего она столько времени страдала, на сих днях выгнан» (II, 464). После этого Фонвизин отправился в Париж, где прожил полгода.

Круг интересов русского писателя обширен — он знакомится с философами и философией, посещает картинные галереи и театры, изучает государственное устройство, интересуется промышленностью, торговлей страны, жизнью разных сословий. Пристальное его внимание привлекает политика, и прежде всего — американские дела, взаимоотношения Франции и Англии, подготовка неизбежной войны между ними. Отсюда и политические встречи — с русским послом Барятинским и послом американской республики Франклином. Обращает на себя внимание такой факт: приехав в Париж, Фонвизин, как он сообщает об этом сестре, «послал секретарю нашего министра, чтоб он ко мне пришел; вместо секретаря Барятинский сам прискакал ко мне верхом и обошелся со мною как с родным братом». Дело, конечно, не в том, что Барятинский был гостеприимным и вежливым человеком. В Париж прибыло доверенное лицо руководителя русской дипломатии Н. Панина. С ним не только можно, но и должно было обсудить важные политические дела, в том числе — решение Франции объявить войну Англии и сражаться на стороне Америки. Следует помнить, что, будучи во Франции, Фонвизин вел переписку не только с сестрой и Петром Паниным, но и с Никитой Паниным. Письма к первым двум адресатам сохранились. Письма к Н. Панину не обнаружены до сих пор. Нет сомнения, что если даже в письмах к сестре немало уделялось внимания

политическим делам, и в частности — американским, то в письмах к Н. Панину политика занимала первое место. Важно учитывать и то, что Фонвизин, живя в Париже, получал ответы от обоих братьев. Вот отчего взаимоотношения с послом Барятинским носили не совсем обычный характер.

Признание королевским правительством Франции американской республики, вступление в войну на ее стороне легализовало симпатии к американской революции в широких кругах демократической Франции. А симпатии эти были необыкновенно горячими. Из всех городов и глухих уголков Франции, из всех стран Европы стекались во французские порты тысячи свободолюбцев, желавших ехать сражаться за независимость и свободу американского народа.

Десятки передовых деятелей Франции лично принимали участие в американской войне. Маркиз Лафайет, будущий деятель французской революции, выехал в Америку вместе с отрядом добровольцев. Юный Сен-Симон, будущий великий утопист, увлеченный идеями свободы, тоже отправился за океан, в Америку, где принимал участие в сражениях под начальством Вашингтона. В формировании мировоззрения Сен-Симона американская революция сыграла значительную роль. Крупнейший драматург Франции Бомарше выступил организатором грандиозного предприятия по снабжению республики оружием. Аббат Рейналь, находившийся в дружеских отношениях с энциклопедистами Дидро, Гольбахом, Нежоном, готовит и в 1781 году выпускает книгу «Revolution d'Amérique». Книга отвечала интересу к Америке, подробно освещала ход революционных событий, знакомила с жизнью народа, с его армией и героями, сражавшимися за независимость своей страны. Вместе с тем она свидетельствовала о силе влияния американских событий на французское общество, красноречиво говорила о том, как воодушевлены были революцией ее идейные предтечи, французские просветители.

Приезд в Париж знаменитого Франклина в качестве посла американской республики вызвал демонстрацию тысячных толп. Резиденция посла стала местом паломничества. К нему шли беспрестанной чередой люди, шли для того, чтобы выразить симпатии революционной стране, шли с просьбой отправить их в армию Вашингтона.

И Франклин действовал: корабли с добровольцами и оружием отправлялись один за другим.

Дом вдовы Гельвеция был тем местом, где собирались единомышленники, друзья Гельвеция, чтобы послушать первого посла республики. Франклин рассказывал о народном воодушевлении, о новых законах республики, о решимости народа во что бы то ни стало отстоять свою победу.

Выражая всеобщие чувства восторга и преклонения перед Франклином, Даламбер пишет стихотворную надпись к его бюсту, которая облетит весь мир, станет известной в России, где Радищев воспроизведет ее в своем «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Се исторгнувший гром с небеси и скипетр из рук царей».

В 1778 году, в дни пребывания Фонвизина в Париже, произошла встреча двух великих просветителей — Вольтера и Франклина. О встрече в Париже говорили с восторгом. Пушкин писал о ней: «Вольтер умирает в Париже, благословляя внука Франклина и приветствуя Новый свет словами, дотоле неслыханными!..» Французское общество готовилось к своей революции. Пока еще было все спокойно, «но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...» [1]

Фонвизин не только был свидетелем этого общественного возбуждения. Он оказался втянутым в события — французские писатели, сочувствовавшие американскому народу и понимавшие роль России в судьбе «образующейся Америки», устроили встречу Франклина с Фонвизиным. Об этом мы знаем из писем самого Фонвизина к сестре. В апреле 1778 года он сообщает, что в Париже открылось новое литературное собрание, куда его пригласили: «Сегодня открылось в Париже собрание, называемое: «Le rendez-vous de la Republique des lettres et des arts». Господа ученые почтили меня приглашением, и я после обеда туда еду. Они хотят иметь меня своим корреспондентом. Бог ведает, кто-то им сказал, будто я русский un homme de lettres» (II, 449). О Фонвизине французское общество могло знать только с чужих слов и, вероятнее всего, со слов сотрудников русского посольства,

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VII. М.—Л., изд-во АН СССР, 1949, стр. 313—314.

для которых Фонвизин был не только писателем, но прежде всего фактотумом Панина. Разузнав все о Фонвизине, французские писатели и ученые, объединенные во вновь заведенное общество, захотели во что бы то ни стало добиться от русского писателя регулярных посещений. Для этого Бланшери, «директор сего собрания, — сообщает Фонвизин, — у меня был, и комплиментам конца не было».

Последующие письма Фонвизина показывают, что это общество рассчитывало не только на Фонвизина, но и на Франклина. Так, через три месяца Фонвизин сообщает уже не только об укрепившихся связях с французскими авторами, но и о свидании и знакомстве с Франклином, состоявшемся именно при посредстве французских писателей: «Я, с моей стороны, персонально их учтивостию доволен. Они, услышав от Строганова, Барятинского и прочих, что я люблю литературу и в ней упражняюсь, очень меня приласкали, даже до того, что в заведенное нынешним годом собрание под именем «Le rendez-vous de la Republique des lettres et des arts» прислали ко мне инвитацию, так же как и к славному Франклину, который живет здесь министром от американских соединенных провинций. Он, славный английский физик Магеллан и я были приняты отменно хорошо, даже до того, что на другой день напечатали в газетах о нашем визите» (II, 450—451). Здесь все замечательно. Общество французских писателей, каждый из которых чувствует себя общественным деятелем, лицом, способным своим словом служить и приносить пользу народу, приглашает на свое собрание Франклина, который был не только министром республики, но и писателем, философом, книгоиздателем, ученым, добивается приезда Фонвизина — русского писателя и уже потому и политического деятеля.

Именно здесь, в равном собрании литераторов, которое демонстративно называлось «Собранием членов республики литературы», и должна была состояться неофициальная встреча министра американской республики с личным представителем руководителя русской дипломатии Панина. Примечательно здесь и упоминание, что об этой встрече представителей России и Америки немедленно сообщили газеты. Становится ясным, почему Вяземский, для которого все эти события были значительно ближе, с таким чувством пишет об этом периоде жизни Фонвизина

в Париже. В своей книге о Фонвизине Вяземский указывает, что писатель «имел почесть и удовольствие быть принятым в одно вновь заведенное общество вместе с Франклином. Одна подобная встреча должна б была примирить Фонвизина с Парижем и Просвещением; в этом центре сблизилось то, что разделено было природой, и представитель юного Просвещения России был собеседником с представителем юной Америки. В лице их два новые мира сошлись в виду старого, как высокие предвещания, что есть еще много грядущего в судьбе человеческого рода».[1]

Во время одного из таких посещений общества Фонвизин по просьбе французских писателей прочел нечто вроде доклада о свойствах русского языка. Доклад этот, несомненно, представляет большой интерес. Из него, в сущности впервые, Франция узнавала много важного о русском языке и литературе, узнавала факты достоверные из уст самого талантливого русского писателя этой эпохи. Фонвизин отмечал в письме к сестре, что «имел удачу понравиться в собрании рассказыванием о свойстве нашего языка». К сожалению, мы ничего не знаем о содержании этого сообщения. Но поскольку о посещении Фонвизиным заседаний общества писали парижские газеты, можно предположить, что в них было напечатано и краткое изложение фонвизинского сообщения о русском языке. Комплекты французских газет за 1778 год, хранящиеся в наших библиотеках, неполны и ответа на интересующий вопрос не дают.

Я обратился к профессору университета в Париже А. Гранжару с просьбой предпринять поиски газетной информации о посещении Фонвизиным литературного общества, руководителем которого был Бланшери. В результате разысканий удалось установить, что собрания общества, организованного la Blancherie, происходили каждую неделю в течение первой половины 1778 года в старинном коллеже де Байе.

В «Journal de Paris» от 21 июня 1778 года обнаружена заметка Бланшери, в которой рассказывается о встрече французских писателей с Франклином и Фонвизиным. Президент общества писал, что «доктор Франклин продолжает свидетельствовать свое расположение к этому учреждению, благоволя развлекаться среди нас»,

[1] П. Вяземский. Фон-Визин, стр. 141.

отмечал и «то удовольствие, которое мы получили, принимая г. де Визина, весьма изысканного русского поэта». Вероятно, эту заметку в газете и имел в виду Фонвизин, когда писал сестре в письме от августа 1778 года: «Вы увидите в газете имя мое estropie по обычаю». Пока никаких других сведений о взаимоотношениях Фонвизина с французскими писателями и, главное, о прочитанном докладе в парижских газетах обнаружить не удалось. Видимо, следует искать более подробные сведения об этом в мемуарах тех французских писателей, которых объединил Бланшери в своем обществе.[1]

Вступление в войну Франции, а затем Испании, казалось, быстро решит судьбу нового государства. Но Англия, предприняв срочные меры, активизировала действия военно-морского флота против кораблей противника, и силы воюющих сторон уравновесились. Война грозила затянуться надолго. Франклин с каждым днем все настойчивее требовал от Франции усиления помощи. В Америке начали раздаваться голоса о капитуляции.

Россия, продолжая оставаться нейтральной и тем самым лишенной возможности вмешаться в войну, все же смогла найти действенное дипломатическое средство, чтобы повлиять на ход событий в нужном ей направлении.

Главным на новом этапе войны стал вопрос английской блокады Америки. Английский военный флот захватывал, топил или не допускал к берегам Америки те торговые корабли, которые везли войска, вооружение и боеприпасы союзников. Соединенный франко-испанский флот пытался защищать свои торговые корабли. Война в дальнейшем решалась не столько в сухопутных сражениях, сколько на море. От того, в чью сторону изменится установившееся равновесие, от того, удастся ли английскому правительству Норта полностью осуществить план блокады, зависела свобода американского народа. Именно в этот момент равновесия сил английский король Георг III, видя в России единственное государство, которое могло бы своим вмешательством определить исход войны, обращается

---

[1] За любезное согласие прийти на помощь в сборе материалов о взаимоотношениях Фонвизина и французских писателей весной и летом 1778 года и проведенные разыскания выражаю глубокую благодарность профессору А. Гранжару и сотруднице кафедры истории славянских стран г-же Дюпон, которая непосредственно осуществляла эти поиски.

к Екатерине II за помощью. Россия отказалась употребить свою силу для подавления республики.

Правильно оценив центральную проблему войны, Панин и разработал новую в международном праве доктрину вооруженного нейтралитета. В марте 1780 года Россия провозгласила декларацию о вооруженном нейтралитете, одновременно подготовив дипломатическими средствами присоединение к ней пяти нейтральных стран. Смысл политики вооруженного нейтралитета сводился к тому, что пять государств под руководством России объявили о своем решении вести торговлю со всеми воюющими государствами (то есть в том числе и с Францией, Испанией и Америкой), защищая торговые корабли своим военно-морским флотом. Эта торговля шести нейтральных государств, огражденная силою оружия, расстроила, а затем и окончательно сорвала план английской блокады.

Проамериканский характер этой политики был отлично оценен всеми: и английским правительством Норта, которое поняло этот акт как прямое выступление против агрессивной политики Англии, и французским правительством, которое приветствовало декларацию, и Соединенными Штатами Америки, конгресс которых выразил благодарность русскому правительству за эту политику. Столичная газета «Санкт-петербургские ведомости» сообщила своим читателям, что «Конгресс изъявил многими своими изданными определениями наиглубочайшее почтение к великодушным ее императорского величества законоположениям и усердие свое споспешествовать оным».[1]

Отлично понимало это и европейское общество, сочувствовавшее Америке. Так, из депеш русского посла в Париже князя Барятинского, найденных в архиве МИДа, следует, что опубликование декларации русского правительства о вооруженном нейтралитете вызвало ликование в двух столицах — в Гааге и в Париже. В столице Франции это известие произвело сенсацию: парижане, по словам Барятинского, «сходятся толпами в публичных собраниях и с восхищением о высочайшем имени ее императорского величества кричат яко о защитнице человеческого рода и прямой его вольности».[2]

---

[1] «Санкт-петербургские ведомости», 1781, № 17.

[2] ЦГАДА, МИД. Сношения России с Францией, д. № 354, депеши за 1780 год. Ныне эти дела переданы архиву МИДа.

Это вмешательство России сыграло значительную роль в ходе войны, оказав огромную услугу американскому народу в его борьбе за независимость, определив в известной мере исход этой войны.

Понимание роли России в войне Америки, Франции и Испании с Англией определило решение Конгресса отправить в Петербург дипломатическую миссию. Выбор пал на Фрэнсиса Дана, помощником которого был назначен юный Джон Адамс, сын известного политического деятеля эпохи революции, Джона Адамса-старшего. Ф. Дана выехал как частное лицо, с тем чтобы на месте добиться признания Россией Соединенных Штатов и заключения договора о торговле. Ехать в Россию без предварительных переговоров с русским правительством (хотя бы через посредство, например, Франклина) было, несомненно, делом и смелым и рискованным. Что же питало уверенность Ф. Дана? Прежде всего, конечно, откровенная проамериканская политика России (особенно после публикации Декларации о вооруженном нейтралитете) и многочисленные предложения русского правительства Англии заключить мир и признать Соединенные Штаты. Но были еще некоторые обстоятельства, которые укрепляли надежду американского представителя. В письмах к разным лицам из Петербурга (в частности, к Адамсу) Ф. Дана осторожно, но вместе с тем довольно ясно и определенно говорил, что у них в Петербурге есть «друг», который им поможет. [1]

Кто мог быть этим «другом»? Кто мог помочь в таком важнейшем политическом предприятии? В монографии, посвященной жизни и деятельности Ф. Дана, Крессон, описывая пребывание его в Петербурге, пытается установить имя этого «друга». С одной стороны, говорит Крессон, письма Дана явно намекают на Никиту Панина. Он действительно мог считаться другом, как творец политики вооруженного нейтралитета, как человек, стойко и неизменно отклонявший все домогательства английского посла Гарриса заключить с Англией союз и помочь ей подавить восставшие колонии. С другой стороны, говоря о «друге», Ф. Дана сообщает, что он вступил с ним «в тайную

---

[1] W. P. Cresson. Francis Dana. New York, 1930, p. 197.

переписку». Переписываться с Н. Паниным Дана не мог.[1] Значит, в данном случае речь идет о лице, очень близком Панину. К этому выводу и приходит Крессон.[2]

Кто же тот близкий Н. Панину человек, с которым можно было переписываться, которого можно было еще до приезда в Петербург считать «другом»? У Панина было два помощника по иностранным делам — П. В. Бакунин и Д. И. Фонвизин, — которым он особо доверял. Полагаю, что «другом» мог быть только один из них. Данных, даже косвенных, считать «другом» П. В. Бакунина у нас нет. Мы даже не знаем его отношения к американским делам. Прямых данных о том, что «другом» был Д. И. Фонвизин, — тоже нет. Зато есть косвенные. Д. И. Фонвизин был не только помощником Н. Панина, но и доверенным его лицом. В жизнеописании Н. Панина Фонвизин настойчиво, со знанием дела, пишет, что истинным творцом политики вооруженного нейтралитета был именно канцлер. В печатном варианте этого жизнеописания[3] говорится, что последним «достопамятным» делом Н. Панина был «вооруженный нейтралитет». В рукописи, которую в 1830 году издал П. П. Бекетов, содержится более пространная характеристика роли Панина в руководстве русской дипломатией. В частности, о политике вооруженного нейтралитета говорится: «Всем оным происшествиям представления его по большей части были первым осно-

---

[1] Н. Панин не мог установить контакт с официальным лицом американской республики, чью независимость еще не признала не только Россия, но и Англия, с которой Россия поддерживала добрые отношения. Н. Панин действовал осторожно: проводя объективно проамериканскую политику, он объявлял ее перед лицом мирового общественного мнения как политику отстаивания интересов России, нарушенных Англией, объявившей морскую блокаду Америке. Вот почему русский посол в Париже князь Барятинский, действуя по инструкциям Н. Панина, всячески торопя Францию заключить военный союз с Североамериканской республикой, сам не встречался с Франклином. Приехавшего в Петербург Ф. Дана подстерегала большая неприятность: Н. Панин ушел в отпуск, и его заменял вице-канцлер Остерман, действовавший только по указке Екатерины. Оттого и в донесениях Ф. Дана из Петербурга в Филадельфию, часто передававшихся через верные руки, нет ни одного упоминания о контактах с Н. Паниным.

[2] W. P. Cresson. Francis Dana, p. 174.

[3] См.: «Зеркало света», 1786, № 4. «Сокращенное описание жития графа Н. И. Панина».

ванием, а труды его приводили оные в действительное исполнение» (II, 687).

Но, оказывается, есть еще третий, полностью до нас не дошедший, более пространный текст фонвизинского рассказа о событиях, связанных с выработкой «Декларации о вооруженном нейтралитете». Из него мы узнаем, что Панину пришлось преодолеть сопротивление не только Потемкина, но и Екатерины. Об этом рассказе известно со слов историка П. Лебедева. Никогда не указывая местонахождение цитируемых документов, П. Лебедев в то же время, как показывает проверка, чрезвычайно точен в своих сообщениях. Потому нельзя ему не верить и в данном случае. Вот что мы узнаем от Лебедева об интересующем нас вопросе: «Фонвизин рассказывает, что конвенция с Швециею о вооруженном нейтралитете... была делом настойчивости и твердости Панина, который, узнав о намерении Потемкина по домогательствам Гарриса (английского посла в России. — *Г. М.*) склонить Екатерину в пользу Англии, сказался больным, перестал ездить ко двору и заниматься делами, продолжая показываться в городе, а потом, когда французский посланник Верак передал ему содержание записки, поданной Гаррисом через Потемкина Екатерине, Панин написал ей письмо, где «в сильных выражениях и с пламенною любовию к России» высказал всю невыгоду согласия на домогательства английского посла. Далее рассказывается, что Екатерина приехала к своему разгневанному канцлеру и, застав его дремлющим в креслах, прошла потихоньку в другую комнату, дождалась его пробуждения и потом сказала представшему пред нея с извинениями хозяину: «Граф, ты на меня сердился; я сама была собою недовольна, но, видя твою преданность государству и мне, я приехала тебя благодарить; будем по-прежнему друзьями». И будто бы после этого конвенция была заключена, вопреки настояниям Потемкина и без его ведома».[1]

У нас нет ни малейших оснований не верить в достоверность рассказа Фонвизина. Точно известно, что Потемкин поддерживал (и слишком уж усиленно) Гарриса

---

[1] П. Лебедев. Опыт разработки новейшей русской истории по неизданным источникам. I. Графы Никита и Петр Панины, стр. 250—251.

и добивался от Екатерины, чтобы она ни в коем случае не принимала «Декларацию о вооруженном нейтралитете», разработанную Паниным. И все же «Декларация» была ею подписана. Политический расчет победил любовь к фавориту. Екатерина понимала, что политика Панина принесет успех России и славу ей, Екатерине, от чего отказаться она не могла. Панин же был непреклонен в делах, если был уверен в своей правоте. Фонвизин отмечал: «В делах, касательных до блага государства, ни обещания, ни угрозы поколебать его были не в силах. Ничто в свете не могло его принудить предложить монархине свое мнение, противу внутреннего своего чувства. Колико благ сия твердость даровала отечеству!» (II, 286)

Суждения Фонвизина об «изобретении» политики вооруженного нейтралитета (то есть политики, помогавшей Америке в ее борьбе с Англией) проникнуты чувством гордости и удовлетворения. Скромный человек, Фонвизин все приписывал Панину — официальному руководителю русской дипломатии. Нет нужды объяснять, что все, что делалось Паниным в эту пору, делалось всегда при участии Фонвизина. Естественно, различным было отношение к делу американского народа, восставшего против деспотической власти Георга III, у просветителя и дворянского либерала, но это, как мы видим, не помешало выработать политику, которая помогла рождению свободы за океаном.

И, наконец, последнее. Фонвизин был лично знаком с Франклином. Американский посол во Франции знал о взглядах и настроениях Фонвизина. Вот почему Франклин был одним из тех, кто одобрил отъезд Дана в Петербург. Все это дает основание полагать, что когда Дана сообщал в Филадельфию о их петербургском «друге», он имел в виду Н. Панина и его помощника Д. Фонвизина. Было у Фонвизина еще одно, так сказать, преимущество — он был не только официальным чиновником, но и крупным русским писателем. Вряд ли мы сможем когда-нибудь найти у нас письма Дана, посланные «другу». Но в архивах Соединенных Штатов, и в частности — в архивах Массачузетского исторического общества, где хранятся бумаги Дана, или в архиве Конгресса они могут быть: все, что делал Дана в Петербурге, о чем бы ни писал он русским официальным и неофициальным лицам,

он сообщал Конгрессу или, не доверяя почте, передал после возвращения на родину, со своим отчетом.[1]

Нет сомнения, что если бы Панину удалось провести, вопреки проискам Потемкина, «Декларацию о вооруженном нейтралитете», то и миссия Дана могла бы закончиться благополучно и Соединенные Штаты были бы признаны Россией при Екатерине, а не тридцать лет спустя, при ее внуке Александре. (Кстати, первым американским послом, который 5 ноября 1809 г. представил свои верительные грамоты Александру I, был тот самый Джон Куинси Адамс, который в 1781 г., совсем юным, прибыл в Петербург в составе первой американской миссии.) Но случилось непредвиденное. К моменту приезда миссии Ф. Дана (август 1781 г.) в давней борьбе Панина с Екатериной и Потемкиным верх взял всесильный временщик, и начался последний акт драмы.

Проамериканская политика России способствовала легализации возраставшего из года в год интереса к событиям за океаном и помогала выражению симпатий к борьбе американского народа за свободу и независимость. В книжных лавках свободно продавались многочисленные материалы об Америке. Можно было купить или выписать из Голландии либо Франции конституции всех тринадцати соединенных областей, сборники узаконений новой республики. Столичная газета «Санкт-петербургские ведомости» и особенно «Московские ведомости», редактировавшиеся Н. Новиковым, были заполнены подробной информацией о политических делах в Америке, о всех европейских событиях, связанных с войной за независимость. В журналах Новикова, особенно в «Прибавлениях

---

[1] Ф. Дана провел в Петербурге около двух лет. При сочувственном отношении передовых писателей к американской войне за независимость надо полагать, что представитель молодой республики искал возможности установить связи с писателями, подобно тому как это делал Франклин в Париже. Существуют глухие упоминания, что такие связи были установлены с Радищевым и Фонвизиным. Восстановить подлинную картину жизни Ф. Дана в Петербурге можно только по документам, хранящимся в Соединенных Штатах Америки. Профессор Индианского университета В. Эджертон любезно согласился помочь мне в разысканиях таких документов, за что я сердечно ему благодарен. К сожалению, поиски эти пока результатов не дали, но я надеюсь, что они будут продолжены и мы узнаем много интересного об отношениях представителя республики с передовыми деятелями русского общества.

к «Московским ведомостям», печатались большие статьи о политике Америки, об организациях правления в отдельных штатах, о крупных деятелях революции (например, о Вашингтоне). В 1783 году Радищев закончил оду «Вольность», которая приветствует американскую революцию, устанавливая связь между тем, что делалось за океаном, и дальнейшими судьбами России («Пример твой мету обнажил», — писал он).[1] В Петербурге появлялось все больше русских путешественников, побывавших во Франции и видевших беспримерное воодушевление французского общества в связи с американскими делами. Некоторые из вернувшихся считали своим долгом предупредить императрицу, что этот подъем, сочувствие восставшему народу, интерес к республике могут иметь печальное последствие, что русское правительство, поддерживая республику и легализируя общественные симпатии к Америке, подрубает тем самым сук, на котором оно сидит. «Ваше величество увидит, — писал, например, граф Иван Чернышов из Парижа, — интерес здешнего министерства к американским делам и то, сколько миллионов стоит ему культивирование этого брожения... Впрочем, все умы здесь разгорячены до предела, и нельзя предвидеть, чем кончится это возбуждение. Взрыв может быть страшен. Вольнодумство достигло апогея. Трудно определить толчок, который смог бы легко превратить это возбуждение в поток, которому ничто не сможет противостоять».[2] Подобное восприятие революционизирующей роли американских событий на французское общество свойственно и многим деятелям Франции. О том же писал, например, находившийся в заключении Мирабо: «Великий манифест Американских Соединенных Штатов здесь (в Париже. — *Г. М.*) приветствовался всеми с восторгом. Боже меня сохрани говорить что-нибудь против этого проявления чувств обществом... Но я спрашиваю: осмелились ли правительства, заключавшие с ними (американцами. — *Г. М.*) союз, прочесть этот манифест и, прочтя его, заглянуть в свою совесть. Я спрашиваю, есть ли в настоящее время хоть одно правительство в Европе...

---

[1] Подробнее об этом см. в моей книге: «Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века». М. — Л., Гослитиздат, 1951, стр. 370—416.

[2] Сборник Русского исторического общества, т. II, стр. 407.

которое на основании принципов Декларации конгресса не должно было бы лишиться своих прав».[1]

Екатерининское правительство отлично понимало, с каким огнем оно играет. И когда политика поддержки Америки уже почти привела к желаемому финалу, — а с 1781 года уже шли переговоры о формах и путях заключения соглашения о мире и признания тринадцати колоний самостоятельным государством, — Екатерина поспешила перехватить инициативу и не допустить нежелательных эксцессов. Признание республики в этих условиях еще более усилило бы общественное возбуждение. Оттого Екатерина, ссылаясь на дипломатические обстоятельства, отказалась вести переговоры с Ф. Дана. Вопрос об установлении дипломатических отношений с Соединенными Штатами был ею снят. Подобное решение сталкивало ее с Паниным. У него же были другие планы: в секретном докладе императрице, на основании которого проводилась им политика, он прямо указывал, что конечная цель поддержки Америки в ее борьбе за независимость — заключение выгодного для России торгового договора с новым государством. Ф. Дана и приехал с предложением заключить такой договор.

Было еще одно обстоятельство, обостризшее конфликт императрицы с Паниным. Политика вооруженного нейтралитета укрепляла авторитет канцлера и в России и за ее пределами. Екатерина же, искавшая повода еще раз перед Европой продемонстрировать просвещенный характер своего абсолютизма (поддержка республики в ее борьбе за свободу), не могла примириться с тем, что эта акция связывалась с именем Панина, а не с ее именем. Крессон в своей книге о Ф. Дана, опираясь на многочисленные документы, также свидетельствует, что конфликт Панина с императрицей и его опала связаны со спорами о приоритете в изобретении политики вооруженного нейтралитета. Екатерина, пишет Крессон, «очень ревниво относилась к созданию нового кодекса морских законов», и она выдавала «это мероприятие как исключительно ее собственное». Панин же «имел неосторожность предъявлять претензии на авторство этих проектов».[2] В итоге —

---

[1] Ф. Рокэн. Движение общественной мысли во Франции в XVIII веке (1715—1789). СПб., 1902, стр. 398.
[2] W. P. Cresson. Francis Dana, p. 107.

опала Панина: он оказывается вынужденным покинуть Коллегию иностранных дел. 27 апреля 1781 года Панин уезжает в отпуск на три месяца. По возвращении в Петербург 9 сентября его ждали два новых удара: он узнает, что его вице-канцлеру Екатерина приказала докладывать ей все дела Коллегии, по которым она сама будет принимать решения. Пребывание в должности канцлера в этих обстоятельствах становилось формальным. Через десять дней, 19 сентября, был нанесен второй удар — Павел вместе с женой был отправлен за границу, отправлен насильственно, несмотря на сопротивление Панина и самого наследника. За границей Павел провел четырнадцать месяцев.

Поражение в борьбе на этот раз оказалось катастрофическим — Панин тяжело заболел и, так и не поднявшись с постели, умер 31 марта 1783 года на руках Фонвизина и только что вернувшегося из-за границы Павла. Болезнь Панина завершила второй этап политической и государственной деятельности Фонвизина. Он это понимал и потому еще в 1782 году добился у Екатерины отставки — больше он служить не хотел. При Панине, действовавшем во многом самостоятельно, он на дипломатическом поприще мог делать много полезного своему отечеству. В новых условиях предстояло служить уже не делу, а лицам. Фонвизин же все силы решил посвятить литературе и воевать с Екатериной только оружием слова.

Весной 1783 года, уже будучи в отставке, Фонвизин из газет узнал, как успешно завершилась война Соединенных Штатов с Англией: в Париже был подписан договор о конце войны и признании независимости Соединенных Штатов. Его подписали министры Англии, Франции и США. Русский дипломат (посланник России в Париже) присутствовал при этом историческом акте как посредник, как представитель страны, сумевшей сказать свое веское слово в нужный момент. Из Петербурга к себе на родину, не осуществив намеченной задачи, выехал Ф. Дана.

5

Описывая деятельность Фонвизина на дипломатическом поприще, я несколько забежал вперед. Возвращаясь назад, следует остановиться на двух политических сочине-

ниях Фонвизина, написанных после возвращения из Франции (осень 1778 г.). В период с 1779 по 1782 год Фонвизин был занят напряженной работой: помимо дипломатических дел, отнимавших много времени, он плодотворно занимался литературным трудом. Уезжая во Францию, Фонвизин передал издателям «Похвальное слово Марку Аврелию». Из Парижа он привез новинку — одно из лучших политических сочинений древнекитайской литературы «Та-Гио, или Великая наука, заключающая в себе высокую китайскую философию», переведенное на французский язык аббатом П. М. Сибо.[1]

Как и в «Похвальном слове», в «Та-Гио» речь шла об идеальном монархе и его обязанностях перед подданными. «Внук Конфуция и некто из учеников славного сего китайского философа, последуя его учению, написали два небольших сочинения, из коих одно, предлагаемое здесь, названо „Та-Гио, или Великая наука“», — такими словами открывалась новая книга. Переводя «Та-Гио», Фонвизин не только стремился познакомить русского читателя с политическим сочинением древнего Китая. Его воодушевляли те же, что и при переводе «Похвального слова», политические задачи: заставить читателя сравнить правление Екатерины с поведением действительно идеально добродетельного монарха. Кроме того, «Великая наука» воспитывала читателя, «приобучала» его заниматься политикой, разъясняла ему, что императорская власть налагает на монарха огромные обязанности.

В «Та-Гио» мы встретим знакомые по другим сочинениям Фонвизина мысли просветителя: «Нет никакой разности между государем и последним подданным»; «Любовь подданных даст скиптры и короны. Их ненависть исторгает оные и преломляет»; «Добродетель есть непоколебимое основание престола».

Фонвизинский перевод разрушал ореол божественного происхождения императорской власти, приучал видеть в монархах «подобных» всем людям, которым свойственны также и пороки и слабости. Оттого высокое положение обязывает быть во всем примером для подданных: «Если

[1] Об истории издания на русском языке этого китайского сочинения см. заметку П. Н. Беркова в собрании сочинений Д. И. Фонвизина в двух томах (т. II, М. — Л., Гослитиздат, 1959, стр. 674—679), а также статью Л. В. Крестовой в сб. «XVIII век», т. 3.

дружелюбие и снисхождение всех сердца в монаршем доме соединяет, то подражание оные возрастит, умножит и во всех семьях навсегда распространит». Тут же следовало предупреждение: «Но если неправосудие и злодейство туда вступят, тогда погибнет все; тогда искра сия произведет пожар и совершит всеобщую погибель» (II, 237). Внушать своим соотечественникам, что «в царскую семью, в монарший дом» может вступить «злодейство и неправосудие», которые доведут отечество до гибели, — вот что прежде всего воодушевляло Фонвизина при переводе.

Касаясь важных и коренных вопросов политики — как достигнуть благосостояния граждан, — фонвизинский перевод «высокой китайской философии» поднимал русского читателя к сознательной политической жизни: «Почто заблуждать по кривым и мрачным стезям ложныя политики, когда премудрость являет путь толико ясный и толь прямо ведущий к достижению конца желаемого? Хощешь ли, чтоб блаженное изобилие оживляло целое тело государства и приносило теплоту здравия и чувство веселия во все оного члены?» За этим и подобными ему вопросами шли ответы. И они оказывались чрезвычайно современными. «Умножь число граждан полезных, коих попечительные промыслы создали б и производили богатства; уменьши число жителей ленивых, коих опасное тунеядство усугубляет иждивения и расточения; да непрерывность работ умножит государственные пособия, да распространит оныя мудрость достоинства. Истинная слава государя состоит в том, чтобы делать богатыми, а не самому быть таковым: он хощет сокровищ, чтобы только их рассыпать».

Из путешествия Фонвизин вернулся осенью 1778 года. Через несколько месяцев перевод «Та-Гио» был уже подготовлен для печати. Опубликован же он в журнале «Академические известия» на 1779 год (2-я часть). В научной литературе высказывалось мнение, что будто бы во второй половине 70-х годов, после подавления пугачевского восстания, Фонвизин умолкает и отходит от общественно-политической деятельности. Факты свидетельствуют об обратном. Именно в эти годы Фонвизин чрезвычайно активен. В 1777 году он издал свой перевод «Похвального слова Марку Аврелию»; в 1777—1778 годах писал Петру Панину и сестре письма из Франции с резкой оценкой

политического положения монархии Людовика XVI; в 1779 году напечатал «Та-Гио». Но этим не исчерпывается литературная деятельность Фонвизина. Сразу по возвращении домой он приступил вместе с братьями Паниными к большому труду — составлению проекта фундаментальных законов.

6

Проиграв Екатерине сражение в 1772—1774 годах, ни Панин, ни Фонвизин не потеряли надежды увидеть Павла на русском престоле. Оставаясь наследником матери, он должен был занять законно принадлежавшее ему место сразу после смерти Екатерины. Следовало ждать. Но и терять время было нельзя — пока Павел оставался наследником, его необходимо было подготовить к будущему царствованию. Введением «фундаментальных законов» и должно было ознаменоваться его вступление на престол. Панины и Фонвизин и принялись подготовлять для России эти фундаментальные законы.

Найденные в Военно-историческом архиве бумаги Павла свидетельствуют, что уже в 70-х годах он понимал недостаточность частных реформ и пришел к мысли о необходимости выработать фундаментальные законы. В записке под названием «Мнение» Павел писал: «Спокойствие внутреннее зависит от спокойствия каждого человека, составляющего общество; чтоб каждый был спокоен, то должно, чтоб как его собственные, так и других, подобных ему, страсти были б обузданы. Чем их обуздать иным, не иначе как законами. Они общая узда; и так должно о сем фундаменте спокойствия общего подумать. Здесь опять воспрещаю себе больше о сем говорить, ибо сие рассуждение довело б меня до того пункта, от которого твердость и непоколебимость законов зависит».[1]

В 1778 году между Павлом и Петром Паниным, жившим под Москвой, шла оживленная переписка, в которой обсуждались важные политические вопросы. Указанное выше «Мнение» было послано Петру Панину. В письме от 14 сентября 1778 года Павел писал: «Свобода, конечно, первое сокровище всякого человека, но должна быть управляема крепким понятием оной, которое не иным

---

[1] ЦГВИА, ф. ВУА, д. № 202, л. 54—55.

приобретается, как воспитанием, какое не может быть иным управляемо, чтоб служило к добру, как фундаментальными законами, но как сего последнего нет, следовательно и воспитания порядочного быть не может».[1]

То, о чем Павел писал Петру Панину, жившему под Москвой, несомненно обсуждалось с Никитой Паниным, жившим в Петербурге. Вечная боязнь Павла, его постоянное стремление «запретить себе говорить о самом главном» — о фундаментальных законах — и понуждали Паниных и Фонвизина взять труд составления этих законов на себя. Фонвизин вернулся из-за границы осенью 1778 года. После его приезда и началась, видимо, работа. Любопытно, что к этому же времени относится и присылка Павлом различных своих «мнений» к Петру Панину. В письме от 11 октября 1778 года он писал: «При сем посылаю вам одну часть моих мнений, которые мною самим сделаны еще в 1774 году».[2] К Петру Панину посылались главным образом мнения по вопросам военных реформ. С Никитой Паниным обсуждались вопросы политические. Знал об этих разговорах и Фонвизин. Таким образом, подготавливая проект фундаментальных законов, Фонвизин реально представлял себе тогдашний образ мыслей воспитанника Панина и потому верил, что труд его не напрасен, что он может послужить благу народа.

Политический документ, подготовленный Паниным и Фонвизиным, должен был состоять из двух частей: вступление (оно дошло до нас под заглавием «Рассуждение о непременных государственных законах») и собственно проект основных законов государства. После совместного обсуждения принципиальных вопросов было приступлено к подготовке документа. Вступление написал Фонвизин. Текст фундаментальных законов при жизни Н. Панина не был выработан. Позже Петр Панин взял на себя труд составить это «начертание» основных законов, которое вместе с фонвизинским «Рассуждением» было передано Павлу.[3]

«Рассуждение о непременных государственных законах» — блистательно написанное сочинение, свод полити-

---

[1] ЦГВИА, ф. ВУА, д. № 202, л. 16.

[2] Там же, л. 18.

[3] См. об этом подробнее в кн. К. В. Пигарева «Творчество Фонвизина», стр. 132—150.

ческих идеалов Фонвизина, замечательный документ русской общественной мысли. Его писал патриот, в чьем сердце кипели негодование и ненависть к разорителям отечества, к деспотическим порядкам екатерининского правления, к ее политике фаворитизма, унижающей и оскорбляющей достоинство человека и престиж могучего государства. В нем с полной откровенностью раскрыл себя большой и мужественный мыслитель, не щадивший жизни своей для осуществления долго вынашиваемых планов введения в России фундаментальных законов, которые бы сделали свободным и счастливым его народ. Оттого в «Рассуждении» слились в единое целое начала лирическое и политическое, страстное обличение русского самовластья и конкретные деловые предложения о будущем государственном устройстве России, принадлежащие умному политику.

Усвоив передовые социологические учения той эпохи, Фонвизин ставит в «Рассуждении» вопрос о взаимоотношениях народа, нации и государя и решает его с позиции теории договорного происхождения власти: «Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как их наблюдать перестают. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ее государем; и если она без государя существовать может, а без нее государь не может, то очевидно, что и первобытная власть была в ее руках и что при установлении государя не о том дело было, чем он нацию пожалует, а какою властею она его облекает» (II, 259).

С высот теории Фонвизин обращается к современным делам, к реальной практике русского самодержавия. Как же исполняет свои обязанности перед нацией царствующая ныне императрица? Ведь «нация, жертвуя частию естественной своей вольности», вручила свое благо попечению императрицы. А Екатерина не исполнила главной должности монарха — не ввела «в государстве своем правила непременные, основанные на благе общем и которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным государем». А без «непременных государственных законов» нет гарантии, что сама Екатерина и поставленные ею у власти люди будут заботиться о благе народа, что сама

императрица не преступит правила и не сделает свое правление «самовластным», «тираническим».

Так оно и получилось. Подданные оказались «порабощены государю, а государь — своему недостойному *любимцу*». Смело обличает Фонвизин страшную язву политического правления Екатерины, источник неисчислимых бедствий — беспримерный по масштабам фаворитизм. «Любимец» никогда не бывает «достойным мужем, оказавшим отечеству истинные заслуги». Название «любимца» «принадлежит обыкновенно человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю». Возможность появления фаворитов, наделение их безмерной властью может быть только в деспотическом правлении, каким является правление Екатерины. Фонвизин рисует картину бедственного состояния отечества: «В таком развращенном положении злоупотребление самовластия восходит до невероятности, и уже перестает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются»... «Никто не намерен заслуживать, всякий ищет выслуживать...» «Головы занимаются одним примышлением средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет» (II, 256—257). «Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединились бы узлом взаимных прав и должностей» (II, 255).

Нельзя изданием частных узаконений восполнить отсутствие жизненно необходимых «фундаментальных законов», которые «выше себя ничего не терпят».[1] Вот

---

[1] Известно, что фонвизинское «Рассуждение», попав в руки его наследников-племянников, из которых старший, генерал-лейтенант М. А. Фонвизин, был членом Северного общества, а младший, полковник И. А. Фонвизин, — членом Союза Благоденствия, — стало распространяться среди декабристов. М. А. Фонвизин передал копию «Рассуждения» Н. М. Муравьеву, который его несколько переделал, приспособив содержание к царствованию Александра I. В таком новом виде «Рассуждение» разошлось в многочисленных списках, его читали многие декабристы и люди, близкие к ним. К. В. Пигарев справедливо полагает, что «Рассуждение» было известно и Пушкину. Сопоставляя заметки

почему вся показная бурная законодательная деятельность Екатерины не принесла народу никакой пользы, не изменила судьбы нации, находящейся в «гибельном положении». Монарх, подобный Екатерине, «тщетно пишет... новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство унижено, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское» (II, 258).

Пушкина по русской истории XVIII века, писанные на юге во время ссылки, он приходит к выводу, что на них оказало влияние «Рассуждение» Фонвизина (см. «Творчество Фонвизина», стр. 149). Из Петербурга Пушкин уехал весной 1820 года, следовательно, он мог познакомиться с «Рассуждением» в пору своей жизни в столице, после выхода из лицея. В фонвизинском сочинении излагалось просветительское учение об отношении подданных и монарха, о значении основного закона в жизни государства. Вот почему можно предположить, что «Рассуждение» оказало некоторое влияние на убеждения Пушкина в послелицейский период. Следы этого влияния мы находим в оде «Вольность». Пушкинисты указывают, что, сочиняя свою оду, поэт знал распространявшуюся в списках революционную оду Радищева «Вольность». Видимо, знал он и фонвизинское «Рассуждение». Во всяком случае, сравнительное изучение этих сочинений позволяет сделать вывод, что поэт не только использует общую просветительскую идею о законе, который якобы стоит над монархом, но и отдельные фонвизинские темы и формулировки.

В «Рассуждении» Фонвизина дана яркая, темпераментная, эмоционально сгущенная оценка самовластного правления. Начинается она со свободного обращения: «Теперь представим себе государство...» Фонвизин показал, что русское самодержавие основывается не «на праве», а «на власти», и потому всюду видны «тюрьмы, железы, топоры», всюду попираются законы («нет никакого твердого законоположения», «вся нация находится в гибельном положении»). Пушкин тоже начинает с оценки общего положения России:

Увы! куда ни брошу взор, —
Везде мечи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть.

В «Рассуждении» многократно говорится о том, что «политической вольности», «естественной вольности» нация может достичь только при условии, если «гражданин не будет страшиться злоупотребления власти», если он не будет «игралищем насильств и прихотей». А это осуществимо только в государстве, где имеются «основные», «фундаментальные» законы, где «править

Обличение екатерининского царствования завершается словами, исполненными любви к родине и гнева к властям, которые привели могучее государство и великий народ на край гибели.

«Теперь представим себе государство, объемлющее пространство, какового ни одно на всем известном земном шаре не объемлет и которого по мере его обширности нет в свете малолюднее; государство, раздробленное с лишком на тридцать больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди

долженствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят». У Пушкина читаем:

> Лишь там над царскою главой
> Народов не легло страданье,
> Где крепко с вольностью святой
> Законов мощных сочетанье.

Фонвизин указывал, что «нация, жертвуя частию естественной своей вольности, вручила свое благо» государю, что «верховная власть вверяется государю для единого блага подданных». «Государь... не может равным образом ознаменовывать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как поставя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем и которых не мог бы нарушить сам, не перестав быть достойным государем». У Пушкина:

> Владыки! Вам венец и трон
> Дает закон, а не природа;
> Стоите выше вы народа,
> Но вечный выше вас закон.

Фонвизину чужда идея народной революции. Вместе с тем он считает, что преступления самовластного правления дают народу право вернуть себе вольность. «Тиран, где бы он ни был, есть тиран, и право народа спасать бытие свое пребывает вечно и везде непоколебимо». И в другом месте: «Власть, производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей... В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное». Пушкину чужда радищевская идея народной революции, изложенная им в оде «Вольность». Но фонвизинская мысль ему близка, и он заканчивает оду предупреждением и угрозой царям:

> И днесь учитесь, о цари:
> Ни наказанья, ни награды,
> Ни кров темниц, ни алтари
> Не верные для вас ограды.

И последнее замечание. Пушкин всегда остро ощущал себя продолжателем национальной традиции. То же самое видим мы

большею частию по нужде, в другом большею частию по прихоти; государство, многочисленным и храбрым своим воинством страшное и которого положение таково, что потерянием одной баталии может иногда бытие его вовсе истребиться; государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели; государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царския особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где никоторое не имеет никаких преимуществ и одно от другого пустым только именем различается; государство, движимое вседневными и часто друг другу противуречащими указами, но не имеющее никакого твердого законоположения; государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьею над человеком другого состояния, где каждый, следственно, может быть завсегда или тиран, или жертва; государство, в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборонять отечество купно с государем и корпусом своим представлять нацию, руководствуемое одною честию, *дворянство*, уже именем только существует и продается всякому подлецу, ограбившему отечество; где знатность, сия единственная цель благородныя души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавером, поглотившим всю пищу истинного любочестия; государство не деспотическое: ибо нация никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление и всегда имела трибуналы гражданские и

и в оде «Вольность». Ода продолжала оценку русского самовластия, начатую Фонвизиным. Фонвизин оценивал самовластие Екатерины, Пушкин — Павла, и предупреждал Александра. Оттого, видимо, и совпадение в использовании термина «самовластие». Радищев в оде «Вольность» говорит о царе, о самодержце, называет его злодеем. Фонвизин же устойчиво именует русское самодержавие самовластием, грозно и смело поражая «порок на троне». Пушкин написал оду с целью «на тронах поразить порок» и русского царя называет «самовластительным злодеем», как бы соединяя фонвизинское и радищевское выражения в едином агитационно-выразительном термине.

уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое: ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия: ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаяся во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства» (II, 265—266).

Каковы же итоги фонвизинского исследования политического режима русского самодержавия? К чему приходит он в результате реалистической оценки екатерининского правления? Он оправдывает действия, направленные на перемену «гибельного для нации» правления. Исполненный чувства патриотической гордости и любви к свободе, он заявляет: «Всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей, коих несчастия времян попустили, уступая силе, унизить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает... Или она теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у ней свободы» (II, 259).

За этими смело сказанными словами скрыт трагизм Фонвизина-политика, исторически неразрешимые противоречия просветительской идеологии. Как видим, теоретически Фонвизин отстаивал право народа «разрывать свои оковы», восстанавливать отнятую свободу. Он даже признавал, что народ, разрывающий оковы, «умно делает». Но дворянская ограниченность мешала преодолеть страх перед революционной энергией непросвещенного, «пресмыкающегося в мраке глубочайшего невежества» народа. Просветительское учение обязывало все надежды возлагать на волю просвещенного монарха. Так, теоретически допуская право народа самому думать о своей судьбе, практически Фонвизин это право передоверял неким избранным людям, которые, действуя от имени народа и во имя народа, смогут покончить с деспотической властью, с рабством и беззаконием. В 80-х годах Радищев преодолеет эту просветительскую и дворянскую ограниченность и выступит с теорией народной революции, как единственного пути к свободе. Позже, в 10-х и 20-х годах

XIX века, станут действовать дворянские революционеры. Они не примут радищевской идеи народной революции и будут действовать так, как предлагал Фонвизин, — добывать свободу, бороться с деспотическим самодержавием от имени народа, во имя народа, но без народа. Самоотверженная борьба декабристов кончится катастрофой.

Поскольку при жизни Никиты Панина «фундаментальные законы» написаны не были и эту работу позднее единолично выполнил Петр Панин, мы не можем судить о политических идеалах Фонвизина на основании документа, подготовленного П. Паниным. Но зато у нас есть «Рассуждение о непременных государственных законах», в котором дана не только критика екатерининского самовластия. Работая над «Рассуждением», Фонвизин счел себя обязанным определить в общих чертах существо тех «непременных законов», без которых народ не сможет жить свободно и счастливо. Каковы же эти первые «начертания», какова фонвизинская программа социально-политических преобразований в России?

Политический строй России — монархия. Но монархия, ограниченная фундаментальными законами. В связи с этим, естественно, возникал вопрос — кто будет осуществлять контроль за действиями монарха, чтобы его власть не выходила за пределы основных законов и не превращалась в самовластие. Этот вопрос оставлен Фонвизиным без ответа. Можно полагать, что причиной тому были тактические соображения. «Рассуждение» адресовано было Павлу. Вряд ли стоило запугивать его раньше времени требованиями ограничить императорскую власть.

Следующим важным моментом будущих фундаментальных законов является обеспечение «политической вольности нации». А чтобы «нация имела сию вольность, надлежит правлению быть так устроену, чтоб гражданин не мог страшиться злоупотребления власти; чтоб никто не мог быть игралищем насильств и прихотей... чтоб в лишении имения, чести и жизни одного дан был отчет всем и чтоб, следственно, всякий беспрепятственно пользоваться мог своим умением и преимуществами своего состояния».

Фонвизин видел в России три «состояния»: дворян, крестьян и «средний чин». Вместе они составляли нацию. Крестьян и «средний чин» он иногда, объединяя,

называл «народом», которому противостояло дворянство. Подобное понимание термина «народ» у Фонвизина устойчивое. Он пишет, например: «новые законы его (монарха. — *Г. М.*) будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство унижено». Или: «народ, пресмыкающийся во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства». Говоря о политической вольности, Фонвизин требует ее для *всей нации,* то есть не только для дворян, но и для крестьян и для «среднего чина».

При этом политическая вольность не сводится только к равному подчинению законам. Фонвизин, опираясь на современные ему законодательные системы, выдвигает тезис о неразрывной связи *вольности* с *правом собственности.* Что есть право собственности? «Оно есть, — отвечает Фонвизин, — не что иное, как право пользоваться; но без вольности пользоваться, что оно значит? Равно и вольность сия не может существовать без права, ибо тогда не имела бы она никакой цели». Фонвизин разъясняет: «Очевидно, что нельзя никак разрушить право собственности, не нарушая вольности». «Вольность и собственность» есть «два главных пункта», два «преимущества», которые должны составлять душу тех «священных законов», которые, пишет Фонвизин, «разумеем мы под именем законов фундаментальных».

Требование права собственности для каждого человека, к какому бы состоянию он ни принадлежал, несомненно носит антифеодальный характер. Право собственности на глазах Фонвизина защищалось в революционных битвах. Недавно это право обрел американский народ, записавший свое право и в «Декларации» и в конституциях штатов.[1] В «Декларации прав» штата Виргиния, которая была затем положена в основание «Декларации независимости» молодой республики, были торжественно провозглашены свобода каждого человека и его право владеть собственностью: «Все люди от природы одинаково свободны и независимы и имеют известные прирожденные права... Таково право на жизнь и свободу с обеспечением

---

[1] Заслуживает внимания факт, указанный В. П. Семенниковым, что в собрании бумаг Паниных он обнаружил рукописный экземпляр постановлений американских колоний (см.: В. П. Семенников. Радищев. Пг., 1923, стр 10).

возможности приобретать и владеть собственностью, домогаться и обладать счастьем и безопасностью».[1]

Стоит вспомнить в этой связи, что поставленная Вольным экономическим обществом конкурсная задача на решение вопроса: имеют ли право крестьяне владеть собственностью, вызвала протест крепостников. С другой стороны, заслуживает внимания позиция Радищева в данном вопросе. По возвращении из ссылки и назначении Александром I в Комиссию по составлению законов Радищев подготовил «Проект гражданского уложения». Вырабатывая в тех условиях реалистическую программу-минимум, Радищев требовал введения равенства всех граждан перед законом, отстаивал право каждого владеть собственностью. Он писал: «На вопрос, кто может приобретать собственность, ответ естственный будет тот: что всякий, принадлежащий к обществу, может собственность приобретать сам или через другого по той единственно причине, что он к обществу принадлежит и есть его член».[2]

Таким образом, впервые высказанная Фонвизиным еще в середине 60-х годов мысль о необходимости освобождения крестьян, нашла свое законченное выражение в «Рассуждении о непременных государственных законах», в требовании положить в основание законов политическую *вольность всей нации* и право *каждого члена общества* владеть *собственностью.*

Да, Фонвизин не верил в возможность немедленного освобождения крестьян. Но он не сидел сложа руки и делал все как гражданин, чтобы приблизить желанное время свободы. Им было подготовлено основание будущих фундаментальных законов. Кто превратит мысли и пожелания его «Рассуждения» в закон? Поскольку, казалось ему, это мог сделать Павел в случае прихода к власти — значит, следовало готовить проект фундаментальных законов для него. Труд его не мог пропасть, он должен был сослужить службу его отечеству.

Фонвизин видел духовными очами далекое будущее. И когда писал свое «Рассуждение», то был воодушевлен

[1] П. Г. Мижуев. Великий раскол англо-саксонской расы. Американская революция. СПб., 1901, стр. 100—101. См. также: Documents of American History». New York, 1935, p. 103.

[2] А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. 3. М.—Л., изд-во АН СССР, 1952, стр. 204.

мыслью о процветании нации, о благе и счастье народа, который наконец перестанет быть безгласным, вырвется из «мрака глубочайшего невежества» и освободится от «бремени жестокого рабства». Изучение этого документа, в котором с такой страстью и силой запечатлелась личность автора, еще и еще раз убеждает, что Пушкин, несомненно читавший его, имел все основания назвать замечательного русского просветителя и крупнейшего писателя XVIII века «другом свободы».

Определение Фонвизина «другом свободы» вырастало у Пушкина из исторически точного понимания его политической позиции. В этой связи обращает на себя внимание свидетельство Шарля Массона — иностранца, состоявшего с 1784 года на русской службе. Связанный с либерально настроенными кругами дворянства, он проявлял интерес к той борьбе, которая велась в России против Екатерины. Явно передавая слышанные им разговоры, он записал в своих мемуарах о том, какой могла быть в тех исторических условиях революция в России: «Пусть самодержец дрожит и не доводит до крайности разум, честь и благоразумие! Требуемое им преклонение может ускорить более, чем он предполагает, катастрофу при российском дворе. Это еще не будет французская революция; но это будет, может быть, единственная, для которой Россия созрела: революция, совершаемая более просвещенным дворянством. Надо сознаться, *друг свободы* не может желать иной революции в России...» [1]

Пушкин читал «Рассуждение о непременных государственных законах», знал, что, по Фонвизину, именно просвещенные дворяне должны были взять на себя бремя политической борьбы за свободу всей нации. Известны были ему и мемуары Ш. Массона, которыми он пользовался в 1822 году при работе над своей статьей «Заметки по русской истории XVIII века» (заглавие принадлежит редакторам советских изданий сочинений Пушкина). В следующем, 1823 году писалась первая глава «Евгения Онегина», и Пушкин, вооруженный фактами истории, называет Фонвизина тем именем, каким звали в XVIII веке людей, которые, учитывая условия России, желали дворянской революции, — «другом свободы».

---

[1] «Mémoires secrets sur la Russie», t. II. Londres, 1802, p. 15.

О

Древних римских обычаях.

[illegible]

Автографы двух неоконченных произведений Д. И. Фонвизина — «О древних римских обычаях» и «Иппократ и Демокрит» (см. на об.), видимо, относящиеся к последнему периоду жизни, расшифровать которые полностью, к сожалению, не удалось.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«ЗАПИСКИ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»

1

Путешествие Фонвизина во Францию продолжалось с сентября 1777 по ноябрь 1778 года. В течение тринадцати — четырнадцати месяцев писатель, как всегда, вел интенсивную переписку с сестрой Федосьей Ивановной, с Я. И. Булгаковым, с Никитой и Петром Паниными. Особый характер носят письма, адресованные Петру Панину, — это внутренне цельное, с художественным блеском написанное литературное произведение. В нем высказан умный и трезвый взгляд русского писателя на Францию, ее нравы, обычаи, социальный и государственный строй, философию, театр, культуру и литературу. Сравнивая письма к Панину с письмами к другим лицам, убеждаешься, что когда Фонвизин писал эти письма, он рассчитывал на публикацию их по возвращении на родину.

Но при жизни Фонвизина его письма к Петру Панину напечатаны не были. Новые материалы о подготовке Фонвизиным издания собрания своих сочинений в 1788 году, и прежде всего — обнаруженный проспект не увидевшего света пятитомного собрания сочинений, документально подтверждают это предположение. В перечне произведений, которые собирался писатель включить в собрание сочинений, мы находим «Записки первого путешествия». «Первым путешествием» и было посещение Франции, «Записками» — письма Петру Панину, литературно обработанные, как мы дальше увидим, специально для печати. Заглавие — «Записки *первого* путешествия», данное

в проспекте в 1788 году, видимо свидетельствует о том, что Фонвизин собирался издать в последующем «Записки второго путешествия». «Второе путешествие» происходило в 1784—1785 годах, когда Фонвизин посетил Германию и Италию. Во время «второго путешествия» Фонвизин не просто писал письма сестре и Петру Панину, как обычно (многие из них до нас не дошли), но и вел специальный «журнал», посвященный искусству Германии и Италии (журнал до сих пор не разыскан).

Собрание сочинений напечатать не удалось. Не были опубликованы и «Записки первого путешествия». Но приготовленный текст получил распространение. Иван Пнин, связавшись с родственниками Фонвизина или с издателем П. Богдановичем, которому писатель оставил все рукописи, специально подготовленные для собрания сочинений, в 1798 году в своем «Санкт-петербургском журнале» напечатал отрывок из «Чистосердечного признания в делах моих и помышлениях» и два письма Петру Панину — из Парижа и из Ахена. В 1806 году в «Вестнике Европы» было уже напечатано шесть писем, адресованных Петру Панину (два уже известных по «Санкт-петербургскому журналу» и четыре новых). Через одиннадцать лет в «Образцовых сочинениях и переводах» (СПб., 1817, ч. 6), в разделе «Слог писем», были напечатаны по тексту «Вестника Европы» (изобилующему ошибками и пропусками) три последних письма Фонвизина Петру Панину (два из Парижа и последнее из Ахена), под тем же названием: «Письма из Франции к одному вельможе в Москву». Помимо того, «Записки» распространялись в списках. В Рукописном отделе Института русской литературы в Ленинграде хранится отличная писарская копия этих «Записок» под заглавием: «Письма к генерал-аншефу графу Петру Ивановичу Панину от канцелярии советника Фонвизина». Копия сделана в 800-х годах (бумага с водяным знаком 1804).[1]

Сколько же писем должно было войти в «Записки первого путешествия», подготовленные Фонвизиным для печати? Ответ на этот вопрос можно найти в тексте самих писем. Ощущая внутреннюю связь между письмами, Фонвизин считал нужным напоминать адресату (а следова-

---

[1] Институт русской литературы АН СССР. Рукописный отдел, Р. II, оп. I, № 465.

тельно, и читателю) то, что он сообщал в предыдущих. Из этих напоминаний, а также из сличения писем к Петру Панину с письмами к Федосье Ивановне, писавшимися параллельно, можно довольно точно установить число писем, входивших в «Записки». Первая продолжительная остановка во время путешествия была сделана в Варшаве. В письмах к родным из Варшавы Фонвизин описал путь от Петербурга до столицы Польши. Видимо, первое письмо к Петру Панину также писалось в Варшаве. Из письма, написанного в Монпелье 22 ноября 1778 года, мы узнаем, что Фонвизин, сделав остановку в Дрездене, писал Панину оттуда «последнее письмо». Из Монпелье было послано четыре письма, из Парижа — три, и последнее, с изложением окончательных выводов о Франции и Париже, — из Ахена. Судя по концу письма, оно было последним, ибо Фонвизин извещал Петра Панина, что через месяц — полтора они увидятся и он уже «изустно» сообщит все то, о чем не рассказал в письме. Итак, видимо, в «Записках» должно было быть одно письмо из Варшавы, одно из Дрездена, четыре из Монпелье, три из Парижа и одно из Ахена — всего десять писем. «Вестник Европы», а затем издатели собрания сочинений Фонвизина П. Бекетов и П. Ефремов напечатали шесть писем. В последнее время удалось обнаружить ещё два письма — из Монпелье и из Парижа (II, 464—466, 478—479). Таким образом, мы сейчас располагаем «Записками первого путешествия» почти в полном составе. Во всяком случае, французские впечатления Фонвизина мы теперь знаем во всей полноте.

Это обязывает нас ввести в историю литературы XVIII века крупное художественное произведение Фонвизина — «Записки первого путешествия», сыгравшее свою роль в развитии русской прозы. Вот почему совершенно не случаен факт появления «Записок» в 1817 году уже в «Образцовых сочинениях», в ряду с другими, часто прославленными произведениями подобного жанра (например, «Письмами русского путешественника» Карамзина).

История появления «Записок» в печати представляет значительный интерес. Опубликование двух писем в 1798 году в «Санкт-петербургском журнале» не было случайностью. Из всех писем Фонвизина к Панину издатели И. Пнин и А. Бестужев выбрали два последних — из

Парижа и Ахена, — в которых содержалась развернутая характеристика предреволюционного Парижа и Франции. Несомненно, публикацией этих двух писем издатели стремились показать своим читателям обстоятельства политической и социальной жизни страны, в которой через десять лет вспыхнула революция. Письма Фонвизина, беспощадно характеризуя прогнивший монархический строй Франции, давали богатую пищу читателям, напряженно следившим в 90-х годах за событиями в революционной стране.

Публикация писем Фонвизина была и своеобразным ответом просветителей на какие-то ранее вышедшие письма о Франции. Письма эти принадлежали Карамзину. В 1791—1792 годах в «Московском журнале» он начал печатать «Письма русского путешественника». Последние письма, напечатанные в 1792 году, посвящались Франции — два из Лиона, одно из Фонтенбло и одно из Парижа (от 27 марта 1790 г.). Естественным был интерес русских читателей к письмам своего соотечественника — свидетеля революции. Но в первых письмах Карамзин писал довольно глухо о народе, «который сделался во Франции страшным деспотом». Видимо, следовало ждать подробностей в письмах из Парижа, хотя в первом парижском письме сообщалось лишь о поразивших Карамзина богатых магазинах и шумных улицах столицы. («Мы пришли в Пале-Рояль — огромное здание, которое принадлежит герцогу Орлеанскому... и которое называется столицею Парижа... в бесконечных лавках сияют все сокровища света... Мы вышли из галереи и сели отдыхать в каштановой аллее... Из другой аллеи неслись тихие, сладостные звуки нежной музыки... *Нимфы радости* подходили к нам одна за другой».[1]) Новых писем Карамзина из Парижа больше в печати не появлялось. Два года Карамзин молчал и только в 1794 году в «Аглае» напечатал продолжение. Но... как же были разочарованы читатели! Вместо описаний Парижа Карамзин предложил им «Путешествие в Лондон». В середине 1795 года во второй части «Аглаи» наконец-то появились (правда, только в отрывках) долгожданные парижские письма, в которых Карамзин рассказывал не о том, что интересовало читателя, а о парижской опере, об актерах, об аристократических салонах и т. д.

---

[1] «Московский журнал». СПб., 1792, ч. III, стр. 328—330.

В 1797 году «Письма русского путешественника» вышли отдельным изданием в составе четырех частей. В книге были уже известные читателю письма из Лиона, из Фонтенбло и отрывки из двух писем из Парижа. Письма оканчивались описанием посещения придворной церкви, где Карамзин видел короля и королеву, и Тюильри, где он видел дофина. Наследник очень понравился русскому путешественнику. «Ангел красоты и невинности!.. — писал Карамзин. — Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп, все с радостию окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. Народ любит еще кровь царскую».[1] Такой сентенцией заканчивал Карамзин свой разговор с читателем о французских впечатлениях.

В следующем, 1798 году Пнин и Бестужев и решили дать два глубоко содержательных письма Фонвизина. Вольно или невольно, но фонвизинские письма тем самым как-то *противопоставлялись* письмам Карамзина. Перед лицом общественности столкнулись просветительская, мужественная и беспощадная оценка культуры и социальных порядков монархии и робкие, подчас наивные суждения Карамзина о революции, призванные не столько объяснить происходившие на его глазах события, сколько затушевать, затемнить их смысл и умалить их значение.

Чем объяснить подобную позицию Карамзина? Его мнение о французской революции выраженное в статье того же 1797 года и напечатанное в «Spectateur du Nord», свидетельствует о прозорливости и политической зоркости молодого писателя. В. В. Сиповский полагает, что подобное освещение французской революции в 1795—1797 годах в «Письмах русского путешественника», возможно, было следствием влияния цензуры или автоцензуры. Но если предположить, что Карамзин боялся вмешательства цензуры, то возникает вопрос: почему же могли появиться письма Фонвизина, с такой прямотой осуждавшие дворянство, духовенство и государственный строй Франции в канун революции? Думаю, может быть только одно объяснение: Фонвизин был лицом, которого хорошо знал и уважал Павел. Письма писались П. И. Панину,

---

[1] Подробнее об истории текста «Писем русского путешественника» см. в кн. В. В. Сиповского «Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника“». СПб., 1899.

человеку, перед военным авторитетом которого преклонялся царствующий монарх. Не исключено, что фонвизинские письма из Франции в свое время были известны и Павлу. Об отношении Павла к Панину и Фонвизину было всем хорошо известно. Видимо, этим и воспользовались издатели «Санкт-петербургского журнала» и напечатали фонвизинские письма из Франции. В 1801 году появится пятая часть «Писем русского путешественника» Карамзина, в которой писатель даст уже развернутую характеристику революционного Парижа. Эти письма Карамзина писались уже после публикации заключительной части фонвизинских «Записок». В них Карамзин давал отличную от просветителя характеристику общественных, политических и социальных обстоятельств жизни Франции.

2

Печатание «Писем русского путешественника» затянулось на десять лет (1791—1801). Появление «Писем» Карамзина вызвало к жизни жанр сентиментальных «путешествий». У Карамзина нашлись ученики, продолжатели и эпигоны. Историками русской литературы довольно тщательно изучены сентиментальные «путешествия», занявшие в прозе 800-х годов господствующее место.

В то же время жанр «путешествий» возник в России совершенно независимо от родоначальника «Сентиментального путешествия» Л. Стерна. «Записки» Фонвизина примыкают к иному, так называемому просветительскому типу «путешествий». Родоначальником подобного типа «путешествий» в России следует признать Новикова, напечатавшего в «Живописце» (1772) «Отрывок путешествия» в деревню Разоренную. «Записки» Фонвизина продолжали и углубляли эту традицию. В 1783 году Фонвизин начал публикацию нового произведения того же жанра — «Повествование мнимого глухого и немого». В 1790 году появилось «Путешествие из Петербурга в Москву». При написании своей книги Радищев уже сознательно опирался на эту ясно выраженную традицию просветительских «путешествий». В 800—10-х годах XIX столетия в жанре просветительского «путешествия» выступят Савелий Ферельцт («Путешествие критики»), Ф. Глинка («Письма русского офицера» в двух изданиях, посвящен-

ные войне 1805—1807 гг. и Отечественной войне), К. Батюшков («Путешествие в Финляндию»).

Просветительские «путешествия» 800-х годов совершенно лишены черт эпигонства. Написанные в определенной традиции талантливыми писателями, они, выражая потребности своего времени, явились заметным этапом в развитии русской прозы. Но, как ни странно, именно они-то и не были до сих пор предметом специального изучения. О новиковском «Отрывке путешествия» за последнее время больше пишут в плане атрибуции — кто может быть его автором. «Записки» Фонвизина совсем не изучались.[1] О принадлежности Фонвизину «Повествования мнимого глухого и немого» нам стало известно только в самое последнее время. Всего несколько лет тому назад установлен автор «Путешествия критики». Проза Батюшкова находится в полном пренебрежении. Недостаточно выяснены роль и место в литературе «Писем русского офицера» Ф. Глинки. «Путешествие из Петербурга в Москву» оказывается потому вне традиции. Да и о нем чаще и охотнее всего говорят как о политическом трактате прежде всего.

«Записки первого путешествия» Фонвизина, несмотря на то, что они писались во время самого путешествия, поражают глубиной и внутренней цельностью. Рассказывая о многочисленных и разнообразных личных впечатлениях, делясь своими суждениями об увиденном, Фонвизин никогда не оказывался во власти случайных фактов. Читая «Записки», чувствуешь, что и план и общее движение идеи писатель ясно различал.

Принимаясь писать «Записки», Фонвизин вовсе не собирался ограничиться составлением «журнала» о том, что видел собственными глазами и что перечувствовал в пути. Не готовил он и литературного путеводителя по любопытным для путешественника местам. Писатель ехал в страну, которая в силу различных обстоятельств играла в XVIII веке активную роль в жизни многих народов. Франция была идейным центром, где развернула свою беспримерную деятельность «республика философов», где

---

[1] Правда, П. А. Вяземский в своей книге «Фон-Визин», рассматривая частные письма писателя к Петру Панину, устанавливал источники, какими пользовался Фонвизин при описании нравов французского общества.

создавались новые учения о человеке, о природе, об обществе, о государстве, где литература оказала небывалое по силе воздействие на общество, где рождался новый, реформированный Дидро, театр. Но Франция была и законодательницей мод, страной, где дворянство, создав свою культуру, сумело полонить вкус и чувства представителей «благородного» сословия многих стран Европы, в том числе и России. Знаменитая галломания была бедствием для России. Она наносила огромный урон молодой национальной культуре, мешала развитию национальных форм самосознания. Борьбу с галломанией развернули просветители 60-х годов, и Фонвизин своим «Бригадиром» включился в нее.

Во Францию Фонвизин приехал совершенно непредубежденным человеком. Много слышавший об этой стране, он хотел сам, лично все осмотреть, изучить, понять, оценить. Отсюда — неустанная деятельность во время путешествия. Он не был праздным гулякой и не увлекался пышными приемами, которые устраивала ему дворянская знать в провинции, где приходилось проживать по нескольку месяцев. Он не последовал и примеру Дидро, который во время пребывания в Петербурге пожелал изучать неведомую ему страну из окон императорского дворца или императорской кареты.

Фонвизин посещает фабрики и суды, церкви и больницы, библиотеки и музеи, читает книги по истории, экономике и коммерции Франции, изучает юриспруденцию, литературу, философию; не стремится в Версаль, но встречается с учеными, администраторами, писателями, заводит разговоры со встречными, расспрашивает обо всем, и — важнейшая черта фонвизинского путешествия — он рассказывает сам о своем отечестве, о русском народе, русской литературе, русском языке, русском климате, поражаясь всякий раз тому, как обидно и непростительно мало знают во Франции о России.

Путешествие обогатило Фонвизина не только множеством интересных впечатлений и сведений, — оно помогло изучить страну и народ, отделить правду от лжи, факты от вымыслов. В письмах сестре он признавался, что именно путешествие помогло ему наконец «познать Францию». «Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам видел и что не может уже никто рассказами своими

мне импозировать. Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с тем, о чем мы, развеся уши, слушивали. Славны бубны за горами — вот прямая истина!» (II, 441)

То, что открылось самому Фонвизину, должно было открыться и русскому читателю. «Записки» обусловлены просветительскими убеждениями и патриотическим чувством писателя. Такой замысел порождал и построение «Записок», и отбор фактов, и их освещение. Читатель получал, как я уже сказал, не журнал и не путеводитель, а *художественное исследование* жизни неизвестной страны и народа.

Обращены письма Фонвизина к реальному, известному всем человеку — П. И. Панину. Тем самым определяется естественное включение автобиографических сведений, изображение фактов и событий частного порядка (болезнь жены, скитания по французским докторам, сообщения о политических и дипломатических новостях и т. д.). Автор писем в то же время не просто дипломатическое лицо, посетившее Францию, или частный человек, знакомящийся с неизвестной ему страной. Это прежде всего *писатель*. Отсюда его специальный интерес к вопросам культуры, театра, литературы, философии, присущая ему манера изображения жизни, юмор, ирония. Письма приобретают и по содержанию и по стилю глубоко *индивидуальный, личный* характер. За каждым словом угадывается умный и тонкий наблюдатель, человек, ненавидящий угнетение и несправедливость, бесчестие и корыстолюбие, писатель, чуткий к слову, умеющий искренне восхищаться настоящим искусством, метко и зло высмеивать все мелкое, ничтожное, роняющее человеческое достоинство.

В письмах из Монпелье рассказывается, например, о городах Лионе и Монпелье, о добром климате южного побережья Франции, о хлопотах, связанных с лечением жены, о гуляньях, о местной администрации, о праздниках и церковных службах. Но все эти сведения внутренне спаяны и связаны личностью автора писем. Узнавая новые обстоятельства жизни путешественника, читатель постепенно знакомился с нравами и обычаями французов. Прибыв в Монпелье, Фонвизин был приглашен в дом «первого коменданта» графа Перигора, затем посетил графа Монкана, президента города Клариса, и т. д. Знаком-

ство с местной администрацией совпало с началом работы Les États de Languedoc. Это обстоятельство послужило поводом к описанию церемонии открытия собрания депутатов. Вслед за тем естественным оказалось включение в письма собственных иронических «примечаний» Фонвизина о смысле деятельности этого выборного учреждения: «Граф Перигор читал потом речь, весьма трогающую, в которой изобразил долг верноподданных платить исправно подати. Многие прослезились от сего красноречия»; «Интендант читал, с своей стороны, также речь, в которой... выхвалял здешний климат и трудолюбивый характер жителей. По его мнению, и самая ясность небес здешнего края должна способствовать к исправному платежу подати». Архиепископ в соборной церкви отслужил «благодарный молебен всевышнему за сохранение в жителях единодушия к добровольному платежу того, что в противном случае взяли б с них насильно» (II, 458).

Уже в ироническом тоне повествования мы чувствуем нескрываемую издевку писателя и над учреждением, призванным прикрывать действия интендантов и комендантов и внушать населению мысль, что непосильную «капитацию» (подушный оклад) нужно платить добровольно и единодушно, без ропота, и над администраторами, ретиво использующими в своих целях определенные традиции и учреждения. Депутаты «земского суда», заключает Фонвизин, «собраны были для формы, дабы соблюдена была в точности наружность земского суда, — я называю наружность, для того что в самом существе она не значит ничего. Все трактуемые тут дела ограничиваются в одном — то есть: в собрании подати» (II, 461).

Но этим Фонвизин не ограничивается. Позже, на основе личных наблюдений и исследований вопроса, он излагает свои окончательные «примечания», выводы и обобщения. И вот как будет охарактеризована тогда фигура интенданта в системе французской государственности: «Народ в провинциях еще несчастнее, нежели в столице. Судьба его зависит главнейше от интенданта; но что есть интендант? Вор, имеющий полномочия грабить провинцию безотчетно. Чем дороже стала ему у двора сия привилегия, тем для народа тягостнее. Каждый из них начинает ремесло свое тем, что захватывает откуп хлеба, нужнейшего для жизни произрастения, и принуждает через

то жителей покупать у него жизнь за ту цену, которую определить заблагорассуждает» (II, 486).

Живя в Монпелье, Фонвизин стремится приобретать нужные по состоянию его знания: он нанимает учителя по философии и юриспруденции. При этом выясняет, что «хотя телесная пища здесь весьма дешева, но душевная еще дешевле». Подобное явление привлекает внимание писателя, и, изучая все обстоятельства дела, он оказывается способным объяснить причины «бедной учености» во Франции: «Как гражданские звания покупаются без справки, имеет ли покупающий потребные к должности своей знания, то и нет охотников терять время свое, учась науке бесполезной» (II, 459).

Уже в первые месяцы своего пребывания во Франции, столкнувшись с многими дворянами, Фонвизин удивляется их невежеству и корыстолюбию. «Ни порода, ни наружные знаки почестей не препятствуют нимало снисходить до подлейших обманов, как скоро дело идет о малейшей корысти. Сколько кавалеров св. Людовика, которые тем и живут, что, подлестясь к чужестранцу и заняв у него, сколько простосердечие его взять позволяет, на другой же день скрываются вовсе и с деньгами от своего заимодавца! Сколько промышляют своими супругами, сестрами, дочерьми!» (II, 462) Таковы непосредственные впечатления писателя. И тут же, задумавшись над причинами такого положения, он делает два важных замечания: «Деньги суть первое божество здешней земли». «Попы, имея в руках своих воспитание, вселяют в людей, с одной стороны, рабскую привязанность к химерам, выгодным для духовенства, а с другой — сильное отвращение к здравому рассудку. Таково почти все дворянство и большая часть других состояний» (II, 459).

В письма, таким образом, сразу входит несколько важных тем — место и роль дворянства и духовенства в государственной и социальной жизни страны, принципы государственного устройства (действия местной администрации, система откупов, интенданты и их деятельность), положение науки и ученых. Сначала темы раскрываются в виде конкретных описаний непосредственных впечатлений писателя от встреч с людьми. Рассказ об этих впечатлениях и конкретных единичных фактах сопровождается первыми, как правило еще не принципиальными, обобщениями. В последующем, изучив и исследовав все

стороны жизни страны (прибегая иногда к устным или письменным свидетельствам самих французов), он возвращается к затронутым темам и «с большим основанием и точностью» излагает свои окончательные выводы. Итог исследования Франции и подводится в последних письмах из Парижа и Ахена.

С величайшим чувством ответственности приступает Фонвизин к изложению своих окончательных выводов: «Я оставил Францию. Пребывание мое в сем государстве убавило сильно цену его в моем мнении. Я нашел доброе гораздо в меньшей степени, нежели воображал, а худое в такой большой степени, которое и вообразить не мог. Я рассматривал с возможным вниманием все то, что могло способствовать мне в приобретении точнейшего понятия о характере французов и о настоящем их положении относительно разных частей правительства» (II, 480).

В своих суждениях Фонвизин объективен. Только что въехав во Францию, он немедленно с радостью отмечает: «Дороги в сем государстве очень хороши». Посетив лионские фабрики шелковых изделий, он приходит к выводу: «По справедливости сказать, сии мануфактуры в таком совершенстве, до которого другим землям доходить трудно» (II, 456). С любовью он пишет о Руссо, с гордостью рассказывает о величайшем триумфе Вольтера в Париже. От французского театра, особенно комедии, игры актеров он в восхищении. Внимательно рассматривая «французский национальный характер», он отмечает многие ему близкие и симпатичные черты — «доброту сердца», «остроту ума» и т. д. Не желая быть ни «льстецом», ни «осуждателем», Фонвизин в то же время решительно заявляет: «не могу же не отдать и той справедливости, что надобно отрещись вовсе от общего смысла и истины, если сказать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного» (II, 467).

И в то же время общие и окончательные выводы Фонвизина о Франции и национальном характере французов очень суровы. Но то не «осуждение», а горькие мысли и признания, — черты характера французов, мораль и нравы общества Фонвизин выводит из обстоятельств их политического, социального бытия. Феодально-монархический строй, где именем неограниченного закона и короля управляют фавориты, откупщики, авантюристы, мошенники и попы, унижает нацию, повергает в нищету народ, лишает

человека всех прав, порождает ожесточенную борьбу личности против всех, оправдывает любые средства в борьбе за деньги, за власть, за богатство.

Верный своим просветительским убеждениям, Фонвизин полагает, что поскольку во Франции существует ничем не ограниченная, деспотическая в своем существе королевская власть, то нет там и подлинного воспитания. «Нет генерального плана воспитания, и все юношество учится, а не воспитывается. Главное старание прилагают, чтоб один стал богословом, другой живописцем, третий столяром; но чтоб каждый из них стал человеком, того и на мысль не приходит» (II, 483). Но этого мало. Огромное влияние на формирование личности во Франции имеют попы. Даже «первых особ в государстве» «воспитывают так, чтоб они на людей не походили». «Как скоро начинают понимать, то попы вселяют в них предрассудки, подавляющие смысл младенческий, и они вырастают обыкновенно с одним чувством подобострастия к духовенству» (II, 483). Силы духовенства во Франции беспримерны. Все примирились с «невежеством попов». Они же не стыдятся делать все, что им заблагорассудится, хотя бы поступки эти были «поношением всей нации». Никого не смущает, что «прелаты публично имеют на содержании девок», что «нет позорнее той жизни, какую ведут французские аббаты» (II, 485). Духовенство во Франции определяет и светскую и политическую жизнь. Царствующий король «управляется чужими головами», чаще всего поповскими. Один из принцев всецело находится во власти попов, другой — во власти вина.

А какова государственная система управления? «Король, будучи не ограничен законами, имеет в руках всю силу попирать законы». «Каждый министр есть деспот в своем департаменте. Фавориты его делят с ним самовластие и своим фаворитам уделяют». «Франция вся на откупу». «Народ в провинциях еще несчастнее, нежели в столице». Процветает «продажа чинов и должностей». И это «зло безмерное». Непрестанно «усугубляются» налоги, и нация сейчас находится «в положении, бедственнейшем прежнего». «Множество подлых людей душою и происхождением покупали себе права и способы быть орудиями народных утеснений» (II, 486—487).

Как же складывается в этих обстоятельствах жизнь французов? «Рассматривая состояние французской нации,

научился я различать вольность по праву от действительной вольности... Французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве» (II, 485—486). Но не только простой народ, лишенный всех прав, страшно бедствует, отданный во власть откупщиков и интендантов. Та же социально-политическая система разложила господствующий класс — дворянство. «Дворянство французское по большей части в крайней бедности, и невежество его ни с чем не сравненно». «Исключая знатных и богатых, каждый французский дворянин, при всей своей глупой гордости, почтет за великое себе счастье быть принятым гувернером к сыну нашего знатного господина». «Причина бедности дворянства есть та же самая, которая столько утвердила богатство и силу их духовенства, а именно: право большего сына наследовать в родительском имении. Для меньших братьев два пути отверсты: военная служба и чин духовный. В первом предстоят труды, оканчивающиеся почти всегда бедностию, а в последнем — священная праздность и изобилие» (II, 484).

В письмах Фонвизина предстала Франция кануна революции. Исследование социально-политических обстоятельств жизни французов позволило с потрясающей очевидностью и убедительностью показать, как гибелен для нации режим ничем не ограниченного самовластия с его порабощением человека, фаворитизмом, продажею государственных чинов, наглым и жестоким ограблением народа, развращением нравов. Именно так и понимал читатель письма Фонвизина. «Читая их, — писал Белинский, — вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником». [1]

«Записки первого путешествия» были первым опытом Фонвизина в исследовании условий жизни человека в феодально-монархическом государстве. Осуществив это в отношении Франции, Фонвизин совершил огромной важности открытие: если пороки общественной жизни, состояние нравов и положение человека в обществе и нации в целом зависят от социально-политического уклада, значит — каков тип феодально-монархического государства, таковы и общественные нравы, им порождаемые. Но по-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII. М., изд-во АН СССР, 1955, стр. 119.

скольку русское самодержавие есть такое же наглое самовластие, как и французская монархия, то и в политическом устройстве этих стран и в положении человека и сословий в обоих государствах есть много общего. Так открывалась возможность, описывая Францию, вторым планом говорить о России, о положении русских «относительно разных частей правительства». Письма из Франции, обретая необычную смысловую емкость, начинали воспитывать и учить русского читателя понимать гибельность окружающих его обстоятельств социально-политической жизни.

Уже в первых письмах Фонвизин предупреждает читателя, что новые для него явления французской жизни следует понимать в сравнении со своими, русскими. «Главное рачение мое обратил я к познанию здешних законов. Сколь много несовместны они в подробностях своих с нашими, столь, напротив того, общие правосудия правила просвещают меня в познании существа самой истины» (II, 460). Затем эта мысль подтверждается конкретным примером: во Франции есть «собрание земского суда», в России нет подобного учреждения. Но, утвердив сумму налогов, депутаты разъезжаются, и «провинция обыкновенно остается в добычу бессовестным людям, которые тем жесточе грабят, чем дороже им самим становится привилегия разорять своих сограждан». На этом различие между деятельностью французских и русских провинциальных властей кончается. «Здешние злоупотребления и грабежи, конечно, не меньше у нас случающихся. В рассуждении правосудия вижу я, что везде одним манером поступают» (II, 462). Указанием на общность действий судейских чиновников — французов и русских — Фонвизин не ограничился. В последнем письме «Записок», где подводятся итоги и говорится о государственной власти, этот второй ряд, это сравнение с устойчивой формулой *«как и у нас»*, становится основой повествования. Заговорив о фаворитизме при дворе, Фонвизин, хотя и осторожно, но немедленно переключает внимание читателя на русские дела: «*Что видел я в других местах*, видел и во Франции. Кажется, будто все люди на то сотворены, чтоб каждый был или тиран, или жертва» (II, 486). (Курсив мой. — *Г. М.*)

При описании состояния дел во французском суде Фонвизин особенно полно развернул формулу сравнения: «Тяжебные дела во Франции так же несчастны, *как*

и у нас, с тою только разницею, что *в нашем* отечестве издержки тяжущихся не столь безмерны. Правда, что *у нас* и у них всего чаще обвинена бывает сторона беспомощная; но во Франции, прежде нежели у правого отнять, надлежит еще много сделать церемоний, которые обеим сторонам весьма убыточны. *У нас же* по крайней мере в том преимущество, что действуют гораздо проворнее, и как скоро вступился какой-нибудь полубоярин, сродни фавориту, то в самый тот час дело берет уже совсем другой оборот и приближается к концу» (II, 488).[1] (Курсив мой. — *Г. М.*)

«Записки» — сочинение патриотическое и политическое. Разрушая легенду о Франции, нанося удары по галломании и по галломанам, они воспитывали чувство уважения к русскому народу, русскому языку, русской культуре. Ненавидя самовластие, рабство, наглый фаворитизм, Фонвизин учил любить родину, ибо все, что унижает в России человека и народ, — временно и будет рано или поздно уничтожено, изменено. Нельзя презрение к неустройствам и злоупотреблениям в своем отечестве переносить на страну и ее народ. Сравнивая Францию с Россией, Фонвизин «чистосердечно признается», «что если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во *Францию*. Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом» (II, 467).

Поездка во Францию, художественное исследование жизни целой нации, наконец написание «Записок» — все это явилось этапом в идейном развитии самого Фонвизина. Обогащенный новым опытом, он по возвращении на родину обратился к изучению политических пороков русского самовластия. Результатом такого исследования яви-

---

[1] Нельзя не почувствовать в этих исполненных злой иронией суждениях автора будущей «Придворной грамматики».

лось «Рассуждение о непременных государственных законах». И не случайно мы обнаруживаем совпадение оценок режима русского самовластия и французской монархии. И в России и во Франции самовластие не обуздано законом. И там и здесь «подданные порабощены государю, а государь — обыкновенно своему недостойному любимцу». «В таком развращенном положении злоупотребление самовластием восходит до невероятности». «Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен». Несмотря на видимость заботы монарха о подданных, на издание «новых обрядов» «запутываются старые законы», в стране «народ все будет угнетен, дворянство унижено». Во Франции Фонвизин увидел, что правительство держит в невежестве угнетенный народ. Он пишет: «Народ... пресмыкается во мраке глубочайшего невежества» (II, 485). Но то же и в России. Потому Фонвизин теми же словами характеризует и положение русского народа: «Народ, пресмыкаяся во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства» (II, 266).

И Людовик XVI и Екатерина II — монархи-деспоты. Исходя из опыта исследования Франции, Фонвизин оказывается способным сделать широкое и смелое обобщение: «Право деспота есть право сильного: но и разбойник то же право себе присвояет. И кто не видит, что изречение *право сильного* выдумано в посмеяние». Заключительный вывод «Рассуждения» даже прямо намекает, что оно является результатом исследования политического режима не только России, но и других стран, то есть Франции прежде всего. «Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры. Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и разыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее. Тиран, где б он ни был, есть тиран, и право народа спасать бытие свое пребывает вечно и везде непоколебимо» (II, 262—263).

Изучение «Записок первого путешествия» делает понятным, почему Фонвизин настойчиво добивался их публикации в собрании своих сочинений. Полицейские преследования самовластного государя помешали осуществить это намерение. Но, как уже говорилось выше, «Записки» хоть и в урезанном виде, но прорвались в 90-х годах

на страницы журнала и приняли участие в литературно-общественной жизни. Вот почему мы должны с глубоким вниманием отнестись к замечательному опыту Фонвизина в прозе, который, как и многие другие русские сочинения, постигла трагическая судьба.

3

«Записки первого путешествия» явились серьезной и принципиальной победой Фонвизина-прозаика. Исключительно важна их — к сожалению, еще не оцененная — роль в решении исторической задачи создания нового слога. В 60-х годах, как мы уже видели, Фонвизин настойчиво искал путей преодоления ломоносовской теории трех штилей, стремясь отказаться от жанровой закрепленности слова, использовать «нынешние слова и речения, всеми употребляемые в обществе», для выражения любого — высокого или низкого — содержания. Эту свою цель Фонвизин осуществил в «Записках».

«Записки» писались к определенному реальному лицу, хорошему знакомому Фонвизина. Тем самым обусловливалась возможность включения в них интимных, будничных подробностей частного бытия путешествующего писателя. Отсюда — внимание к быту, появление даже натуралистических описаний (например, рассказ о лечении жены). Но «Записки» — это и *исследование* жизни, рассуждения на темы политические, философские, литературные. Высокое, серьезное начало требовало своего выражения, и здесь подстерегала писателя опасность: как быть? Пойти знакомым, ломоносовским путем, и тогда для передачи высокого содержания использовать славянизмы, или, отказавшись от традиции, писать тем же слогом, каким описывались бытовые явления? Но тогда можно было «уронить», «снизить», скомпрометировать важное содержание политических «рассуждений» и «примечаний». Или, может быть, совсем отказаться от высоких тем и свести все лишь к описанию быта? Победу мог принести только «новый слог». Его и следовало создавать. Наконец, «Записки» писались не равнодушным наблюдателем, а страстным, ищущим истины исследователем, и потому каждое его впечатление, каждое суждение было окрашено индивидуально неповторимым отношением, отмечено печатью *личности* писателя.

В «Записках» столкнулись, как видим, по меньшей мере три различных начала, три тематически различных плана повествования, которые, по старой традиции, требовали раздельного стилистического выражения. Но Фонвизин не хотел следовать традиции: он опирался на уже накопленный литературой в 60-х и 70-х годах опыт создания «нового слога», учитывал все то, что уже оправдало себя на этом пути. Потому он довольно широко использует галлицизмы и фразеологические кальки. В «Записках» мы встречаем: «образ мыслей», «возьму смелость», «душевное расположение», «задавать тон», «трогающая речь» и т. д. Некоторые из этих ка́лек прочно вошли в русский литературный язык, обогатив его. Например, «задавать тон», «трогающая речь», «образ мыслей» и т. д. То же было и с отдельными словами. Одни, верно отобранные, обогащали русский язык и свободно начинали свое новое существование (типа «машинально»), другие включались в «Записки» без внутреннего оправдания и потому оказывались инородными, засоряли речь: например, «вояжировать», «резонирует», «репрезентация», «офрировать» и т. д. Следует отметить, что таких слов в «Записках» мало. В то же время в частных письмах из этого же путешествия таких галлицизмов мы встретим куда больше. Так, в письме Я. Булгакову Фонвизин писал: «Вас вспоминают как человека, которого они истинно эстимают» (уважают). В письме к сестре: «Увидите в газете имя мое estropie» (искаженное) или «Имею я в их глазах другой мерит» (достоинство). Этих и подобных им галлицизмов в «Записках» нет. Значит, то, что было характерно для реальной практики живой речи дворянского общества (широкое использование галлицизмов), Фонвизин не считал возможным механически переносить в «Записки», которые писались как литературное произведение. Он сознательно производил отбор и вводил то, что полагал нужным и важным. Весьма вероятно, что при подготовке «Записок» к печати он мог отказаться от некоторых галлицизмов типа «вояжировать», «резонировать» и т. д. Вспомним, что и в последующем Карамзин при повторном издании «Писем русского путешественника» также отказался от многих галлицизмов.

Заслуживают внимания и случаи, когда Фонвизин при описании одного и того же факта в письме к частным лицам употребляет иностранные слова, а в «Записках» —

русские. Так, сообщая об успешном лечении жены Булгакову, Фонвизин пишет: «Жена исцелилась от ver solitaire». А в «Записках» солитер уже именуется по-русски «глистом» и «червем». Рассказывая сестре об «Исповеди» Руссо, Фонвизин пишет: «Он сочинил „Mémoires“». В «Записках» слово «мемуар» не упоминается. Не зная названия сочинения Руссо, он считает нужным дать развернутое определение: «Книга, которую он сочинил, есть не иное что, как исповедь всех его дел и помышлений».

Наряду с обращением к опыту французской литературы и богатству французского литературного языка встречаем у Фонвизина использование церковнославянизмов и канцеляризмов. Но количество их незначительно, главным образом это служебные слова — «сие», «оный», «кои», «паче» и т. д. — или слова, давно уже вошедшие в живую речь, — «рачение», «отверстый» и т. д. Употребляются они так, что стилистически никак не окрашивают речь, не архаизируют ее. Например: «все сие, может быть, изнуряло червя», «не вхожу в подробности оных», «дабы сделать сие изыскание», или «главное рачение мое обратил я к познанию здешних законов». Иногда встречаются церковнославянские выражения с подчеркнутой архаической окраской. Но если это выражение посмотреть в контексте, то увидим, что оно используется с иронической целью. Так, издевательски описывая деятельность земского суда, Фонвизин рассказывает, как во Франции попы вместе с администрацией активно выколачивают из народа налоги. Архиепископ произносит «поучительное слово»: «Проходя всю историю коммерции, весьма красноречиво изобразил он все ее выгоды и сокровища и заключил тем, что с помощью коммерции, к которой он слушателей сильно поощрял, господь наградит со вторицею ту сумму, которую они согласятся заплатить ныне своему государю» (II, 458).

В языке «Записок» мы обнаружим и влияние новых веяний (приближение к европейской системе выражения) и дань старой традиции (использование некоторых церковнославянизмов без сохранения за ними обычной стилистической функции выражения «высокого» содержания). Но не они определяли структуру и состав чисто русского языка «Записок». Пренебрежение к литературному опыту просветителей, некритическое усвоение схемы, со-

гласно которой до Карамзина — создателя «нового слога» — господствовал ломоносовский «варварский и дикий слог», приводят к тому, что до сих пор не изучена и не оценена роль Фонвизина (в ряду других писателей) в создании «нового слога» до Карамзина. Мешает изучению языка Фонвизина и пренебрежение к хронологии творчества. Писатель проделал определенную эволюцию, а исследователи, пренебрегая ею, произвольно извлекают примеры из произведений 60-х и 80-х годов.

Коренным вопросом синтаксиса нового литературного языка был порядок слов. Фонвизин решительно отказался от немецко-латинского синтаксиса, от конструкции предложения с глаголом на конце, от сложных периодов. Его фраза исполнена движения, выразительна и, как правило, лаконична. «Граф в маскараде показал неучтивость дюшессе де Бурбон, сорвав с нее маску. Дюк, муж ее, не захотел стерпеть сей обиды... Несколько дней публика любопытствовала, чем сие дело кончится. Наконец граф принужденным нашелся выйти на поединок. Сражение минут пять продолжалось, и дюк оцарапал его руку» (II, 469).

Особая динамичность и выразительность фонвизинской фразы подчеркивается ее афористичностью. «Обман почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей, обмануть не стыдно, но не обмануть — глупо». Божество француза — деньги. «Из денег нет труда, которого б не поднял, и нет подлости, которой бы не сделал» (II, 481). «Первое право каждого француза есть вольность; но истинное, настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою, а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностию, то должен будет умереть с голоду. Словом, вольность есть пустое имя и право сильного остается правом превыше всех законов» (II, 460).

Подобные фразы определяют стиль «Записок». И этот стиль есть выражение личной фонвизинской манеры. Нормативная поэтика классицизма принципиально антииндивидуалистична. Выбор жанра уже определял, тем самым, и стиль будущего произведения. Сочинения разных писателей, но одного жанра, должны были походить друг на друга, потому что они писались по нормам образца: «слово» или письмо, ода или трагедия. Конечно, оды Ломоносова отличались от сумароковских, проза Ломоносова не походила на прозу Хераскова или Щербатова.

Но это своеобразие, это вторжение личного начала потому немедленно и осуждалось, как отступление от правил. Стоит вспомнить, как зло высмеивал Сумароков оды Ломоносова, называя их «вздорными» именно за то, что на них лежала печать личности поэта.

«Записки» раскрывают неповторимую писательскую индивидуальность с необычной для того времени силой. И этот личный, свой стиль — не случайное отступление от правил, а следствие нового отношения к искусству. Печать личности писателя с особой наглядностью проявляется в фонвизинской иронии, в авторской остроумной оценке событий. «Вообще надобно отдать справедливость здешней нации, что слова сплетают мастерски, и если в том состоит разум, то всякий здешний дурак имеет его превеликую долю. Мыслят здесь мало, да и некогда, потому что говорят много и очень скоро. Обыкновенно отворяют рот, не зная еще, что сказать; а как затворить рот, не сказав ничего, стыдно, то и говорят слова, которые машинально на язык попадаются» (II, 463). Рассказав об успешном лечении жены, Фонвизин так заключает свое письмо: «Масло произвело все желаемое действие и выгнало червя; по рассмотрению его в микроскоп нашли не только его голову, но и приметили образ его репродукции. Здешний медицинский факультет считает сие новым откровением, и славный натуралист господин Гуан сочиняет диссертацию с пространным описанием сих примечаний. Я весьма рад, что выгнанный червь занимает такие умные головы, но гораздо больше рад тому, что он выгнан» (II, 465).

Остроумие усиливает энергию слова, помогает усвоению авторской мысли. Остроумию придавал большое значение Ломоносов. К его мнению чутко прислушивался Фонвизин. Ломоносовское понимание остроумия принял позже Пушкин. В. В. Виноградов обратил на это внимание: «Остроумие Ломоносовым понимается так же, как позднее А. С. Пушкиным. Оно состоит в «необыкновенном, нечаянном или чрезъестественном сопряжении подлежащего со сказуемым» (§ 131). Например, «Тот беден в свете сем, кто беден не бывал» (§ 144), «Малый человек и на горе мал; исполин велик и в яме» (§ 138)».[1] То

---

[1] «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. II. М. — Л., изд-во АН СССР, 1951, стр. 214—215.

же понимание остроумия мы встречаем и у Фонвизина. «Все архиепископы и епископы суть братья знатных особ, подкрепляемые у двора своею роднею и подкрепляющие себя в народе содержанием его в крайнем суеверии». «Дороги часто находил не мощеные, но везде платил дорого за мостовую». «Первый государственный чин духовенства препоручает провинцию в одно покровительство царя небесного, дабы самому не поссориться с земным», и т. д.

Писатель-сентименталист уже начиная со Стерна изображал не объективный и реальный мир, а свое индивидуальное *отношение* к нему. Принципы Стерна были усвоены и Карамзиным. В «Письмах русского путешественника» он опирается и на опыт своих русских предшественников в создании «нового слога». В то же время он отказывается от многих их завоеваний и создает особый, свой стиль, который и будет копироваться его эпигонами. «На почве этой русско-французской системы фразовых сочетаний возник новый литературный стиль с своеобразными формами метафоризации, с специфическими условными типами перифраз, не поддающихся непосредственной этимологизации и прямому предметному осмыслению, с манерною изысканностью приемов экспрессивного выражения». «Это была обширная область фразеологических иносказаний, через которую трудно было пробраться к точному, предметно-бытовому значению слов». [1] Далее В. В. Виноградов приводит множество примеров подобного стиля из «Писем русского путешественника»: «магазин человеческой памяти», «образ милой саксонки остался в моих мыслях, к украшению картинной галереи моего воображения», «натура и поэзия в вечном безмолвии будут лить слезы на урну незабвенного Геснера» и т. д.

Фонвизину чужды иносказания, манерность, перифраз, метафоризация слова. Он описывает реальный, видимый и осязаемый объективный мир. Его слово передает вещность и предметность мира, оно конкретно, значимо и не нуждается в переводе. В основе повествования Фонвизина — реальный факт, точное наблюдение, конкретное событие. Он посещает больницы и фабрики, присутствует

---

[1] В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., стр. 166.

на заседаниях земского суда и академии, смотрит спектакли и наблюдает нравы в Монпелье и Париже. Описав факт, нарисовав какую-нибудь сцену, писатель переходит к «примечаниям», рассуждает и обобщает. Вот типичный пример развертывания повествования. Сначала конкретное наблюдение: «Нечистота в городе такая, какую людям не вовсе оскотинившимся переносить весьма трудно. Почти нигде нельзя отворить окошко летом от зараженного воздуха. Чтоб иметь все под руками и ни за чем далеко не ходить, под всяким домом поделаны лавки. В одной блистает золото и наряды, а подле нее, в другой вывешена битая скотина с текущею кровью. Есть улицы, где в сделанных по бокам стоках течет кровь, потому что не отведено для бойни особливого места». Таково жизненное, непосредственное впечатление Фонвизина от виденного в городах, деревнях и столице Франции. Оно заставляет писателя задуматься над вопросом: если в стране господствует такая «нечистота», то что же влечет во Францию толпы путешественников? «Напрасно говорят, что причиною нечистоты — многолюдство. Во Франции множество маленьких деревень, но ни в одну нельзя въезжать, не зажав носа... Вообще сказать можно, что в рассуждении чистоты перенимать здесь нечего, а в рассуждении благонравия еще меньше. Удостоверясь в сей истине, искал я причины, что привлекает сюда такое множество чужестранцев?» (II, 475)

Задав вопрос, Фонвизин движется вперед по пути исследования. Может быть, привлекательным оказывается парижское общество, ученые люди? Далее следует детальный и конкретный ответ на вопрос и, наконец, заключительный вывод: «По точном рассмотрении вижу я только две вещи, кои привлекают сюда (в Париж. — *Г. М.*) чужестранцев в таком множестве: спектакли и — с позволения сказать — девки» (II, 476). Далее опять следуют описания спектаклей и бесчинств парижских «девок».

Данная фраза — пример свободного словоупотребления Фонвизина. Для автора «Записок» нет «высоких» и «низких» слов, но есть слова *точные*, способные передать нужный ему определенный смысл. Вот почему органически соединяются церковнославянизмы и коренные русские слова, галлицизмы и просторечные слова и выражения. Ответ на вопрос: «Что привлекает чужестранцев в Париж?» —

«спектакли и — с позволения сказать — девки», — это ключ к стилю фонвизинских «Записок». Вот как записывается впечатление от комедий: «Я никогда себе не воображал видеть подражание натуре столь совершенное». А вот как описывается впечатление об оперном спектакле: «Оперу можно назвать великолепнейшим зрелищем. Декорации и танцы прекрасны, но певцы прескверны. Удивился я, как можно бесстыдно так реветь, а еще более, как можно такой рев слушать с восхищением!» (II, 477)

Идиоматические обороты разговорного языка широко вторглись в «Записки»: «куча нищих», «не зажав носа», «гроша не стоит», «действуют гораздо проворнее», «сродническая горячность» и т. д. Писатель свободно использует просторечные слова: «зараза», «глисты», «оскотинившийся», «червь», «вор», «дурак», «свинья», «пища», «ухватки», «дурачества» и т. д.

Но чисто русское начало стиля фонвизинских «Записок» определяется не только лексикой и синтаксисом, соответствующими тенденции русского языка. Оно еще ярче проявляется благодаря тому, что на каждом слове мы видим печать писательской индивидуальности. На этом следует остановиться подробнее.

Герои литературы классицизма и сентиментализма лишены национальной определенности. «Тайна национальности» человека будет полно раскрыта позже реалистической литературой XIX века. Умение увидеть в человеке не просто человека, но еще и француза, или немца, или русского зависит не от индивидуальных способностей или степени даровитости и таланта писателя. «Тайна национальности» обусловлена временем, определенным историческим уровнем жизни народов. Путь образования нации — сложный и для каждого народа индивидуальный. В конце XVIII века и в начале XIX процесс образования наций в европейских странах завершился, и проблема национальной обусловленности человека, его взглядов, манеры понимать вещи и излагать свои мысли стала ясной и очевидной. Если до того черты характера каждого народа, исторически складывающаяся манера понимать явления жизни, свойства ума стихийно накладывали печать на героев литературы, на образ их мыслей (например, когда Расин рисовал в своих трагедиях древних греков, в них легко можно было узнать французских придворных), то именно с конца XVIII века изображение

человека как определенного национального характера стало сознательной задачей писателя.

Возможность раскрытия национальной обусловленности человека связана и с определенным художественным методом. Классицизм конструировал характеры по нормам разума. Сентименталисты занялись раскрытием и реабилитацией того, что отвергал и осуждал классицизм, — чувства. Разуму было противопоставлено сердце, миру отвлеченной разумности — мир внутренней жизни, исполненной противоречивых, порой испепеляющих страстей. В обоих случаях разум и чувства принадлежали не конкретной, индивидуально неповторимой личности, но человеку вообще.

Просветители в центре своего искусства поставили именно эту конкретную, индивидуально неповторимую личность, обусловленную в своих чувствах и мыслях обстоятельствами своего бытия. Новый художественный метод требовал показа обусловленности характера. Просветители увидели обусловленность средой, общественными, политическими, социальными обстоятельствами. Но эти обстоятельства имели еще одну грань — национальное существование. Человек живет не в безвоздушном пространстве, а в определенной стране, живет среди определенной национальности. Какова же национальная особенность народа, и какие черты национального характера нашли свое отражение в данной конкретной личности? Ответ на этот вопрос может дать только реализм. Сама природа нового художественного метода уже предопределяла возможность раскрытия «тайны национальности».

Теоретическая разработка проблемы национального характера, начатая русскими просветителями в 60-х годах, общественное обсуждение волнующего всех вопроса сопутствовали тому, что практически стала воплощать литература Просвещения. Художественный метод Просвещения, уже раскрывший обусловленность характера средой, обогатился новым оттенком — возможностью передавать «тайну национальности». В литературе появился национальный характер, и его новое содержание раскрывалось в двух аспектах: русскими предстали и личность автора и его герои.

Классицизм — антииндивидуалистическое искусство. Не видя в человеке личности, эстетический кодекс классицизма растворял и личность самого писателя в общей

идее отвлеченной разумности. Потому художественный метод классицизма принципиально исключал влияние личности писателя на создаваемые им художественные ценности. Оттого писатель классицизма, лишившийся правилами нормативной поэтики индивидуальности, не осознавал себя и национально обусловленной личностью, национальным характером.

Сентиментализм сделал своим героем именно личность. Но, раскрывая ее внутренний мир, сентименталист не показывал связей своего героя с условиями бытия вообще, национального существования в частности. Один герой отличался от другого лишь степенью и интенсивностью переживаний. «Человек, — утверждали сентименталисты, — велик своим чувством». Индивидуальность писателя проявлялась в том же, в чем проявлялась индивидуальность его героев, — в богатстве чувств. Сложность душевного мира, степень возможной искренности и самораскрытия — вот те черты индивидуальности писателя, которые активно определяли дух и форму создаваемых им произведений.

Иначе вставал вопрос о писательской индивидуальности в литературе русского Просвещения. Утверждая объективное бытие своего героя, писатели-просветители осознавали объективность и собственного существования, как конкретной, определенной личности. Эта личность была обусловлена обстоятельствами общественной борьбы России и исторического бытия подымающейся нации. Сумароков всегда помнил, что он дворянин, Карамзин любил подчеркивать, что он прежде всего человек, гражданин мира. «Все национальное — ничто перед человеческим, — писал он. — Главное дело быть людьми, а не славянами».[1] Новиков и Фонвизин, Державин, Радищев и Крылов всегда и прежде всего сознавали себя русскими. Национальная определенность сказывалась, естественно, прежде и полнее всего в личности писателя. И эта «тайна национальности» писательской индивидуальности, проявляясь в творчестве, изменила внутренний облик всей художественной структуры произведения. Она определила не только природу создаваемых характеров,

[1] Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, ч. V. М., 1801, стр. 139.

но и особенность писательского взгляда на вещи, его склад ума, стиль повествования, язык и способ выражения.

Ярко выраженный русский характер в поэзии Державина был замечен давно. Об этом писали и Гоголь и Белинский. Читая стихи Державина, понимаешь, что его ум «был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихиею и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством — патриотизм». В его стихах, указывает дальше Белинский, «видна практическая философия ума *русского*».[1] Характерно и принципиально важно пушкинское определение Фонвизина как писателя «из перерусских — русского». Мы часто цитируем эти слова, не желая отдать себе отчет в том, что они значат. А пушкинское определение, как всегда, очень точно и глубоко по содержанию. Несомненно, «из перерусских — русским» Фонвизина делала способность передавать «тайну национальности». В чем же она находила свое художественное выражение? Рассматривая прозу Фонвизина, стоит обратить внимание на то, о чем меньше всего говорят и что чаще всего оставляют без внимания, — на стиль. Язык, неотделимая от него образная система и способ выражения мысли, передающие авторскую индивидуальность, создают то, что мы называем стилем писателя.

Отличительной особенностью повествовательной манеры Фонвизина, как уже было показано, является юмор, всегдашняя его ирония. Откуда это? Гоголь, говоря о стиле пословиц, сделал очень важное замечание: в них, как в поэтических произведениях, «сверх полноты мыслей, уже в самом образе выражения... отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек, словом — всё шевелящее и задирающее за живое».[2] В самом образе выражения фонвизинской прозы и драматургии отразилось много народных свойств, особенного, русского взгляда на вещи. Этот особый взгляд на вещи выражался, в частности, в иронии. Ирония как одно из народных свойств получила яркое выражение и в творчестве Фонвизина, и Радищева, и Державина, и Крылова. «У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто

---

[1] В. Г. Белинский. Полн собр. соч., т. I, стр. 50.
[2] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 392.

там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще перед нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отдалились от родного корня... Трудно найти русского человека, в котором бы не соединилось вместе с уменьем перед чем-нибудь истинно возблагоговеть свойство — над чем-нибудь истинно посмеяться». Это драгоценное свойство Гоголь видел у Фонвизина и Державина. Последний «крупною солью рассыпал его у себя в большей половине од своих».[1]

Важной заслугой писателей-просветителей, и в частности — Фонвизина, явилось «разоблачение» самобытной иронии, приближение «к родному корню». Оказалось это возможным потому, что они осознавали себя русскими, что «тайна национальности» писательской личности выявлялась в самом способе выражения, определяя глубоко национальный характер создаваемой ими литературы.

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 395.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КОМЕДИЯ НАРОДНАЯ

1

После «Бригадира» Фонвизин более десяти лет не обращался к драматургии и публицистике — все силы писатель отдавал политике, государственным делам. Новая комедия «Недоросль» была завершена в 1781 году и в следующем, 1782-м, после упорной борьбы, поставлена была Дмитревским. Над комедией Фонвизин начал работать в пору своей политической и творческой зрелости — после возвращения осенью 1778 года из Франции. Одновременно с комедией писалось «Рассуждение о непременных государственных законах». Ясность политической мысли Фонвизина, его приверженность идеалам свободы человека, сказавшаяся с такой силой в «Рассуждении», обусловили политическую остроту комедии, ее общественный пафос. На художественный облик «Недоросля» наложили печать и те раздумья драматурга о путях развития реалистического искусства, которые возникли после внимательного ознакомления с новой французской литературой, и особенно с новым театром, во время пребывания во Франции.

Последние полгода своего заграничного путешествия Фонвизин провел в Париже. Он внимательно знакомился с литературой и наукой, искусством и театром французской столицы. Ему довелось быть свидетелем всенародных торжеств по случаю возвращения Вольтера в Париж. Еще в письме к Сумарокову от февраля 1769 года Вольтер с грустью сообщал, что он около двадцати лет не ви-

дел Парижа, что он болен и стар и, видимо, «уже умер» для своего народа. Но перед смертью Вольтеру суждено было побывать в Париже и увидеть, сколь благодарен народ своему писателю, всю жизнь служившему делу свободы. Ранее преследуемый Людовиком XV, Вольтер явился 10 февраля 1778 года в Париж как победитель.

Король, полиция и церковь не осмелились препятствовать всенародным торжествам по случаю его возвращения. Пребывание Вольтера в Париже явилось триумфом Просвещения, продемонстрировало силу и небывало возросший авторитет литературы. Один из близких к энциклопедистам людей, Гримм, так определил исторический смысл триумфа Вольтера: «Энтузиазм, с каким устраивается апофеоз Вольтера при его жизни, является справедливой наградой не только тем чудесам, которые создал его гений, но также и той счастливой революции, которую совершил он в нравах и умах своего века, воюя с предрассудками всех видов и всех состояний, придав литературе больший авторитет и большее достоинство, завоевав мнению свободу и независимость от всякой власти, кроме власти таланта и разума... В первый раз, быть может, мы увидели во Франции общественное мнение, пользующееся всей своей властью».[1] Фонвизин был свидетелем успеха Вольтера и этого торжества независимости литературы от власти. Несомненно, триумф раскрывал ему с небывалой дотоле силой общественную роль литературы, гражданскую ответственность писателя перед своим народом.

Фонвизин был в театре, когда ставилась новая трагедия Вольтера «Ирина», которую публика «приняла с восхищением». После спектакля состоялось знаменитое увенчание бюста Вольтера лавровым венком, а потом тысячные толпы народа с факелами провожали драматурга к дому. «Сколь ни много торжеств имел г. Вольтер в течение века своего, — писал Фонвизин, — но вчерашний день был, без сомнения, наилучшим в его жизни» (II, 471).

Видя чествование великого писателя, Фонвизин понимал, что во многом этой беспримерной славой, любовью и популярностью Вольтер обязан своей драматургии.

---

[1] См. кн. К. Н. Державина «Вольтер». [М.], изд-во АН СССР, 1946, стр. 464.

Драматические произведения Вольтера не только издавались, но игрались в многочисленных театрах, игрались десятилетиями, и многие тысячи людей были взволнованы и покорены образами и идеями трагедий. Ведь именно в трагедиях, невзирая на условные образы героев, которые выступали рупорами авторских идей, невзирая на то, что любимые герои жили в непонятных и отвлеченных сценических обстоятельствах, далеких от обстоятельств живой жизни, — зрители находили нужную им духовную пищу, уходили со спектаклей воодушевленными. А трагедии, которые смотрел Фонвизин в Париже, ему не понравились («трагедию нашел я посредственною», — писал он). Не понравилась ему и последняя трагедия Вольтера «Ирина», исполнявшаяся в день чествования Вольтера («нельзя никак сравнить ее с прежними»).

Зато Фонвизину полюбились комедии. «Что же принадлежит до спектаклей, то комедия возведена здесь на возможную степень совершенства». То была комедия нового типа, развивавшаяся на основе реформы Дидро, утверждавшая реалистический стиль в театре. Фонвизин указал, что именно привлекло его в комедии: «Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною историею, в тот момент происходящею. Я никогда себе не воображал видеть подражание натуре столь совершенным» (II, 477).

В трагедиях Вольтера не было того, что восхищало Фонвизина в комедиях, делая их близкими его художественному вкусу, — «совершенного подражания натуре», когда, глядя на сцену, представлялось, что происходит «истинная история». И в то же время именно трагедии создали Вольтеру славу, — не просто славу писателя, а прежде всего славу ярого ненавистника режима угнетения человека и борца за свободу. Значит, было что-то в его трагедиях такое, чего не было в серьезной комедии и «мещанской трагедии». И, наоборот, при всей жизненности комедий, они не содержали в себе того, что так воодушевляло народ.

Фонвизин столкнулся в Париже с глубоким противоречием между новым и старым художественным методом, между поэтикой классицизма и эстетическим кодексом складывавшегося реализма. Это противоречие было реально, отражало действительное положение в литературе Просвещения. Во взглядах на театр два вождя фран-

цузского Просвещения — Вольтер и Дидро — резко расходились.[1]

Просветители — Вольтер и Дидро — придавали театру огромное значение, рассматривали его как школу нравственного воспитания, как высокую кафедру, с которой можно было непосредственно обращаться к зрителю, внушать ему великие идеи свободы и уважения человека, воздействуя на него всеми средствами театральной зрелищности. Оттого оба писателя не были удовлетворены поэтикой классицизма XVII века, подвергали критике многие важные принципы драматического искусства прошлого века. Дидро в критике был более последователен, и, выступая с демократических позиций, он в отмену нормативной поэтики классицизма предлагал принципы нового, реалистического метода. Вольтер соглашался во многом с Дидро, отказывался от прежнего и, в частности, ввел новый принцип активного сопереживания зрителей героям и событиям трагедии. Как и Дидро, Вольтер выступает с требованием простоты, естественности и, главное, эмоциональной взволнованности. Все же, хотя и в обновленном и в обогащенном виде, Вольтер сохраняет чистоту жанров и основные принципы нормативной поэтики классицизма. Вот почему он был согласен с сумароковской критикой «слезных» комедий, называя их «ублюдочными пьесами», которые, «к стыду нации», получили признание зрителя. Так в передовой просветительской литературе *параллельно существовало два внутренне и исторически враждебных друг другу художественных метода — классицизм и реализм.*

Чем объяснить подобное явление? Теоретическое требование Дидро показать в театре реального человека, обусловленного в своем поведении обстоятельствами социального бытия, поднимало драматургию и литературу, да и вообще все искусство, на новую, более высокую ступень. Подобный показ человека и раскрытие тайны общественных отношений обладали огромной идейной силой. Обнажая смысл социальных связей человека

[1] Выяснению общности просветительских взглядов Дидро и Вольтера на театр и причин их расхождения в понимании жанров, принципов изображения человека на сцене и тем драматического произведения посвящена серьезная, интересная работа В. Бахмутского «Вольтер и буржуазная драма». — «Вопросы литературы», 1958, № 4.

в обществе, новое искусство должно было помогать воспитывать зрителя в духе ненависти ко всем формам угнетения и порабощения. Но *на практике* в драматических произведениях это требование оборачивалось изображением *частной* жизни человека, *его семейных, домашних интересов*. К тому же этим человеком, главным героем «слезной» комедии или мещанской драмы оказывался буржуа. Изображать его жизнь — значило *поэтизировать* его мораль, его добродетели, его образ жизни. А он жил малыми интересами своего очага. Так *проза* и *быт* жизни буржуа в своей семье заслонили *бытие* человека в обществе. С этим-то и не мог примириться Вольтер.

Он понимал, что времени и народу нужно не будничное искусство, рассказывающее о частной жизни человека, занятого своими делами и эгоистическими интересами, а искусство героическое, потрясающее зрителей, захватывающее силою пламенных эмоций и больших политических идей, изображением судеб нации и человечества, страданий народа. Это искусство должно было рассказывать о человеке, живущем в мире всеобщего и воодушевляемом идеей торжества справедливости на земле. Для этого оказалась подходящей трагедия, которая в обновленном виде стала играть у Вольтера выдающуюся воспитательную роль. Проигрывая в одном, Вольтер выигрывал в другом. Преодоление буржуазного влияния, идеологии делового, будничного, занятого собой и своим прозаическим делом буржуа обошлось Вольтеру очень дорого: выполняя великое дело по обслуживанию своего времени, он отставал от того нового, что выдвинула история в эстетическом развитии человечества, — от реализма. За реализмом было будущее.

Перед самым отъездом из Парижа Фонвизин был потрясен неожиданной смертью Руссо. Последние месяцы он жил надеждой на встречу с любимым писателем; в канун уже намеченного свидания Руссо умер. Сейчас нам стало известно письмо (к сожалению, сохранившееся не целиком), в котором Фонвизин описывает и смерть Руссо и свое первое — видимо, с чьих-то слов — знакомство с его последней книгой, «Исповедью». Рукопись «Исповеди», предназначавшаяся писателем к опубликованию после его смерти, попала в руки книгопродавца. «Содержание книги и многие в ней подробности, касающиеся до самого автора и до здешних знатнейших господ,

стало в публике рассеиваться, и Руссо узнал, что жена его продала все секреты его жизни. В крайнем страхе бросил он жену свою и скрылся из Парижа в деревню Ermenonville, к своему другу...»

«Образ смерти его заставляет думать, что он отравился. В деревне, где он жил, был крестьянский мальчик, который остротою своею понравился Руссо, и ⟨они виделись⟩ непрестанно. Накануне смерти своей повелел он тому мальчику разбудить себя гораздо ранее, обещая с ним идти в поле, чтоб смотреть восхождение солнца. На другой день действительно поутру с ним пошел и, оставя его бегать по полю, сам стал на колена и, подняв руки к небу, молился со слезами. Сию сцену рассказывал после тот мальчик, который один был сему свидетель». После того Руссо вернулся в дом, где была нашедшая его жена. Примирившись с ней, он «обнял ее, как человек, который расстается навсегда. Потом, отворив окно, смотрел на небо, говоря жене своей в превеликом исступлении, что он пронзается величеством создателя, смотря на прекрасное зрелище природы. Несколько минут продолжалось сие исступление, и потом упал мертвый» (II, 478—479).

Полностью «Исповедь» вышла из печати значительно позже. Но уже летом 1778 года в Париже было много людей, которые читали это произведение в рукописи, рассказы их слышал и Фонвизин. Некоторые части «Исповеди», например предисловие автора, были напечатаны в парижском журнале, и Фонвизин не только читал его, но и отправил в Россию. Судя по письму, Фонвизин знал об «Исповеди» очень много, во всяком случае он сумел удивительно точно сформулировать и замысел Руссо и его великий подвиг.

Читателя «Исповеди» не могла не поразить удивительная односторонность этой книги. Руссо — великий писатель, социолог, философ, мыслитель, чьи сочинения покорили читателей Европы и Америки, учили жить, понимать великие права человека и записывать их в конституцию, — этот Руссо написал «Исповедь», в которой ни словом не обмолвился о себе, связанном с миром, о себе, живущем во имя счастья человечества, о себе, смелом борце за свободу. Но подробно, тщательно и педантично рассказал он о себе — частном человеке, о себе, терзаемом мелкими и ничтожными страстями, которые толкали его порой на недостойные и даже унижающие человека

поступки. И чем постыднее был совершенный им когда-то поступок, тем с большей страстью, откровенностью и гордыней рассказывал писатель о нем, о себе.

Фонвизин писал: «Книга, которую он сочинил, есть не иное что, как исповедь всех его дел и помышлений. Считая, что прежде смерти его никто читать ее не будет, изобразил он без малейшего притворства всю свою душу, как мерзка она была в некоторые моменты, как сии моменты завлекали его в сильнейшие злодеяния, как возвращался к добродетели; словом, обнаружил он сердце свое и тем хотел сделать услугу человечеству, показав ему в самой слабости, каково суть человеческое сердце» (II, 479).

Знакомство с «Исповедью» явилось событием в творческой жизни Фонвизина. Она открыла ему всю громадную сложность духовной, психической жизни человека, потрясающую противоречивость характера живой личности; знакомство с «Исповедью» обогащало, открывало сокровенный мир внутренней жизни личности, помогало освобождаться от рационалистического понимания психологии человека. Опыт Руссо сказался уже в первой художественной работе Фонвизина после возвращения домой — в «Недоросле». «Исповедь» вновь столкнула Фонвизина с тем же противоречием, которое он видел и у Дидро, — противоречием между его теоретическими требованиями и художественным воплощением идеалов. Когда «Исповедь» в 1782 году вышла отдельным изданием, Фонвизин внимательно ознакомился с нею, а затем задумал, как мы это увидим дальше, написать произведение вослед «Исповеди», но по-своему. Преодоление слабости серьезной комедии, преодоление не вольтеровским путем, но путем углубления и расширения возможностей реализма, станет внутренней задачей при работе над «Недорослем».

2

Для Пушкина «Недоросль» — «комедия народная». Белинский, в 1847 году обосновавший революционно-демократическое понимание народности, заявил, что «Недоросль», «Горе от ума» и «Ревизор» в короткое время сделались народными драматическими пиесами».[1]

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, стр. 250.

Что означает это утверждение? Прежде всего для Белинского народное искусство есть искусство реалистическое. «...*Наша народность,* — писал Белинский, — *состоит в верности изображения картин русской жизни».*[1] Народное искусство есть правдивое искусство, отражающее самые существенные стороны жизни народа, коренные интересы широких масс, проникнутое глубоким пониманием действительности. Народное искусство — искусство, умеющее передавать «тайну национальности», которая заключена «в манере понимать вещи». Стоя на этих позициях, Белинский и назвал «Недоросль» народным произведением.

Такое определение подсказывает нам пути понимания идейно-художественной проблематики «Недоросля». Главная тема комедии обозначена писателем уже в первом действии. «Бригадир», как помним, начинался с бытовой сцены — в провинциальном помещичьем доме сидят за столом две семьи, демонстрирующие перед зрителями, по воле автора, свои пороки. Иначе начинается «Недоросль». Помещица Простакова примеряет кафтан Митрофанушке. Первая реплика Простаковой: «Кафтан весь испорчен. Еремеевна, веди сюда мошенника Тришку. Он, вор, везде его обузил» (I, 107) — вводит нас в атмосферу произвола помещичьей власти. Все дальнейшие пять явлений посвящены именно показу этого произвола. Крепостной Тришка, вызванный на расправу, вразумительно объясняет, что кафтан он сшил по мерке, что сидит он хорошо, а что если не нравится работа, то надо было отдать настоящему портному, так как он, Тришка, портной-самоучка. Отвергая всякое объяснение, Простакова считает, что кафтан узок, и потому приказывает мужу: «...Я холопям потакать не намерена. Иди, сударь, и теперь же накажи». Приход Скотинина увенчивает эту сцену. На вопрос сестры — каков кафтан, он замечает, что «кафтанец... сшит изряднехонько». Эта фраза проясняет весь смысл сцены с Тришкой — владение себе подобными людьми развращает дворян, ожесточает их, превращая в деспотов.

Тришка сшил хороший кафтан. И вместо благодарности его велят наказать. И никакая сила не способна изменить этот приказ, нет никакой возможности доказать

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, стр. 94.

свою правоту, ибо бесправию Тришки противопоставлен произвол помещиков.

Так начинается «Недоросль». Главный конфликт социально-политической жизни России — произвол помещиков, поддержанный высшей властью, и бесправие крепостных — становится темой комедии. В драматическом сочинении тема с особой силой убедительности раскрывается в развитии сюжета, в действии, в борьбе. Драматическим конфликтом «Недоросля» является борьба прогрессивно настроенных передовых дворян — Правдина и Стародума — с крепостниками — Простаковыми и Скотининым.

Первый акт комедии открыто ставит перед зрителем центральную и важнейшую тему эпохи — бедственность для России крепостного права. Д. Д. Благой пишет, что в «Недоросле» Фонвизин «обрушивается на основное зло того времени — крепостничество. В беспощадно-сатирическом показе крепостного произвола и насилия... и заключается основное литературно-общественное и художественно-познавательное значение „Недоросля“».[1]

Действительно, в комедии вопрос о крепостном праве поставлен открыто и недвусмысленно. Автор показывает губительные последствия рабства, убеждает зрителя в необходимости вести борьбу с ним. Уже в самом начале комедии появляется Правдин, который, как выясняется, приехал в имение Простаковых с целью ограничения помещичьего произвола. Второй акт открывает зрителю содержание долженствующей развернуться борьбы. Правдин заявляет офицеру Милону: «Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен членом в здешнем наместничестве. Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно» (I, 117).

Третий и четвертый акты демонстрируют ужасы рабовладения, которые должны подтвердить зрителю моральную правоту Правдина, необходимость борьбы со Скотиниными и Простаковыми. Крестьяне Простаковых разорены вконец. Даже сама Простакова не знает, что можно делать дальше: «С тех пор как все, что у крестьян ни

---

[1] Д. Д. Благой. Д. И. Фонвизин. В кн.: «Классики русской литературы». М., Детгиз, 1953, стр. 49.

было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!» (I, 111) Но, оказывается, искусству драть с мужика три шкуры — нет предела. Брат Простаковой Скотинин изыскал новое средство, о чем с гордостью и говорит своей сестрице: «Все сдеру со своих же крестьян, так и концы в воду».

Но мучением и разорением своих крепостных Простаковы не ограничиваются. Рабство превращает крестьян в холопов, начисто убивая в них все человеческие черты, все достоинство личности. С особой силой проступает это на дворовых. Фонвизин создал Еремеевну — образ огромной силы. Старая женщина, нянька Митрофана, она живет жизнью собаки: оскорбления, пинки и побои — вот что выпало на ее долю. Она давно утратила даже человеческое имя, ее зовут только ругательными кличками — «бестия», «старая хрычовка», «собачья дочь», «каналья». Побои и оскорбления, поношения и унижения ежедневно обрушиваются на голову старой женщины, которая служит верой и правдой своим хозяевам. За все «великие благости» от господ она получает «по пяти рублей на год да по пяти пощечин на день». Но это только одна сторона жестокого тиранства. Писатель увидел и другую. Он показал, как такая жизнь убила начисто человека в Еремеевне, сделав из нее холопа, цепного пса своей госпожи, который униженно лижет руку побившего его хозяина.

Холопство мамки с особой выразительностью показано драматургом в сцене защиты ею своего выкормыша Митрофанушки от разъярившегося Скотинина. Еремеевна со своим страданием и холопством, как живой свидетель преступности крепостничества, помогает автору сурово и гневно осуждать рабство.

Рабство, а не воспитание развращает и растлевает самих помещиков, — делает второй вывод Фонвизин. Драматург сурово и обличительно заявляет: русские дворяне превратились в Скотининых, утративших честь, достоинство, человечность, стали жестокими палачами окружающих их людей и всесильными тиранами и паразитами только вследствие крепостного права. Отсюда демонстрация скотининской природы тех, кто именует себя «благородным сословием», — Простаковой, ее мужа, ее сына, ее брата. Рабовладельцы не только превратили своих крестьян в «тяглый скот», но и сами стали гнусными и презренными холопами.

Муж Простаковой — дворянин лишь по происхождению, в жизни он забитое, ничтожное, безличное существо, трепещущее в страхе перед госпожой Простаковой наравне с Еремеевной. Сын Простаковой, Митрофанушка, не только тупое и невежественное животное, «скотина, а не человек», «поношение человеков», но и жестокий, бездушный деспот и тиран. Деспотизм помещичьей власти развратил Простакову, которая, утратив человеческий облик, перестала быть женой и матерью. Вследствие этого помещичьего деспотизма она изуродовала семейные отношения, превратив мужа в раба, а сына в тирана. В то же время безграничная власть над людьми, сознание полной безнаказанности воспитали в дворянах омерзительную трусость, смешанную с наглостью. Митрофан, беспрестанно обижавший старую свою мамку, издевавшийся над отцом, позорно трусит перед своим дядей и, шестнадцатилетний детина, прячется за юбку Еремеевны. Простакова, жестоко наказывавшая всех окружавших подвластных ей людей, испытывает великий страх перед Правдиным и Милоном, когда открылась ее попытка увезти Софью, и униженно вымаливает на коленях пощаду.

Главным намерением Фонвизина в «Недоросле» и было стремление показать все действия, поступки, мысли Простаковых и Скотинина, всю их мораль и интересы в социальной обусловленности. Они порождены крепостным правом, утверждает Фонвизин. Вот почему от первого до последнего акта тема крепостного права пронизывает все произведение. Естественным является завершение комедии — борьба с крепостниками увенчивается победой: у жестоких помещиков отбирают права на владение крепостными, на имение накладывается опека. Как только завершилась эта главная и единственная тема, определявшая содержание борьбы, — кончилась комедия.

Итак, борьба с крепостницей Простаковой, борьба политическая, а не моральная, ибо содержание этой борьбы — лишение «жестокосердого» дворянина права владения своим поместьем, — составляет основу самого сюжета комедии. Кто же ведет эту борьбу? Правдин, поддержанный Стародумом и Милоном. Таким образом, мы видим знакомый по «Бригадиру» замысел: дворянам обличаемым противопоставить дворян, понявших несправедливость крепостного права и осудивших помещичий паразитизм. В «Бригадире» замысел не был осуществлен. Добролюбов

и Софья оказались исключенными из интриги. В «Недоросле» положение кардинально изменилось: Правдин и Стародум не только включены в действие, но они определяют исход борьбы, они главная активная сила комедии. При этом менее всего они занимаются моральным осуждением Скотинина, Простаковых, Митрофана — их ничтожество вызывает у них лишь чувство презрения и желание отнять у Простаковых их власть, источник всех бед и несчастий. Впервые на сцене появились положительные герои, которые действуют, осуществляя свои идеалы на практике.

В литературе, посвященной Фонвизину, можно встретить утверждения, что сюжетом «Недоросля» является борьба за Софью Простаковой, Скотинина и Милона. Трудно с этим согласиться, потому что «борьба» Митрофана и Скотинина за Софью носит откровенно пародийный, фарсовый характер. «Страсть» Скотинина определяется, с одной стороны, желанием заполучить Софьюшкины деньги, на которые он «всех свиней со бела света выкупит», а с другой — стремлением «своих поросят завести». Митрофан хочет жениться, потому что ему надоело учиться. Домогательства этих женихов не составляют интриги. У Софьи они вызывают только улыбку — так чудовищно нелепа для нее и ее друзей мысль об этом сватовстве. Софья сама говорит своему возлюбленному Милону о Митрофане-женихе: «Если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности!.. Он хотя и шестнадцати лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет». Правдин, перебивая Софью, иронически добавляет: «Как дале не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов; а там, думать надобно, примутся и за псалтырь». Вся сцена завершается восклицанием Милона: «Таков-то мой соперник! А, любезная Софья, на что ты и шуткою меня терзаешь?» (I, 119) Когда появляется второй соперник — Скотинин, Правдин резонно останавливает возмущенного его рассуждениями Милона: «Как ты можешь сердиться на Скотинина!» Все последующее изображение борьбы «соперников» — Митрофана и Скотинина (драка, в которой принимает участие Еремеевна на стороне Митрофана, подготовка увоза Софьи Простаковой и т. д.) — носит иронический характер. Автор преследует лишь одну цель — еще раз подчеркнуть скотство представителей «благородного сословия».

Не «завязывает» события в комедии и история соединения любящих друг друга Милона и Софьи. Собственно, и истории-то никакой нет. Со слов Милона мы узнаем, что они, когда Софья жила в своей семье, полюбили друг друга. Смерть матери изменила судьбу Софьи — она попала в дом к своим дальним родственникам. Милон не знает, куда увезли его невесту, и сейчас торопится в Москву, чтобы начать ее поиски. Случай помогает ему — он обнаруживает Софью в доме Простаковых. Вся эта история вне действия.

Найдя Софью, Милон вдруг было встревожился — оказывается, у нее есть женихи, а у него соперники! Посмеявшись над тревогами Милона, Правдин и Софья объясняют ему, каковы у него соперники — Скотинин и Митрофан! А дальше все благополучно устраивается — приезжает Стародум и дает согласие на брак своей племянницы с Милоном. Но если бы Стародум и не приехал — счастью любящих Простакова не смогла бы помешать, порукой тому — Правдин. Уже в первом явлении второго действия Милон рассказал Правдину, своему другу, о постигшем его горе (не знает, куда и к каким людям увезли Софью) и вдруг встречает ту, которую ищет. Ясно, что Правдин, уже увидевший «бесчеловечие» Простаковых и принявший решение «положить скорее границы злобе жены и глупости мужа», не потерпел бы насилия над Софьей и помог бы своему другу вырвать невесту из дома Простаковых.

Так открывалась *возможность* в основание комедии положить борьбу за Софью Правдина и Милона с семейством Простаковых, борьбу, которая бы в конце завершилась победой, и Софья вышла бы замуж за Милона. Но Фонвизин отказался от этого. Отказался сознательно, потому что уже не считал любовный сюжет основой драматического произведения. Оттого в основу «Недоросля» он положил конфликт эпохи, конфликт, обнаруженный им в общественно-политической жизни конца 70 — начала 80-х годов. Вот почему история соединения Милона и Софьи не составила сюжета комедии. Вот почему пародийно показанная борьба Скотинина и Митрофана за Софью не организует действия. Она нужна писателю лишь для комической компрометации обличаемых героев. И это нововведение Фонвизина ведет нас прямо к Гоголю и его «Ревизору», где не любовный сюжет, а «электриче-

ство чина» «завязывает комедию» и где традиционная любовная интрига осмеяна в сцене молниеносного объяснения Хлестакова вначале с дочерью, а потом с женой городничего.

Кто же такие Правдин и Стародум, отважно ведущие борьбу с крепостниками Простаковыми и Скотининым? Почему они оказались способными вмешаться не только в ход действия комедии, но, в сущности, и в политическую жизнь самодержавного государства? Несомненно, два ряда причин обусловили это явление: причина субъективная, коренящаяся в мировоззрении автора, и причина объективная, в основании которой лежит история роста общественной активности русских дворянских просветителей.

Со времени написания «Бригадира» произошло много общественно-политических событий: общество видело победу Новикова в его журнальной полемике с Екатериной II, наблюдало выступление молодого Радищева с его примечанием к слову «самодержавство» в переведенной им книге Мабли «Размышления о греческой истории», которое прямо и открыто обличало правление Екатерины. Радищев писал: «Самодержавство — наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Книга эта была издана Новиковым, который собрал вокруг своих журналов передовых дворян и молодых писателей. В 1772—1773 годах Новиков стал издавать новый журнал «Живописец», где резко выступал против крепостного права и обличал дворянство.

Как произведение народное, комедия «Недоросль», естественно, отразила важнейшие и острейшие проблемы русской жизни. Коренным же вопросом социально-политического бытия России было крепостное право. Ужас положения русских крепостных, не только низведенных до положения рабов, но превращенных в «тяглый скот», отданных в полное владение помещикам, с особой силой проявился именно после трагически разгромленного крестьянского восстания под руководством Пугачева. Полный, безграничный, чудовищный по разнузданности произвол дворян, с одной стороны, и окончательное лишение всех прав ставшего «мертвым в законе» крестьянина, защищать которого правительство Екатерины демонстративно отказалось, — с другой, не могли не вызвать в среде передового дворянства чувства протеста. Не сочувствуя революционным способам действий, более того — отвергая их,

они вместе с тем не могли не протестовать против рабовладельческой и деспотической политики Екатерины II и русских помещиков.

Вот почему ответом на политику полицейского режима, установленного Екатериной и Потемкиным, явилось усиление общественной активности и подчинение творчества задачам политической сатиры таких первых дворянских просветителей, как Фонвизин, Новиков, Крылов. Высшим этапом развития русской общественной мысли и литературы явилось творчество первого русского писателя-революционера Радищева, прямо выражавшего чаяния и настроения крепостных крестьян.

Социальное расслоение в дворянстве приобрело очевидный характер, оно стало историческим явлением. На арену общественной жизни в эпоху, когда шла борьба с феодализмом, когда русские крепостные вели ее с беспримерным самоотвержением одиноко, вышла новая сила — группа дворян, сумевших отказаться от корыстных, эгоистических интересов своего класса. Нарождавшаяся русская буржуазия выступала союзником крепостников и опорой монархии. Бремя политической борьбы с правительственным деспотизмом и рабовладельцами взяла на себя горсточка дворянских просветителей.

Борьба дворянских просветителей с рабовладельцами и деспотическим правительством Екатерины II после разгрома пугачевского восстания и явилась второй темой «Недоросля». В эпоху деятельности Комиссии и Новиков и Фонвизин верили в возможность законодательного вмешательства власти в отношения дворян с крепостными. Вот почему Новиков, обличая крепостников, взывал к их человеколюбию, убеждал их в том, что и крестьяне — люди, подобные им, дворянам. После разгрома восстания крепостных, после казни Пугачева Новиков понял, что не может быть крестьян, «благополучных в своем звании», что никогда помещики не будут «отцами» своих крепостных, и потому, перепечатывая «Рецепт Безрассуду» в 1775 году, он выбросил этот совет, отказавшись от своей утопической надежды, оставив лишь беспощадное обличение действий крепостника.

Ту же радикализацию мы наблюдаем и у Фонвизина. «Недоросль» — политическая комедия. П. Н. Берков обосновал мысль, что «Недоросль» — «явление политической сатиры». Он указывал, что «Недоросль» «представлял не

просто обличительное произведение, обращенное против злоупотреблений крепостного права, это была серьезная, продуманная борьба с самодержавием, не с принципом самодержавия как таковым... а с самодержавием Екатерины и екатерининского типа».[1] Политические убеждения Фонвизина определили его художественное новаторство. В «Недоросле» это новаторство нашло свое выражение прежде всего в сюжете, реально передававшем исторический конфликт, изображавшем события общественно-политической жизни России конца 70-х годов. Новаторство определилось и в создании образов положительных героев, которые в большей мере и с большей художественной выразительностью, чем в «Бригадире», передавали черты реальных «новых людей» — дворянских просветителей. Исследователи до сих пор проходят мимо этого новаторства Фонвизина, объявляя Правдина и Стародума резонерами, бесплотными персонажами, которые без нужды разговаривают, «резонируют» на абстрактные темы добродетели, без нужды разъясняют зрителям, что злые персонажи действительно злы.[2]

Стоит обратиться к самой комедии, к действиям и словам Правдина и Стародума, чтобы убедиться, что они ничего не комментируют и менее всего разъясняют, что Простакова зла. Простакова и Скотинин сами демонстрируют свое зло. Правдин же как раз не желает ограничиваться возмущением и предпринимает реальные шаги к ограничению власти помещиков и, как мы знаем по финалу пьесы, достигает этого.

Правдин действует так потому, что верит — его борьба с рабовладельцами, поддержанная наместником, есть «исполнение тем самым человеколюбивых видов высшей власти», то есть Правдин глубоко убежден в просвещенном характере екатерининского самодержавия. Он объявляет себя исполнителем его воли — так обстоит дело в начале комедии. Вот почему Правдин, зная Стародума, требует от него, чтобы тот шел служить ко двору. «С вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно». Стародум недоумевает: «Призывать?

---

[1] Вступительная статья к сб. «Русская комедия и комическая опера XVIII века», стр. 38—39.

[2] П. Н. Берков еще в 40-х годах решительно опровергал это распространенное мнение. См. его работу «Театр Фонвизина и русская культура» в сб. «Русские классики и театр», стр. 78—84.

А зачем?» И Правдин, верный своим убеждениям, заявляет: «Затем, зачем к больным врача призывают». И тогда Стародум, политический деятель, уже понявший, что вера в Екатерину не только наивна, но и губительна, разъясняет Правдину: «Мой друг! Ошибаешься. Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится» (I, 133).

Стародум раскрывает не только Правдину, но и зрителям, что вера в Екатерину бессмысленна, что легенда о ее просвещенном правлении лжива, что Екатерина утвердила деспотический образ правления, что именно благодаря ее политике может процветать в России рабство, могут хозяйничать жестокие и алчные Скотинины и Простаковы, которые прямо ссылаются на царские указы о вольности дворянства.

Стародум по своему мировоззрению — воспитанник русского дворянского Просвещения. Две важнейших политических проблемы определяли программу дворянских просветителей в эту пору: а) необходимость уничтожения крепостного права мирным путем (реформа, воспитание, «приуготовление нации»); б) необходимость борьбы с Екатериной, являющейся не просвещенным монархом, а деспотом, покровителем и вдохновителем политики рабовладения. Эта программа лежит в основании действий Новикова — писателя, философа, издателя, просветителя. Она получает свое развитие в политических сочинениях Фонвизина. Вот почему такая прямая и непосредственная связь обнаруживается между речами Стародума и «Рассуждением о непременных государственных законах».

Сопоставление речей Стародума с «Рассуждением» убеждает нас в том, что положительные герои «Недоросля» развертывают открытую пропаганду идей дворянского Просвещения. Эта связь очевидна, несмотря на то, что Фонвизин в ряде случаев вынужден был в «Недоросле» руководствоваться чувством осторожности и избегать особо резких антиекатерининских высказываний.

Обличая самодержавие Екатерины в «Рассуждении», Фонвизин излагает в то же время свои требования к истинно просвещенному монарху, каким не стала и никогда не станет Екатерина. Одно из главных его требований к монарху — быть человеком. «Просвещенный государь есть тем не больше человек». Вот почему в «Рассуждении» изложены «свойства человеческого просвеще-

ния», учение о «должностях». О тех же свойствах человека, и прежде всего о «должностях», разговаривает Стародум с Правдиным, Милоном и особенно подробно с Софьей (д. IV, явл. II).

Политический идеал фонвизинского гражданина выражен в формуле — честный человек. Стародум, определяя черты новых людей, говорит о них как о честных людях. Сам он — «друг честных людей». Ту же самую формулу мы находим в «Рассуждении», где просвещенный монарх обязан быть прежде всего честным человеком. Но этой прямой перекличкой дело не ограничивается.

В «Рассуждении» Фонвизин выдвигает перед государем не только высокие требования, но и объявляет о его ответственности перед нацией, в частности — ответственности за поведение тех, кому вручает он дела правления. Отсюда следовало, что преступление чиновников монархического государства есть преступление самого монарха: «Он повинен отвечать ему (государству. — *Г. М.*) не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого не сделал. Всякое попущение — его вина; всякая жестокость — его вина, ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям и что, с другой стороны, наистрожайшее правосудие над слабостьми людскими есть наивеличайшая человечеству обида» (II, 261).

Именно эта политическая мысль была положена в основание «Недоросля». В преступлениях Скотининых и Простаковых виновата Екатерина — такова мысль Фонвизина.[1] Вот почему борьбу с Простаковыми ведут частные люди, а не правительство. Екатерининское же правительство благословляет крепостническую политику распоясавшихся дворян.

Это мое утверждение К. В. Пигарев подвергнул критике, считая его неверным. Вот как он аргументирует свою позицию: «Стародум — частный человек, это верно, но его борьба с Простаковой отнюдь не носит политического характера. К тому, что имение Простаковых берется под опеку, Стародум непричастен. Правдин же — не частный человек, а чиновник наместничества, представитель

---

[1] Об этом писал П. Н. Берков, выяснивший связь «Недоросля» с «Рассуждением о непременных государственных законах». См. его работу «Театр Фонвизина и русская культура» в сб. «Русские классики и театр».

губернской администрации, и его борьба с Простаковыми — борьба политическая. Да и по какому праву могли бы частные лица брать под опеку чужое имение?»[1]

Подобная аргументация производит странное впечатление. В самом деле, что хочет доказать К. В. Пигарев? Стародум — частное лицо, не причастное к борьбе с Простаковыми? Ведет же борьбу царский чиновник, «действующий именем правительства»? Если это так, то зачем же тогда исполнение служебной функции и повеление начальства пышно именовать «политической борьбой»? Действительно, если это так, то, следовательно, это правительство Екатерины ведет политическую борьбу с дворянством (в данном случае — с Простаковыми). Значит, смысл «Недоросля» — в прославлении Екатерины за ее политическую борьбу с дворянами-крепостниками? Но это нелепость, и ясно, что К. В. Пигарев так не думает.

Разберемся поэтому в существе вопроса. Действительно ли Правдин — простой службист, исполняющий прямые повеления начальства? В первом явлении второго действия Правдин, объясняя Милону свое появление у Простаковых, прямо и недвусмысленно говорит: «Имею повеление объехать здешний округ». Объехать — и доложить начальству, как было выполнено данное ему поручение. Из дальнейшего разговора мы видим, что Правдин действует не только как чиновник, но и как частное лицо, друг и единомышленник Стародума. Во взглядах Правдина и Стародума много общего, объединяет же их не усердие царских служак, а убеждения частных лиц, имеющих общий образ мыслей. Вот почему Правдин тут же добавляет: «а притом, из собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно» (I, 117). Вот, оказывается, в чем все дело! История с обузданием крепостников Простаковых — это не проявление ревностного усердия чиновника, а «подвиг сердца» «честного человека», гражданина и патриота. Как же можно этого не замечать?

И еще. Правдин, собираясь унять рабовладельцев, надеется на поддержку своего наместника, который оказывается фигурой незаурядной и необычной. Правдин дает

[1] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 303.

такую характеристику своему наместнику: «Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник таков, каковым изображен наместник в Учреждении, там благосостояние обитателей верно и надежно» (I, 117). Что значит эта фраза Правдина? С каким изображением в Учреждении он сравнивает своего наместника?

В 1775 году Екатерина издала Учреждение для управления губерний. Во главе каждой губернии стояли губернатор и его помощник — вице-губернатор. На две-три губернии назначался наместник, который должен был представлять особу государя и осуществлять верховную власть. При нем было наместническое правление; членом подобного наместничества и состоял Правдин. Ссылка на Учреждение носит издевательский характер. В своем Учреждении Екатерина демагогически повелевала наместнику быть «оберегателем изданного узаконения, ходатаем за пользу общую и государеву, заступником утесненных». Наместники имели право «пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутство, мотовство, тиранство и жестокость». Получив необъятную власть, наместники использовали ее в своих корыстных целях. Огромные административные округа, вверенные им для управления, они превратили в свои вотчины. Одним из таких наместников был фаворит Екатерины Г. А. Потемкин.

К году появления «Недоросля» уже было хорошо известно, что такое «государевы наместники». Фонвизин внушает зрителю мысль — как легко можно было бы, даже без особых усилий, без реформ, обуздать тиранствующих помещиков, если бы Екатерина хотела использовать то, о чем демонстративно заявляла, если бы наместники были действительно такими, как это изображено в «Учреждении».[1] А для этого надо было не так

---

[1] Стоит напомнить мнение Г. А. Гуковского по данному вопросу: «Вопрос об опеке над помещиками-тиранами, о контроле над действиями помещика у себя в деревне был, в сущности, вопросом о возможности вмешательства правительства и закона в крепостнические отношения, вопросом о возможности ограничения крепостнического произвола, о введении крепостного права хоть в какие-нибудь нормы. Вопрос этот неоднократно выдвигался передовыми группами дворянства, требовавшими законодательного ограничения крепостничества. Правительство отвергало

уж «много», как говорит Правдин, — надо, чтоб наместник был «честный человек» и «помогал страждущему человечеству».

Таким образом, Фонвизин все время подчеркивает, что хотя Правдин и чиновник, но действует он в имении Простаковых, но начинает с ними борьбу не от имени правительства, а «из собственного подвига сердца». Естественно, что делает он это именем правительства, то есть ссылается на изданный еще Петром I указ об опеке, опираясь на власть необычного, так сказать, идеального наместника. Политический смысл подобных действий Правдина в том и состоит, что он опирается на указ Петра, а не на указ Екатерины II.

Теперь о Стародуме. Нет нужды доказывать, что находящийся в отставке Стародум не может сделать того, что делает Правдин, занимающий определенный пост в наместничестве. Но неужели не ясно, что Стародум — идеолог, вдохновитель этой борьбы, что Правдин, осуществляя свой план, реализует, в сущности, главный тезис социально-политической программы Стародума, открыто провозгласившего, что «угнетать рабством себе подобных беззаконно». Как же можно забывать разговор Правдина со Стародумом в первом явлении пятого действия? Здесь Правдин как бы «докладывает» Стародуму, что над имением Простаковых будет установлена опека. Тот одобряет его действия и именно в этот момент произносит важнейшую фразу, что угнетать рабством себе подобных беззаконно. Разговор этот в идейном отношении один из центральных в комедии. Учитывая необходимость прохождения комедии через цензуру, Фонвизин строит диалог тонко, осторожно, но мысль его между тем ясна и отчетлива. Читатель и зритель ждали реакции Стародума — что он скажет в ответ на заявление Правдина о том, что именем правительства учреждается опека? Казалось бы, Стародуму ничего не оставалось делать, кроме как прославить Екатерину: ведь перед нами восстанавливалась справедливость. Но Стародум говорит не о том, как хорошо сейчас в России, имеющей такого мудрого

проекты закона об опеке. Фонвизин ставит этот вопрос со сцены. При этом развязка «Недоросля» — это изображение не того, что фактически делает власть, а того, что она должна делать и не делает» («История русской литературы», т. IV, стр. 181),

монарха, а о том, как *было бы* хорошо, *если бы* такой государь был.

Начинает Стародум осторожно: «Поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права». Заметим, как уже здесь условная форма предложения намекает, что человечеству могут быть возвращены права где-то, но не в России. Не следует при этом забывать, что разговор с Правдиным происходил после того, как Стародум обосновал свой уход в отставку, заявив о нежелании служить при дворе и объявив екатерининский двор «больным неисцельно». Зная убеждения Стародума, Правдин помогает ему перевести разговор на более конкретную почву. Он спрашивает, что мешает монарху (то есть Екатерине) вернуть «человечеству права: «Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать...» Стародум, получив удобный повод (умно поставленный вопрос), дает блистательный ответ: «А! Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться! Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных!» (I, 167—168)

Чтобы «бороться» с дворянами (как это предполагает К. В. Пигарев), чтобы искоренить «ужасное рабство», надобно, чтоб душа у государя была «великой». Надобно! Следовательно, у Екатерины такой души нет. Надобно, чтобы не улавливалась душа государыни в сети разных льстецов, любимцев, «скаредных», «недостойных» людей. Надобно! А душа Екатерины была в сетях этих людей, и ждать от нее уже давно было нечего. Тем самым разговор этот приобретает остро обличительный характер. Стародум со сцены прямо обвиняет Екатерину, во всеуслышание называет ее виновницей того положения, что «государство уже к падению наклоняется», повторяя почти дословно характеристику екатерининского царствования, данную Фонвизиным в «Рассуждении о непременных государственных законах».

Подобные убеждения, подобные оценки политического положения в России, режима Екатерины делали Стародума — частного человека — идеологом той борьбы, которую завершил, используя свое служебное положение,

Правдин. Политический характер борьбы Стародума — Правдина состоит не в том, что ее результатом было взятие в опеку имения Простаковых. Политической эта борьба становится оттого, что она развертывается не столько в имении Простаковых, сколько на подмостках театра, на глазах у публики, оттого, что гласно обоснована необходимость законодательного уничтожения существующего несправедливого, неразумного, приводящего к гибели всей нации, жестокого рабства.

Еще Петр I официальным указом ввел опеку правительства над имениями помещиков-тиранов. В пору своего показного либеральничания Екатерина в Наказе, в статье 256, напомнила об этом: «Петр I узаконил в 1722 году, чтобы безумные и подданных своих мучащие были под смотрением опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение; а последнее для чего без действа осталося, неизвестно».[1] Фонвизинский «Недоросль» отважно свидетельствовал: указ Петра сознательно не выполняется Екатериной II, она не хочет его применять, и потому, значит, она виновата в преступных действиях Простаковых и Скотининых.

Кстати, это последнее обстоятельство проливает свет на вопрос, почему Стародум противопоставляет Екатерине Петра. Петр для Фонвизина — единственный просвещенный монарх. Только с монархом, который подобен Петру, согласен сотрудничать Стародум. Быть у двора Екатерины он категорически отказывается. Вот почему неосновательны обвинения некоторых исследователей Фонвизина в том, что он заставил Стародума смотреть назад, а не вперед. Судить царствующего монарха примером Петра — совсем не значит смотреть в прошлое.

Не следует забывать еще об одном обстоятельстве: отказ от службы при дворе Екатерины, резкое осуждение политики и морального облика императрицы приобретали для зрителей особый смысл. Двор Екатерины характеризовался как источник бедствий нации. Но ведь в России мог быть другой двор, двор законного монарха, отторгнутого от власти, — двор Павла. Зритель, сидевший в театре на спектакле «Недоросль», отлично знал, *кто* автор комедии. Знали и о его отношениях с Н. Паниным и наследником. Судить существующий двор Екатерины — значило,

---

[1] «Наказ», стр. 89.

помимо всего прочего, противопоставлять ему возможный будущий двор Павла. Силою искусства Фонвизин заставлял своих современников представить, каким был бы двор нового монарха, — там бы, естественно, первое место занимал Стародум, там бы торжествовали его правила морали и политики. Вот почему успех Стародума в спектакле «Недоросль», речам которого бурно аплодировала публика, был успехом прежде всего политическим.

3

«Недоросль» завершен был в конце 1781 года. Естественно, что он был встречен откровенно враждебно правительством и идеологами дворянства еще до постановки в театре. Сразу же стало ясным, что поставить комедию будет очень трудно. Ее политическое содержание, ее эстетические принципы реализма, вскрывавшие правду крепостнических отношений, — все возмущало правительственные круги. Началась упорная, глухая борьба Фонвизина с правительством за постановку комедии. В борьбу был вовлечен Никита Панин, который, используя все свое влияние на наследника Павла, добился наконец постановки комедии.

Двор демонстрировал свою неприязнь к «Недорослю», что выразилось, между прочим, и в стремлении не допустить его постановки на придворном театре. Премьеру всячески затягивали, и вместо мая, как предполагалось сначала, она с трудом наконец состоялась 24 сентября 1782 года в деревянном театре на Царицыном лугу силами приглашенных актеров как придворного, так и частного театров.

Придавая комедии большое общественное значение, Фонвизин сам принял на себя режиссуру. Не без его влияния шло и распределение ролей. Естественным было желание писателя обеспечить сильными актерами прежде всего положительные роли. Стародума играл крупнейший русский актер Иван Дмитревский, Правдина — талантливый артист Плавильщиков. Несомненно, выбор этот определился не только талантливостью артистов, но и их общественным положением. Дмитревский был не только артистом, но и писателем, драматургом, общественным деятелем, близким к кругам передового дворянства. Он

был в хороших личных отношениях с Новиковым, Фонвизиным, позже — в начале 90-х годов — он станет соратником юного Крылова по издательскому делу. Плавильщиков, выходец из купцов, именно в 80-х годах становится одним из выдающихся деятелей русской культуры, выступая одновременно и как актер, и как драматург, и как писатель, и как издатель. Не разделяя мировоззрения дворянских просветителей, Плавильщиков как один из талантливых представителей буржуазной идеологии держался умеренных политических убеждений. Однако своей антидворянской деятельностью, своим, хотя и относительным, демократизмом он входил в лагерь передовой антиправительственной литературы и в этой борьбе мог быть союзником Фонвизина. Несомненно, участие в спектакле Дмитревского и Плавильщикова создавало дополнительные основания для успеха. И действительно, премьера комедии оказалась триумфом идей русского дворянского Просвещения. Публика шумно приветствовала спектакль. «Несравненно театр был наполнен, и публика аплодировала пьесу метанием кошельков».[1] В центре спектакля был Стародум. Его речи находили отклик. Спектакль превратился в своего рода общественную демонстрацию: «По окончании пьесы зрители бросили на сцену г. Дмитревскому кошелек, наполненный золотом и серебром... Дмитревский, подняв его, говорил речь к зрителям, в которой благодарил публику и прощался с ней».[2]

Получив одобрение петербургской публики, Фонвизин стал добиваться постановки «Недоросля» в Москве. Те же мытарства встретили его и во второй столице. Цензоры, руководствуясь прямыми указаниями начальства, не допускали комедию на сцену. Понадобился целый год упорной борьбы, чтобы добиться постановки «Недоросля» в Москве. Фонвизин в своих письмах содержателю московского театра Медоксу прямо говорит об «интригах», которые ему приходится преодолевать. Так же было задержано и издание «Недоросля» — впервые комедия вышла из печати лишь в 1783 году.

Но в этом издании и в тексте комедии, который ставился в театре, отсутствовали многие важные места,

---

[1] «Драматический словарь».
[2] «Художественная газета», 1840, № 5.

исполненные, по словам Фонвизина, «нравоучения». В недавно обнаруженном в архиве П. А. Вяземского списке «Друга честных людей, или Стародума» находится письмо «сочинителя „Недоросля“» Стародуму, в котором он просит издателя журнала поместить целиком разговор его, Стародума, с Софьею из второго явления четвертого действия. Этот разговор, сообщает Фонвизин, был «весьма сокращен г-ми актерами, дабы комедия не весьма была длинна». Ссылка на актеров носит цензурный характер — в издании «Недоросля» 1783 года те же остро политические суждения Стародума не были пропущены полицией. Через пять лет Фонвизин попытался было напечатать их, но и на этот раз без успеха — полиция запретила весь журнал.

А из разговора Стародума с Софьею были выброшены очень острые суждения. Вот один только пример. На реплику Софьи: «Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит...» Стародум отвечает: «А того не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет; того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут завидовать нечему: без знатных дел знатное состояние ничто».[1]

Раздражение двора вызывала прежде всего фигура Стародума, ставшая популярной у публики. Вот почему через несколько лет, решив издавать журнал, Фонвизин назовет его «Друг честных людей, или Стародум», а в письме «издателю» признается: «Я должен признаться, что за успех комедии моей «Недоросль» одолжен я вашей особе. Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составил я целые явления, кои публика и доныне с удовольствием слушает» (II, 40).

Из приведенных материалов видно, что публика ценила именно речи Стародума, а царская цензура вырезала некоторые из них из текста комедии, не случайно видя в них крамолу.

Борьба вокруг «Недоросля» продолжалась и после смерти писателя. И характерно, что правительственно-дворянский лагерь 90-х годов XVIII века и первых деся-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 195, д. 1108, лл. 1—23 и Д. И. Фонвизин. Собр. соч. в двух томах, т. II, стр. 59.

тилетий XIX столетия осуждал комедию, а приветствовали ее такие деятели, как И. Пнин, А. Бестужев, Пушкин, Гоголь, Белинский.

Современник Фонвизина, русский писатель-революционер Радищев высоко расценивал творчество смелого сатирика. Имена Митрофана и Простаковой Радищев упоминает в своих сочинениях как нарицательные. Он знаком с рукописной сатирой на Екатерину и двор — «Всеобщей придворной грамматикой», входившей в состав журнала «Друг честных людей, или Стародум». Эти факты общеизвестны. Но этим не ограничиваются отношения Радищева к творчеству Фонвизина, и в частности — к «Недорослю». Фонвизин и Новиков как русские просветители были идейными руководителями передового общества. Их творчество, их политические убеждения в 70—80-х годах были самыми прогрессивными в России, противостоя и узкоклассовой дворянской идеологии и екатерининской деспотической политике. Как уже говорилось выше, с наибольшей полнотой политические убеждения Фонвизина были выражены в «Рассуждении о непременных государственных законах». В силу своей антиправительственной направленности это сочинение не могло быть опубликовано. Но некоторые важнейшие положения этого «Рассуждения» послужили как бы основанием для программных речей Стародума. Таким образом, позиция Фонвизина, его политическая программа стала общественным достоянием.

В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев стремился рассказать и об идейной жизни России, нарисовать картину жизни передового лагеря, показать силу и слабость политических и этических теорий крупнейших русских просветителей. Помогая своему герою усвоить революционные убеждения, Радищев не мог пройти и мимо господствующих и популярных в эту пору политических теорий русского Просвещения, и прежде всего — теорий Новикова и Фонвизина. Поэтому путешественник, решая для себя вопросы политические, сопоставляет свою индивидуальную веру в монарха (первые главы «Путешествия») с верой и убеждениями дворянских просветителей, истинных духовных руководителей общества той эпохи. Так появились в «Путешествии» главы «Крестьцы», где излагаются мысли о воспитании, и «Хотилов», рассказывающая о том, как путешественник нашел рукопись

«Проект в будущем». «Проект в будущем» написан смелым, мужественным и замечательным человеком, понявшим чудовищность и преступность екатерининского самодержавия. Автор «Проекта в будущем» — большой мыслитель, истинный патриот, желающий обновления своего отечества и прежде всего — ликвидации в нем рабства. Вот почему Радищев называет этого человека «гражданином будущих времен».

Даже поверхностное сравнение «Проекта в будущем» с «Рассуждением» Фонвизина и, следовательно, с речами Стародума убеждает нас в их идейной близости. И это не случайно. Радищев вводит в свою книгу реальный объективный факт из истории русской общественной мысли — идеологическое выступление представителя дворянского Просвещения. Став на революционные позиции, развертывая свои революционные убеждения в «Путешествии из Петербурга в Москву», Радищев не мог пройти мимо своих предшественников, не мог не оценить их идейных позиций. И оценка эта была исторически верной. С одной стороны, он приветствует и одобряет их деятельность, он восхищается личным их мужеством и размахом их большой, не только литературной, но и общественной деятельности. Отсюда глубокое уважение к «гражданину будущих времен». Но, с другой стороны, он, революционер, не может согласиться с политическими выводами дворянских просветителей, их надеждами на будущего монарха (поскольку в Екатерину они потеряли веру). Именно поэтому он вводит дворянских просветителей в ту часть своей книги, где герой под влиянием событий русской жизни, сближения с народом и, наконец, встречи с ним, Радищевым, первым русским революционером, оказывается в состоянии преодолеть утопическую веру в принцип просвещенного абсолютизма. Необходимость для Радищева борьбы с идеей просвещенного абсолютизма диктовалась насущными нуждами русского революционного движения, ибо эта политическая концепция оказывалась на руку самодержавию. Дворянские просветители в силу своей ограниченности, наряду с блестящей и резкой критикой крепостнической России и режима Екатерины, своими заблуждениями в конечном счете разоружали русское освободительное движение. Политические заблуждения Фонвизина перестали быть его личным делом. Русское общество должно было освободиться от этих иллюзий.

На смену политическим теориям дворянских просветителей шло революционное мировоззрение. «Путешествие из Петербурга в Москву» — книга о русской революции — давало исторически правильную оценку политическим убеждениям Фонвизина и, значит, тем самым «Недорослю» и его герою Стародуму.

4

В главе, посвященной «Бригадиру», было показано, в каких конкретно-исторических обстоятельствах происходило зарождение реалистического метода. «Недоросль» появился через двенадцать лет. Новую комедию писал драматург, вступивший в пору творческой зрелости, политический деятель, чьи убеждения закалились в серьезных испытаниях, художник большого и оригинального ума, чуткий ко всему новому в жизни и в искусстве.

А за это время в искусстве изображения человека с новых позиций накоплен был ценный опыт. Новое шло отовсюду — со страниц русских журналов, из книг, прибывавших из Германии и Франции. Уже в 1772 году в «Живописце» Н. Новикова появился примечательный цикл «Писем к Фалалею» его родных — отца, матери и дяди. Ярко сатирические по своему духу, «Письма» как бы продолжали опыт Фонвизина в изображении бригадира и бригадирши. Типичные помещики, родственники Фалалея, выступали не как социальные маски обличаемого писателем порока — алчности, жестокости, наглости и отвратительного ханжества. Новиков сумел очеловечить своих героев, вдохнуть в них жизнь, показать в каждом не только помещика-паразита, но человека, правда, с огрубелой и бесконечно бедной душой.

Форма «Писем» позволяла Новикову предоставить своим героям возможность свободно рассказать об их заботах, желаниях, убеждениях. Все трое — отец, мать и дядя — любят Фалалея, и каждый, желая ему добра, дает советы. И хотя все советы одного порядка — как жить богаче, ничего не делая, как можно жениться на племяннице воеводы, чтобы получить право на безнаказанность любых своих действий,— «Письма» рисуют нам разных людей, отличающихся друг от друга не именами, а своим внутренним обликом. Трифон Панкратьевич, бывший судейский, «отрешенный за взятки», ныне помещик, «сди-

рающий кожу» с крестьян, — человек жестокий, самоуверенный, наглый, привыкший кулаком доказывать свою правоту, — он оказывается любящим отцом! Даже узнав, что Фалалей обесчестил его, напечатав в журнале посланное им письмо, он отходит после угроз и дарует сыну прощение. Тут же спешит высказать свою мечту: «Слушай же, сынок, коли ты хочешь опять прийти ко мне в милость, так просись в отставку да приезжай ко мне в деревню... Я тебе уже и приискал было невесту... накопил довольно... то, Фалалеюшка, будет нам житье! Никто не куркай!..» Как ни убога эта мечта, но она согрета живой нежностью отца, по-своему любящего сына-наследника.

Иной человек мать Фалалея, Акулина Сидоровна. У нее не только подлинное русское имя, но и свой характер. Ее письмо кажется неожиданным в сатирическом журнале — это последнее, прощальное письмо матери к сыну. Она умирает. Причина смерти и является поводом для сурового обличения крепостнических порядков: по словам ее мужа, она «надсадила себя», когда чинила расправу с дворовыми за то, что те не усмотрели, как собаку Фалалея, Налетку, «кто-то съездил поленом». Что, кроме негодования, отвращения и возмущения, может вызвать женщина, собственноручно избивающая крепостных до того, что «чуть жива пришла и повалилась на постелю».[1] Сколько в этом поступке дикости и жестокости! Но странное дело, разделяя возмущение автора крепостническими порядками, порождавшими такую психологию, таких типов, такую бесчеловечность, мы не переносим своего негодования на Акулину Сидоровну. Мы отчетливо понимаем, что она сама — жертва в этом мире, что она развращена предоставленным ей правом владеть и распоряжаться жизнью себе подобных людей, низведена на скотский уровень жизни. Оттого воистину новаторством было придание сатирическому письму трагического характера. Акулина Сидоровна пишет последнее письмо, дает последнее наставление любимому сыну, посылает ему свое материнское благословение. И сколько неожиданного открывается в ее душе. Забитая, покорная, всю жизнь терпевшая дикие побои мужа, она, оказывается, хранит в своем сердце два затаенных чувства — любовь

---

[1] «Живописец», 1772, л. 23, стр. 180—183.

к сыну и злобу к мужу. Перед смертью она, исповедуясь Фалалею, говорит о своей любви к нему и обучает, как надо обманывать ненавистного главу дома. С сердцем пишет Акулина Сидоровна о Трифоне Панкратьевиче: «норовок-от у него, прости господи, чертовский», «береги, мой свет, себя, как можно береги: плетью обуха не перебьешь; что ты с эдаким чертом, прости господи, сделаешь?» «Побереги ты, мой батько, сам себя, не рассерди отца-то еще: с ним и черт тогда уже не совладеет. Отпиши к нему поласковее, да хоть солги что-нибудь; ведь это никакой грех, не чужого будешь обманывать».

А заключалось письмо безмерно грустно: «Приезжай, мой батько, к нам в деревню, как таки можно приезжай; дай мне на тебя насмотреться: сердце мое послышало, что приходит мой конец. Прости, мой батюшко; прости, свет мой; благословение тебе посылаю, мать твоя Акулина Сидоровна, и нижайший, мой свет, поклон приношу. Прости, голубчик мой: не позабудь меня».[1]

Нельзя сказать, чтобы наше литературоведение вполне оценило эстетическое новаторство Новикова, всю глубину его принципиально нового построения человеческого характера. А «Письма к Фалалею» — важнейший этап в развитии русского реализма, это следующее после «Бригадира» звено, произведение, предваряющее триумф «Недоросля». Если внимательно посмотреть на принципы построения характеров в новой комедии, то увидим, что Фонвизин с глубоким вниманием отнесся к достижениям Новикова. Многое из того, что было утверждено в «Письмах к Фалалею» (например, в образах Трифона Панкратьевича и Акулины Сидоровны), получит свое продолжение в характерах Скотинина и Простаковой.[2]

С конца 70-х годов в журнале «Санкт-петербургский вестник» стали появляться стихотворения анонимного автора, смело обновлявшие поэзию и вносившие в одическую традицию то начало, которое все активнее проявляло себя в драматургии и прозе. Вскоре стало известно имя

---

[1] «Живописец», 1772, л. 24, стр. 186—188.

[2] На внутреннюю близость принципов построения характеров в «Письмах Фалалею» и «Недоросле» более двадцати лет тому назад указала И. Исакович, посчитав даже возможным на этом основании приписать «Письма» Фонвизину. См. ее статью «О «Письмах к Фалалею» Фонвизина». — Ученые записки ЛГУ, вып. IV, 1939, стр. 68—76.

поэта — Державин. Когда вышел на сцену «Недоросль», Фонвизин-художник не чувствовал себя одиноким — он видел, как новый художественный метод находил многочисленных сторонников.

Но, конечно, самым крупным художественным произведением нового направления, самым зрелым (по историческому счету той эпохи) явлением русского реализма был «Недоросль». Он и подводил итог уже достигнутому и силой художественного мастерства помогал другим писателям вставать на путь реализма.

Современная наука определяет художественный метод автора «Недоросля» как реализм. Г. А. Гуковский, анализируя образ Простаковой, пишет: «В этой концепции, органически заключенной в образе Простаковой, — высшая точка, достигнутая великим дарованием Фонвизина. Здесь он подошел вплотную к реалистической постановке вопроса в самом глубоком смысле слова. Здесь он открыл дорогу пониманию человека как личности и одновременно как социального явления».[1]

П. Н. Берков в итоге анализа комедии приходит к следующему выводу: «Реализм в «Недоросле» настолько естественен и органичен, что в этой пьесе труднее найти черты так называемого «классицизма», чем реализма: перед нами не «характеры-схемы» — «злая», «грубый», «благородный», «робкий», «дурно воспитанный» и т. д., а типические обобщения дворянского общества того времени, а также и представителей других классов крепостнического государства».[2] Завершает свой анализ «Недоросля» П. Н. Берков ссылкой на слова Горького, считавшего Фонвизина пролагателем новых, реалистических путей в искусстве, основоположником реализма, который будет в дальнейшем развит и углублен Крыловым, Грибоедовым, Пушкиным, Гоголем.

Реализм «Недоросля» категорически отстаивает и Д. Д. Благой. «Эта небывалая еще у нас дотоле художественная прозорливость Фонвизина, «потрясающая очевидность», с какой предстает в «Недоросле» крепостническая действительность, и сделала его, несмотря на наличие элементов и классицизма и эстетики новой,

---

[1] «История русской литературы», т. IV, стр. 197.

[2] «Русская комедия и комическая опера XVIII века», стр. 37—38.

«буржуазной» драматургии, первым замечательным образцом русского критического реализма, зачинателем, по слову Горького, «великолепнейшей и, может быть, наиболее социально-плодотворной линии русской литературы — линии обличительно-реалистической». Это же дало возможность Фонвизину поднять свою пьесу на уровень «комедии народной». Народность «Недоросля», органически связанная с его реализмом, и составляла в глазах Пушкина самую важную и значительную его черту».[1] Подобная характеристика «Недоросля» глубоко справедлива, исторически точна и конкретна.

Политические убеждения Фонвизина определили его намерение резко сатирически изображать крепостническую действительность и крепостников. Русский реализм рождался в самоотверженной борьбе с самодержавно-крепостническим государством, он был взят на вооружение дворянскими просветителями, а затем революционером Радищевым. Вот почему для дворянства, для Екатерины равно были опасны и политические воззрения Фонвизина, Новикова, Крылова, не говоря уже о Радищеве, и их эстетика.

Писатель-реалист, утверждал Белинский, изображает не барина и мужика, а человека. Фонвизин не поднялся до подлинно революционного признания равенства людей, но значительно приблизился к этому пониманию. Для него невозможно, недопустимо и даже преступно угнетение человека человеком. Как истый просветитель, он утверждал, что крестьяне — подобные дворянам люди. У дворян, в результате исторически сложившихся обстоятельств, значительно больше прав, чем обязанностей.

Для Сумарокова и его последователей нравственные качества людей определяются их социальной принадлежностью. В частности, благородство для них — черта, свойственная только дворянам. Фонвизин совершенно с иных, глубоко прогрессивных, истинно просветительских позиций подходит к оценке человека. Простаковы и Скотинины, с одной стороны, и Стародум с Правдиным, Милоном и Софьей, с другой, — социально равны, они дворяне, но между ними глубокая пропасть. Простаковы и Скотинин, в силу уклада своей жизни рабовладельцев, тиран-

---

[1] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века, стр. 299.

ства, паразитизма, помещичьего произвола, утратили все черты истинной личности. По словам Гоголя, в их облике поражает именно это отсутствие черт человеческих, полное торжество «огрубелого зверства». Отсюда утрата и национального характера. Комедия, по словам Гоголя, «выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына?» [1]

Положительные герои показаны именно в своих человеческих, а не сословно-типических чертах. И Стародуму, и Правдину, и Милону, и Софье свойственно прежде всего чувство личного достоинства. Стародум и Милон — патриоты, сердца Стародума и Правдина уязвлены страданием несчастных крепостных. В речах Стародума и Милона утверждается важнейшая и принципиальная мысль: храбрость, мужество, понимание долга, патриотизм — не есть сословная привилегия. Милон заявляет о том, что воин должен отличаться храбростью и неустрашимостью, умением жертвовать жизнью «для пользы отечества». Стародум, испытывая Милона, задает ему кардинальный вопрос, ответ на который должен был решить, в каком лагере находится Милон. «Вы прямую неустрашимость полагаете в военачальнике. Свойственна ли же она и другим состояниям?» Милон с достоинством выдерживает экзамен: «Она — добродетель; следственно, нет состояния, которое ею не могло бы отличиться... И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать». Этот ответ Милона заставляет Стародума признать его человеком своего круга и открыть ему свой нравственный кодекс, с поразительной точностью выраженный в формуле: «Я друг честных людей» (I, 158).

Воинствующий характер этого утверждения внесословной ценности личности несомненен. Несомненно также, что этот разговор Стародума с Милоном со сцены театра как бы продолжал спор, возникший в Комиссии по сочинению проекта нового уложения. Именно там

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 396.

дворянский идеолог аристократ Щербатов отстаивал дворянские привилегии, и в частности — право владения крепостными, на основании моральных достоинств — чести, храбрости, воинских заслуг перед отечеством. С отповедью аристократу выступил крестьянин Чупров. Щербатов, сказал он, «между прочим объявляет дворянскую заслугу издревле российскому государству, на то ответствую. Правда, что заслуга и завсегда признается за справедливое, и честь дворянская за достоверное почитается, да, однако же, и всякого звания люди во всем государстве не без порученных дел остаются: за кем какая должность состоит, чаю, что по возможности своей и все отправляют». Казак Олейников заявил еще более определенно: «Во всяком сражении с неприятелем рядовые казаки такою же кровью венчаются, как и предводители». И крестьянские депутаты Чупров и Олейников и дворянский просветитель депутат Яков Козельский доказывали Комиссии, что весь народ, все сословия, и крестьяне прежде всего, имеют не меньшие, а даже большие заслуги перед государством, что они истинные патриоты, что они своим трудом, питающим всех жителей России, своим ратным подвигом заслужили не меньшее, чем дворяне, право на уважение. Так впервые в 1767 году был нанесен удар сословной идеологии. Как видим, Фонвизин продолжил борьбу с сословностью и в своей комедии, и не только политически, но и эстетически.

В этом отношении примечательна попытка писателя сделать шаг в сторону практического показа, что значит это равенство людей. Раскрыв, какая пропасть отделяет Простакову от Стародума, писатель осмеливается сблизить моральный кодекс честного человека Стародума с моральным кодексом честного человека Цыфиркина. Нет нужды объяснять, как, в силу социальных обстоятельств, далеки друг от друга Стародум и Цыфиркин. Далекость эта подчеркнута понятным различием и их культурного уровня. И вместе с тем есть нечто общее у Стародума и Цыфиркина, что позволяет Стародуму с уважением разговаривать с простым солдатом. Больше того — в этом разговоре обнаруживается сходство воззрения Стародума и Цыфиркина на отдельные вопросы.

Для Простаковой Цыфиркин — *слуга*; для Стародума — он прежде всего *человек*, хотя и иного социального положения. С особой силой это проявляется в по-

следнем явлении пятого действия, в момент развязки. Наложив опеку на имение, Правдин начинает рассчитываться с теми, кому задолжала Простакова, и в частности — с учителями. И здесь-то проявляется благородство Цыфиркина, благородство не в словах, а в действиях, в поступках. Значение эпизода с Цыфиркиным тем больше, что сцена эта вся полемична: она направлена против дворянских и буржуазных пьес, наделявших представителей низшего сословия, и в первую очередь крестьян, отвратительными чертами жадности, грубости, черствости и т. д. У Фонвизина же наоборот — жестоки и жадны Простаковы и Скотинин, благородны Стародум, Правдин и Цыфиркин.

На вопрос Правдина, сколько приходится за обучение Митрофана, Цыфиркин отвечает: «Мне? Ничего». Даже Простакова свидетельствует, что Цыфиркин учил Митрофана два года, а заплачено ему только за один — десять рублей. Цыфиркин с достоинством отвечает: «Так: на те десять рублей я износил сапогов в два года. Мы и квиты.

Правдин. А за ученье?

Цыфиркин. Ничего.

Стародум. Как ничего?

Цыфиркин. Не возьму ничего. Он ничего не перенял.

Стародум. Да тем не меньше тебе заплатить надобно.

Цыфиркин. Не за что. Я государю служил с лишком двадцать лет. За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не возьму».

Стародум с тем же волнением, с каким раньше говорил Милону о добродетели и его «должности», заявляет о Цыфиркине: «Вот прямо добрый человек!» (I, 175)

На этом и строится эстетика Фонвизина. Простакова — изверг оттого, что она помещица, тиранка. Солдат Цыфиркин — добрый человек, потому что он трудится и не угнетает других.

Образы Стародума и Правдина исторически и социально верны. Это не литературные штампы, а живые персонажи, выхваченные из жизни характеры, передающие обаятельный облик дворянских просветителей с их патриотической ревностью к «возлюбленному отечеству»,

ненавистью к деспотизму и рабству, с сочувствием к крестьянскому состоянию. Вот почему зрители «узнавали» прототипов Стародума и Правдина.

При всей значительности художественных достижений Фонвизина в изображении положительных персонажей его реализм исторически ограничен. Он помог, разрушая классицизм, оторваться от условных литературных штампов. Он послужил основанием для создания типа передового деятеля, порожденного общественным движением. Но эти герои Фонвизина еще не предстали перед зрителями в индивидуальной неповторимости своей судьбы. Стародум, Правдин и Милон выступают как представители одного и того же определенного *типа,* определенной категории людей, противостоящих миру своекорыстных Скотининых и Простаковых. Для Фонвизина важно показать не столько *отличие* их друг от друга, сколько их *близость.* Ему дорога общность их убеждений, высокое понимание своей «должности», своих обязанностей перед отечеством, их готовность «из собственного подвига сердца своего» вступаться за всех тех, кто в этой помощи нуждался. Вот почему драматург оставляет в стороне то, что разделяет его героев, — биографию души, тайну сердца, особенность субъективного мира каждого.

Но все же образ Стародума — художественно значителен; это — крупный и исторически необходимый шаг вперед в создании живого характера положительного героя, без которого не мог бы появиться, например, образ Чацкого.

Те же черты фонвизинского реализма — его слабые и сильные стороны — проявились и в раскрытии отрицательных персонажей. Та же правдивость и исторически-социальная конкретность образов Простаковой, Митрофана, Скотинина. Та же обусловленность характеров и социальной практикой. И та же слабость в изображении индивидуального облика каждого из них. Правда, этого резкого различия Простакова и Скотинина и не могло быть по самому замыслу Фонвизина, ибо отличаются друг от друга люди, в которых развита богатая личность. Скотинин, Простакова и Митрофан давно начисто стерли с себя черты человеческой личности. Отсюда карикатурность, гиперболичность их изображения.

Но в двух образах реализм Фонвизина одержал замечательную победу. Характеры Еремеевны и Простаковой

не только социально и исторически верны, типичны, но индивидуально обусловлены. Еремеевна не только тип, представитель той категории крепостных, которые превратились в холопов, но и живая индивидуальность. В ее судьбе — судьбе типичной для русской деревни дворовой женщины — вместе с тем отражена и индивидуальная горькая жизнь несчастной, забитой мамки, у которой еще теплится где-то, в глубоких тайниках души, человеческое достоинство.

Характер Простаковой создан с учетом опыта автора «Писем к Фалалею» и художественного открытия автора «Исповеди». Фонвизин передает сложность и противоречивость человеческой натуры, даже такой неразвитой, как Простакова. Драматург стремится сделать «услугу человечеству», показав ему, какова природа человека, даже ничтожного, злого, наслаждающегося своим правом обижать других людей. Ненавидя рабство, презирая крепостников, Фонвизин любил человека, скорбел, когда видел надругательство над ним, в каких бы формах оно ни проявлялось.

Простакова — тиранка, деспотическая и одновременно трусливая, жадная и подлая, являя собой ярчайший тип русской помещицы, в то же время раскрыта и как индивидуальный характер — хитрая и жестокая сестра Скотинина, властолюбивая, расчетливая жена, тиранящая своего мужа, мать, любящая без ума своего Митрофанушку. И эта индивидуальная характеристика позволяет показать всю страшную, уродующую человека силу крепостничества. Все великие, человеческие, святые чувства и отношения у Простаковой искажены, оболганы. Вот почему даже любовь к сыну — самая сильная страсть Простаковой — не способна облагородить ее чувства, ибо она проявляется в низменных, животных формах. Ее материнская любовь лишена человеческой красоты и одухотворенности. А такое изображение помогало писателю с новой стороны обличить преступность рабства, растлевающего человеческую природу и крепостных и господ.

Но Фонвизин пошел дальше и сумел создать *новый тип* реалистической комедии, преодолев то противоречие, которое он видел в драматургических произведениях, написанных «во вкусе Дидеротовом». Он не привносил готовую сюжетную схему в комедию, а, обнаружив конфликт в общественно-социальных отношениях в крепостниче-

ской России, положил его в основание «Недоросля». В «Недоросле» поэтому движет действие не условная и традиционная в драматургии классицизма любовная интрига, не семейные перипетии в испытании добродетели, характерные для «слезной» комедии и мещанской драмы, а противоречие социальной жизни, наблюденное Фонвизиным. Гоголь прямо указал на то, что новый сюжет «Недоросля» помог драматургу глубоко и проникновенно вскрыть важнейшие стороны социального бытия России, «раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей». [1]

«Недоросль» связан с «Бригадиром» — и в то же время во многом от него отличается. В обеих комедиях действие происходит в доме провинциальных помещиков, отношения большинства героев определяются их семейным родством. В «Недоросле», так же как и в «Бригадире», отчетливо, достоверно, зримо передан быт семьи Простаковых. Но при этом Фонвизин уже не открывает «Недоросль» ставшей в «слезных» комедиях традиционной ремаркой — «Театр представляет комнату...» и т. д. И это понятно: изменились задача художника и способ раскрытия характера. Конфликт, на котором строит Фонвизин «Недоросля», втягивает в большие события всех героев. Раскрытые, как и персонажи «Бригадира», в своей социальной обусловленности, герои «Недоросля» силой нового конфликта начинают жить двойной жизнью, действие как бы выносится из помещичьего дома, семьи, частного бытия на простор жизни всеобщей. И тогда развивающиеся *в доме* события становятся отражением конфликтов и бедственных условий жизни *в стране*. Такой показ человека мог быть осуществлен только благодаря новому художественному методу.

Французскими просветителями было выдвинуто великое учение о связи человека с условиями жизни, о формировании средой характера, поступков и морали человека. Перед литературой открывались новые возможности подробного, достоверного, научно точного изображения нравов, раскрытия связи человека с обстоятельствами его жизни. Признавая равенство всех людей, просветители увидели разность социальных условий их существования.

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 396.

Появилось понятие определенной, конкретной среды. Характер перестал строиться по заданной схеме, он как бы извлекался из обстоятельств, обусловливавших весь его нравственный мир, он рождался на глазах читателя и зрителя. Среда объясняла человека, характер раскрывал закономерности среды.

Своеобразие русских исторических и социальных обстоятельств определило критический пафос литературы. Критика социальной практики дворянства издавна обостряла внимание писателей к условиям жизни обличаемых. Писатели-просветители углубили эту традицию, обогатили ее учением о зависимости убеждений человека от условий его социального и общественного бытия. Естественным следствием освоения просветительского учения о связи человека и среды явилось широкое изображение в литературе помещичьего и крестьянского быта, картин нравов русской жизни. Это мы видим у большинства писателей второй половины XVIII века. Правда, нередко подобные картины быта были данью времени, не больше. Потому они лишь соседствовали с героями, а не объясняли их поведение и не определяли их природу. Но в лучших художественных произведениях Фонвизина и Новикова, Державина и Радищева мы видим принципиально новые характеры, которые обусловлены обстоятельствами их жизни.

Фонвизин, рисуя семейство Простаковых, не просто воссоздает быт помещичьего дома, но показывает, как *быт* переходит в *бытие*. Драматург открыто говорит о том, что источник убеждений и поступков Простаковой — ее положение помещицы, чья власть поддерживается законом абсолютистского государства, указом о вольности дворянской. На резкий упрек Правдина — зачем она хочет наказывать своих крепостных слуг, Простакова и Скотинин дают следующее объяснение:

«Простакова. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях?..

Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?» (I, 171—172)

Правдин вновь замечает, что «тиранствовать никто не волен». Тогда Простакова раскрывает свои убеждения сполна: «Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги

высечь не волен: да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?»[1] Главные образы «Недоросля» убедительно свидетельствуют, что нет отвлеченных, по воле писательского разума существующих, порочных людей. Дело в реальных социально-политических условиях жизни русского дворянства. Определенные законом права: быть вольным, делать все, что угодно, с принадлежащими тебе людьми и жить за счет отданных тебе навечно в рабство крестьян — вот что развращает Простакову, вот что обесчеловечивает помещиков, превращает их в скотов. Тем самым созданные на основе нового художественного метода характеры объясняли с беспримерной глубиной и достоверностью общественные обстоятельства жизни крепостнической России. Образы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны из «Старосветских помещиков», герои «Мертвых душ», Троекуров и Савельич у Пушкина строились на принципах того художественного метода, который был открыт просветительской литературой XVIII века.

В «Недоросле» Фонвизин уже не ограничивается бытовой характеристикой своих героев, не замыкается в семейных отношениях, умея за семьей увидеть Россию, за точно выписанным интерьером помещичьего дома — экстерьер человеческой судьбы в обществе. Индивидуальные особенности характера каждого из членов семьи Простаковых оказываются связанными с определенной социальной системой, которая существует при поддержке двора. Так естественно и закономерно рассказ о поведении семьи Простаковых оборачивается осуждением правительства и монарха, осуждение жестокости Простаковой приводит к выводу, что угнетать рабством себе подобных недопустимо. Здесь же, в частном доме, в миниатюре разыгрывается та идейная борьба, которая проходила внутри дворянства между лучшими людьми господствующего сословия, стоявшими на просветительских позициях, и помещиками-рабовладельцами. Все это делало «Недоросль» новаторским произведением. Гоголь, автор «Ревизора», внимательно изучавший предшествующую литературу и

[1] Тот же принцип показа обусловленности поведения человека видим и в «Письмах к Фалалею» Н. Новикова: «Сказывают, — пишет один из героев «Писем», — что дворянам дана вольность: черт ли это слыхал, прости господи, какая вольность! Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать...» («Живописец», 1772, л. 15, стр. 115).

чутко улавливавший близкие ему традиции, увидел это близкое в том, что сделали до него авторы «Горя от ума» и «Недоросля». Одобряя изгнание Фонвизиным и Грибоедовым из своих комедий любовной интриги и семейной проблематики, он писал: «Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих».

«Высшее содержание» и было тем новым, что внес Фонвизин в реалистическую комедию, изменив ее природу. И опять же Гоголь дал точное и лаконичное определение новаторского характера комедий Фонвизина и Грибоедова: «Их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов». [1]

Созданная Фонвизиным общественная комедия преодолевала противоречия драматургии «во вкусе Дидеротовом». При этом развитие «высшего содержания» не приводило к отказу от комического начала. «Недоросль» — смешная, исполненная истинной веселости, обличительная комедия. Но то был смех карающий, смех, убивающий трусость и подлость, моральную низость дел и помыслов, ничтожество и преступность жизни Простаковых и Скотинина. Таковы сцены, раскрывающие материнскую любовь Простаковой, любовное соперничество Скотинина и Митрофана, мечты о семейном счастье Скотинина, обучение Митрофана наукам, экзамены, и многие, многие другие.

Но иногда смех вытесняет горькая ирония. Под знаком иронии проведены, например, беседы учителей Митрофана с Еремеевной. Напомню одну из второго действия. Простакова, в очередной раз грубо и несправедливо обругав Еремеевну, уходит, веля ей накормить Цыфиркина и Кутейкина. К ней — забитой и несчастной женщине — со словом сочувствия обращаются учителя Митрофана:

«Кутейкин. Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку...

Цыфиркин. А там и другую, вот те и умноженье.

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 400.

Еремеевна *(в слезах)*. Нелегкая меня не приберет! Сорок лет служу, а милость все та же...

Кутейкин. А велика ль благостыня?

Еремеевна. По пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день.

Кутейкин и Цыфиркин отводят ее под руки.

Цыфиркин. Смекнем же за столом, что тебе доходу в круглый год» (I, 128).

Как емко здесь каждое слово, сколько человечности, душевной чистоты и горькой иронии в словах обездоленных людей.

«Недоросль», обличая дворянский корпус, заставлял зрителя смеяться и негодовать, воспитывал презрение к Скотининым и открывал глаза на связь между порядками в их доме и делами при дворе российской государыни. Комедия учила ненависти к тем, кто творил страшное преступление, угнетая рабством подобных себе людей, и потрясала открывшейся картиной морального растления помещицы Простаковой, в которой автор увидел личность, развращенную паразитическим образом жизни, человека с безнадежно обмелевшей и запечатанной душой.

Реалистический метод позволил Фонвизину создать комедию, которая блистательно служила своему времени и устремлялась в будущее, обретая бессмертие и пробивая дорогу новой традиции — русской общественной комедии, мощно развитой в последующем Грибоедовым и Гоголем.

Итак, «Недоросль» — комедия реалистическая. Но мало констатировать этот факт. Необходимо тщательно изучить и определить конкретно-исторический характер фонвизинского реализма. Все исследователи справедливо отмечают, что в пору, когда классицизм еще не сдал господствующих позиций, написание реалистического произведения связано с огромными трудностями. Власть традиции сказалась и в «Недоросле». Отсюда и значащие фамилии, и сохранение симметрии в распределении отрицательных и положительных персонажей, и условность некоторых действующих лиц, и, главное, недостаточная в ряде случаев индивидуализация их. В «Недоросле» не всегда *тип*, раскрываемый как социальное явление, показан и как *личность*.

Эта дань традиции, неравноценность художественных образов, иногда дает повод отрицать принципиальную победу реализма в «Недоросле» и объявлять его типичным произведением классицизма, в котором, правда, сильны «элементы» реализма. Именно так и расценивает «Недоросль» К. В. Пигарев.

Автор монографии о Фонвизине рассмотрение «Недоросля» начинает с того, что приводит мнение Белинского об «истинно-художественных комедиях». Затем исследователь комментирует Белинского: «Под «истинно-художественной» комедией Белинский разумел комедию реалистическую и «превосходнейшим образцом» ее считал «Ревизора» Гоголя». Только после такого вступления исследователь приступает к анализу «Недоросля»: «В эпоху, когда писал Фонвизин, театральная эстетика выставляла иные принципы, обязательные при построении комедии. Типичным для комедии этого времени приемом борьбы со злом было противопоставление отрицательному явлению явления положительного, причем в тех случаях, когда его не существовало в действительности, оно изображалось якобы реально существующим... В полном соответствии с этими эстетическими требованиями четырем отрицательным персонажам «Недоросля» — Простаковой, Простакову, Скотинину и Митрофану — Фонвизин противопоставил такое же число положительных действующих лиц — Стародума, Правдина, Софью и Милона... Если уж в самом перечне действующих лиц «Недоросля» содержатся намеки на характер или социальную принадлежность как отрицательных, так и положительных персонажей, то внешним приемам их обрисовки, каковыми являются имена и фамилии, вполне соответствует и внутренняя их сущность».

Даже образ Простаковой не помогает исследователю понять то новое, что принес в искусство Фонвизин. К. В. Пигарев, правда, заявляет: «В обрисовке характера Простаковой Фонвизин отступает от прямолинейности и схематизма, свойственных классицизму». Но это отступление ни к чему не приводит, ибо все равно «образ Простаковой» только «предваряет» «творческие победы русского критического реализма».[1]

---

[1] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 166—167, 168, 169.

Мне думается, нет оснований подвергать сомнению художественную зрелость фонвизинской комедии, ее внутреннюю гармонию объявлять единством противоречивых тенденций, механическим соединением «элементов» классицизма и реализма.

Главное своеобразие состоит прежде всего в решении проблемы личности. Реализм предполагает раскрытие человека в единстве типического и личного, индивидуального. Типическое обобщение возникало на основе понимания обусловленности человека его социальными и национальными обстоятельствами жизни, а понимание обусловленности рождалось в точно определенное историческое время. Исторически складывалось и понимание личности.

Великая антифеодальная борьба народных масс выдвинула идеал свободного человека. Именно XVIII век утвердил человека как великую ценность мира. Тогда же стала обнаруживаться истина, что *богатство человека* не в его общественном положении, не в социальной принадлежности к господствующему классу, а *в его личности*. Тем самым жизнь поставила перед искусством большую задачу: заглянуть в душу человека, утвердить новые моральные ценности. До той поры искусство имело дело с человеком, в котором была убита, вытравлена или задавлена личность. Ее убивали и идея примата государства над человеком, и религиозный долг, и принцип сословности. Вот почему для искусства классицизма характерно незнание человека — человека живого, сложного.

Формирование реализма и означало рождение такого искусства, которое бы познало человека в его реальной сложности и социальной обусловленности, заглянув ему в душу, раскрыв богатство личности. Первые успехи, как мы видели, были одержаны Фонвизиным в «Бригадире», Новиковым в «Письмах к Фалалею», Державиным в его оде «На смерть князя Мещерского». Но сразу, уже на первом этапе, возникли совершенно неожиданные трудности. Они были по меньшей мере трех родов.

Во-первых, еще не было достаточного опыта в художественном выражении новой задачи. Начинать — значило открывать. Открытие требует и таланта и творческой смелости. Вот почему новое медленно пробивало себе дорогу.

Было и другое. Сатирическая традиция русской литературы, просветительские убеждения нацеливали внима-

ние писателей к тем общественным типам, которые следовало обличать. Первые реалистические образы, сатирические, — это образы русских помещиков, дворян и чиновников. Когда же писатели смело заглядывали в душу своего обличаемого героя — бригадира или бригадирши, советника или советницы, Трифона Панкратьевича или Акулины Сидоровны, Скотинина или Простаковых, — они обнаруживали не богатство, а *нищету*, бесконечную *бедность духа*. А время поставило задачу раскрытия *богатства* личности. Надо было найти выход из этого положения.

На путях поисков этого выхода возникло новое препятствие, и положение осложнилось. Дело в том, что в западной литературе, и в частности — во французской, хорошо известной русским писателям, было много сделано в этом направлении. Но то был *особенный* опыт. Он приводил к неожиданным результатам. Объявляя, что человек велик своим чувством, эти писатели (стоявшие на платформе враждебного классицизму эстетического кодекса сентиментализма) увели своего героя из живого, исполненного грозными социальными противоречиями мира в мир души и частных чувств. Чем больше обнажалась жизнь сердца и богатство души неповторимой личности, тем неодолимее отделялась она от других людей, их интересов, от общей жизни человечества. По пути, предложенному сентименталистами, пошли романтики. Новое направление начало свою историю и в России. В 90-х годах сентиментализм существовал уже как большая и богатая школа Карамзина. В начале XIX века романтизм утверждался Жуковским.

Романтизм показал воистину громадным и беспредельным мир личности. В этом отношении глубокий смысл имеет понимание романтизма, сформулированное Белинским: «В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца».[1] Открытие в душе каждого человека вселенной было естественным следствием возвеличения человека, начатого Просвещением на основе антифеодальной борьбы народов за свою свободу и независимость. Но сентименталисты и романтики не только сумели открыть тайны внутренней жизни

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 145.

личности, они и *принизили* эту личность, оторвав ее от *жизни всеобщей*. Поэтому, чтобы остаться на конкретно-исторической почве, нужно видеть наряду с сильными сторонами этого направления и его слабости.

Всю губительность романтической односторонности показа личности видел Белинский. Он неоднократно указывал, что при всей неисчислимости сторон духа человека две являются главными — «сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца» и «сторона общего». «Мир действительный имеет равные, если еще не большие права на человека, и в этом мире человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу все интересы и ревностно поборающим, по мере сил своих, его преуспеянию на пути нравственного развития».[1]

Естественно, появление сентиментализма и романтизма не было ошибкой или заблуждением. Оба направления возникли закономерно, и, при всей односторонности выдвинутого ими понимания личности, они сделали бесконечно много и двинули вперед художественное развитие человечества. Но от этого не меньшего внимания заслуживает опыт писателей-просветителей, первых зачинателей русского реализма. Опираясь на уже сложившиеся традиции русской литературы, и конкретно в эту эпоху — прежде всего на Ломоносова, они развивали и обогащали русский идеал человека. Им был человек-гражданин, патриот, деятель, глубокими внутренними нитями связанный с миром всеобщего.

Когда в 1769 году на страницах «Трутня» появился литературный персонаж с выразительной фамилией Правдулюбов (псевдоним издателя «Трутня»), который повел решительную борьбу с коронованным автором, главным сотрудником «Всякой всячины», к его фигуре, к его безумно смелым поступкам, его письмам издателю «Трутня» было приковано общее внимание. Характерной оказалась оценка нравственных качеств смелого издателя и автора писем под псевдонимом Правдулюбова — «Вы прямой друг истинного человечества».[2] Герой «Недоросля» Стародум, выражая существо своего нравственного кодекса, говорит: «Я друг честных людей». Путешественник Ради-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 159.
[2] «Смесь», 1769, л. XX.

щёва во вступлении к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» так пишет о себе: «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Вот эта способность «уязвляться» страданиями человечества, жить жизнью всего общества, уметь сострадать и действовать на благо людей и отечества и была объявлена русскими писателями-просветителями, первыми реалистами, главной чертой личности.

И это их сильная, а не слабая сторона. Они не изображали жизни сердца, не открывали читателю «тайное тайных» души личности, живущей отъединенно от мира, не потому, что не умели, не потому, что для того еще не пришло время, как думают некоторые историки литературы. Они не делали этого сознательно. Им важно было подчеркнуть главную сторону жизни человека — ту, в которой раскрывался он как сын своей страны, как гражданин своего отечества. Несомненно, подобное понимание личности страдало односторонностью, как односторонним было раскрытие тайны сердца замкнутой в себе личности, равнодушной к жизни других людей, их страданиям, их судьбам. Эта односторонность была ликвидирована только тогда, когда созрели для того исторические условия, — Пушкиным.

Он прошел через романтизм, усвоив его огромные достижения. А внутренний мир человека и составлял предмет романтизма. Мир души торжествовал у романтиков победу над внешним миром. «Реализм, — пишет Г. А. Гуковский, — должен был сделать и сделал другое: он обосновал психологический образ человека, унаследованный от Жуковского, столь же конкретными чертами объективного мира, облек его плотью, поместил в социальную действительность, в историю, и объяснил его характер этим объективным миром. Он поставил проблему с головы на ноги. Он взял человека романтизма со всей сложностью его психики и поместил его вместе с его душой и всем миром ее — в объективный мир, — и объективный мир оказался основой и человека романтизма, и его души, и того, как в ней отразился весь мир». [1]

Успехи европейского и русского романтизма, глубокая связь с романтизмом многих зачинателей реализма

---

[1] Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, стр. 66—67.

XIX века, пришедших к реализму через освоение опыта и преодоление романтизма, — убедительное свидетельство исторической закономерности такого пути завоевания искусством внутреннего мира души человека, богатств личности. Признание огромной роли романтизма в расширении возможностей реализма и прежде всего в искусстве выражения внутреннего мира, субъективности, психологического состояния личности, раскрытие человека, как уже говорилось, на новой основе (и человек и его внутренний мир души объясняются объективной действительностью) не должно приводить нас к выводу, что реализм развился из недр романтизма.

Реализм не есть результат саморазвития замкнутого ряда эстетических категорий: классицизм подготовил сентиментализм, сентиментализм — романтизм, а романтизм — реализм. Реализм сформировала история. Он родился в недрах живой жизни, где бушевала борьба за освобождение человека, где вырабатывался новый взгляд на человека и общество, где рождалось новое объяснение мира.

Время развертывания деятельности Пушкина-реалиста было и временем преодоления односторонности в понимании личности, о чем писал Белинский. Обычно в литературе подчеркивается, что́ именно брал Пушкин из завоеваний романтизма. Но забывается, что Пушкин не только брал, но и преодолевал односторонность романтического понимания личности. Пушкин, как и Грибоедов в «Горе от ума» (идя другим путем), навсегда преодолел губительность романтического культа личности. Их идеал человека — богатая личность, не замкнутая внутри себя, а осознающая себя сыном своей страны, гражданином своего отечества. Такое понимание богатств личности и было унаследовано Пушкиным, Грибоедовым, декабристами у писателей-просветителей XVIII века.

Как я уже говорил, одной из трудностей на пути изображения душевных богатств личности последней четверти XVIII столетия было отсутствие широкого круга новых людей, которые могли бы служить прообразами героев художественных произведений и раскрывать перед читателями богатства нравственного кодекса человека-деятеля, гражданина и патриота. Более того — русская литература была связана с передовым общественным движением, с политической борьбой народа, и пото-

му литературное дело было для многих писателей и главным общественным и политическим делом. Передовые писатели одновременно оказывались и передовыми общественно-политическими деятелями, вождями общественного движения. Такими были и Новиков, и Фонвизин, и Радищев. Создавая произведения о современности, рисуя картины идейной жизни и борьбы, они оказывались вынужденными изображать и свою политическую деятельность или деятельность своих друзей, которая была объективным явлением. Вот почему в образе Стародума многие современники видели изображение черт Новикова, а Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» рисовал образы замечательных и мужественных людей, равного с Новиковым и Фонвизиным типа сознания и убеждений.

В этой же связи следует помнить и своеобразие решения проблемы автобиографизма в русской литературе конца XVIII века. Автобиографическую повесть задумал и начал писать Фонвизин — «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Радищев написал автобиографическую повесть «Житие Ф. Ф. Ушакова» и ввел образ автора в другие произведения, в частности в «Путешествие из Петербурга в Москву». Наиболее художественное значение автобиографическая тема получила в державинской поэзии. Автобиографизм помогал писателям-реалистам конца XVIII века *через себя* раскрывать богатство внутреннего мира человека и подчеркивать в личности связи ее с миром всеобщего, ее способность быть другом честных людей.

Именно на этом пути будут одержаны художественно наиболее значительные победы. Передовая литература начала XIX века восприняла просветительский идеал личности. Она даже сохранила и развивала и сам принцип включения авторского образа в произведение как средство раскрытия идейных богатств конкретно-исторической личности, какой выступал авторский образ. Именно такую функцию несет, например, образ автора в «Евгении Онегине» Пушкина.

1783-1792

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«ЗА ОТЕЧЕСТВО И СВОБОДУ»

1

Уйдя в марте 1782 года в отставку, Фонвизин демонстративно подчеркнул свое нежелание «продолжать усердную службу» Екатерине II. Писатель мог отказаться от службы по указу «о вольности дворянской». Он счел нужным в прошении сослаться «на жестокую головную болезнь». Фонвизин был действительно болен. Правда, болезнь не помешала ему именно в последний период жизни развернуть с беспримерной активностью политическую деятельность. Уже в год отставки он целиком предался литературным делам — сначала настойчиво добивался постановки, а затем издания «Недоросля».

Смерть Н. И. Панина, уход в отставку, окончательное отдаление от дел Павла, которого с осени 1783 года отправили в Гатчинский дворец, изолировали Фонвизина от его прежнего круга людей. Завидное здоровье Екатерины, ее энергические действия в качестве монарха, в полную меру осознавшего силу и могущество своей власти, — все это окончательно рушило надежды на возможное воцарение Павла. В этих обстоятельствах Фонвизину предстояло решить: что же делать лично ему.

Раньше он отдавал большую часть своих сил борьбе за приход Павла к власти, идеологической подготовке будущего царствования воспитанника Панина. Ныне, видя, какое зло нации приносит самовластие (опыт исследования Франции в «Записках первого путешествия» и России в «Рассуждении о непременных государственных

законах»), он решил целиком отдаться литературной борьбе с политическим режимом Екатерины II. С удивительной смелостью он вступает в поединок со всемогущей монархиней.

Пока Фонвизин обдумывал план действий, судьба, как бы испытывая его, бросила ему вызов — его пригласили участвовать в правительственном журнале. Просветитель, не колеблясь, этот вызов принял.

Видя рост общественной активности писателей и прежде всего популярность созданной Новиковым в Москве просветительской организации, Екатерина в 1782 году решает вновь заняться литературой. Так появляется идея создания в столице объединения литераторов — объединения, которое бы послушно исполняло ее волю. Для этого удобнее всего было создать журнал, к сотрудничеству в котором можно было привлечь нужных писателей. В 1783 году и выходит «Собеседник любителей российского слова». Новый журнал издавался под наблюдением княгини Дашковой и самой Екатерины II. В число сотрудников были приглашены крупные писатели: Херасков, Фонвизин, Богданович, Княжнин, Капнист, а также молодые писатели и поэты — Костров, Жуков, Левшин и др. Первый номер журнала открывался «Одой к премудрой Киргиз-кайсацкой царевне Фелице», в которой безвестный «татарский мурза» сатирически изображал вельмож и рассыпал искренние комплименты императрице. Вскоре стало известно, что «мурза» — это Г. Державин. Примеру поэта, полагала Екатерина, должны были следовать и остальные писатели. Но и на этот раз Екатерину постигла неудача. Ни Фонвизин, ни Княжнин, ни Капнист, ни даже Херасков не пожелали прославлять «матерь отечества». Да и Державин, начавший свой путь «Фелицей», перестал писать нужные императрице стихи. Не писал даже после откровенных стихотворных посланий, напечатанных по приказанию Екатерины в «Собеседнике», в которых Державину прямо предлагалось писать в духе «Фелицы», прославлять Екатерину с прежним энтузиазмом. Не дождавшись нужных произведений от этих писателей, Екатерина открывает очередные номера журнала анонимными стихами нанятых одописцев. Только эти безвестные, «шинельные» поэты соглашались славить русскую императрицу. Из заметных писателей усердствовал один Богданович.

Политическое содержание начатой Фонвизиным борьбы, ее размах, ее смысл, наконец ее результаты изучены слабо. Обратимся к двум последним работам, характеризующим «Собеседник» и участие в нем Фонвизина. П. Н. Берков пишет: «Но несомненно, самым важным моментом в истории «Собеседника» было помещение на его страницах «Вопросов» Д. И. Фонвизина и «Ответов» на них Екатерины».[1] Выступление Фонвизина рассматривается только как «момент в истории» журнала, не более. Спрашивая, каков смысл сатирического сочинения Фонвизина «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание», напечатанного в «Собеседнике», П. Н. Берков отвечает: «Это была смелая, но заранее обреченная на неудачу попытка публично потребовать у Екатерины отчет о том, что так волновало мыслящих, передовых людей того времени».[2]

На тех же позициях стоит и К. В. Пигарев, повторяя точку зрения Беркова. «Самым ярким эпизодом в истории «Собеседника», как и вообще в истории русской журналистики 80-х годов, является полемика Фонвизина с Екатериной».[3] В том же духе характеризуется и политический смысл выступления Фонвизина на страницах «Собеседника», «поединок» с Екатериной, полемика, больше характеризующая Фонвизина с нравственной стороны, чем с общественной, поскольку он предстает смелым и бесстрашным человеком, решившимся полемизировать с самой императрицей.

Для пишущих о выступлении Фонвизина в «Собеседнике» характерна недооценка общественного и политического значения этого выступления. Представители старого литературоведения или сознательно замалчивали участие Фонвизина в «Собеседнике» (см., например, вступительную статью А. П. Пятковского к изданию сочинений Фонвизина под редакцией П. А. Ефремова), или всячески сглаживали его, низводя лишь до дерзкой выходки, за которую писатель немедленно поплатился (П. А. Вяземский в своей монографии о Фонвизине). В последней по времени монографии К. В. Пигарева, посвященной

---

[1] П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., изд-во АН СССР, 1952, стр. 335.

[2] Там же, стр. 336.

[3] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 217.

Фонвизину, изложена именно эта точка зрения. В годы подъема общественно-политической и просветительской работы Фонвизина (1782—1788) он показан одиночкой, донкихотствующим писателем, мечтающим «учить Екатерину царствовать». Выступление Фонвизина с «Вопросами» рассматривается как смелый, но бессмысленный поступок писателя. «Зная почти наверняка, что он ничего не добьется» от императрицы, он «выставлял на общественное обсуждение самые щекотливые вопросы, касающиеся ее внутренней политики».[1] К. В. Пигарев, игнорируя реальное содержание общественной деятельности Фонвизина и его политических и художественных произведений, навязывает писателю свои представления о том, как должен был вести себя человек, исповедовавший веру в просвещенного монарха. Да, Фонвизину свойственна была эта вера, в силу исторической ограниченности и слабости его политических убеждений. Но никогда Фонвизин не возлагал надежд на Екатерину, не видел в ней просвещенного монарха. Вот почему смысл фонвизинской деятельности не в обращении к Екатерине, а в борьбе с ее реальной антинародной политикой; не советчиком императрицы, а борцом был просветитель Фонвизин.

Каков же подлинный характер выступления Фонвизина на страницах «Собеседника»? Сколько статей напечатал он в журнале?

«Собеседник» начал выходить с 20 мая 1783 года. Открывался он, как известно, одой Державина в честь Екатерины. Подготавливая первый номер журнала, редакция была озабочена сбором материалов. Видимо, она обратилась к известным писателям. Фонвизин отдал подготовленную им работу полулингвистического-полулитературного содержания «Опыт российского сословника». Часть «Опыта» была опубликована уже в первой книжке. Но статей и стихов у издателей было явно мало. Приходилось изворачиваться, например перепечатывать недостающие стихи и статьи из «Санкт-петербургского вестника» (так, перепечатали державинскую «Оду к Степану Васильевичу Перфильеву, на смерть князя Мещерского», статью «О правописании слова „драма“ и другие), публиковать речь Княжнина, произнесенную еще в 1779 году

[1] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 218.

в Академии художеств, и т. д. Значительная часть страниц журнала была заполнена сочинениями самих издателей — Дашковой и Екатерины. Со второго номера стал печататься своеобразный фельетон императрицы «Были и небылицы» и историческое сочинение «Записки касательно Российской истории». Из ста девяноста одной страницы второго номера пятьдесят занимали сочинения Екатерины.

Во втором номере издатели напечатали присланное к ним письмо Любослова, в котором содержалась филологическая критика «Фелицы» Державина и «Опыта» Фонвизина. Критика Любослова раздражила издателей. Вот почему, когда, обиженный нападками Любослова, Фонвизин дал в журнал свой ответ «Примечания на критику, касающуюся до Российского сословника», он был немедленно опубликован в третьем номере журнала. В четвертой книге редакторы напечатали продолжение фонвизинского «Опыта» и его новое сочинение «Челобитная Российской Минерве от российских писателей». В седьмой книге появилось «Поучение иерея Василия», в десятой закончилось печатание «Опыта».

Все указанные сочинения Фонвизина, сатирические по своему характеру, не ставят больших социальных и политических тем. С фонвизинским блеском написанные объяснения более ста слов в «Опыте» — это сатирические миниатюры, в которых подвергалась осмеянию дворянская знать. Читателю сообщалось, например: «*Проманивать* — есть больших бояр искусство», «*Сумасброд* весьма опасен, когда в силе», «*Глупцы* смешны в знати» и т. д. Как истый просветитель, Фонвизин выступил с протестом против дворянского толкования слова «подлый». «Человек бывает *низок* состоянием, а *подл* душою. В *низком* состоянии можно иметь благороднейшую душу, равно как и весьма большой барин может быть весьма *подлый* человек. Слово *низкость* принадлежит к состоянию, а *подлость* — к поведению» (I, 224—227).

Сатира «Опыта», несомненно, носила ограниченный характер. Как мог Фонвизин на том же материале сделать свою сатиру политической, мы видим на примере «Всеобщей придворной грамматики».

Вряд ли также справедливо объявлять «Поучение иерея Василия» «пародией на замысел императрицы использовать полуграмотное сельское духовенство как

аппарат для приведения крепостных в полное подчинение церкви и государству».[1] «Поучение» — сатира на духовенство, такое же грубое, бескультурное, как и сельское дворянство, которому оно служит. Заявление сельского попа: «Всякий нищий наверное пьяница, потому что добрый крестьянин, кроме гнева божия, обнищать не может», — выражало сокровенное убеждение Скотининых и Простаковых. Борьба с пьянством — это борьба за исполнение крестьянином своих обязанностей и своего долга, так как пьющий мужик отстает «от всякого крестьянского дела, не платит подати государю, оброка помещику». Внешним поводом для сатиры на духовенство, поучающее крестьян не пить, видимо была «Беседа, или Слово нравоучительное святого отца нашего Василия о пиянствующих», изданная в 1782 году.

Выпадом против вельмож, преследовавших поэтов, как, например, преследовал Державина генерал-прокурор синода А. А. Вяземский, была «Челобитная». Но «Челобитная» не могла волновать Екатерину, поскольку вельможам противопоставлялась она — «великая богиня», «чьего покровительства» искали писатели. Такую «сатиру», как известно, Екатерина принимала с величайшим удовольствием. Доказательством того, что все указанные сочинения Фонвизина были встречены издателями, и в частности — Екатериной, в общем благосклонно, является фельетон «Были и небылицы». Он был своеобразным барометром, который чутко и незамедлительно сигнализировал об отклонении журнальных статей от угодного курса. Об этих сочинениях Фонвизина в «Былях и небылицах» нет никаких упоминаний.

Зато там упоминается о других сочинениях, которые вызвали возмущение и ярость Екатерины, заставили ее начать борьбу с неугодным автором. В ходе этой борьбы Екатерина запуталась, отступила от прежнего намерения покровительствовать писателям, «говорящим открыто истину», оказалась вынужденной пустить в ход далеко не литературные средства полемики — угрозы и окрики. Как некогда в полемике с издателем «Трутня», так и в «Собеседнике» Екатерина вновь потерпела поражение, была вынуждена отказаться от затеи руководить

---

[1] П. Н. Берков. Театр Фонвизина и русская культура. В сб. «Русские классики и театр», стр. 96.

литературой: она перестала писать «Были и небылицы», а вскоре же за тем «Собеседник» вообще прекратил свое существование. В специальной статье, написанной Козодавлевым, издатели указывали, что причиной закрытия — «упадка» — журнала «Собеседник» была «война», объявленная «дурными стихотворцами и их приятелями издателям». Сочинения, подвергшиеся гневной критике автора «Былей и небылиц», и довели журнал до закрытия.[1]

Какие же сочинения оказались неугодными императрице? Их было три: «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание», «Повествование мнимого глухого и немого», «Письмо сочинителю «Былей и небылиц» от автора „Нескольких вопросов"». Печатались они с третьего по седьмой номер, то есть с 28 июля по 28 октября 1783 года.

Кто автор этих сочинений? Два из них — «Несколько вопросов» и оправдательное письмо по поводу этих «Вопросов» — известны как фонвизинские. Обратимся сначала к ним. «Несколько вопросов» были присланы в журнал анонимно. Мало того — видимо, Фонвизин сознательно сделал так, чтобы даже подозрение не могло коснуться его. Сохранилось письмо Екатерины к Дашковой по поводу «Нескольких вопросов», из которого ясно, что подозревался не Фонви́зин, а Иван Иванович Шувалов, которого императрица изобразила в «Былях и небылицах» в образе Нерешительного.

«Несколько вопросов» сопровождались письмом к издателю, которое раскрывает политический смысл фонвизинского выступления. Используя игру Екатерины в либерализм, Фонвизин предложил ей сочинение, вскрывающее социальные и политические язвы русской жизни. Вот почему письмо Фонвизина начиналось с сочувственного одобрения политики, провозглашенной издателями «Собеседника»: «Издатели оного не боятся отверзать двери истине, почему и беру вольность представить им для напечатания «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание».[2] «Недоросль» уже поставил перед умными и честными людьми несколько важных вопросов, касающихся жизни русской нации и русского государства. Теперь Фонвизин

[1] «Собеседник любителей российского слова», ч. XVI, стр. 9.
[2] Там же, ч. III, стр. 161.

вновь обращался к общественному мнению. «Несколько вопросов» ставили на обсуждение острые проблемы политической жизни России. У Екатерины как самодержавного государя, естественно, нельзя было спрашивать отчета в ее действиях, поступках, политике. Но от монарха-писателя, кокетничающего своим либерализмом, можно было ожидать ответа на некоторые вопросы. Большинство вопросов Фонвизина носило политический характер.

Второй вопрос — «Отчего многих добрых людей видим в отставке?» — заключал в себе намек на недавние реальные события: незадолго перед этим демонстративно ушел в отставку Никита Панин, а 10 марта 1782 года подал в отставку сам Фонвизин. Отставки носили политический характер. В свое время к отставке прибег двадцатичетырехлетний писатель Новиков, отказавшись служить екатерининскому государству, о чем публично объявил в предисловии к своему журналу «Трутень». В журнале «Живописец», четвертое издание которого вышло в 1781 году, печатались письма и советы Новикова некоторым людям об их праве уйти в отставку с государственной службы, но при условии общественной деятельности на благо отечеству. Несомненно, тема эта была одной из острейших в политической жизни той поры, чем и объясняется вопрос Фонвизина.

Пятый вопрос — «Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства?» — формулировал требование гласности суда, как важнейшего средства борьбы с произволом и взяточничеством судейских чиновников, которых Екатерина неоднократно брала под защиту в своих литературных сочинениях.

Седьмой вопрос — «Отчего главное старание большей части дворян состоит не в том, чтоб поскорей сделать детей своих людьми, а в том, чтоб поскорее сделать их, не служа, гвардии унтер-офицерами?» — был резким выпадом против паразитизма дворянства.

Вопрос десятый — «Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?» и восемнадцатый — «Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостию, потом же оставляются, а нередко и совсем забываются?» — намекали на разгон Екатериной Комиссии по сочинению проекта нового уложения.

Под номером тринадцатым было напечатано рассуждение о вырождении дворянства: «Чем можно возвысить

упадшие души дворянства? Каким образом выгнать из сердец нечувственность к достоинству благородного звания? Как сделать, чтоб почтенное титло дворянина было несумненным доказательством душевного благородства?» Вопрос формулировал центральную идею «Недоросля», где Фонвизин изображал «упадшие души» дворян Скотининых и Простаковых (II, 272—275).

Получив «Несколько вопросов», Екатерина растерялась, почувствовав ловушку, и потому не хотела их печатать. Но затем изменила решение и надумала опубликовать вопросы вместе со своими ответами. На ответы Екатерина возлагала большие надежды: они должны были и парализовать сатиру, и продемонстрировать еще раз ее «любовь к истине» (не побоялась напечатать дерзкие вопросы), и, главное, — проучить «свободоязычного» автора, припугнуть его так, чтобы и другим неповадно было. В письме Дашковой Екатерина писала: «я внимательно перечитала известную статью и менее, чем прежде, против того, чтобы возражать на нее. Если бы возможно было напечатать ее вместе с ответами, то сатира будет безвредна, если только повод к сравнениям не придаст бо́льшей дерзости».[1]

В ответах Екатерине не удалось скрыть своего раздражения, в них были окрик и угрозы. Но и этим она не удовлетворилась. И в следующей, четвертой части журнала, в очередной статье «Былей и небылиц» появилась отповедь автору «Нескольких вопросов». Устами «дедушки» — персонажа фельетона, выразителя авторских мыслей, с раздражением заявлено: «Молокососы! Не знаете вы, что я знаю, в наши времена никто не любил вопросов; ибо с оными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства, нам подобные обороты кажутся неуместны, шуточные ответы на подобные вопросы не суть нашего века; тогда каждый, поджав хвост, от оных бегал».[2] Четырнадцатый вопрос — «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?» — особенно раздражил дедушку»: «Отчего? Отчего? — говорит он. — Ясно,

[1] П. Пекарский. Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II. СПб., 1863, стр. 14.

[2] «Собеседник любителей российского слова», ч. IV, стр. 163—164.

оттого, что в прежние времена врать не смели, а паче письменно без... опасения».[1]

После отповеди в следующей, пятой части журнала было напечатано письмо автора «Нескольких вопросов» к сочинителю «Былей и небылиц». Екатерина назвала письмо «исповедью кающегося». Вслед за нею и литературоведы объявили письмо покаянием, которое Фонвизин был якобы вынужден написать, потому что испугался своей дерзости. Такое толкование мне, как и П. Н. Беркову, представляется неправильным.[2] Зачем нужно было оправдываться Фонвизину, если имя его не было известно? Наоборот, из чувства осторожности не следовало бы ему вообще больше писать, чтобы как-нибудь ненароком не выдать себя. Но Фонвизин написал свое письмо и назвал его «объяснением». Задача «объяснения» — использовать замешательство Екатерины в обличительных целях. Сочинитель «Былей и небылиц» не выдержал тона, сорвал свою игру, когда стал грозить. Угрозы одного сочинителя другому не имеют смысла. Тон же сочинителя «Былей и небылиц» явно выдавал его, как власть имущего, с чьими угрозами действительно надо считаться, чем Фонвизин и поспешил воспользоваться.

Фонвизину хотелось сообщить читателю, что остальные заготовленные им вопросы не напечатают, что от этой полемики придется отказаться. Такова первая цель письма (вспомним, что в сопроводительном письме к «Нескольким вопросам» было сказано: «Буде оные напечатаются, то продолжение последует впредь и немедленно»). Нужно было сказать и о том, что причина прекращения посылки вопросов — неудовольствие сочинителя «Былей и небылиц». Надлежало намекнуть читателю, кто скрывается под именем автора «Былей и небылиц», — такова вторая цель письма. Фонвизин давал понять читателю, что заявление издателей, будто бы они готовы «отверзать двери истине», — ложное, что на самом деле они боятся

---

[1] «Собеседник любителей российского слова», ч. IV, стр. 168.

[2] П. Н. Берков считает, что в письме «под видом извинения за редакционную неловкость некоторых формулировок он (Фонвизин. — *Г. М.*) повторил горькие упреки правительству Екатерины... Таким образом, внешняя форма «покаянного» письма не должна скрывать внутреннего смысла фонвизинского ответа» («История русской журналистики XVIII века», стр. 337).

«истины», что за попытку прикоснуться к «истине» начинают грозить и преследовать.

Чтобы напечатать задуманное письмо в журнале Екатерины, нужно было найти слабое место у противника, и Фонвизин нашел его — тщеславие. Следовало польстить Екатерине и этой лестью притупить ее бдительность. Так и произошло — письмо напечатали.

Задумав раскрыть имя подлинного автора «Былей и небылиц», отвечавшего на присланные вопросы, Фонвизин избрал подчеркнуто почтительный тон письма: «По ответам вашим вижу, что я некоторые вопросы не умел написать внятно, и для того покорно вас прошу принять здесь мое объяснение», «вседушевно благодарю вас за ответ на мой вопрос», «видя, что вы, государь мой, в числе издателей «Собеседника», покорно прошу поместить в него сие письмо. Напечатание оного будет для меня весьма лестным знаком, что вы моим объяснением довольны»,[1] и т. д. Уже это довольно красноречиво свидетельствовало, что сочинитель «Былей и небылиц» — лицо чрезвычайно важное, что гнев и милость его далеко не безразличны для автора «Вопросов». Но кто же это важное лицо, состоящее одним из издателей «Собеседника»? Один издатель был хорошо известен: княгиня Е. Р. Дашкова. Кто же второй, да еще занимающийся литературой, да еще более важный, чем Дашкова? Уже все это довольно прозрачно намекало на автора. Но чтобы не было никаких сомнений, Фонвизин точно указал на императрицу.

Придравшись к одному из ответов, он написал: «Вседушевно благодарю вас за ответ на мой вопрос: «Отчего тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства?» Ответ ваш подает надежду, что размножение типографий послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия».[2] В России никто, кроме императрицы, не мог дать разрешения на печатание тяжеб, никто, кроме нее, не мог «подкрепить правосудие».

Дав понять, *кто* автор «Ответов», Фонвизин тем самым сообщил читателю, что, поскольку своими вопросами

---

[1] «Собеседник любителей российского слова», ч. V, стр. 145, 147, 150.

[2] Там же, стр. 147.

он не угодил императрице, заготовленные им новые вопросы печататься не будут.

Фонвизин поставил на общественное обсуждение важнейшие политические проблемы, привлек к ним внимание общества, показал читателям, что Екатерина не хочет способствовать торжеству «истины», что ее заявление о желании счастья подданным — ложно. Планам Екатерины объединить литераторов, руководить ими, заставить строить ей алтарь нанесен был сокрушительный удар.

В «Собеседнике» были напечатаны без подписи еще два произведения Фонвизина: «Повествование мнимого глухого и немого» и сопроводительное письмо к «Повествованию», адресованное издателям журнала».[1]

---

[1] Впервые на принадлежность «Повествования» Фонвизину указал С. Н. Глинка в статье «Пример русского гостеприимства в новые времена». В своей книге «А. Н. Радищев и его время» (1956) я, сославшись на свидетельство С. Н. Глинки и приведя ряд косвенных доказательств (совпадение фактов биографии рассказчика и Фонвизина, сравнительный стилистический анализ «Повествования» и «Недоросля» и т. д.), высказал мысль, что действительно «Повествование» следует считать фонвизинским. В рецензии на мою книгу Л. В. Крестова, отвергнув все аргументы, решительно заявила: «Неудачным является, по нашему мнению, также и желание приписать Д. И. Фонвизину напечатанное в «Собеседнике» „Повествование мнимого глухого и немого“» («История СССР», 1958, № 6, стр. 182). Чего стоят подобные категорические, но бездоказательные заявления? Во время дальнейших разысканий мне удалось обнаружить проспект издания Собрания сочинений Фонвизина, в котором сам Фонвизин признал «Повествование» своим.

И еще одно. Л. В. Крестова уличает меня в ошибке, заявляя, что, упоминая статью С. Н. Глинки, я повторяю при этом «ошибочную и неполную ссылку Н. С. Тихонравова на вторую книгу «Русского вестника» за 1815 г.». И тут же уточняет: «На самом деле вторая книга «Русского вестника» за 1816 г. (т. 33, стр. 64)». Уточняет ли Л. В. Крестова? Во-первых: у Н. С. Тихонравова и у меня ссылка иная — «Русский вестник в пользу семейственного воспитания»; во-вторых, с 1808 по 1815 год С. Н. Глинка издавал «Русский вестник», а с 1815 года этот же журнал выходил двумя отделениями с разными заглавиями: «Русский вестник на 1816 год, или Отечественные ведомости достопамятных европейских происшествий» и «Русский вестник на 1816 год в пользу семейственного воспитания»; в-третьих, первые номера обоих журналов, объявленных на 1816 год, вышли осенью и зимой 1815 года; из всего этого следует, что ссылка у Н. С. Тихонравова и у меня — точна. Поправка же Л. В. Крестовой носит в высшей степени странный характер — в 1816 году не было журнала с названием «Русский вестник», не существует и 33-й том этого журнала.

В сопроводительном письме издателям «Собеседника» анонимный автор предупреждал о цели своего «Повествования»: «Желал бы, однако, слабости людские исправлять и пороки в омерзение приводить». В новом сочинении с гневом и сарказмом рассказывалось о преступных действиях провинциальных дворян-помещиков — Пимена Щелчкова и Язвина. Щелчков — «отставной майор из солдатских детей, по жене разбогатевший». Он сродни Скотинину, но только наглее и бесстыднее. Скотинин ограничивался тем, что со своих крестьян «драл три шкуры». Щелчков «обижал кого хотел» — «то рубил нашу рощу, то отнимал скотину у наших мужиков». От его грабежей «никакого суда найти было нельзя, ибо воевода и с приписью подьячий с женами и с детьми были не что иное, как твари, питавшиеся от крупиц, падающих майорскому дому; а потому в городе Дмитрове место естественных и положительных законов заступала всегда одна пьяная воля его высокоблагородия» (II, 13—14).

Но Щелчков не исключительное явление провинциальной жизни. Он порожден всем строем самовластия, он поддерживаем двором. Начатая впервые в «Недоросле», тема двора вновь широко и смело разрабатывается в «Повествовании». Щелчковы могут своевольничать и попирать все законы в воеводствах потому, что имеют поддержку у двора. «У двора имел он ближнего свойственника и нелицемерного друга». «Друг и покровитель» — фигура колоритная. Создавая этот образ, Фонвизин открыто бичевал екатерининскую практику награждения чинами и званиями за оказание ей личных услуг. Еще в «Нескольких вопросах» Фонвизин спрашивал: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?» Екатерина сразу поняла, что вопрос «родился от свободоязычия», и пригрозила вопрошателю Сибирью. Но Фонвизин не исправился. Теперь он уже не задавал вопросов, а показывал, кого и как награждают при дворе самовластного государя: «Сия знаменитая особа был дворцовый истопник Касьян Оплеушин, получивший свое прозвище по данной ему от гофкурьера оплеухи за то, что однажды печь закрыл с головнею». «Оплеушин был такой мастер топить печи, что те, для которых он топил, довели его своею протекциею наконец и до штаб-офицерского чина» (II, 13).

В свое время Фонвизин создал образ приказного советника. Прошли годы, политическая зрелость писателя, возросшая ненависть его к режиму самовластия обострили зрение Фонвизина. Теперь в приказном Варухе Язвине Фонвизин увидел зловещую фигуру русской общественной жизни. «История его поместится в нескольких строках. Он купил воеводское место в Кинешме за пятьсот рублев, то есть за тогдашнюю обыкновенную таксу воеводских мест средних городов. Город Кинешма подпала под сей несчастный жребий. Лишь только Язвин в него прибыл, казалось, что в него сама язва ворвалася... В два года опустошение сделалось в том краю всеобщее...» Уйдя в отставку, «Язвин купил деревню в нашем соседстве и в нее переселился. Слов нет пересказать всех его бездельств и грабежей» (II, 15).

Так же, как и советник, Язвин — вор и грабитель, и в то же время святоша и ханжа. «Он был в равной степени бездушник и ханжа. Однажды украл он из нашего табуна двенадцать лучших лошадей и на другой день сам со всею своею окаянною семьею на тех же краденых конях отправился в Ростов богу молиться» (II, 15).

Гнев Екатерины можно понять — не успела отчитать за свободоязычие автора «Вопросов», как вдруг появился новый обличитель. И опять в ее же журнале. Возможно, «Повествование» было напечатано по ошибке. Дело в том, что Фонвизин часть своего произведения озаглавил «Записки моего первого путешествия по 1762 год». 1762 год — год прихода Екатерины к власти. Такой оговоркой писатель обеспечивал себе возможность напечатания сочинения — дескать, то, о чем здесь говорится, никакого отношения к царствованию Екатерины не имеет. Все это было до нее, в давно прошедшие времена. Но Екатерину обмануть не удалось. Она поняла уловку дерзкого автора. [1]

---

[1] Фонвизин описывает не исключительные, а обыденные факты из жизни провинциальных помещиков и местной администрации. Должностные преступления приобрели такой масштаб, что екатерининский сенат вынужден был предпринимать какие-то меры. В архиве сената за семидесятые годы, то есть после десяти — пятнадцати лет царствования Екатерины, хранятся десятки дел с приговорами чиновникам за преступления и дворянам за «мошенничество», «разбой» и «убийства». Так, был судим подпоручик, дворянин Семен Руднев, за посылку им крепостных своей жены для кражи лошадей у соседних помещиков. За продажу чужих крестьян, заклад в банке чужих имений и другие преступ-

В следующей же, пятой части «Собеседника», в очередной статье «Былей и небылиц» Екатерина раздраженно заговорила о сочинении нового автора, недвусмысленно писала, что она, императрица, догадалась об имени дерзкого сочинителя. Намекая на определенные факты, она так характеризует автора: «он мысли и понятие о вещах, кои сорок лет назад имел, и теперь те же имеет, хотя вещи в существе весьма переменились».[1] П. Н. Берков справедливо указал в свое время, что Екатерина тут метит в Фонвизина, автора «Недоросля», в Фонвизина, создателя образа Стародума.[2] В действительности Екатерина имела в виду не только автора «Недоросля», но и автора «Повествования». Она пишет, что неугодный ей сочинитель «не едет жить в деревню, боясь разбойников по большой дороге, и о бывших говорит, как будто ныне состоялись. Поныне еще жалуется на несправедливость воевод и их канцелярий, коих, однако, уже нигде нет».[3] Но это просто цитата из «Повествования». Следовательно, Екатерина или догадалась, или узнала от кого-то, что автор «Недоросля» и «Повествования» — одно и то же лицо.

Последующие замечания Екатерины, несомненно, относятся к Фонвизину: «В свое время сей человек слыл смышленым и знающим, но как ныне вещи переменились и смысл распространился, а его понятие отстало, он же к тому понятию привык и далее не пошел, то о настоящем говорит он, как говаривал сорок лет назад о тогдашнем; сколько же сие нескладно, он о етом не мыслит, а как он весьма тверд и упрям, то ничем и никак инако его говорить не заставишь».[4]

Конечно, Фонвизин понял, о ком здесь идет речь, увидел в этом грозное предупреждение. Но он был «тверд и упрям» и складывать оружие не собирался.

Догадки Фонвизина оправдались — печатание «Повествования» было оборвано. Правда, в седьмой части появилось несколько страничек продолжения «путешествия»,

---

ления лишены дворянства, наказаны кнутом и сосланы в Сибирь бывший гвардии Семеновского полка сержант Вархасов, гвардии капрал Юрьев, отставной поручик Темкин и т. д. (ЦГАДА, ф. 259, кн. 3955 и 3925).

[1] «Собеседник любителей российского слова», ч. V, стр. 140.

[2] П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века, стр. 337—338.

[3] «Собеседник любителей российского слова», ч. V, стр. 140.

[4] Там же, стр. 141.

посвященных ироническому описанию хлебосольной помещицы. Видимо, это продолжение было прислано раньше и его опубликовали ввиду безобидности. Действия Екатерины были понятны — не желая вообще более читать поучения свободоязычного автора, она тем менее хотела предоставлять ему для выступлений страницы собственного журнала. Что «Повествование» было запрещено, об этом свидетельствует намерение Фонвизина опубликовать его в собрании своих сочинений в 1788 году. Совершенно несомненно — он собирался печатать его полностью, желая дать читателю те его части, которые были запрещены Екатериной.

1783 год — важный в общественной жизни Фонвизина. Им открывается последний этап борьбы Фонвизина с самовластием Екатерины. Начало этой борьбы — выступление на страницах «Собеседника», обличение мнимого либерализма императрицы, раскрытие основ ее деспотического царствования, ее поддержки не только Простаковых и Скотининых, но и Щелчковых, Оплеушиных и Язвиных, — он выиграл. За борьбой, которую он вел, следили в обществе. Пока печатались анонимные сатиры Фонвизина, популярность журнала росла, он привлекал внимание читателей. После того как Фонвизина перестали печатать, в журнале не появилось ничего интересного. Номера «Собеседника», выходившие в 1784 году, были почти сплошь заполнены историческими сочинениями Екатерины II. Издатели, начиная с тринадцатой части, снизили цену за журнал наполовину — с рубля до пятидесяти копеек. Но читатель не покупал журнала и за эту цену. Вскоре «Собеседник» был закрыт.

За свое поражение Екатерина жестоко отомстила Фонвизину. Судя по всей дальнейшей творческой судьбе писателя, полиции был дан высочайший приказ не разрешать больше Фонвизину печатать свои сочинения. Фонвизин этот замысел понял, но не сдавался. Трагический поединок одинокого писателя со всемогущим самодержцем продолжался до самой смерти Фонвизина.

2

Сразу после смерти Н. И. Панина Фонвизин стал писать политическую статью, посвященную его памяти. Писать панегирик Панину, опальному государственному

деятелю, ненавистному Екатерине человеку, воспитателю наследника Павла, — значило опять бросить вызов императрице.

В новом сочинении «великий государственный муж» ставился в пример современникам. Герой «Недоросля» Стародум — «честный человек», человек твердых правил, отказавшийся служить при дворе, был литературным персонажем. Н. Панин — всем известный политический деятель. «Титло честного человека дано ему было гласом всей нации». Писать о нем — значило показывать пример современникам, как следовало исполнять свой долг перед отечеством в самовластном государстве.

Образ Панина, созданный Фонвизиным, это образ гражданина. Русские просветители поставили перед собой задачу патриотического воспитания «единоземцев» на примерах жизни предков, показывая «великость духа» русских людей. Особо многообразной и плодотворной была издательская деятельность Новикова. Помимо специального исторического издания «Древняя российская вивлиофика», он выпустил книгу документов об Артемоне Матвееве, государственном деятеле конца XVII века. В книге Новиков на материале русской истории рисовал образ идеального гражданина, истинного сына отечества, русского патриота. Книга Новикова получила широкую популярность в русском обществе. И не случайно в 20-х годах XIX столетия декабрист Рылеев, приступая к созданию своих «Дум», цель которых, по словам Бестужева, была в том, чтобы «возбуждать мужество сограждан доблестью предков», обратился к биографии Матвеева, используя книгу Новикова об этом человеке.

Фонвизин тоже хотел возбуждать мужество сограждан, но только доблестью не далеких предков, а современников. Именно так и следует понимать «Жизнь Н. И. Панина». Это не документальная биография государственного деятеля, но произведение, создающее образ отважного патриота, смело противостоявшего режиму самовластия.

Рассказав кратко о том, как жил и воспитывался Н. Панин («доброе воспитание» дома, «действительная служба с самых нижних чинов» и т. д.), Фонвизин обращает внимание читателя на то, что в течение всей жизни его герой руководствовался только «пользою России». «Пристойно бы здесь было начертать душу и сердце

сего почтенного гражданина простым только изложением всего, что он учинил в течение долговременного своего министерства, и изъяснить беспристрастно, какие были его труды и заслуги, коликую твердость и постоянство оказывал он при обстоятельствах, возмущавших спокойствие души его; с каким великодушием переносил он претерпеваемые им отвсюду гонения». Сказав, что Панин подвергался гонениям, Фонвизин тут же, осторожности ради, заявил: «Но эпоха жизни его столь еще от нас близка, что многие важные причины не позволяют пространно говорить о том, чего история не преминет со временем предать потомству» (II, 282).

Дальше Фонвизин, верный себе, вводит тему двора и борьбы с придворной камарильей.

Двадцать лет служил Панин при дворе, и «в течение двадцати лет боролся он непрестанно то с невежеством, то с надменностию людей невоспитанных, захвативших всю ту силу и доверенность, которыя следуют одним истинным достоинствам: отвращал он устремление и ухищрение сильных, руководствуемых пристрастными своими видами... с презрением сносил все коварства мелких душ». «Словом, всякий подвиг презрительной корысти и пристрастия, всякий обман, обольщающий очи государя или публики, всякое низкое действие душ, заматеревших в робости старинного рабства и возведенных слепым счастием на знаменитые степени, приводили в трепет добродетельную его душу» (II, 687—688).

Н. Панин не только боролся с временщиками — он оказал важную услугу отечеству тем, что воспитал наследника. Верный своим политическим взглядам, убежденный, что новый монарх будет лучше Екатерины, не желая или боясь критически взглянуть на уже выросшего Павла, идеализируя его, Фонвизин вновь заявил, что Павел имеет «просвещенный ум», «приличные знания», «истинные добродетели» — «основание народного блаженства». «Остается желать верным сынам отечества, — восклицает Фонвизин, — чтоб в грядущие времена питомец следовал искренним советам своего воспитателя и помнил бы его наставления... Тогда счастие государя и народа было бы взаимное и непоколебимое» (II, 688).

Написав «Жизнь Н. И. Панина», Фонвизин должен был искать возможности ее опубликования (конечно, анонимно). Это удалось сделать, но несколько неожидан-

ным образом. Новое сочинение появилось в Петербурге в 1784 году в переводе на французский язык. Обстоятельства публикации французского текста нам неизвестны. Во всяком случае, видимо уже тогда писатель испытал трудности и оказался вынужденным произвести некоторые сокращения (о временщиках, «заматерелых в робости старинного рабства», о добродетелях Павла и т. д.).[1] В феврале 1786 года русский текст этого сочинения был опубликован в журнале Ф. Туманского «Зеркало света». Впоследствии вышло еще несколько отдельных изданий «Жизни Н. И. Панина». Объяснить это можно, пожалуй, тем, что Фонвизину удалось сохранить полную анонимность. Подобное предположение подтверждается тем, что, когда в 1788 году Фонвизин собирался издавать собрание сочинений, он не указал в проспекте «Жизни Н. И. Панина».

3

В том же 1783 году Фонвизин принял активное участие в выработке принципов и программы первого большого славяно-русского словаря. О деятельности Фонвизина в Российской академии мы знаем мало. Перед наукой теперь встал важный, требующий своего исследования вопрос о филологических сочинениях крупного русского писателя. Вот почему стоит обратить внимание и на другой, предшествовавший работе в Российской академии факт участия Фонвизина в составлении французско-русского словаря. О подготовке Фонвизиным толкового словаря мы узнаем из его писем к Я. И. Булгакову, посланных из Варшавы (сентябрь 1777 г.) и Монпелье (январь 1778 г.). В письме из Варшавы читаем: «Не оставьте Даниловского. Прошу бога, чтоб сохранил в душе его неутомимость в подвигах для блага лексикона, а класть его можно на бирже в погреба Ауля и Вацена, кои стоят на нашем дворе». В ответе на это письмо Булгаков, видимо, сообщил о словаре неутешительные известия. Вот почему в письме из Монпелье Фонвизин с грустью говорит, что дело с изданием словаря проводится плохо: «Я вижу, что

---

[1] В 1830 году П. П. Бекетов, издавая собрание сочинений Фонвизина, напечатал «Жизнь графа Н. И. Панина» по оригиналу, восстановив пропуски, бывшие в публикациях XVIII века.

и лексикон наш умирает при самом своем рождении. Повивальная бабка, то есть Даниловский, плохо его принимает. Я считал его за половину, а он еще около первых литер шатается» (II, 492, 493).

О каком лексиконе идет речь? Мы до сих пор не имели никаких сведений о работе Фонвизина над словарем. На основании писем Я. И. Булгакову можно высказать предположение, что подготовлявшийся лексикон был французско-русским словарем, что к моменту отъезда Фонвизина за границу была проделана значительная часть работы, что составлялся словарь вместе с Даниловским и, наконец, что уже дело дошло до печати первого тома (Фонвизин сообщает, где можно хранить отпечатанный тираж).

Кто такой Даниловский, фамилию которого без имени Фонвизин многократно упоминает в письмах? В 1760—1780-х годах в Москве вышло несколько переводов с французского, которые были подписаны инициалами Н. Д. (в 1766 г. вышел перевод восточной повести «Даира», в 1769 г. — «Невинное страдание, или Бедственная верность Леноры де...», в 1770 г. — повесть «Злосчастное замужество девицы Гарви» и т. д.). Посвящение перевода «Даиры» Г. А. Толстому подписано более полно — Н. Дан. В 1866 году Н. Погодин издал сборник «Утро», где в статье о юности Карамзина, рассказывая об увлечении писателя повестью «Даира», раскрывает имя переводчика — Н. Даниловский. В журнале Ф. Туманского «Зеркало света» появились философские сочинения, пропагандировавшие «Социальную систему» Гольбаха, за подписью Н. Д. Первый исследователь, обративший внимание на этого неизвестного переводчика Гольбаха, И. К. Луппол, высказал мнение, что им был тот же переводчик Н. Дан., имя которого как Н. Даниловский раскрыл Н. Погодин.[1]

Но с тем ли Даниловским составлял словарь Фонвизин? Пока удалось установить, что Н. Даниловский учился одновременно с Фонвизиным в гимназии Московского университета, вместе с ним получал награды. Звать гимназиста Даниловского Николаем. Очевидно, что это и

---

[1] И. К. Луппол. Историко-философские этюды. М., 1935, стр. 168—172. См. также о Н. Д. — переводчике Гольбаха — мою книгу «А. Н. Радищев и его время». М., Гослитиздат, 1956, стр. 291—307.

есть переводчик Н. Д. — Н. Дан. Весьма вероятно, что именно с ним, своим университетским товарищем, и готовил Фонвизин лексикон. В письмах своих он его называет и Даниловский и Данилевский. В «Известиях» о наградах гимназистов, напечатанных в «Московских ведомостях», указано — Николай Данилевский.

В связи с лексиконом вызывает интерес «Известие о словаре французском с русским, печатающемся в Санкт-Петербурге иждивением книготорговца Вейтбрехта», появившееся в февральском номере «Санкт-петербургского вестника» за 1778 год. В «Известии» так определен характер словаря: «Общество ученых людей соединенными силами старается ныне издать французско-российский полный и исправный словарь, какового мы еще поныне не имели. Оный переводится со словаря французской Академии, последнего издания, которое несравненно совершеннее и исправнее всех прочих прежде бывших до сего изданий... Переводчики взяли на себя труд перевести все слова французские, находящиеся в оном, и к ним приобщили все фразы, кои им показались нужными для изъяснения различных оттениваний смысла и для означения разных образов, которыми сии слова на российский язык могут быть переведены». Далее сообщалось, что «перевод сего словаря совсем кончен», но издание его задерживается и «публика будет от времени до времени уведомляема об успехах печатания сея книги».[1] Обещанного уведомления не последовало, только в 1786 году наконец вышел этот «Полный французский лексикон, с последнего издания французского лексикона французской Академии на российский язык переведенный собранием ученых людей». Не в этом ли лексиконе принимал участие Фонвизин? Или начатая им работа с Даниловским так и не была завершена?

Когда осенью 1783 года открылась Российская академия и Фонвизин получил приглашение участвовать в ее работе, он принял это приглашение. 21 октября состоялось первое заседание Академии. Помимо Фонвизина, в работах Академии принимали участие многие писатели, в том числе Державин и Княжнин. Одной из центральных задач Академии было создание славяно-русского словаря. Уже на втором заседании (28 октября) обсуждался про-

[1] На это «Известие» мое внимание обратил П. Н. Берков.

ект устава Академии. И. П. Елагин предложил немедленно заняться составлением словаря. Президент Академии Е. Р. Дашкова рекомендовала «из господ членов сделать отряд, в котором бы установить *правила* и *порядок* к сочинению российского толкового словаря, который наипаче для российского языка нужен». Членами отряда Е. Р. Дашкова «изволила назначить господ Фонвизина, Леонтьева, Румовского и Лепехина».[1]

На следующем заседании (11 ноября 1783 г.) Фонвизин уже представил «Начертание»: «Читано было Денисом Ивановичем Фонвизиным начертание для составления Толкового словаря славяно-российского языка, сочиненное отрядом».[2] После обсуждения было решено «Начертание» размножить и разослать всем членам Академии. 18 ноября представленное «Начертание» после обсуждения было признано «за достаточное», и указано, «что Академия, держася оного, благоуспешнее может достигнуть в сочинении словаря намерения своего».[3]

Итак, «Начертание» поручено было «сочинить отряду», состоявшему из Фонвизина, Леонтьева, Румовского и Лепехина. Занятость Лепехина делами (секретарь Академии) не позволила ему принять участие в работе «отряда». Это мы узнаем из «Известия Академии», напечатанного во втором томе «Словаря Академии российской». В том же «Известии Академии» сказано: «Денис Иванович Фонвизин сообщил Академии слова с буквы «к» и «л» начинающиеся и выбранные им из «Летописца архангелогородского»; участвовал в составлении правил, коих держаться надлежало в сочинении словаря».[4] Н. В. Леонтьев лишь «соучаствовал в составлении правил, в сочинении словаря нужных». С. Я. Румовский «участвовал в составлении правил, до составления словаря касающихся». Таково официальное уведомление о доле участия трех членов «отряда» в составлении окончательного варианта «Начертания» — Фонвизин и Румовский «участвовали», Леонтьев — «соучаствовал».

Н. В. Леонтьев — незначительный поэт 60-х годов, автор элегий и басен, в 80-х годах больше занимался слу-

---

[1] Архив АН СССР, ф. 8, оп. I, д. № 1, л. 12, оборот.
[2] Там же, л. 17, оборот, и 18.
[3] Там же, л. 21, оборот.
[4] «Словарь Академии российской», ч. II. СПб., 1792, стр. IX.

жебной карьерой, чем литературой. «Соучастие» его в составлении «Начертания» заключалось в том, что он обсуждал и высказывал свое мнение по поводу представленного текста «Начертания». С. Я. Румовский — профессор астрономии Академии наук. На него прежде всего возлагалась роль консультанта — он должен был определить, какие слова точных наук следует включить в толковый словарь славяно-российского языка. Д. И. Фонвизин — популярнейший писатель, автор «Бригадира» и «Недоросля», опытный переводчик. Не случайно поэтому именно он, Фонвизин, и читал «Начертание» на общем собрании Академии, — видимо, его доля участия в работе была наибольшей. Следует помнить и то, что в «Известии Академии», напечатанном в «Словаре», говорится о том «Начертании», которое было выработано в результате многих обсуждений на заседаниях, после включения в него многочисленных поправок. Текст же, читавшийся Фонвизиным на заседании Академии 11 ноября 1783 года, — это первый вариант «Начертания». Он-то и был составлен Фонвизиным. О том же свидетельствует и письмо Фонвизина к Козодавлеву, посланное в начале 1784 года. Письмо вызвано следующим обстоятельством: живя в Москве, Фонвизин узнал, что член Академии Болтин после принятия «Начертания» прислал свои замечания, в которых решительно отвергал принципы составления словаря, сформулированные в проекте, прочитанном Фонвизиным. Академия на своем заседании от 30 января 1784 года приняла замечания Болтина и отвергла ранее принятое «Начертание». Такая непоследовательность Академии возмутила Фонвизина. Он написал Козодавлеву письмо, в котором защищал «Начертание». Фонвизин знал, что Козодавлев близок к Дашковой, и потому его аргументы, собственно, обращены к президенту Российской академии. Фонвизинское письмо окончательно убеждает нас в том, что автором «Начертания» был сочинитель «Недоросля». По своему характеру это даже не письмо, а филологическое исследование, непосредственно примыкающее к «Начертанию», дополняющее его и раскрывающее принципы, кратко сформулированные в плане словаря. Кроме того, оно свидетельство глубоких лингвистических знаний Фонвизина, которыми не обладали ни Леонтьев, ни Румовский. Наконец, в письме Фонвизин отстаивает со страстью именно *свои* взгляды и убеждения, изложенные

в «Начертании». Оттого он прямо заявляет, что именно ему принадлежат те или иные оспариваемые Болтиным формулировки: «В *примечаниях* раскритикован употребляемый мною термин *«сослово»* и преображен в „*сослов*“». Заметим: *«мною»*, а не *«нами»*. Вспомним также, что в I, IV и X частях «Собеседника любителей российского слова», вышедших в мае и августе 1783 и январе 1784 года, Фонвизин напечатал «Опыт российского сословника». Далее: «Может быть, *я* и виноват». И еще: «Впрочем, если Академия отвергнет *мой термин,* я повиноваться буду ее решению» (I, 258) (курсив мой. — *Г. М.*).

Таким образом, из всей суммы обстоятельств, связанных с созданием «Начертания», можно сделать совершенно обоснованное заключение — первоначальный план «Начертания», прочитанный на заседании Академии 11 ноября 1783 года и отстаиваемый в письме к Козодавлеву, принадлежит Фонвизину. Авторитетный историк Российской академии М. И. Сухомлинов уже давно пришел к подобному заключению: «есть основание полагать, что истинным автором его («Начертания». — *Г. М.*) был Фонвизин. Он, а не кто другой из членов, читал «Начертание» в собрании Российской академии, он же горячо отстаивал «Начертание» и в личных беседах и в письменных сношениях с своими сочленами».[1]

В архиве Российской академии, к сожалению, «Начертание» не сохранилось. Но оно оказалось среди бумаг, попавших к П. А. Вяземскому, который и опубликовал его в приложениях к своей книге о Фонвизине. Правда, при этом он приписал его без всякого к тому основания Болтину. В издании — Собрание сочинений в двух томах (Гослитиздат, 1959) «Начертание» напечатано мною по тексту, опубликованному П. А. Вяземским. Текст этот, к сожалению, очень неисправен.

«Начертание для составления Толкового словаря славяно-российского языка», «Способ, коим работа Толкового словаря славянского языка скорее производиться может» и примыкающее к ним письмо Козодавлеву («В защиту „Начертания“») — три внутренне связанные между собой филологические работы Фонвизина, требующие, несомненно, специального изучения. Надо надеяться, что ими

---

[1] М. И. Сухомлинов. История Российской академии, т. VII. СПб., 1885, стр. 11.

займутся наши лингвисты.[1] Мне хочется только обратить внимание лишь на те вопросы, которые помогают понять принципы стиля Фонвизина-художника. Так, писатель, высоко оценивая народное словотворчество, требует внесения в словарь пословиц и «употребительных выражений и присловиц» (типа «ни дать ни взять», «любить красное словцо» и т. д.). Они, по Фонвизину, не только обогащают литературный язык, но и помогают писателю добиваться краткости, этого основного достоинства прозы. Именно пословицы и «употребительные выражения» вскрывают возможности русского языка передавать большую и сложную мысль лаконично и выразительно. Отсюда — требование к писателям: «краткость помогает ясности». Обосновывая свою мысль, Фонвизин писал: «Не краткость темноту производит, но худой выбор в идеях и худой в оных порядок... Хорошие математические объяснения неоспоримо свидетельствуют, что краткость не только ясности не уменьшает, но весьма ей способствует» (I, 245, 243).

Это требование Фонвизин реализовал в своей прозе. Тем самым его проза объективно противостояла прозе Карамзина и устремлялась навстречу будущему — Пушкину и его требованиям краткости и «нагой простоты» прозы.

Фонвизин отлично чувствовал живую жизнь языка. Оттого он предлагал в словаре отличать «слова, начинающие стареть, от слов, вновь вводимых». Вообще Фонвизин приветствовал и оправдывал введение новых слов. Особо важным он считал вводить новые слова, когда решался вопрос о внесении в язык какого-либо иностранного термина или нового понятия. «При словах иностранных, — писал он, — стараться ставить равносильные нашему языку, доселе известные или вновь сделанные» (I, 246). В этом отношении заслуживает внимания его предложение перевести термин «синоним» (sinonime) как «сослово». В письме к Козодавлеву Фонвизин объясняет, почему именно так названо им «вновь сделанное слово». «В примечаниях раскритикован употребленный мною термин *сослово*... Но мне кажется, буде наш язык терпит такие составные слова, как *сотоварищ, соучастник, соправитель,*

---

[1] Думается, заслуживает специального изучения и работа Фонвизина над словником. Как известно, ему было поручено представить в Академию «слова, с буквы «к» и «л» начинающиеся и выбранные им из „Летописца архангелогородского“».

для чего ж бы не сказать и *сослово*?» (I, 258) Не ограничившись теоретическим рассуждением, Фонвизин написал сатирическое произведение «Опыт российского сословника».

Представляет интерес суждение Фонвизина об отношении к провинциальным (областным) словам. В основу русского литературного языка он, вслед за Ломоносовым, кладет московское наречие: «Как *московское наречие*, не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты, прочим справедливо предпочитается, то провинциальные, неизвестные в столицах слова и речения не должны иметь в словаре места... Из сего правила исключаются те провинциальные слова и речения, кои силою и красотою могут служить к обогащению российского языка» (I, 241).

Работа Фонвизина над составлением «Начертания» важна для нас и как реальная помощь большого писателя в выработке правил, по которым создавался словарь славяно-русского языка, сыгравший такую огромную роль в развитии русского литературного языка, и как свод некоторых его мыслей о путях обогащения русского языка и принципах стиля русской прозы. Не забудем, что и Пушкин заглядывал «встарь в Академический словарь».

4

Летом 1784 года Фонвизин вновь отправился в заграничное путешествие. Поездка в Италию (через Германию) была вызвана главным образом деловыми обстоятельствами: как бы реализуя свои старые воззрения на «дворянство торгующее», Фонвизин вошел в компанию с купцом Клостерманом, который открыл в Петербурге и Москве антикварные магазины, продававшие произведения искусства. В Германии и Италии Фонвизин посещал художников, осматривал картинные галереи, закупал предметы искусства, картины, заказывал копии со всемирно известных оригиналов.

Посещая Флоренцию, Ливорно, Рим, Фонвизин не только занимался делами, но и внимательно изучал итальянский театр, музыку и особенно прославленную живопись Италии. Как и во время путешествия по Франции, он пишет письма сестре и Петру Панину. Письма из Ита-

лии — великолепно написанные путевые очерки, живо повествующие о нравах и обычаях народа, о великом искусстве Италии, зло и беспощадно высмеивающие католическую церковь. Если справедлива моя догадка, что письма из Франции названы «Записками первого путешествия» (в 1788 г., когда готовилось собрание сочинений, обрабатывались письма из Италии и, следовательно, готовились «Записки второго путешествия»), — то дошедшие до нас письма следует рассматривать как своеобразный черновик еще одного погибшего прозаического произведения Фонвизина. В эти «Записки», видимо, должен был войти и журнал об искусстве, который писатель вел для себя в пути.

Возвращение в Россию в августе 1785 года было омрачено тяжелой болезнью. Добравшись до Москвы, Фонвизин слег надолго в постель — его разбил паралич. Компаньон Фонвизина Клостерман, посетивший больного в Москве, рассказал в своих записках о тяжелом состоянии больного: «В тусклых глазах его засветился луч радости, когда я подошел к его постели: он хотел, но не мог обнять меня, силился приветствовать меня словами, но язык не слушался и произносил невнятные звуки... Правая рука у него совсем отнялась, так что он и двигать ею не мог».[1]

В год возвращения Фонвизина из Италии в Петербург вышел новый его перевод (вновь анонимно) — «Рассуждение о национальном любочестии. Из сочинений г. Циммермана». Как показало сличение с оригиналом, Фонвизин перевел только последнюю главу сочинения Циммермана. Перевод довольно точный. И в то же время это произведение, отмеченное печатью фонвизинского дарования, должно занять важное место в его творческом наследии. Отношение Фонвизина к переводам политических сочинений было своеобразным, и это надо иметь в виду. Решающую роль играл выбор. Фонвизин выбирал то, что совпадало с его убеждениями, что он хотел сказать русским читателям от собственного имени. Оттого мысли А. Тома, выраженные им в «Похвальном слове Марку Аврелию», — в то же время и мысли Фонвизина, взгляды Циммермана — взгляды и его переводчика. Чисто фонвизинскими такие переводы делает также их стиль. Политические

---

[1] «Русский архив», 1881, кн. 3, вып. 2, стр. 295.

сочинения Фонвизин переводил особым, им выработанным высоким стилем, передающим торжественную, патетическую, напряженно-взволнованную ораторскую речь. Важную роль в развитии национальной литературы, в успешном воспитании «истинных отечестволюбцев» и обогащении «российского слова», по мысли Фонвизина, играет красноречие. В одной из статей своего журнала «Друг честных людей...» Фонвизин писал, что условием расцвета красноречия являются «народные собрания». Писатель был уверен, что «российское витийство» «приобрело бы огромную силу», «если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих» (II, 65). Вот почему, сохраняя мысль оригинала, Фонвизин воплощал ее в индивидуально-неповторимом стиле создаваемого им «российского витийства».

«Рассуждение о национальном любочестии» — произведение огромной эмоциональной силы. В книге дано изложение нравственного кодекса патриота и гражданина, просветительское понимание человека как деятеля, борца, бесстрашно выступающего против власти, с восторгом готового умереть за вольность своего отечества.

Свой идеал человека Фонвизин выразил в формуле — «честный человек». Таким честным человеком был Стародум, герой «Недоросля». После смерти П. И. Панина Фонвизин написал биографию последнего, в которой, превознося гражданские добродетели всем известного исторического деятеля, назвал его честным человеком.

В «Рассуждении» Фонвизин подробно показывает, что нужно делать для того, чтобы воспитывать таких честных людей. Прежде всего, говорит он, необходимо внушать человеку с детства «почитание к самому себе», чувство собственного достоинства, веру в свои силы, в возможность противостоять злу и насилию. «Упование на свои способности есть всегда мысль, возвышающая сердце, без которой человек ничего знаменитого не предпринимает. Лишенный сего упования, мужественный повергается в уныние и недействие». Нельзя мириться с проповедью слабости и ничтожности человека. «От сего весьма низкого о себе мнения становится человек рабом другого» (II, 291).

«Сильной подпорой» человеку во всех испытаниях жизни явится «одно справедливое почитание к самому

себе». Вера в свои силы поможет ему понять, что угнетающие его люди ничтожны, что им можно сопротивляться: «Пусть честный человек спросит себя в несчастии: кто его повсюду утесняет, кто его явно презирает, клевещет, безобразит? По большей части — невежды и ослы». Уверенность в своей правоте рождает «надежду на счастье» избавиться от утеснителей. Это чувство «спасает человека в опасности, возвышает его сердце и уменьшает ту робость, которую стесненная в самой себе душа ощущает, когда, наполнясь великим предприятием, взирает на опасности» (II, 293). «Отсюда ясно, что благородное почитание самого себя дает действительно нам силу возвышаться над человеческими слабостями, устремлять способности наши к похвальным предприятиям, никогда духу рабства не давать места» (II, 294).

В воспитании чувства личного и гражданского достоинства, свободолюбия и мужества огромную роль играют примеры истории. «Неизреченно нужно, чтоб сие возвышение природы, сия доверенность к силам своим возбуждалась в первой юности. Надлежит во младые еще души вселять любовь к добру, к красоте и величеству. Надлежит представлять им добродетели в трогающих примерах, чтоб они любили добродетель... Великие дела из истории, впечатленные в сердца трогающими образцами жизни достохвальных мужей, производят в юношестве удивительное действие».

Чрезвычайно важна при этом просветительская мысль, что воспитать в себе человека, готовность к великим делам и подвигам могут люди *всех* сословий. «Всякий без дворянства благорожденный юноша захочет быть великим мужем, когда он духом или добродетелию великих мужей прямо тронут; сии добродетели возрастут в юном его сердце» (II, 295). Здесь та же мысль, что и в «Недоросле». На вопрос Стародума, свойственна ли неустрашимость и другим сословиям, Милон ответил: «Она добродетель; следственно, нет состояния, которое сю не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость души — во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою нaряду с прочими, и между неустрашимостию человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать» (I, 158).

Таким образом, возникает возможность «возжечь огнь» любви к отечеству и бесстрашие в борьбе за свободу во всей нации. «Все сии вместе взятые рассуждения влекут меня к заключению о важности благородного во всей нации к самой себе почтения и о желательнейшем ее преимуществе, столь близко с похвальным национальным любочестием соединенной любви к отечеству» (II, 297).

Возвышение человека, воспитание любви к отечеству и свободе легче и полнее всего осуществляются в республике. Потому нации при республиканском строе процветают. Но нации, находящиеся в упадке, где «народ еще в оковах», тем более должны думать о таком воспитании гражданских добродетелей у юношей. Чем в больший упадок пришла нация, тем, следовательно, с большей активностью нужно обращаться к примерам прошлого, чтобы возродить те добродетели предков, которые истреблены в современниках рабским строем. «Итак, когда нация, кажется, теряет дух свой оттого, что земля ее не напоена кровию чад ее; когда прекрасный, любовию к свободе воспаленный пламень потух во днях всеобщей оледенелости и праздность избрана уже последним оплотом; когда умы, к нежности и трепету приобыкшие, не имеют больше ни крепости, ни силы; когда безмерное расточение делает нужным злом алчность к обогащению; когда трусость ведет к знатности, а храбрость к несчастию; когда люди, почитающие мужество ненужным, впадают во все роды роскошных чрезвычайностей; когда нет уже и пороков, требующих некоторой крепости и возвышения духа; когда подлая корысть не почитается преступлением и боязливая осторожность момента не есть пятно в политике времени; когда тщеславный трудится только очернить своего совместника клеветами и никогда не стремится сам быть лучше его, — в то время возвышение национального любочестия не вовсе презрительное было бы средство раздуть огнь прежней добродетели и силы лучших лет при последнем их истощении» (II, 303).

Как видим, в своем переводе Фонвизин изложил целую программу воспитания «великих мужей», одушевляемых в своей деятельной жизни «любимыми словами — за отечество и свободу» (II, 301). Книга Фонвизина как бы включалась в широкое общественное обсуждение вопросов воспитания. В 1783—1784 годах в Москве в «Прибавлениях» к «Московским ведомостям» Новиков выступил

с большой статьей «О воспитании и наставлении детей». Среди других важных добродетелей, которые следовало воспитывать, Новиков называет неустрашимость духа, твердость характера. «Наконец, — писал Новиков, — *научайте их терпению в страдании, бодрости и постоянству в несчастии, смелости и неустрашимости во всяких обстоятельствах.* Сии свойства и добродетели в нынешнем состоянии нашем необходимо нам нужны. Кто не научился страдать с равнодушием, кого всякое небольшое приключение потрясает и ввергает в уныние, кто ужасается и дрожит от всякой угрозы, от всякого вида опасности, тот не достигнет высокого степеня в нравственном совершенстве, и благополучие его подвержено весьма многим и скорым переменам. Терпеливый только, постоянный, неустрашимый способен к преодолению трудностей, обретаемых иногда на пути должности и праводетельности, к сопротивлению стремительной реке владычествующей гибели и к сохранению невинности своея и спокойствия духа при всех переменах и искушениях внешнего счастия».

Воспитывать характер следует не столько внушением, сколько примером: «Показывайте им (детям. — *Г. М.*) собственным вашим поведением, что вы умеете и в несчастии успокоиваться и с твердым мужеством идти на неизбежную опасность».[1]

В 1786 году стал выходить журнал Ф. Туманского «Зеркало света». В числе активных сотрудников был переводчик, подписывавший философские сочинения инициалами Н. Д. Как уже говорилось выше, видимо этим переводчиком был Николай Даниловский. В цикле статей-переводов из «Социальной системы» Гольбаха (с собственными дополнениями Н. Даниловского), в частности, разрабатывался и вопрос о твердости духа. В статье «О добродетели» Н. Д. вольно переводит из десятой главы первого тома «Социальной системы» Гольбаха определение твердости духа: «Твердость духа есть расположение полезное, похвальное, подражания достойное и добродетельное, когда сим именем означаем ту храбрость, силу, ту великость духа, которая возбуждает доброго гражданина *исполнять*

---

[1] «О воспитании и наставлении детей», раздел второй — «О образовании сердца». — «Прибавления к „Московским ведомостям"», 1783.

священный свой долг (подчеркнутые слова вставлены Н. Д. от себя. — *Г. М.*), служить своему отечеству, пользе его жертвовать собою, защищать его с потерянием своея жизни от внешних и *внутренних* злодеев (слово «внутренних» вставлено Н. Д. — *Г. М.*), нарушителей общего покоя и благоденствия. Когда она в самых труднейших и опаснейших случаях возвышает сердце человека и не допускает его до падения или до унижения. Когда она надежнейшим образом присоединяет человека к истинной добродетели, отметая всякий пример, всякое прельщение, могущее его поколебать и принудить сделать что-либо противное правоте и истинному разуму. Человек, носящий в себе сердце, напоенное таковою твердостию духа, есть бытие, почтения достойное, любезное. (Эта фраза отсутствует в подлиннике. — *Г. М.*) Слабый человек, без характера, без твердости духа, без правил, по которым он деяния и поведения свои располагать должен, есть бытие несчастное, жалкое, а часто вредное».[1]

Рассуждение о твердости духа, переведенное Н. Д. из Гольбаха с небольшими вставками, завершается размышлением о тех трудностях, которые ожидают человека, желающего защитить утесненных в рабском государстве, о том, каким спасительным качеством может быть в сложившихся условиях твердость духа. Заключение статьи целиком принадлежит Н. Д.

«Надобно иметь много твердости духа, чтоб быть добродетельну в той земле, где добродетель ненавидима или в посмеянии, где порок, опираясь на развращении, гордым и презрительным глазом взирает на смиренную и молчаливую добродетель, как на своего непримиримого злодея, а часто и попирает ее ногами без малейшей жалости. В развращенном необузданными пороками обществе, каковыми свет изобилует, сохранить всю чистоту нравов, устоять против разнообразных прельщений, быть справедливу, быть добродетельну во всей силе слова есть дело прямо твердого и великого духа».[2]

Но самой важной частью заключения является та, в которой высказывается мысль, что в государстве, где нет свободы, твердость духа оказывается только *страдатель-*

---

[1] «Зеркало света», ч. V, стр. 377—378.
[2] Там же, стр. 379.

ной, то есть проявляется лишь в терпении, в бессловесной покорности тем правителям, которые отняли вольность у людей. Русские просветители, сторонники мирных путей социальных преобразований, отрицавшие, так же как и французские просветители, путь революционной борьбы, начинали понимать слабость своего учения.

«К несчастью нашему, по правилам большей части законов света подобная непоколебимость или твердость духа должна исключена быть из числа добродетелей, потому что она во всем своем величии не может быть согласна с теми правилами особливо, которые, покоряя себе человеческое сердце, отъемлют у него все силы, всю вольность, все напряжения, а если они и могут сносить какую-либо твердость духа, то не иначе, как такую, которая *должна непременно быть страдательная, и такая, коей все достоинство состоит в том, чтобы глупо, подло и безмолвно сносить всю тягость оков, которыми несправедливость, суеверие, бесчеловечие и безрассудность удручают род человеческий и тем самым совершают истинное его несчастие*».[1]

Подобное заявление Н. Д. представляет исключительный интерес, свидетельствуя о зрелости русской политической мысли, о поисках русскими деятелями такой теории, которая бы практически помогала страждущим в неволе людям, вооружала их, звала на борьбу, сливалась бы с практикой. Статьи Н. Д. говорят о кризисе политической теории русских просветителей. Как значителен и плодотворен был этот кризис, показывает появление на исторической арене Радищева. В конце 80-х годов он создавал свои революционные произведения, вырабатывал революционную теорию, которая должна была вывести из тупика просветительскую мысль.

Если допустить, что за инициалами Н. Д. скрывается Николай Даниловский, сотоварищ Фонвизина по гимназии, то тогда окажется вполне вероятным, что выступление Фонвизина и Даниловского было моментом *их общей борьбы* за просветительский путь воспитания таких деятелей России, которым суждено будет возродить отечество.

Но Фонвизин не ограничился пропагандой идей воспитания сограждан на примерах истории. Он считал, что

---

[1] «Зеркало света», ч. V, стр. 379—380. Курсив мой. — *Г. М.*

нравственный кодекс «честного человека» складывается не только под влиянием воспитания, но и в делах, в практической деятельности на благо отечества. «Любовь к отечеству — сладчайшее народов чувствие». Любовь к родине связана со свободой; только у свободного человека, и потому полнее всего в республике, патриотическая любовь сможет найти свое выражение в делах, нужных народу. «„За отечество и свободу" — любимые слова того народа, который еще не в оковах» (II, 301). Участие в сражениях за отечество и свободу поднимает человека к высокой нравственной жизни; жизнь таких патриотов заслуживает глубокого общественного уважения.

«Крепкие в страданиях, бесчувственные к собственным своим бедствиям и тем усерднейшие ко всеобщему блаженству, ничего другого они не желали, кроме пользы отечества, честь его предпочитали чести своих предков, всеобщее же благо — частному; они считали себя довольно благополучными и почтенными, когда республика была почтенна и благополучна. Всякие свои соперничества и вражды оставляли они в стороне, и, буде выгоды отечества того требовали, способствовали они к славе величайших своих сопротивников. Оскорбленные отечеством, забывали они огорчающее неправосудие и пеклись о нем в страданиях, от него претерпеваемых» (II, 298).

Когда вышло «Рассуждение о национальном любочестии», Фонвизин, разбитый параличом, находился в тяжелом состоянии. Но и больной, писатель не хотел сдаваться и продолжал оказывать свое влияние на общество.

5

Пролежав год в Москве, Фонвизин, «будучи в тяжелой болезни и с растерзанным горестию сердцем», выехал в Карлсбад для лечения. Путешествие было невеселым. Но Фонвизин терпеливо сносил страдания, исправно лечился, страстно желая победить недуг. В июне 1787 года, пройдя курс лечения, Фонвизин отправился домой. Въезд в пределы отечества был ознаменован колоритной сценой, запечатленной им в своем дневнике: «Среда, 18 августа. Приехали в Киев. У самых киевских ворот попался нам незнакомый мальчик, который захотел показать нам трактир. Итак, мы с ним отправились, а вслед за нами

догоняла нас туча, у самых ворот трактира нас и достигла. Молния блистала всеминутно; дождь ливмя лил. Мы стучались у ворот тщетно: никто отпереть не хотел, и мы, простояв больше часа под дождем, приходили в отчаяние. Наконец вышел на крыльцо хозяин и закричал: «Кто стучится?» На сей вопрос провожавший нас мальчик кричал: «Отворяй: родня Потемкина!» Лишь только произнес он сию ложь, в ту минуту ворота отворились и мы въехали благополучно. Тут почувствовали мы, что возвратились в Россию» (II, 570—571).

В Петербург Фонвизин добрался только в сентябре 1787 года. Полностью восстановить здоровье не удалось, но все же после долгого лечения писатель чувствовал себя лучше. Он стал ходить, вернулась речь. Среди немногочисленного рукописного фонда, дошедшего до нас, сохранился «Журнал пребывания моего в Петербурге» (сентябрь — ноябрь 1787 г.).[1] К великому нашему сожалению, Фонвизин не хотел быть откровенным в своем «Журнале» и записывал в него лишь расписание дня — прогулки, дружеские и деловые встречи. Однако последние записи весьма важны. Они помогают нам представить окружение писателя в этот год. В числе постоянных посетителей — старые друзья — И. А. Дмитревский, Н. Даниловский, товарищ и соученик по университету А. И. Марков. Постоянно навещал Фонвизина его компаньон Клостерман. Однажды посетил О. П. Козодавлев, человек, как известно, связанный с придворными кругами. Бывали дома у Фонвизина А. Н. Пузыревский, князь А. Б. Куракин, С. И. Маврин, Коновицкий, А. И. Шурлин, Страхов, Банк и некоторые другие.

В течение трех месяцев записи велись по-денно. В декабре записи прекратились. Только на последнем листе появилась одна фраза: «Весь декабрь не значил ничего и не стоил записывания».[2] В действительности же записывать было что, но Фонвизин почему-то не доверял дневнику своих творческих планов. А между тем больной писатель задумал с будущего, 1788 года издавать свой собственный сатирический журнал. Уже в феврале 1788 года в «Санкт-петербургских ведомостях» появилось объявление: «На Невской перспективе, в доме князя Шаховского

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 517, оп. I, ед. хр. 1.
[2] Там же, л. 132.

под номером 69, против новой Исаакиевской улицы, у книгопродавца Клостермана раздается безденежно объявление об издании на сей 1788 год нового периодического творения «Друг честных людей, или Стародум», под надзиранием сочинителя комедии «Недоросль» издаваемого».[1]

Всем желающим подписаться раздавался следующий проспект издания: «Друг честных людей, или Стародум. Вот заглавие, под которым издаваться будет на сей 1788 год новое периодическое сочинение под надзиранием сочинителя комедии «Недоросль». Напрасно было бы предварять публику, какого рода будет сие сочинение, ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны. Целый год состоять будет из двенадцати листов. Первые четыре получить можно в начале мая, вторые четыре — в начале сентября, а последние четыре — в начале будущего года.

Подписка на сие сочинение отворена у книгопродавца Клостермана на следующих кондициях:

Каждый экземпляр, то есть двенадцать листов, стоить будет один рубль пятьдесят копеек. Желающие подписаться благоволят внести сии деньги и взять билет, с которым в первых днях мая можно будет получить первые четыре листа, и билет на достальные восемь листов, кои раздаваться будут в означенный срок непременно.

Сие сочинение хотя и готово, но прежде печатано не будет, как разве подпишутся на семьсот пятьдесят экземпляров до первого марта, после которого подписка продолжаться не будет. Но ежели до сего числа на помянутое количество экземпляров подписано не будет, то сие сочинение вовсе напечатано быть не может.

Переводы из сего периодического творения вовсе исключаются. Ни одно сочинение, где-нибудь напечатанное, в сей книге места иметь не может. Словом, все сочинения будут совсем новые, а разве знакомые потому, что некоторые из них в публике ходят рукописные.

Имена подписавшихся при начале книг напечатаны будут, и все старания приложатся, чтобы удовольствовать почтенную публику и со стороны типографской части» (II, 40—41).

---

[1] «Санкт-петербургские ведомости», 1788, 11 февраля, № 12.

Не может быть сомнений, что именно осенью и зимой 1787—1788 годов писались сатирические статьи, которые должны были составить журнал. К моменту объявления в газете (февраль 1788 г.) автор заявил, что все сочинение (двенадцать листов) уже готово. Издание, естественно, обсуждалось с друзьями — деловые вопросы с Клостерманом, направление и содержание журнала — с Дмитревским, Даниловским и, может быть, с кем-либо еще. Одновременно с объявлением о подписке на журнал «Друг честных людей, или Стародум» появилось извещение об издании «Утренних часов». После извещения издатели нового журнала напечатали подробную программу издания.[1] Фонвизин отказался от этого. Он сказал кратко, осторожно, но красноречиво: «Напрасно было бы предварять публику, какого рода будет сие сочинение, ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны». Образ мыслей Стародума действительно был хорошо известен читателям — он носил откровенно антиправительственный, антиекатерининский характер. Следовательно, Фонвизин собирался издавать журнал, посвященный важным общественно-политическим вопросам. Так, чуть оправившись от болезни, писатель задумал новую атаку на екатерининское самовластие.

Требует объяснения поставленное Фонвизиным условие издания журнала: он будет выходить, если подпишется 750 человек. Обычный тираж журналов во второй половине XVIII века — 200—350 экземпляров. Исключением являются журналы Новикова «Трутень», «Живописец», «Утренний свет» и периодические издания, выходившие приложением к газете «Московские ведомости». Позже, в 1791 году, Карамзин издавал «Московский журнал», который пользовался большим успехом. Но и этот популярный журнал имел всего 300 подписчиков. Таким образом, поставив условие об издании своего «творения» тиражом не менее 750 экземпляров, Фонвизин был уверен в успехе. Правда, сначала подписка проходила не очень успешно. В газете появилось извещение: «Как до сего дня весьма мало явилось желающих подписываться на периодическое творение, называемое «Друг честнейших (так! — *Г. М.*) людей, или Стародум», так что никакой нет надежды, чтоб к первому числу марта было на

---

[1] «Санкт-петербургские ведомости», 1788, № 20

750 экземпляров подписавшихся, то в таковом случае и сочинение сие напечатано быть не может, а дабы охотники имели довольно времени на подписание, издатель через сие объясняет, что подписка у книгопродавца Клостермана продолжаться будет по 1-е апреля».[1]

Как видим, Фонвизин дважды предупреждал, что печатать будет только в случае, если подпишутся на 750 экземпляров. К 1 апреля подписка достигла заданного тиража, и Фонвизин приступил к изданию, чтобы, согласно обещанию, первая часть (в составе четырех листов) была выдана подписчикам в начале мая. Первые четыре листа и были сданы в цензуру. В письме П. И. Панину от 4 апреля 1788 года Фонвизин уже сообщал печальную весть: «Здешняя полиция воспретила печатание «Стародума»; итак, я не виноват, если он в публику не выйдет» (II, 499). Журнал в публику не вышел. На этот раз Екатерина не приняла вызова и не захотела вступать в борьбу с ненавистным ей писателем. Она просто подтвердила свой приказ — Фонвизина не печатать.

С чем же хотел выступить Фонвизин, чему он посвятил свой сатирико-политический журнал? Прежде всего несколько слов о составе журнала. В него должны были входить двенадцать листов. Видимо, в основном Фонвизин располагал готовыми сочинениями, их следовало только объединить и распределить по частям. Первая часть в составе четырех листов была полностью подготовлена; после запрещения работа над остальными частями вряд ли продолжалась.

Автограф первой части «Друга честных людей» не сохранился. Отдельные статьи из журнала стали распространяться в списках. Позже они попали в печать. П. Бекетов, располагавший рукописью, опубликовал впервые полностью все статьи, входившие в журнал (исключив почему-то письмо Тараса Скотинина). Текст бекетовского издания считается единственно авторитетным, и с 1830 года он воспроизводится во всех собраниях сочинений Фонвизина.

Но закономерно возникают вопросы — все ли из написанного для этого журнала дошло до нас, составляют ли известные нам статьи *те четыре части*, которые приготовил Фонвизин и передал в управу благочиния, верно

---

[1] «Санкт-петербургские ведомости», 1788, 29 февраля, № 17.

ли воспроизведена Бекетовым композиция журнала и, наконец, самый главный вопрос — точно ли им воспроизведена рукопись? Есть все основания предполагать, что до нас дошло не все написанное для журнала. Это подтверждается записной книжкой П. А. Вяземского от 1823 года, где мы находим авторитетный список статей «Друга честных людей», который до сих пор не привлекал внимания исследователей.[1] Прежде всего в списке среди известных нам материалов сохранилось и неизвестное «Письмо к Стародуму от сочинителя „Недоросля"», с текстом разговора Софьи со Стародумом из второго явления четвертого действия «Недоросля», «опущенного актерами» во время спектакля. Ссылка на актеров, как уже отмечалось, носит цензурный характер.

В опущенных театральной и книжной цензурой местах из второго явления четвертого действия «Недоросля» подробно говорилось о «жалких и низких» людях, которые, потеряв совесть, безнаказанно творят преступления. После объяснений Стародума Софья, усвоив мысль дяди, приходит к выводу: «Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, чтó делает. Надобно, чтоб душа его была очень низка, когда она не выше дурного дела» (II, 59).

Политический смысл подобного решительного осуждения «порочных» людей состоит в том, что под ними Фонвизин имел в виду *придворных*.

Список Вяземского обогащает нас новой, очень ценной статьей журнала. Помогает список восстановить и композицию журнала. Статьи в списке расположены иначе, чем у Бекетова, и правильнее. Дело проясняют последние строки ответного письма Стародума к сочинителю «Недоросля» о его согласии принимать участие в журнале. Бекетов напечатал письмо с пропусками. В списке последняя фраза читается так: «Сообщаю вам теперь же несколько *полученных мною* писем *от знакомых вам особ* и с моими ответами» (II, 43). Подчеркнутые слова Бекетов выпустил. А «знакомые особы» сочинителю «Недоросля» — это Софья и Скотинин. Оттого в списке после ответного письма Стародума следует письмо Софьи с ответом Стародума. Сюда же можно отнести и письмо

[1] ЦГАЛИ, ф. 195, д. 1108, лл. 1—23.

Тараса Скотинина, которого, к сожалению, в списке нет. Затем помещено письмо Стародума с приложением «Всеобщей придворной грамматики» и «Письма надворного советника Взяткина». После этого следует письмо сочинителя «Недоросля» и разговор Стародума с Софьей из комедии. После этого дается письмо Дурыкина, ответ ему Стародума, письмо университетского профессора и, наконец, ответ Дурыкина Стародуму. После истории с Дурыкиным идет письмо Стародума от февраля 1788 года (о красноречии), затем новое письмо Стародума («Разговор у княгини Халдиной»). Последним должно было быть напечатано «Наставление дяди своему племяннику» (произведение, видимо, незавершенное, поскольку нет сопроводительного письма Стародума). Это «Наставление» в списке Вяземского отсутствует.

Подготовленный Фонвизиным журнал с небывалой до тех пор ясностью определял политическую роль русского писателя в общественной борьбе. В первых же двух письмах журнала — письме сочинителя «Недоросля» к Стародуму и в ответе Стародума — была начертана целая программа для «российских писателей». Писатель, «человек с дарованием», есть «страж общего блага». Он обязан «смело обличать перед троном, перед отечеством, перед светом» знатных вельмож, «не терпящих» правды, «бесславных лихоимцев», дерзающих «подкапываться под законы и простирающих хищную руку на грабеж отечества и своих сограждан». Писатель «имеет долг возвысить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству».

В письме Стародума от февраля 1788 года выдвигается требование: создать в России такое учреждение, где бы «честные люди», и прежде всего «люди с дарованием» — писатели, имели возможность «рассуждать о законах и податях и где (могли бы. — *Г. М.*) судить поведение министров, государственным рулем управляющих». Фонвизин последовательно добивался ограничения самодержавия Екатерины, требовал гласности, права общественных представителей судить законы, политику и все действия правительства. Раньше эти мысли высказывались в документах, подготавливавшихся для будущего государя Павла. Ныне Фонвизин решил их высказать в печати, выдвинуть на всеобщее обсуждение, воодушевить ими русских писателей. Фонвизин отлично понимал, что ждать

от Екатерины какого-либо изменения политики бесполезно. Вот почему, учитывая свой опыт борьбы с коронованным автором на страницах «Собеседника», он и решил журнал «Друг честных людей, или Стародум» превратить в «то место», где бы можно было уже сейчас рассуждать о законах и податях и судить поведение министров.

В журнале Фонвизин решил опубликовать «Всеобщую придворную грамматику», в которой зло и беспощадно судил двор, министров, любимцев государя.

Сатира Фонвизина написана в форме учебников того времени, которые для удобства усвоения материала учащимися писались в виде вопросов и ответов. Выбор формы не случаен — Фонвизин стремился большую политическую мысль о том, что двор русской императрицы Екатерины — это собрание подлых душ, которые безнаказанно грабят и угнетают нацию, выразить элементарно, ясно, лаконично, доступно для людей разных сословий и возрастов. Может быть, впервые сатира Фонвизина, как в будущем — политические басни Крылова, приобретала народный характер.

Писатель с первых строк просвещал читателя, открывал ему чрезвычайно важные истины.

«*В*. Что есть Придворная грамматика?

О. Придворная грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.

В. Что значит хитро льстить?

О. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна.

В. Что есть придворная ложь?

О. Есть выражение души подлой перед душою надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет» (II, 48).

Продолжая политический урок, Фонвизин указывает, что при дворе существует шесть родов «подлых душ». Вдумаемся в это заявление писателя — «подлые души» при русском дворе оказываются не исключением, там все «твари» или «подлые». Причем «подлые», в свою очередь, делятся на шесть родов. Кроме «подлых» душ, существуют еще «гласные и полугласные». «Через гласных разумею... сильных вельмож, которых у двора бывает...

три, четыре, редко пять». Уже в этом счете Фонвизин почти переходит на личности: в эти годы при дворе «сильными вельможами» были Г. А. Потемкин, постоянный фаворит, и очередной, временный фаворит — Мамонов.

Обличение придворной камарильи прямо метило в Екатерину. Имя ее не называлось. В то же время известно, что Фонвизин придерживался того мнения, согласно которому государь «повинен отвечать ему (государству. — *Г. М.*) не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого не сделал». Обличая двор, Фонвизин обличал Екатерину и за то, что она собрала вокруг себя «тварей» и «подлые души», и за то, что не хотела, чтоб у кормила государства стояли истинные сыны отечества, честные люди.

Но иногда Фонвизин отваживался говорить непосредственно о Екатерине. Так, например, было в ответе на вопрос: «Какое разделение слов у двора примечается?» «Обыкновенные слова бывают: *односложные, двусложные, троесложные и многосложные.* Односложные: *так, князь, раб;* двусложные: *силен, случай, упал»* (II, 49). Тут что ни слово, то прямой удар, и, как говорится, не в бровь, а в глаз. Слова вводились Фонвизиным со значением, которое было понятно современникам. Ключ ко всем «словам, у двора примечаемым», давали слова двусложные: «силен, случай, упал». С убийственной силой лаконизма Фонвизин раскрывал будничные дела государыни, сменявшей одного фаворита за другим. Про очередного «ночного императора» при дворе говорили: *«попал в случай»*, будучи фаворитом, он становился *«силен»*, когда же он надоедал императрице и его выпроваживали из дворца, это означало, что он *«упал»*.

Односложные слова не менее ярко воссоздавали мерзкую и губительную для государства практику официального фаворитизма, узаконенного Екатериной. При дворе действительно модным было слово «раб» (ибо каждый фаворит спешил брать не только деньги и подарки, но и добивался крепостных. И Екатерина из числа государственных крестьян дарила своим любовникам десятки тысяч людей, превращая их в рабов: семья Орловых получила 50 тысяч крепостных, Васильчиков — 7 тысяч душ, Потемкин только за два года — 37 тысяч, Завадовский — почти 10 тысяч и т. д. Помимо богатства, фавориты добивались званий и чинов — кто становился генералом, кто

добивался графского достоинства, кто (как, например, Г. Потемкин) удостаивался княжеского титула.

Слово «так» тоже широко ходило в придворных кругах и в среде высшего столичного чиновничества. Заслуживает в этом отношении внимания сатирическое «Послание к слову „так“», помещенное в первом номере «Собеседника любителей российского слова» за 1783 год. Сатира состояла из примеров (в прозе и стихах) употребления слова «так». Оказывалось, что оно в моде «у больших господ и бар». «Так» «на все, что большой господин ни скажет, есть раболепство». Если «знатный раб» начнет бранить современный век или поносить Марка Аврелия, «всегда подлец ему кричит: конечно, сударь, так».

Сии в стихах примеры,
Как такают льстецы,
На разные манеры
Как трусят подлецы,
Не всякому докажут,
Что таканье есть зло.

В том же «Послании» резко сказано, что слово «так» сделали модным не только «знатные господа» и льстецы, но те, «кто любит льстецов»: «Кто любит таканье и слушает льстеца, Тот хуже всякого бывает подлеца».

Включение Фонвизиным слова «так» в «Придворную грамматику» обличало и знатных господ, и «подлых льстецов» при дворе, и тех, кто, любя «таканье», оказывался «хуже подлецов».

«Письмо надворного советника Взяткина его превосходительству» и «Ответ его превосходительства» — это памфлеты на екатерининский суд. Наглый произвол, бесстыдное попирание законов, открытый грабеж казны и подданных процветают во всех судебных учреждениях, до самого «вышнего судьи», каким является живущий в Петербурге «его превосходительство», «слепым случаем произведенный в большой чин». В «Письме Тараса Скотинина родной сестре госпоже Простаковой» писатель вновь поднял тему крепостного права. Скотинин сообщает, что он «прилепился к нравоучению» и потому решил «нравы крепостных людей и крестьян» «исправлять березой». После смерти любимой свиньи Аксиньи Скотинин впал в отчаяние. Обезумевший в своем желании «несчастье над людьми выместить», он клялся сестре, что станет сечь крестьян «без пощады и жалости».

Не только «Придворная грамматика», но и все сатирические произведения нового журнала, обличавшие помещиков и судейских чиновников, вельмож и государевых министров, являлись в то же время обвинением Екатерине, и прежде всего ей. Это при ее дворе торжествуют наглость, ложь, лицемерие. Это она приближает к себе любимцев, которые грабят отечество, и изгоняет «честных людей». Это благодаря ее покровительству орудуют в судах Взяткины, это она, «казанская помещица», является защитницей Простаковой и Скотинина, которые по-прежнему лютуют и зверствуют в своих имениях, сдирая три шкуры с крепостных крестьян.

Такой журнал, конечно, не мог быть напечатан.

Запрещение «Друга честных людей, или Стародума» не обескуражило Фонвизина. Он не собирался покориться судьбе и демонстрировать «образцовое послушание». Невзирая на болезнь, он хочет вести бой с Екатериной. Так созревает план предпринять обходный маневр. Ведь не разрешали ему печатать только новые произведения, многие же ранее написанные оригинальные и переводные работы переиздавались и в 80-х годах. Следовательно, если попытаться издать собрание сочинений и переводов, то там, среди старых, уже печатавшихся произведений, можно было поместить и новое, еще не публиковавшееся. Собрание сочинений следовало готовить и для того, чтобы читатель мог создать справедливое представление о нем, писателе-просветителе. К середине 80-х годов такого представления у читателей не было.

Современники узнали Фонвизина прежде всего как плодовитого переводчика — и басен Гольберга, и многотомного романа «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского», и трактата «Торгующее дворянство», и т. д.

Первые оригинальные произведения Фонвизина долго не попадали в печать или публиковались анонимно. К началу 60-х годов относятся два сатирических стихотворения: «Лисица-казнодей» и «Послание к слугам моим». «Послание» напечатано впервые вместе с повестью «Сидней и Силли» только в 1769 году, а в следующем году перепечатано в журнале «Пустомеля». Издатель сопроводил сатиру следующим извещением: «Кажется, что нет нужды читателя моего уведомлять о имени автора сего послания; перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем

любящим словесные науки довольно известно. Многие письменные сего автора сочинения носятся по многим рукам, читаются с превеликим удовольствием... если обстоятельствы автору сему позволят упражняться во словесных науках, то небезосновательно и справедливо многие ожидают увидеть в нем российского Боало. Его комедия *** столько по справедливости разумными и знающими людьми была похваляема, что лучшего и Молиер во Франции своим комедиям не видал принятия и не желал...»[1]

Комедия, помеченная тремя звездочками, — это «Бригадир». Игралась она с успехом в течение нескольких десятилетий, но издана была только в 80-х годах, да к тому же без указания имени автора.

Так складывалась несколько необычная репутация писателя — широкой публике он был известен как автор многих переводов, узкому кругу читателей — как автор «Бригадира» и острых, сатирических «письменных» (то есть рукописных) сочинений.

В 80-х годах, как мы видели, Фонвизин работал много и плодотворно в самых различных жанрах. Но все его произведения выходили анонимно. В 1787 году в журнале «Распускающийся цветок», издававшемся в университетской типографии у Н. И. Новикова, напечатано одно из «письменных» и широко известных публике произведений Фонвизина — басня «Лисица-казнодей». Басня, напечатанная анонимно, сопровождалась следующим примечанием: «Издатели «Распускающегося цветка» изъявляют сим признательность свою к славному стихотворцу, известному свету многими своими громкими сочинениями, который доставил им сию басню для поощрения их к дальнейшему получению вкуса в свободных науках».[2] «Громкими сочинениями, известными свету», конечно, были комедии Фонвизина «Бригадир» и особенно «Недоросль».

К середине 80-х годов сложилось, как видим, довольно определенное читательское представление о Фонвизине. Фонвизин — это *драматург*, «сочинитель» «Бригадира»

[1] «Пустомеля», ежемесячное сочинение 1770 года, месяц июль.

[2] «Распускающийся цветок, или Собрание разных сочинений и переводов, издаваемых питомцами учрежденного при Московском университете Вольного благородного пансиона». М., 1787, стр. 67.

и «Недоросля», *поэт* — автор сатирических стихотворений «Лисица-казнодей» и «Послание к слугам моим», и, наконец, *переводчик*, переводивший нравоучительные или сентиментальные произведения. Подобное представление далеко не полно характеризовало работу Фонвизина-писателя, его вклад в русскую литературу и его роль в развитии русской общественно-политической мысли. Происходило это потому, что одни, очень важные, произведения не попали к читателю по цензурным обстоятельствам, другие еще только готовились к печати, третьи, широко известные читателю, в силу их анонимности не связывались с именем Фонвизина. В итоге читатель XVIII века довольно смутно представлял себе Фонвизина как *политического писателя*, совершенно неясна была его работа в области *прозы*. Могло ли удовлетворить Фонвизина положение, созданное «попечением» правительства, при котором он не имел возможности сообщать читателю все, им написанное, и разговаривать с ним от своего имени? «Недоросль» принес широкую известность и авторитет. Авторитет имел огромное практическое значение — он бесконечно увеличивал силу писательского воздействия на общественное мнение. Ведь именно потому Фонвизин и предупреждал публику, что «надзирать за изданием нового журнала «Друг честных людей, или Стародум» будет «сочинитель „Недоросля“». К мнениям «сочинителя „Недоросля“» публика относилась с доверием, уважением и вниманием. Нужно было во что бы то ни стало пробиться к читателю.

Вот почему сразу же после запрещения полицией журнала «Друг честных людей, или Стародум» в «Санкт-петербургских ведомостях» появилось извещение: «В Суконной линии, в лавке № 16 раздается безденежно объявление о издании Полного собрания сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина».[1] В 44 и 45 номерах это извещение повторилось. В № 47 сообщалось, что в той же лавке № 16 «принимается подписка на Полное собрание сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина». В последний раз объявление о подписке было напечатано в № 49 от 20 июня. Но выпустить полное собрание Фонвизину не удалось. Видимо, перед тем как приступить к печатанию уже подготовленных томов, их

[1] «Санкт-петербургские ведомости», 1788, 26 мая, № 42.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

О изданіи новыхъ книгъ въ теченіе сего 1788 года и о подпискѣ на оныя въ С. Петербургѣ въ суконной линіи въ лавкѣ подъ Н. 16. на слѣдующемъ основаніи:

1. Подписка нигдѣ болѣе приниматься небудетъ, какъ въ показанной лавкѣ непосредственно а изъ иныхъ городовъ чрезъ вѣдомостную Экспедицію С. Петербургскаго Почтамта и недалѣе какъ по Августъ мѣсяцъ.

2. Если на какую изъ нижеписанныхъ книгъ будетъ взято подписателями до двухъ сотъ билетовъ, что составитъ третью только долю суммы потребной на изданіе оной, то таковая книга выйдетъ непремѣнно изъ печати чрезъ столько мѣсяцовъ, сколько заключаетъ въ себѣ частей или томовъ, и здѣшнимъ подписателямъ роздана будетъ въ помянутой лавкѣ, а другимъ разослана чрезъ почту.

. . . .

Объявление об издании полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина, опубликованное в качестве приложения к последним майским номерам «Санкт-петербургских ведомостей» за 1788 год. Особо интересен шестой пункт, извещаю-

6. Подписателямъ предоставляется право видѣть и разсматривать въ лавкѣ какъ отпечатанные по нынѣ листы изъ оныхъ книгъ, такъ и самыя рукописи одну по другой для удовлетворенія своего любопытства и удостовѣренія, что показанныя книги точно существуютъ.

. . . .

КНИГИ:

Полное собраніе сочиненій и переводовъ Дениса Ивановича фонъ Визина, состоящее въ 5 томахъ и заключающее въ себѣ слѣдующія отдѣленія: Недоросль; Брегадиръ; Коріонъ; Іосифъ въ 9 пѣсняхъ; Сидней; слово похвальное Марку Аврелію; о національномъ любочестіи; Таріо; избранныя Гольберговы басни; глухой и нѣмой; слово на выздоровленіе *Его Императорскаго Высочества*; *Каллисфенъ*; Лисица Казнодей; посланіе къ шумилову; записки перваго путешествія; поученіе въ Духовъ день; примѣчаніе на критику; челобитная россійской Минервѣ; разныя письма и проч. на любск. бум. 5. р. на Александрійской 8. руб.

щий, что «подписателям» будут показаны в книжной лавке рукописи и «отпечатанные по ныне листы». Значит, когда в мае появилось это объявление, первые тома собрания сочинений уже печатались?

пришлось представить в управу благочиния, которая и запретила издание, как перед этим запретила журнал «Друг честных людей, или Стародум».

6

Последние годы жизни Фонвизина отмечены новыми и опять трагическими попытками прорваться через полицейский запрет, чтобы рассказать честным людям правду о екатерининском самовластии. Он самоотверженно и изобретательно искал путей к читателю. И, казалось, нашел. Если нельзя печататься в столице, нужно было пытать счастья в Москве. Если нельзя издавать журнал самому, то следует создать общество и издавать его в содружестве с другими писателями.

В бумагах Фонвизина обнаружен проспект такого коллективного журнала. Он должен был называться «Московские сочинения».[1] Так же, как и «Друг честных людей», новый журнал должен был печатать только оригинальные сочинения («не принимать никаких переводов»), прозаические и стихотворные. «Трагедий и комедий не принимать, ибо оные называются уже большими сочинениями, а «Московские» состоять будут в малых»). Каждый месяц члены «малого сообщества» (издатели «Московских сочинений») должны были давать «по листу стихами и по листу прозою» (II, 312—313).

Совершенно ясно, что Фонвизин собирался предлагать прозу, которой в 80-х годах преимущественно занимался, и, конечно, среди этих прозаических сочинений должны были быть те, что в свое время предназначались для «Друга честных людей, или Стародума». Но и этот журнал света не увидел.

Екатерина к этому времени решила прекратить деятельность не только Фонвизина, но и просветителя Новикова, с 1779 года развернувшего огромную работу в Москве. В 1789 году у Новикова была отнята типография

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 517, оп. I, од. хр. 2. Впервые проспект Фонвизина под названием «Мнение об избрании пиес в „Московские сочинения"» опубликован мною в журнале «Русская литература» № 3 за 1958 год. В том же году в т. 3 сб. «XVIII век» «Мнение» было напечатано Л. Б. Светловым и датировано концом 80-х годов.

Московского университета, которую он арендовал десять лет. Не исключена возможность, что «Московские сочинения» нельзя было печатать в Москве именно в результате начавшихся активных преследований правительством Новикова.

В это же время Радищев, закончив свои революционные произведения — оду «Вольность», «Житие Ф. И. Ушакова», «Путешествие из Петербурга в Москву», — начинает, как и Фонвизин, искать типографию для издания. Поиски в Петербурге и Москве не привели ни к чему. И он решает создать типографию у себя дома, купив для этого печатный станок. Книгу он печатал сам, с помощью своих друзей. В мае 1790 года в книжной лавке купца Зотова, расположенной в Гостином дворе, уже продавалось «Путешествие из Петербурга в Москву». А 30 июня того же года Радищева арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Екатерина открыто перешла к политике полной ликвидации деятельности русских просветителей.

Тогда же болезнь с новой силой обрушилась на Фонвизина. В течение 1791 года его четырежды поражал апоплексический удар. Тяжелобольной, затравленный Екатериной, лишенный возможности работать, Фонвизин испытывает временно приступ религиозного раскаяния. В таком состоянии он написал по случаю смерти Потемкина «Рассуждение о суетной жизни человеческой», в котором пытался объявить греховной всю свою прежнюю литературную деятельность. «Всем, знающим меня, известно, что я стражду сам от следствия удара апоплексического... Но господь... отвращал вознесшуюся на меня злобу смерти. Его святой воле угодно было лишить меня руки, ноги и части употребления языка... всевидец, зная, что таланты мои могут быть более вредны, нежели полезны, отнял у меня самого способы изъясняться словесно и письменно» (II, 80).

В конце 80-х годов начато было последнее произведение — автобиографическая повесть «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Сохранившиеся отрывки «Чистосердечного признания» свидетельствуют о том, что, когда больной писатель начинал подробно описывать дела своей юности, в нем вновь просыпался сатирик, который зло и беспощадно осмеивал нравы дворянского общества.

До самой смерти Фонвизин работал, жил деятельно, напряженно, в тесной связи с современными ему литераторами. В частности, он устанавливает связь с молодым переводчиком и издателем Петром Богдановичем. В 1791 году он договаривается с ним об издании полного собрания своих сочинений. Дело, видимо, шло до самого последнего момента успешно. К такому выводу можно прийти на основании сообщения самого Богдановича. К брошюре «Жизнь графа Н. И. Панина», выпущенной им в 1792 году, была приложена «Роспись книгам, продающимся, также печатанным и печатающимся в Санкт-Петербурге, по Невской перспективе, у Аничковского мосту, в доме графа Д. А. Зубова». В «Росписи» в числе других книг названо и «Полное собрание сочинений и переводов Д. И. Фонвизина в 5-ти частях». Даже указывалась цена — 6 рублей.[1] Просмотр газетных объявлений о поступивших в книжные лавки изданиях убеждает, что пять томов фонвизинского собрания из типографии не вышли.

И вновь полное собрание сочинений не поступило в продажу, не попало к читателю. Если в 1788 году непреодоленные трудности не позволили Фонвизину осуществить свой замысел, то в 1792 году, когда свирепствовала реакция, когда Екатерина не просто запрещала книги, но и арестовывала писателей (Радищев был уже в Сибири, Новиков — в Шлиссельбургской крепости), нечего было и думать о выпуске в свет полного собрания сатирических и политических сочинений, направленных против императрицы.

Понимая, что при жизни ему уже не издать своего собрания сочинений, смертельно больной Фонвизин передает все рукописи Петру Богдановичу, чтобы тот издал их при первой возможности.

Этот поступок — лучшее свидетельство того, что Фонвизин ни в чем не раскаялся в конце своей жизни и попрежнему желал своими сатирическими и политическими

---

[1] На извещение о Полном собрании сочинений и переводов Фонвизина в «Росписи» и отношение П. Богдановича к этому изданию впервые обратил внимание Л. Б. Светлов (см. его статью «А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII века» в сб. «Из истории русской философии XVIII—XIX вв.», изд-во МГУ, 1952).

сочинениями бороться с Екатериной и служить своему отечеству.

И. И. Дмитриев сохранил в своих мемуарах рассказ о встрече с писателем в доме Державина 30 ноября 1792 года, за день до его смерти. «В шесть часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами... Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела: обе поражены были параличом; говорил с крайним усилием и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали».

На этот вечер Фонвизин привез свою последнюю комедию «Гофмейстер» («Выбор гувернера»), которая была прочтена одним из сопровождавших его офицеров. Он спрашивал Дмитриева, как нравятся ему его сочинения, с похвалой отозвался о поэме Богдановича «Душенька», говорил остроумно и увлеченно, хотя тяжелая болезнь заставляла произносить слова медленно и с большим усилием. «Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться». Рассказанные в этот вечер истории — об уездном почтмейстере, почитателе Ломоносова, который не читал ни одной оды поэта, о молодом драматурге, читавшем ему трагедию «в новом вкусе», в которой героиня, в отличие от старых драм, умирает «не добровольной или насильственной смертью», но «естественной», — исполнены живых наблюдений, по-фонвизински остры, сатирически злы и насмешливы.

То была последняя встреча Фонвизина с писателями. «Мы расстались с ним, — заключает рассказ И. И. Дмитриев, — в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был в гробе». [1]

---

[1] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь. М., 1866, стр. 58—60.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОТКАЗ ОТ ТЕАТРАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ В ПОЛЬЗУ ПРОЗЫ

1

В первом письме сочинителя «Недоросля» Стародуму («Друг честных людей») Фонвизин признавался: «Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составил я целые явления, кои публика и доныне с удовольствием слушает; но как болезнь моя не позволяет мне упражняться в роде сочинений, кои требуют такого непрерывного внимания и размышления, каковые потребны в театральных сочинениях; с другой же стороны, привычка упражняться в писании сделала сие упражнение для меня нуждою, то и решился я издавать периодическое творение, где разность материй не требует непрерывного внимания, а паче может служить мне забавою».

Когда писалось это письмо, Фонвизин был действительно тяжело болен. Но интерес у писателя к «малым сочинениям», сочинениям прозаическим, мы наблюдаем еще до начала болезни, с конца 70-х годов, когда писались «Записки первого путешествия». Сразу после «Недоросля» семь «малых» сочинений были напечатаны в «Собеседнике любителей российского слова». Небольшие произведения готовились для «Друга честных людей» и «Московских сочинений». Кроме того, в 80-х годах были написаны «Жизнь Н. И. Панина», повесть «Калисфен» и начата большая автобиография — «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Судя по началу, немалым по объему должно было быть «Повествование

мнимого глухого и немого». Большие прозаические сочинения требовали не меньше «внимания и размышлений», чем комедии. Видимо, дело тут было в другом. И болезнь явилась лишь поводом для объяснения действительного положения вещей. В русской литературе все настоятельнее ощущалась нужда в прозе. Опыты Фонвизина в этом жанре были удачными. Чутко и остро ощущая потребность времени, Фонвизин после «Недоросля» все больше склонялся к прозе, отказываясь от работы над театральными сочинениями. Видимо, писатель мог бы сказать о себе пушкинскими словами: «Лета к суровой прозе клонят».

Предпочтение прозе сказывается и в такой характерной детали. После «Недоросля» Фонвизин задумывает писать новую комедию «Добрый наставник». Бросает начатую работу, а написанное перерабатывает в прозаическую статью. До сих пор печаталось только первое явление комедии. Среди рукописей Фонвизина находится второе явление комедии.[1] Знакомство с двумя явлениями первого действия убеждает, что именно они послужили основой сатирической сценки «Разговор у княгини Халдиной», предназначавшейся для журнала «Друг честных людей, или Стародум». Перед нами красноречивый пример предпочтения драматического рода искусства прозе. Сделана эта сцена мастерски. Вспомним, как высоко оценил Пушкин «Разговор у княгини Халдиной», напечатанный в 1830 году в «Литературной газете»: «кто хотя немного изучал дух и слог Фонвизина, тот узнает тотчас их несомненные признаки и в «Разговоре». Статья сия замечательна не только как литературная редкость, но и как любопытное изображение нравов и мнений, господствовавших у нас лет сорок тому назад... Все это, вероятно, было списано с натуры... Прочитав «Разговор у княгини Халдиной», пожалеешь невольно, что не Фонвизину досталось изображать новейшие наши нравы».[2]

Переделка комедии в сатирическую сценку связана, видимо, и с изменением замысла. Название комедии «Добрый наставник» свидетельствует, что в центре, оче-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 517, оп. I, ед. хр. 2, лл. 11—15. Опубликовано в Собр. соч. в двух томах, т. I, стр. 183—185.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр соч. в десяти томах, т. VII, стр. 106—107.

видно, должен был стоять честный человек, высоко сознающий долг воспитателя юношества, нечто вроде Нельстецова из последней комедии Фонвизина «Выбор гувернера». Обстоятельства политической жизни России 80-х годов, начатая Фонвизиным борьба с самовластием Екатерины требовали других тем. Приостановив работу над «Добрым наставником», Фонвизин написал «Разговор у княгини Халдиной». Идея «Разговора» не только в том, чтобы описать с натуры характеры представителей благородного сословия и нарисовать картину нравов дворянского общества. Фонвизин показывает, что и развращенность нравов и преступность дворянских чиновников (судей) обусловлены политикой русского самодержавия. Оттого писатель снимает всю первую сцену (княгиня со служанкой Марией), заменив ее одной фразой в письме Стародума, приславшего «Разговор у княгини Халдиной» издателю «Друга честных людей»: «Она много шумела со своей девушкой о нарядах». В действительности она говорила не только о нарядах — в ее рассказах о своих трех замужествах, об увлечении Сорванцовым, о том, как она проводит вечера у своей тетки, много сатирической соли. Сохранив все второе явление — беседу Сорванцова с княгиней, — Фонвизин дополняет статью, вводит новый персонаж — Здравомысла, заставляя Сорванцова и Здравомысла вести серьезный *политический* разговор.

Из их беседы читатель выясняет, что в судах сидят «грабители», «взяткобратели», невежественные и неграмотные судьи. Сорванцов предупреждает, что, хотя он может показаться «головорезом» с первого взгляда, его все же волнуют серьезные вопросы политического состояния русского государства. Поэтому он задает Здравомыслу кардинальный вопрос: «Но разве всему этому пособить не можно? Разве нельзя завести добрых судей, которые бы имели и знания и дарование понять дело?» Ответ Здравомысла дает понять читателю, что изменить положение, конечно, можно, но необходимо, чтобы этого хотело правительство. Он, Здравомысл, предлагает, например, ввести преподавание в университетах курса *политических наук*. При этом он указывает, что́ следует разуметь под политическими науками и к каким плодотворным результатам их изучение может привести. Но свою речь Здравомысл завершает грустным признанием: он не «составляет своего мнения» о введении политических наук

в университетах, ибо не уверен, что его идея была бы признана «полезной и угодной», и потому он боится «вместо удовольствия нажить каких-нибудь неприятностей от тех людей, кои сами, пресмыкаясь в невежестве, думают, что для дел никому учиться не надобно» (II, 70).

Но, оказывается, «нельзя унять и грабителей» в судах. Нельзя, потому что даже судьи «с честными правилами принуждены брать взятки», ибо правительство платит им преднамеренно ничтожное жалованье, толкая их на взятки. Оттого все судьи «продают публично правосудие» (II, 71). «Разговор», как видим, превращался в остро политическое сочинение, которое обвиняло в развращении нравов и продажности судей правительство.

2

Задуманная комедия «Добрый наставник» не была написана. Но мысль о необходимости создания драматического сочинения, которое бы на примере жизни честного человека показало, каким должен быть в условиях России воспитатель юношества, не оставляла писателя. Невзирая на болезнь, он принялся за новую комедию «Выбор гувернера», которую не успел завершить.

«Выбор гувернера» писался после получения известий о начале революции во Франции. Дошедший до нас вариант комедии, видимо, относится к 1790 году — году, когда Екатерина, напуганная французскими событиями, перешла к репрессиям и подавлению всякого вольномыслия в России.

В научной литературе о Фонвизине обычно эта комедия замалчивается или о ней говорится скороговоркой, поскольку признается, что в ней Фонвизин отступил от прежних своих идейных и художественных принципов. Последняя по времени оценка комедии принадлежит К. В. Пигареву: «В идейно-художественном отношении «Выбор гувернера» значительно уступает не только «Недорослю», но и «Бригадиру». В новой комедии Фонвизина «угнетение рабством себе подобных» никак не затронуто... по сравнению с прежними произведениями Фонвизина обличение «французомании» в комедии «Выбор гувернера» приобретает реакционную окраску. В пьесе содержатся выпады против французской буржуазной ре-

волюции... Художественные качества комедии крайне посредственны. В ней нет ни одного живого персонажа, никакого сценического действия, ни малейшей попытки индивидуализации речи. Пьеса только однажды была поставлена Александринским театром в 1892 году, на спектакле в ознаменование столетней годовщины со дня смерти Фонвизина».[1]

Согласиться с подобным категорическим заявлением нельзя. «Выбор гувернера» — последнее драматическое сочинение больного писателя. Комедия — убедительное свидетельство идейной верности Фонвизина своим просветительским убеждениям. Упрекать в художественной слабости эту пьесу не имеет смысла, потому что она, несомненно, не завершена. То, что дошло до нас, не более чем краткий набросок сюжетных линий будущей комедии. Писатель крупно обозначил столкновение просветительски настроенной группы дворян (Сеум, Нельстецов) с аристократами (князья Слабоумовы, графиня Самодурова), тщательно сформулировал идейную программу своих положительных героев. Конспективность комедии проявилась и в отсутствии индивидуализации речи и в отказе от подробного раскрытия характеров в событиях и действиях, поскольку автор задался целью лишь прочертить линию идейного конфликта. Особенно отчетливо эта конспективность проявляется в условных мотивировках появления на сцене Нельстецова, Самодуровой и учителя Пеликана. Драматургическая опытность Фонвизина вне сомнения. Ему бы ничего не стоило найти внутренне оправданный и реальный повод к тому, чтобы собрать нужных людей на сцене. Это и было бы исполнено в окончательной редакции комедии. Болезнь, очевидно, помешала завершить начатую работу. Следует помнить также, что комедия дошла до нас не в полном виде — в ней недостает важной части идейного спора Сеума с князем из второго действия.

Сохранившаяся редакция комедии «Выбор гувернера» важна прежде всего для понимания идейной позиции Фонвизина после французской революции. Существующее в науке мнение, что Фонвизин отступился от своих просветительских убеждений и стал с реакционных позиций осуждать революцию, несправедливо. Прежде всего

---

[1] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 254, 255, 256.

следует помнить, что, как просветитель, Фонвизин никогда не принимал революционного пути, всегда выступая пропагандистом идеи воспитания. «Выбор гувернера» показывает, что даже после революции Фонвизин не изменил своим просветительским убеждениям и счел необходимым и общественно-важным выступить с программой действий в новых политических условиях.

Сравнение «Выбора гувернера» с лучшей комедией Фонвизина «Недоросль» показывает, что драматург ни в чем не отступил от своих взглядов. Устами Стародума Фонвизин заявлял о государственной и политической важности воспитания. Забота о воспитании есть главная забота государя. Цель воспитания, говорит Стародум, — «возвысить души своих подданных». Нельстецов, главный герой «Выбора гувернера», не учитель, он, как и Стародум, независимый человек, дворянин, штаб-офицер в отставке, имеющий достаток, который принесла ему честная служба отечеству. И все же он стремится заняться воспитанием, ибо воспитывать для него — значит исполнять свой гражданский долг. Он ставит перед собой задачу: «поселить в его (ученика. — *Г. М.*) голову и сердце, что он, будучи благородно рожденный, должен иметь и благородную душу» (I, 196).

Новое выступление Фонвизина с пьесой, посвященной проблемам воспитания, следует рассматривать в связи с тем широким обсуждением русскими просветителями в 80-х годах теоретических и практических проблем воспитания русского юношества, о котором уже говорилось выше.

Понимая, что в новых условиях выступать с политическим прозаическим сочинением невозможно, Фонвизин решил вернуться к комедии для того, чтобы со сцены раскрыть перед зрителем характер честного человека, желающего исполнить свой патриотический долг на поприще воспитания юношества.

Фонвизин и в новой комедии с прежних позиций восстает против сословно-дворянских представлений о том, что достоинство человека состоит в природе. Княгиня Слабоумова заявляет: «Я думаю, однако, что порода есть достоинство». Сеум решительно отвергает это суждение: «Самое меньшее из всех человеческих достоинств. Родиться князем не мудрено». Человек, продолжает Сеум, обязан «сиять» «почтенными качествами», из которых

главное — «ревностию быть полезным отечеству» (I, 191—192).

Важное место в просветительских убеждениях Фонвизина занимает учение о должностях. Еще в «Недоросле» было сказано, что все люди, живущие в обществе, связаны друг с другом исполнением своих должностей. «Должность» — «это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим». Общество разделено на сословия. Но «у каждого свои должности», а у дворянина наибольшие. Дворянин обязан помнить, что «есть люди, которым <надо> помогать; есть отечество, которому служить». «Степени знатности рассчитываю я, — говорил Стародум, — по числу дел, которые большой господин сделал для отечества».

Все эти положения, высказанные в «Недоросле», получили дальнейшую разработку в «Выборе гувернера». Признавая, как и все просветители, разделение общества на сословия, Фонвизин указывает, что не может быть равенства состояний. Поэтому для него убеждение некоторых философов, будто бы могут быть установлены законы, утверждающие счастье каждого «частного человека», не больше как утопия. «Нигде и никогда не бывали и быть не могут такие законы, кои бы каждого частного человека счастливым делали», — говорит Нельстецов. И дело не только в том, что идея равенства состояний есть «вымысел ложных философов». Во Франции произошла революция, там были провозглашены лозунги равенства, и все-таки, утверждает Фонвизин устами Нельстецова, равенства там нет и не будет: «...но равенства состояний никогда достигнуть не могут, какие бы законы они ни сделали, ибо всегда одна часть подданных будет принесена на жертву другой. Вот что я думаю о нынешнем законодательстве французском» (I, 200).

Как просветитель, Фонвизин не одобрял революционного пути к свободе. Но как реальный политик он отлично видел, что новое революционное законодательство не принесло французской нации обещанной свободы и равенства состояний. Следует напомнить, что весной того же 1790 года Радищев, узнав о некоторых новых законах революционного французского правительства, с горечью записал: «Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена...

народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд, за то что дерзнул писать против народного собрания... О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей». [1]

Видя на примерах истории и современности, что равенства состояний не существует, что его нет даже в революционной Франции, Фонвизин не проповедует права угнетения одного сословия другим. Ему ненавистно порабощение человека человеком. Как истый просветитель, Фонвизин выступает против того политического строя, в котором один человек, одно сословие приносятся в жертву другому человеку, другому сословию. Опираясь на свое учение *о равных должностях каждого члена общества,* Фонвизин в комедии «Выбор гувернера» излагает свое понимание неравенства. Подданные должны жертвовать своими интересами, но не для пользы таких же, как и они, людей, а для блага отечества. Нельстецов так формулирует фонвизинскую мысль: «Необходимо надобно, чтоб одна часть подданных для блага целого государства чем-нибудь жертвовала» (I, 200).

Можно и следует говорить об ограниченности такой позиции Фонвизина. Мы знаем, что тогда же вышло «Путешествие из Петербурга в Москву», где изложена иная политическая концепция будущего общества, где ясно определена необходимость истребления господствующего класса дворянства. Но Радищев был революционером, а Фонвизин только просветителем. И для нас дорого, что в сложных политических условиях, когда во Франции происходила революция, а в России началась полоса тяжелой реакции, крупный русский просветитель и великий драматург, даже будучи изолированным от передовых общественных сил, не изменил своим убеждениям.

---

[1] А. Н. Радищев. Избр. соч. М., Гослитиздат, 1952, стр. 161.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

«МОЕ ДЕЛО БЫЛО ПОЗНАВАТЬ ЛЮДЕЙ И ПОЗНАВАТЬ ЧЕЛОВЕКА»

1

После окончания «Недоросля», как мы видели, проза оказалась в центре внимания Фонвизина. И вновь, как и во время работы над «Записками первого путешествия», судьба столкнула его с «Исповедью» Руссо. В 1782 году первая часть «Исповеди» вышла из печати. Несомненно, Фонвизин, с особым интересом относившийся к сочинению, о котором слышал еще четыре года назад, прочел его. Позже, во вступлении к «Чистосердечному признанию в делах моих и помышлениях», он писал об этой книге: «Славный французский писатель Жан-Жак Руссо издал в свет «Признания», в коих открывает он все дела и помышления свои от самого младенчества, — словом, написал свою исповедь и думает, что сей книги его как не было примера, так не будет и подражателей.

Я хочу, говорит Руссо, показать человека во всей истине природы, изобразив одного себя. Вот какой подвиг имел Руссо в своих признаниях» (II, 81).[1]

Фонвизин не только понял и оценил художественное открытие великого французского писателя — он воспринял его. В новом свете предстала перед ним задача его —

[1] Фонвизин почти дословно цитирует начальные строки вступления к «Исповеди»: «Я принимаюсь за дело, которому не было примера и которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, — и этим человеком буду я» (Ж.-Ж. Руссо. Исповедь, т. I. М.—Л., «Academia», 1935, стр. 3).

писателя — познавать природу человека, раскрывать сложность и противоречивость «сердца человеческого». Так зародился замысел нового произведения, которое Фонвизин назвал «Повествование мнимого глухого и немого».[1]

«Повествование» писалось от имени главного героя. В предисловии к своим запискам он так объяснял причину, заставившую его взяться за перо: «я имел отменный и совсем необыкновенный случай видеть обнаженные сердца и нравы и проницать в самые сокровенные тайны людские... ибо ничто столь внимания нашего не заслуживает, как сердца человеческие, кои час от часу лавиринту подобнее становятся, потому что ко всеобщим прежде бывшим причинам скрывать слабости и страсти, воспитание, bon ton и manière de vivre прибавили еще в нас единообразие, кое соделывает наружность нашу так единаку, что каждый из нас ни на себя и ни на кого особенно не походит, а все вообще как будто из одной формы вылиты представляются» (II, 7).

Прежнее понимание обусловленности человеческого характера обстоятельствами его бытия уже не удовлетворяло Фонвизина, он увидел человека в его сложности и в единстве — одновременно как тип и как индивидуальность. Общие условия жизни, воспитание, манеры, нравы «соделывают наружность нашу так единаку», что за внешностью не раскрывается, не угадывается неповторимая личность. Фонвизин, стремясь «познавать сердца

---

[1] «Повествование» начало печататься в четвертой части «Собеседника любителей российского слова» за 1783 год. В седьмой части опубликована очередная глава — «Пребывание мое в Москве». В конце отрывка читатель извещался, что «продолжение будет впредь». Видимо, представленные новые главы носили такой обнаженно-сатирический характер, что Екатерина (или другие редакторы журнала) не разрешила их печатать. Во всяком случае, никакого продолжения, равно как и извещения от редакции, не последовало. Между тем очевидно, что «Повествование» было *закончено* Фонвизиным. Доказательством этому служит намерение писателя печатать «Повествование» в составе собрания сочинений (см. об этом в Собр. соч. Фонвизина в двух томах, т. 2, стр. 627—628). Печатать оборванный на полуслове отрывок, естественно, писатель не стал бы. Важно и то, что в газетном объявлении о подписке на собрание сочинений «Повествование» было упомянуто. Ясно, что делалось это неспроста. Читатель предупреждался, что всякий желающий знать продолжение «Повествования» может его прочесть, подписавшись на пятитомное собрание сочинений Фонвизина.

человеческие», хочет создать «разнообразные характеры». Он ищет приема, который бы оправдывал и делал убедительным для читателя открывшуюся ему «правду» о человеке, когда «и самые сокровенные чувства будут обнажены». Так рождалась своеобразная форма «Повествования». Это дневник путешественника, который ведет главный герой. Но этого Фонвизину мало — он боится, что читатель, не привыкший к подобному раскрытию человека (Руссо справедливо говорил, что писать «Исповедь» — дело, которому не было примера), не поймет его прежде всего потому, что не поверит. Нужно было что-то сделать, чтобы читатель поверил в правду «Повествования». Тогда-то Фонвизин и решает ввести «отменный и совсем необыкновенный случай видеть обнаженные сердца».

Герой «Повествования» сообщает о себе: его отец, «честный человек», истинный сын отечества, претерпевший во время службы «многие обиды, досады и несправедливости», «преданный друзьями и покровителями», уходит в отставку, живет «в уединении», занимаясь воспитанием сына. Стараясь сделать его «независимым», он воспитывал в нем отвращение к большому свету и направлял сердце и ум «к добродетели и человеколюбию».

Но нельзя, по мнению отца, по-настоящему воспитать человека, не открыв ему сердца людей. Но как же можно «спознать» эти сердца? У него созревает план, который он и осуществляет вместе с сыном. Он объявляет родным о тяжелой болезни сына. После продолжительного времени «смертельная» опасность миновала, сын остался жив, но... будто бы оглох и онемел. После того как все привыкли считать сына глухим и немым, отец повез его по России. «Несколько месяцев спустя поехал я один с отцом моим по разным губерниям пространного нашего отечества». В пути отец объявлял всем, с кем доводилось встречаться, что его сын глухой и немой. Люди переставали бояться юноши. При нем, не стесняясь, говорили: «Он, бедняга, никому и ничему не помеха». «Оттого-то, — признается автор «Повествования», — я к сокровенной человеческой внутренности имею ключ» (II, 11—12).

В «Повествовании мнимого глухого и немого» *предметом исследования стал человек.* По плану Фонвизина после короткого введения с рассказом о том, как герой «Повествования» вместе с отцом открыл возможность познать сердца человеческие, и описания первого путешест-

вия, совершенного вместе с отцом, должна была следовать главная и основная часть «Повествования». Взрослый герой, совершив множество путешествий по России, записывал вместе с женой результаты своих наблюдений. Этот раздел отличался от «Записок первого путешествия по 1762 год». В «Записках», предупреждал Фонвизин, «совсем другой слог, нежели в моем «Повествовании». Здесь (в «Записках». — *Г. М.*) следовал я моему сердечному чувству, а там иногда веселому, иногда сердитому чувству, в какое разные встречи меня приводили» (II, 12).

До нас дошло только начало «Повествования» — введение (рассказ о детстве) и описание первого путешествия с отцом (знакомство с соседями, встреча в пути с хлебосольной помещицей, затем въезд в Москву).

Руссо в своей «Исповеди» обещал показать «во всей правде природу одного человека», этим человеком оказывался он сам. Как бы полемизируя с произведением подобного жанра, Фонвизин писал: «Я не только удовлетворяю самолюбию, которое обыкновенно нас влечет о себе самом и до себя касающемся с удовольствием говорить». Читатель предупреждался — в «Повествовании» будет рассказ о себе, то есть исповедь автора, но этим он не ограничится. В «Повествовании» и путешествии читатель знакомился с «разнообразными характерами» других людей. Для того-то и понадобилось автору «Повествования» притворяться глухим и немым, чтобы найти ключ к «человеческой внутренности».

Как должно было раскрыться «сердце» автора «Повествования» под влиянием богатых впечатлений путешествия — мы не знаем, сохранившиеся главы «Повествования» не дают нам для этого почти никаких оснований. Зато мы можем представить, как рисовались и должны были рисоваться «разнообразные характеры».

Первыми объектами для описания оказались помещики — соседи автора записок — Пимен Прохоров сын Щелчков-Оплеушин и Варух Язвин. Они нарисованы, правда, в прежней обнаженно-сатирической манере. В известной мере это оправданно — о Щелчкове и Язвине герой «Повествования» рассказывает со слов отца, он лично не «исследовал» их, не сталкивался с ними, не познавал их сердец. Потому Фонвизин создавал иронически злые портреты ненавистных ему дворян из племени Скотининых. Вот Пимен Щелчков: «Он был мужик пресильный и чело-

век преглупый, превеликого росту и пренизкого духу, по вся дни пил, весь день был пьян, а ночи сыпал богатырским сном» (II, 13). А вот Варух Язвин: «Во всю жизнь мою не видывал я такой подлой рожи и которая так бы сильно выражала собою безобразие души, какую носил г. Язвин... Должно признаться однако ж, что мрачная душа его, обремененная грехами, непрестанно трепетала. Он был в равной степени бездушник и ханжа. Однажды украл он из нашего табуна двенадцать лучших лошадей и на другой день со всею своею окаянною семьею на тех же краденых конях отправился в Ростов богу молиться» (II, 14—15).

Иначе рисуется характер хлебосольной помещицы. Еще задолго до того, как она появилась перед читателями, нам активно демонстрируются черты ее характера в действиях. Въехав в поместье госпожи А., путешественники попали сразу в «хоромцы», которые она «построила нарочно для проезжих». Затем к ним пришел лакей «просить ужинать». Отец автора «Повествования» «извинился от ужина». Но «через четверть часа увидели мы троих слуг, несущих к нам цыплят, кур, пирогов, сливок и всего, что можно было сыскать в деревне для нашего ужина. Сие гостеприимство тронуло очень отца моего. Он вынул было кошелек, дать несколько денег людям, но они отозвались, что им весьма строго запрещено от помещицы брать с проезжих деньги и что, впрочем, не имеют в них никакой нужды, служа своей доброй госпоже» (II, 17).

Еще не видав госпожи А., мы уже многое узнаем о ее характере — она и добра, и заботлива, и деятельна, и, главное, чувствуется, что это человек с убеждениями. Какие они, эти убеждения, мы еще не знаем, но по всем поступкам госпожи А. мы воспринимаем ее как человека нравственно цельного, одушевленного идеей добра.

Поутру путешественники навестили хозяйку, «старушку лет шестидесяти». В ответ на слова благодарности она сказала: «Ах, батюшка, как не пособить дорожным людям! Да на что ж наделил меня бог достатком, буде не помогать тем, которые в глазах моих, перед моими окнами, могут иметь нужду в моей помочи?» (II, 17)

При последующем знакомстве мы обнаруживаем, что дело не в природной доброте госпожи А., а в ее убеждениях. Воспитанная своим мужем, она придерживалась мысли, что дворянское звание обязывает к службе отечеству.

Вдова, она отправила единственного сына своего в армию. На удивленный вопрос, как она решилась на это, старушка отвечает: «Он дворянин. Я лучше согласилась всякий день горевать об его отсутствии, нежели видеть его в моих глазах тогда, когда его братья дворяне понесли свои головы. Я, мой батюшка, той веры, что лучше моему сыну, Христос с ним, умереть, нежели слыть шалуном или тунеядцем, или, чего боже избави, трусом» (II, 17—18).

Фонвизин показывал: не все в дворянстве Скотинины и Простаковы. Правда, госпожа А. далека от людей, подобных Стародуму. Но ее существование — отрадный и многообещающий факт русской жизни. Оставаясь помещицей, она чужда своекорыстия, по-своему ищет деятельной жизни, хочет делать добро людям, поступаясь материнским чувством, страстно отстаивает человеческую чистоту своего чувства. Пусть убьют ее сына на войне — ее горе будет святым, она будет знать, что сын умер достойно, как истинный сын отечества, не был трусом, шалуном и тунеядцем. Образ матери, любящей суровой, но чистой любовью своего сына, противостоял образу Простаковой.

В «Повествовании» Фонвизин не только изображал разнообразные характеры. В сочных, достоверных живописных картинах он запечатлел русские нравы конца XVIII века. Особого внимания заслуживает глава «Пребывание мое в Москве». Начиналась она описанием московского «древнего обычая», по которому приезжий обязан немедленно навещать всех родственников — близких и дальних — «с отцовской, материнской и женниной стороны», а потом «ожидать их посещения». Встречи родных сопровождались обильным угощением. Фонвизин нарисовал несколько картин таких встреч хлебосольных родственников.

Представляет интерес описание Москвы: «Воспитанному в деревне Москва должна чудом показаться: церкви, дома, кареты, стечение народа — все приводило меня в изумление. В самом деле, что есть наша деревенская колокольня противу Ивана Великого? Что наш домик противу высоких теремов бояр московских? Что наши дрожки или коляски противу позлащенных колесниц, созидаемых на Петровке национальными художниками?» (II, 19)

Фонвизин, пожалуй, первым дал описание Москвы как места жительства ушедших в отставку знатных бояр и

вельмож. Но, верный себе, он описывал этих москвичей не элегически, а языком, исполненным яда и злости: «Поравнясь противу одного огромного каменного дому, которого двор травою порос: «Батюшка, — спросил я у отца моего, — неужели никто не живет в сем прекрасном доме?» — «Друг мой, — отвечал он мне, — в этом доме живет сам хозяин». — «Разве он никого к себе не пускает?» — продолжал я. „Нет, — говорил мне мой отец, — не он к себе людей не пускает, никто к нему ездить не хочет. Быв в службе в большом чину, имел он самую мелкую душу; кроме себя, никому добра не сделал; скопив богатство, решился заблаговременно убраться в отставку, ласкаяся доживать свою старость в Москве в знати и удовольствии, но сильно обманулся: невзирая на чин и богатство, он целою публикою презрен и так совершенно забыт, как будто столетие назад он перестал существовать“» (II, 19—20).

Утрата полного текста «Повествования мнимого глухого и немого» обеднила русскую прозу XVIII века. Мы лишились замечательного произведения, которое могло обогатить нашу литературу «разнообразными характерами» русских людей разных сословий — всех тех, кто мог встретиться во время путешествия «по различным губерниям пространного нашего отечества».

2

С июля 1786 года в Петербурге начал выходить журнал Академии наук «Новые ежемесячные сочинения». Его редакторами были академики Н. Я. Озерецковский и А. П. Протасов. В конце июня того же года разбитый параличом, больной Фонвизин, всю зиму пролежавший в постели после первого удара, отбыл в Карлсбад. Во втором номере (август) «Новых ежемесячных сочинений» была анонимно напечатана небольшая фонвизинская повесть «Калисфен». Когда написана эта повесть — неизвестно. Но весьма вероятно, что во время болезни. Судя по тому, что, отправившись в Карлсбад, больной Фонвизин по обыкновению вел дневник путешествия и писал письма родным, — работать он мог. Видимо, весной 1786 года, немного оправившись после удара, он и написал «Калисфена», оставив его своим друзьям (может быть,

Н. Даниловскому, жившему в Петербурге и связанному с литературными кругами).

Недооценка нашей наукой прозаического наследия Фонвизина сказалась и на этой повести — до сих пор не раскрыт ее идейный смысл, ее подлинный сатирический пафос, ее античный колорит.[1] «Калисфен» имел подзаголовок — «Греческая повесть». Для такого писателя, как Фонвизин, воистину «из перерусских русского», обращение к античности кажется на первый взгляд неожиданным. Но, как показывают факты, «греческая повесть» не была случайностью в творчестве Фонвизина. В 70—80-х годах он проявлял особый интерес к античности. Тема воспитания гражданских добродетелей в греческих и римских республиках уже широко представлена в переведенных им книгах А. Тома «Слово похвальное Марку Аврелию» (1778) и Циммермана «Рассуждение о национальном любочестии» (1785). Известно, что незадолго до смерти Фонвизин начнет переводить Тацита. Более того — среди дошедших до нас автографов сохранились два отрывка прозаических сочинений на античные темы: «О древних римских обычаях» и «Иппокрит и Демокрит». К сожалению, эти отрывки до сих пор не удалось разобрать: почерк больного писателя так сильно изменился, что почти не поддается прочтению. Но и начальные строки отрывков знаменательны. Вот первая фраза статьи «О древних римских обычаях»: «Столь чрезвычайный народ, каким были древние римляне, привлекает к себе толикое внимание, что мы алчно изыскиваем все то, что хотя малейшее к нему отношение имеет». Вторая статья посвящена греческим философам. Она начиналась так: «Демокрит был философ великой души, отменного разума и редкой добродетели».[2]

Обращение Фонвизина к истории диктовалось насущными нуждами патриотического воспитания граждан. Та-

---

[1] В отличие от других ученых, К. В. Пигарев интересно и заслуженно высоко оценил «Калисфена». Он, в частности, справедливо критиковал мое толкование повести, данное в книге «Д. И. Фонвизин» (М.—Л., «Искусство», 1950, стр. 118—119). Безусловно прав К. В. Пигарев и тогда, когда говорит, что нельзя называть повесть «капитуляцией перед самовластием Екатерины», как это делал я (К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 235).

[2] ЦГАЛИ, ф. 517, оп. I, ед. хр. 2.

кое воспитание, по Фонвизину, достигает цели, если уже в детские годы прививать ребенку любовь к отечеству и уважение к собственной личности, доверие к собственным силам. «Надлежит представлять им (юным гражданам. — *Г. М.*) добродетели в трогающих примерах, чтоб они любили добродетель». История народов дает множество примеров для подражания, история античности сохранила подвиги героев в великолепном изложении Плутарха. «Юность способна к тому прекрасному пламени, которое пылало в сердцах древних ироев, и к благородному желанию собирать лавры на том месте, где достойные их предки пожинали оные. Изображение благих нравов, повествование добродетельного деяния действует тотчас, влечет душу к удивлению и волю к подражанию» (II, 295).

Несомненно, этими обстоятельствами объясняется обращение Фонвизина к античности. «Калисфен» — первый опыт создания оригинального произведения на античном материале. Главные герои повести — реальные исторические лица: философы Аристотель и Калисфен и всемогущий царь Александр Македонский. Александр в детстве учился у Аристотеля. Став монархом, он вспомнил об учителе и прислал ему письмо с просьбой помочь ему. «Возлюбленный учитель, будь уверен, что я твердо помню и точно исполняю все твои наставления; но я человек и окружен льстецами; страшусь, чтоб наконец яд лести не проник в душу мою и не отравил добрых моих склонностей... Сделай мне теперь новое благодеяние: пришли ко мне достойного из всех учеников твоих, который бы имел дух напоминать мне часто твои правила и укорять меня всякий раз, как я отступать от них покушуся» (II, 28).

Выбор пал на философа Калисфена. Он не верил в добродетель Александра и удивился просьбе Аристотеля ехать ко двору «толь сильного монарха». Он признался Аристотелю: «Но при дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено, может ли истина свободно изъясняться?» Аристотель ответил вопросом: «Неужели гонения страшишься?» (II, 29)

Так была определена одна из сюжетных линий повести — испытание мужества и отваги философа, исполняющего свой долг. Согласившись ехать к Александру, Калисфен с гордостью заявил: «Вы знаете, с радостию ли исполняю долг моего служения и готов ли я вкусить

смерть за истину!» (II, 29) Калисфен знал, что идет навстречу гибели, но шел свободный и убежденный в правоте своего дела. Пребывание в должности советника Александра было недолгим. Александру, который вначале слушался было Калисфена, скоро наскучило исполнять его советы. И когда тот фанатично продолжал обличать перед ним неправду и его собственные преступления, Александр повелел заточить его в тюрьму, а потом казнить. Предчувствие Калисфена сбылось. Русский читатель познакомился с героическим характером, с человеком, который бесстрашно исполнил свой долг, глубоко веря, что его жизнь нужна человечеству. Калисфен был философ. Фонвизин примером его жизни учил: именно *убеждения, сознание своего долга, своих обязанностей и своей силы — силы личности и гражданина,* позволяют человеку с презрением относиться к опасностям, быть честным, смелым, идти на подвиг и даже на смерть с поднятой головой. Античная героика помогала Фонвизину воспитывать своих соотечественников в духе гражданской добродетели.

Но повесть «Калисфен» имела и другой, более острый, политический смысл. Создание Фонвизиным «Рассуждения о непременных государственных законах» знаменовало рождение в России новых политических убеждений и начало пересмотра старой концепции просвещенного абсолютизма. Фонвизин понял, что *коренным условием* существования просвещенной монархии в стране *является введение в действие «непременных государственных законов»*, которые бы *ограничивали* монарха и не позволяли императорской власти превращаться в самовластие. Автору «Рассуждения» было ясно, что не только Екатерина, давно превратившая самодержавие в деспотизм, не является просвещенным монархом, но таким не будет и Павел, законный претендент на престол, пока не будут приняты выработанные Фонвизиным и Паниным фундаментальные законы. «Рассуждение о непременных государственных законах» было важным политическим сочинением Фонвизина. *Оно содержало русские дополнения к общеевропейской доктрине просвещенного абсолютизма.*

Именно с этих позиций и был написан «Калисфен». В художественной форме Фонвизин раскрывал важную политическую истину, разрушал легенду о возможности

существования просвещенной монархии без фундаментальных законов. Соответственно центральная тема «греческой повести» — закономерность эволюции политики Александра от либерализма к деспотизму. Судя по первым поступкам, Александр мог бы считаться по праву просвещенным монархом. Великий полководец и монарх был учеником великого философа своего времени Аристотеля. Он запомнил его уроки и наставления и, уже будучи на престоле, хотел исполнять их в своей повседневной деятельности. Оттого он попросил учителя прислать к нему наставника. Как мы знаем, этот либеральный туман быстро развеялся, и Александр, расправившись с неугодным ему правдолюбцем, стал тем, кем был всегда, — тираном.

Фонвизин убеждал читателя: такая метаморфоза закономерна и обязательна. Монарх может быть лично добрым, умным, способным, талантливым человеком. И все равно его добродетели не являются гарантией для подданных, что монархия не превратится в деспотию. Даже сам Александр понимал, что необъятная власть монарха создает на каждом шагу испытание его добродетели. Он жаловался Аристотелю: «Но я человек, я окружен льстецами: страшусь, чтоб наконец яд лести не проник в душу мою и не отравил добрых моих склонностей». Смысл повести и состоял в том, чтобы показать убедительно и наглядно, что никакие добрые намерения монарха ничего не значат, никакой мужественный правдолюбец не сможет помешать самодержцу превратиться в деспота и тирана. Фонвизин открывал читателю: не декларации и обещания, не покровительство литераторам и философам, не личные достоинства монарха, а только *фундаментальные, непременные законы* смогут помешать превращению монархической власти в бедственное для нации самовластие. Повесть на материале истории преподавала очень важный для современности политический урок.

И это была только одна сторона замысла писателя. «Греческая повесть» несла в себе еще особую внутреннюю, замаскированную античным колоритом энергию, которая превращала историческое повествование в острый памфлет на Екатерину. Повесть рождала аллюзии, возбуждала в читателе параллельный ряд ассоциаций из русской жизни, заставляла подставлять на место исторических лиц современных деятелей, и прежде всего на место

Александра — Екатерину. Достигалось это Фонвизиным сознательно — прямой аналогией или стилистически двуплановым повествованием.

Александр был учеником великого Аристотеля. Екатерина объявляла себя ученицей Монтескье и другом Вольтера. Александр пригласил ко двору Калисфена. Екатерина приглашала к себе Даламбера, Дидро и Вольтера. Дидро, как известно, даже приезжал в 1774 году. Александр поначалу творил добрые дела по совету философа, а затем, отказавшись от его услуг, заточил его в темницу. И Екатерина по восшествии на престол широко объявляла о своем желании облагодетельствовать нацию (составление Наказа, созыв Комиссии по сочинению проекта нового уложения и т. д.), поощряла развитие литературы, науки, а затем разогнала Комиссию, закрыла сатирические журналы, беззаконно удерживала власть в своих руках после совершеннолетия Павла.

У Александра был всемогущий любимец Леонад, который определял всю политику. У Екатерины был любимец Потемкин, державший в своих руках самовластную государыню. Эта последняя аналогия могла быть понятна читателям: Фонвизин так написал о любимце Александра Леонаде: «При дворе был он очень силен». Дело в том, что слова «силен» и «случай» были взяты из практики русского двора: как было показано выше, так говорили о властвующих фаворитах.

Аналогии персональные углублялись аналогиями общими. Двор Александра напоминал русский двор с бушевавшими в нем интригами. Образы придворных Александра походили на знатных русских вельмож. Читатель, привыкший к фонвизинской устойчивой теме сатирического изображения русского двора, к его определенной манере и индивидуальному стилю, без всякого труда переводил политический смысл повести с греческого на русский. А иногда не требовалось и перевода. Вот портрет одного из свиты Александра, близкого ему человека: «Аргион, вельможа, пренизкой души и презнатной породы, имевший зверское сердце и скотский разум». Подобные характеристики менее всего помогали видеть в Аргионе именно *греческого* придворного. Наоборот, читатель без труда узнавал в условном Аргионе русского вельможу, человека, состоявшего «в случае» при екатерининском дворе.

Повесть написана по-фонвизински лаконично и зло. Но общий тон повествования на редкость суров и мрачен. Фонвизин выносил жестокий приговор екатерининскому царствованию. Не было и не могло быть ее правление просвещенным. Оно давно превратилось в страшное самовластие. Но есть ли надежда на будущее? Изменится ли положение после смерти Екатерины? Примет ли Павел фундаментальные законы, когда придет к власти? А ведь без фундаментальных законов и его правление не будет лучше.

Поведение и обстоятельства жизни Павла в 80-х годах уже могли внушать опасение Фонвизину. По возвращении из заграничного путешествия (поздней осенью 1782 г.) Павел с холодностью отнесся к опальному Панину. Только на призыв больного воспитателя откликнулся Павел, прибыл к нему и провел последние дни у постели умирающего.

С конца 1783 года Павел, получивший в свое распоряжение Гатчину, стал жить уединенно и замкнуто. Именно в это время стал проявляться его непостоянный характер и подозрительный нрав. Французский посол Сегюр, хорошо знавший Павла, так характеризует его: «Нередко приветливый до фамильярности, а чаще высокомерный, деспотический и суровый; никогда, может быть, не бывало человека менее рассудительного, более робкого и капризного».[1] К тем же годам относится установление прочных связей Павла с масонами, увлечение мистицизмом.

Фонвизин, как известно, уехал за границу летом 1784 года, вернулся в Россию он осенью следующего года. Прикованный к постели, он пролежал в Москве до июня 1786 года, когда отправился вновь за границу — на этот раз для лечения. Весьма вероятно, что больного Фонвизина навестил Петр Панин, живший в подмосковном своем имении. Панин не мог не рассказать ему, что он довел до конца работу, начатую им и Н. Паниным, работу по составлению фундаментальных законов. Завершил он ее в сентябре 1784 года, когда Фонвизин был за границей. К проекту фундаментальных законов П. Панин приложил письмо Павлу, помеченное первым октября 1784 года. В письме говорилось: «не дерзнул я осмелиться

---

[1] П. Моран. Павел I до восшествия на престол, стр. 322.

поднести Вам сочинение брата моего» и потому «поставил моею должностию сохранить его у себя и приуготовить способ поднести его тогда, когда высший промысел возведет Ваше величество на природный престол, хотя уже и по смерти моей».[1]

Мы уже знаем, что в 1778—1779 годах Павел и Петр Панин в письмах друг к другу обсуждали различные политические вопросы, в том числе и вопрос о фундаментальных законах. Тогда П. Панин имел «дерзость», а теперь он «не осмеливался» поднести то, что давно готовилось и в чем «сведом» был Павел. Не свидетельствует ли это об изменившемся отношении Павла к некогда близким ему людям? Не означает ли, что стал проявляться деспотический характер будущего государя и с ним уже было опасно говорить о фундаментальных законах, ограничивавших его деспотизм?

Так повесть, посвященная острейшим политическим проблемам, могла включать в себя наблюдения Фонвизина не только над самодержавным царствованием Екатерины, но и над готовящимся стать самодержцем Павлом.

В этих обстоятельствах с особой остротой и болезненностью перед Фонвизиным, который не мог преодолеть просветительскую веру в возможный приход просвещенного монарха, встал вопрос — что же делать ему? Вот почему повесть носит в известной мере и автобиографический характер. Между Калисфеном и Фонвизиным читатель мог угадывать духовную близость, в некоторых их действиях видел нечто общее. *Близость* — в ясном понимании, что существующее правление есть деспотия самовластия. Признание Калисфена в том, что «при дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено... может ли истина свободно изъясняться», точно передает и отношение Фонвизина к самовластию Екатерины. *Общее* — в решении вопроса — что же делать в подобных обстоятельствах честному человеку. Калисфен, как мы знаем, пошел ко двору Александра и, презирая опасность, погиб, говоря правду. Кончалась же повесть неожиданно самооценкой Калисфеном своей деятельности. В бумагах Аристотеля, сообщает Фонвизин, было найдено предсмертное

---

[1] Е. С. Шумигорский. Император Павел Первый. СПб., 1907, Приложения, стр. 3.

письмо Калисфена следующего содержания: «Умираю в темнице; благодарю богов, что сподобили меня пострадать за истину. Александр слушал моих советов два дни, в которые спас я жизнь Дариева рода и избавил жителей целой области от конечного истребления. Прости!» (II, 39)

Было бы неправильно толковать эти слова, как убеждения Фонвизина, невзирая ни на что, добиваться права быть советчиком Екатерины. Нет, Фонвизин не изменил своего убеждения, что екатерининское самодержавство — «больной неисцельно», и не собирался «учить ее царствовать». Приписка Аристотеля к письму Калисфена помогает понять фонвизинскую позицию: «При государе, которого склонности *не вовсе развращены*, вот что честный человек в два дни сделать может». Итак, поставлено условие: философ может многое сделать, если государя склонности «не вовсе развращены». Склонности же Екатерины были «вовсе развращены», ее «самовластие ничем не ограничено». И потому, следовательно, не могло быть места Фонвизину или какому-нибудь другому честному человеку при ее дворе. Следовательно, письмо и жизнь Калисфена говорили о другом — о значении для отечества и для сограждан самоотверженной и мужественной деятельности отдельного человека. Фонвизин вселял веру в сердца своих соотечественников, что можно противостоять самовластию, что многое может сделать каждый убежденный в своей правоте истинно честный человек. Нужно только верить в себя, понимать собственную силу и знать, чего ты хочешь достичь в своей жизни.

Деятельность самого Фонвизина в последние годы жизни становилась вдохновляющим примером: больной, преследуемый самовластием, лишенный права печататься, он мужественно работал на благо отечества, отдавая все свои силы воспитанию у соотечественников ненависти к беззаконию, самовластному правлению, к угнетению себе подобных. И повесть «Калисфен», и созданный двумя годами позже журнал «Друг честных людей, или Стародум», и подготовленное собрание своих сочинений — все это и многое другое красноречиво говорило о том, как много может сделать для отечества и сограждан одинокий, даже больной и преследуемый писатель, когда он честный человек и друг свободы.

3

Последним произведением Фонвизина в прозе было «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Оно писалось, видимо, в последний год жизни писателя: во вступлении он сообщал, что писал «признание», «приближаясь к пятидесяти летам жизни моей». Умер же Фонвизин в возрасте сорока семи лет.

В том же вступлении Фонвизин прямо связал свою новую работу с «Исповедью» Руссо. Уже говорилось, какое глубокое впечатление произвела книга Руссо на Фонвизина. Открытие великого французского писателя было усвоено и принято Фонвизиным. Оттого, определяя свое намерение, он писал: «Чистосердечно открою тайны сердца моего». Однако он не собирался подражать «Исповеди». «Чистосердечное признание» — это попытка *по-своему* решить жанр исповеди, с такой силой искусства утвержденный в литературе Руссо.

Фонвизин не мог примириться с той некоторой односторонностью изображения человека, которая присуща «Исповеди». *Он видел человека иначе* — не только со стороны сердца, но и со стороны его связей с миром всеобщего. Фонвизинский идеал человека-деятеля, выработанный русским Просвещением, требовал и иных форм выражения его душевного богатства.

В своих исканиях Фонвизин чувствовал себя правым потому, что прочно ощущал русскую традицию изображения человека. Начиная с Ломоносова передовая русская литература сделала своим героем патриота и гражданина. Но этот герой, как я уже говорил выше, долгое время не был раскрыт как *личность*, как неповторимая индивидуальность. Внимание к человеку как к личности было по-разному художественно воплощено реализмом и сентиментализмом, литературными направлениями, вдохновленными просветительской идеологией. Оттого автобиографизм — особенность новой литературы. Величайшим художественным произведением революционного сентиментализма явилась «Исповедь» Руссо. В России в конце 70-х годов явился Державин. В 80-х годах автобиографическую повесть напишет Радищев. В 90-х годах в литературу придет Карамзин.

Автобиографические стихи Державина — высшее художественное достижение русского Просвещения. При

этом созданный им образ внутренне целен и не раздроблен: мы видим и поэта, гражданина, и неповторимую личность Гаврилы Романовича Державина — частного человека.

Державин, жадно и деятельно живший, был теснейшими узами связан со своим временем. Дворянин по происхождению, он рос и воспитывался вне обычных устойчивых дворянских традиций, культуры, кодекса чести и даже быта. Достигнув «степеней известных» в дворянском государстве, он был всем обязан себе, своему уму, энергии, таланту, предприимчивости. Державин-поэт был бесконечно выше Державина — государственного деятеля. Противоречивость мировоззрения наложила свою печать на все его творчество. Консервативные политические взгляды обусловили ограниченность многих его произведений. Однако в лучших стихах он запечатлел свою эпоху, эпоху нараставшей борьбы с феодализмом, запечатлел передовой идеал человека, выдвинутый просветителями, замечательный характер патриота и гражданина, русского человека конца XVIII века. Социальная программа просветителей была чужда Державину. Но их политическая концепция просвещенного абсолютизма была им усвоена и своеобразно преломилась в творчестве.

Новаторский характер поэзии Державина в том и проявился, что, усвоив просветительский идеал человека, он вывел своего героя в мир всеобщего, на большую дорогу жизни, сделав его способным наслаждаться и радостями живого чувственного бытия личности, и трепетно откликаться на скорбь сограждан, с негодованием восставать на неправду, с восторгом славить победы своего отечества.

Автобиографический герой изображается Державиным в единстве общего и частного. Он показан и как хлебосольный хозяин, семьянин, гастроном и как мыслитель, поэт, деятель, патриот. Державин утверждает выработанную просветителями нравственную меру: человек велик не столько чувствами, сколько деянием на благо общее, на благо отечества; только в этом деянии и раскрывается его личность во всем действительном богатстве чувств. Его герой всегда выступает в теснейших связях с внешним миром, будь то мир общественных отношений или мир природы; и передан этот мир в своей осязаемой существенности.

Тот же просветительский идеал человека определил своеобразие повести Фонвизина «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». «Героем» оказался он сам, Фонвизин. Оттого он должен был раскрывать не только неповторимость судьбы частного человека Фонвизина, но и Фонвизина-писателя, чья деятельность имела общественный и гражданский характер. Читатель должен был узнать «тайны сердца» его героя не для того, чтобы порадоваться человеческим слабостям, присущим и писателю-сатирику. Обладание тайной душевной жизни, скрытой от окружающих, должно было помочь понять, как писатель-сатирик, живущий в тех же условиях, что и все люди, чьи добродетели так же подвергаются испытанию, характеру которого свойственны многие слабости, все же умеет подниматься над всем частным, мелким, личным, во имя общего, твердо осознаваемого долга, во имя служения отечеству и согражданам. И тогда-то обнаруживались «тайны сердца» гражданина и деятеля, человека индивидуальной судьбы, живущего трудной, мужественной и чистой жизнью. Так автобиографизм помогал раскрывать истинные богатства личности.

В «Чистосердечном признании» тесно сплетенными оказывались две линии повествования: о Фонвизине — частном человеке и о Фонвизине — писателе. Писатель помнил себя с шести лет. Воспоминание не было отрадным — память сохранила образ мальчика, который имел «в себе то зло, которое у других младенцев видать случается; то есть: злобу, нетерпение, любостяжание и притворство, — словом, начатки почти всех пороков, кои уже окореняются и возрастают от воспитания и от примеров». Злобность проявлялась и в отношении к родителям. Однажды отец спросил: «„Грустно тебе, друг мой?“ — „А так-то грустно, батюшка, — отвечал я ему, затрепетав от злобы, — что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю“» (II, 84).

Позже началось увлечение картами: «Сколько хитростей, обманов и лукавства употреблял мой младенческий умишка, чтоб на делу доставались мне карты с красными задками!» История с картами позволила сделать важное духовное извлечение. Как-то, отказавшись от хитрости, мальчик открыто попросил свою тетушку достать нужные ему карты. Просьба была удовлетворена: «Я... тогда ж почувствовал, что идти прямою дорогою выгоднее, нежели

лукавыми стезями». Верный своему решению писать правду, Фонвизин добавляет: «Но должно признаться, что в течение жизни я не всегда держался сего правила, ибо случалися со мною такие обстоятельства, в которых должен был я или погибать, или приняться за лукавство» (II, 85).

В книге, посвященной детству, Фонвизин рассказал и о своей чувствительности, и об образе учения дома и во вновь открытом университете, и о том, как весело гимназисты сдавали экзамены пьяненьким учителям.

В той же первой книге Фонвизин сообщает о том, как проснулся в нем и развивался писательский дар. «Склонность моя к писанию являлась еще в младенчестве, и я, упражняясь в переводах на российский язык, достиг до юношеского возраста» (II, 88). Важную роль в воспитании мальчика сыграло чтение, в том числе церковных книг. «Как скоро я выучился читать, так отец мой у крестов заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание. Ибо, читая церковные книги, ознакомился я с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно» (II, 87).

Книга вторая «возвещала» о поре юношества. Из дома Фонвизин попадает в Москву, в университет. Начинается самостоятельная жизнь. Новые люди, новые испытания добродетелей. Университетский книгопродавец предложил перевести басни Гольберга. И тот же человек сделал не только добро, но и зло — за труд перевода он заплатил книгами, но какими! «Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою». Знакомство с соблазнительными книгами толкнуло на поиски любовных приключений. «Узнав в теории все то, что мне знать было еще рано, искал я жадно случая теоретические мои знания привесть в практику». Появилась девушка, «о которой можно сказать: толста, толста! проста, проста!» Юноша стал посещать дом. Пользуясь тем, что мать девушки «целая Москва признала и огласила набитою дурою», он «преподавал» своей избраннице «физические эксперименты», «пользовался маленькими вольностями». Словом, заключает писатель свое признание: «остеречь меня было некому, и вступление мое в юно-

шеский возраст было, так сказать, вступление в пороки» (II, 89).

Но «вступление в пороки» не развратило душу юноши. Прошли годы, он встретил на своем пути достойную женщину, вспыхнула в нем большая, самоотверженная любовь, и ушло, исчезло все мелкое, ничтожное, недостойное. Истинное чувство смыло все пороки, обновило душу, раскрыло нравственные богатства натуры. Рассказ Фонвизина о любви его к неизвестной нам замужней женщине — одна из замечательных страниц реалистического русского романа. То была сильная и целомудренная страсть. Любящие берегли свои чувства и береглись друг друга — так как ее замужество было неодолимым препятствием на пути к их счастью.

«Накануне моего отъезда, увидясь с нею наедине, — пишет Фонвизин, — открылся я ей в страсти моей искренно... «Ты едешь, — отвечала она мне, — и, бог знает, увидимся ли мы еще; я на тебя самого ссылаюсь, как я тебя убегала и как старалась скрыть от тебя истинное состояние сердца моего; но разлучение с тобою и неизвестность свидания, а паче всего сильная страсть моя к тебе не позволяет мне долее притворяться: я люблю тебя и вечно любить буду». Я так почитал сию женщину, что признанием ее не смел и помыслить воспользоваться; но, условясь с нею о нашей переписке, простился, оставя ее в прегорьких слезах» (II, 96—97).

Через всю жизнь пронес Фонвизин свое чувство к этой женщине. Он любил так страстно, так преданно, так почтительно, что «никогда оставить ее не мог, и с тех пор во все течение моей жизни по сей час сердце мое всегда было занято ею» (II, 96).

Одновременно с нравственным развитием созревал и талант писателя. Не удовлетворясь переводами, Фонвизин стал пробовать силы в оригинальном творчестве. «Весьма рано появилась во мне склонность к сатире, — признавался он. — Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою» (II, 90).

Поездка вместе с директором университета в Петербург способствовала знакомству с театром, с игрой великих актеров — Волкова, Дмитревского, Шумского. Театр покорил Фонвизина навсегда, драматургия стала его призванием. После первых опытов пишется наконец ориги-

нальная комедия «Бригадир». Ее созданию помог жизненный опыт, наблюдения, острый и пристальный взгляд умного сатирика. Неожиданно оказались использованными впечатления от встреч с матерью девушки, которой он «преподавал физические эксперименты».

«Я пользовался маленькими вольностями, — вспоминал Фонвизин, — но как она (девушка. — *Г. М.*) мне уже надоела, то часто вызывали мы к нам матушку ее от скуки для поговорки, которая, признаю грех мой, послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли; по крайней мере из всего моего приключения родилась роль Бригадирши» (II, 89).

«Бригадир» — активное выражение гражданско-патриотических устремлений писателя, и это наиболее полное выявление духовных устремлений личности и поступков, деяние человека, не желающего равнодушно взирать на пороки и язвы своего отечества. «Бригадир» изменил судьбу писателя и человека Фонвизина: с ним познакомился воспитатель наследника — Н. Панин, который приблизил писателя ко двору Павла.

Обычно очень лаконичный, Фонвизин историю своего знакомства и сближения с Паниным и Павлом раскрывает подробно на двух страницах. Рассказом об успехе «Бригадира» и заканчивалась вторая книга.

Третья книга посвящалась «совершенному возрасту», то есть самому главному периоду наибольшей активности творческой и политической деятельности Фонвизина. И здесь-то на первых страницах новой книги повествование обрывается. Опять перед нами не реализованный до конца замысел, неоконченное произведение. Неоконченное? Так ли это? А может быть, «Чистосердечное признание» было автором дописано до конца, а до нас дошло или для потомства нарочно сохранили наследники это произведение в таком, незавершенном виде?

Чем больше изучаешь «Чистосердечное признание» и обстоятельства его публикации наследниками писателя, тем больше убеждаешься в правомерности такого вопроса. В самом деле. Судя по написанным двум книгам, «Чистосердечное признание» не должно было быть большим произведением. Фонвизин же писал быстро. Что помешало завершить начатую работу? Смерть? Но у нас нет никаких свидетельств современников о том, что смерть Фонвизина оборвала работу над каким-либо произведением.

Знакомство с книгой убеждает, что ее автор ясно представлял себе *все* ее содержание, видел его перед собой, когда писал «Вступление». Вряд ли «Вступление» было написано прежде всей книги. Скорее наоборот: можно предположить, что «Вступление» писалось к уже готовой книге (в четырех частях).

Еще одно обстоятельство. В начале третьей книги рассказывается, что после «Бригадира» Фонвизин сделал «выписку» из книги Самуила Кларка «Доказательства бытия божия и истинно христианския веры», но не издал ее. «Недавно я ее читал, — пишет Фонвизин, — и нахожу за нужное поправить нечто в слоге, а впрочем, выписка годится. В самом конце моих признаний я ее прилагаю». Отметим — «прилагаю», а не приложу. Прилагаю к написанному, а не присоединю к тому, что еще предстоит написать.

И последнее: на многие размышления наводит текст, которым заканчивается «Признание». Фонвизин рассказал, как после успеха «Бригадира» и его перехода к Панину он, размышляя на религиозные темы, внял совету Г. Теплова сделать выписку из книги Кларка. Кларк, говорил Теплов, так логически убедительно доказал бытие бога, что «уже ни один безбожник умствованиями своими не вывернется от его убеждений». Фонвизин, таким образом, предстает перед нами послушным учеником Теплова. Но, как известно из биографии Фонвизина, доказательства «бытия божия» не очень увлекли писателя — он занялся политикой, начал борьбу с самовластием Екатерины. Так вот именно на этом переломном моменте рассказ и обрывается. Деятельность Фонвизина-политика потому осталась не раскрытой. Фонвизин предстает из опубликованной части «Чистосердечного признания» каким-то смиренным человеком, жаждущим замаливать свои юношеские прегрешения. Ясно, что *такая* трактовка деятельности Фонвизина могла принадлежать кому-то другому, тому, кому она была выгодна. Фонвизин в своем «Чистосердечном признании» говорил *правду*. И в третьей книге он рассказал бы правду о своей политической и общественно-литературной деятельности. *Вот эта правда, видимо, и была невыгодна наследникам, в руки которых попало «Чистосердечное признание» вместе со всеми рукописями.*

Впервые «Чистосердечное признание» было опубликовано И. Пниным в «Санкт-петербургском журнале» в 1798 году. В письме издателя говорилось: «Ниже следующее «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» получил я по случаю от одной почтенной особы».[1] Вряд ли от кого другого, кроме наследников, мог Пнин получить текст «Чистосердечного признания». Что же он напечатал? Вступление, первую и вторую части. Отрывок кончался описанием чтения «Бригадира» у Екатерины. Начало третьей книги — разговор Фонвизина с Тепловым о переводе сочинений Кларка — Пнин *не напечатал*. В 1830 году Бекетов, получивший от наследников рукописи, напечатал «Чистосердечное признание» с *дополнением* начала третьей книги, то есть кончал тем, чем хотели наследники. Показать Фонвизина как политического борца, отдавшего жизнь единоборству с Екатериной — бабкой Николая I, превращать его в «друга свободы» после разгрома декабрьского восстания явно было не в интересах наследников.

О том, что наследники проявляли сильное беспокойство при издании собрания сочинений Фонвизина в 1830 году, свидетельствует сохранившееся в архиве письмо-протест против действий Бекетова. Что вызвало протест? Бекетов готовил издание на условиях, предложенных наследниками. Те передали ему рукописи для ознакомления. Но когда уже собрание сочинений было подготовлено, Бекетов понял, что выпустить его не сможет, и продал право издания книгопродавцу И. Г. Салаеву. Наследники испугались, что новый издатель не станет выполнять условия, принятые Бекетовым. В своем протесте они, в частности, указывали, что не должны быть напечатаны «такие сочинения, которые самим автором не были предназначены к тиснению».[2] Что это за сочинения, мы не знаем и до сих пор. Но письмо наследников красноречиво говорит о том, что они сознательно не печатали каких-то произведений Фонвизина.

Отсутствие конца «Чистосердечного признания» лишило русскую литературу замечательного по замыслу и исполнению художественного произведения. Опыт Фонвизина свидетельствует, что, опираясь на достижения

---

[1] «Санкт-петербургский журнал», 1798, июль, стр. 65.
[2] ЦГАЛИ, ф. 517, оп. II, ед. хр. 7.

европейской литературы, и прежде всего на достижения Руссо, он прокладывал новые пути развития русской прозы. До Карамзина он начал исследование человека, познание и раскрытие тайны сердца. Авторский образ в «Чистосердечном признании» вошел в галерею созданных Фонвизиным «разнообразных характеров». То был русский человек, русский по образу мысли, по складу ума, по юмору и иронии, писатель, остро осознающий свой гражданский долг, душевно богатая личность, смело относящаяся к своим слабостям, умеющая и подниматься над ними и бесстрашно открывать их своим соотечественникам.

Еще во второй книге, рассказывая об ученических годах, Фонвизин упомянул о своем соученике и друге, с которым был связан всю жизнь. Видимо, речь идет о Николае Даниловском. Этот друг, литератор, понимал, уважал и любил талант Фонвизина. «Сей мой соученик был знаком со мною, достигши уже и в совершенный возраст. Он был честный человек, благородных качеств. Заблуждение его состояло в том, что, будто не льстя, не можно быть учтивым. Он умер с тем, что я родился быть великим писателем». Слова эти написаны скромным человеком. История засвидетельствовала, что друг не ошибался, — Фонвизин был великим писателем. Тем важнее и ответственнее была задача самого Фонвизина, когда он создавал «Чистосердечное признание». Сохранившиеся страницы этого сочинения говорят, что писатель был на высоте самим же выработанного для себя требования — по-русски решать проблемы исповеди как литературного жанра. Тем огорчительнее останавливаться на полпути писательского труда, не познав радости знакомства с новым, многообещающим сочинением. Больно думать, что окончание «Чистосердечного признания в делах моих и помышлениях» утрачено навсегда...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФОНВИЗИНА И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО РЕАЛИЗМА

1

80-е годы XVIII столетия, как мы видели, были не только периодом высокой общественно-политической активности русских просветителей. То была пора, когда талантливые писатели, достигнув своего расцвета, стали смело ломать эстетический кодекс классицизма, отказываться от сковывавших свободу художника правил. Фонвизин делал это в театре, Радищев — в прозе, Державин — в поэзии.

Конец десятилетия ознаменовался созданием крупных произведений. Фонвизин принялся за большой труд «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Державин издал в 1789 году гениальное стихотворение «Осень во время осады Очакова», где впервые нарисовал художественные картины русской природы, картины осени и русской зимы. Княжнин в том же году закончил лучшую свою трагедию, знаменовавшую новый этап в русском театре, — «Вадим Новгородский». Тогда же вышла из печати повесть «Житие Федора Васильевича Ушакова», а в следующем, 1790 году — «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. В течение 1789 года молодой писатель Крылов издавал журнал — сборник сатирических очерков о столичном дворянстве — «Почту духов».

Все предвещало новый расцвет просветительской литературы в 90-х годах, новые успехи складывавшегося в России реализма. Опыт Фонвизина-комедиографа,

закреплявшийся в его прозаических сочинениях, первые достижения Державина находили свое продолжение и развитие и у Радищева и у Крылова. Переход Фонвизина к прозе как бы подтверждал творческую практику Радищева и Крылова, свидетельствуя о начале нового этапа в литературе, когда проза начнет занимать в ней основное место. Да и Державин, судя по последним стихам конца 80-х годов, набирал силу и должен был завершить начатое им обновление поэзии.

И вдруг все рухнуло. Естественный ход развития передовой литературы был насильственно оборван. Начатое и открытое не получило своего продолжения. Над писателями пронеслась страшная гроза, которая одних погубила, других выбросила надолго из литературы.

Радищев 30 июня 1790 года был заключен в Петропавловскую крепость; осенью того же года его выслали из столицы в далекий Илимский острог, а книгу запретили. Первого декабря 1792 года умер Фонвизин, так и не добившись издания своего собрания сочинений. Его опыты в прозе остались неизвестными. Для читателей 90-х годов он был лишь автором «Бригадира» и «Недоросля». Крылова в момент взлета — после закрытия в 1793 году журнала «Санкт-петербургский Меркурий» — принудили к молчанию. В литературу он вернется только через двенадцать лет, перейдя от прозы к стихам. А ведь еще когда Крылов только начинал свой путь, он пробовал свои силы не только в прозе, но и в поэзии, сознательно выбрав себе учителем Державина.[1] Продолжай он свою деятельность в Петербурге, может быть, уже в 90-х годах было бы сказано новое слово.

Державин, так смело начавший, так ревниво и упорно шедший по пути самобытности, вдруг остановился в своем движении. Учась у Ломоносова, Державин долгие годы испытывал влияние классической оды. Часто он оказывался не в состоянии полностью вырваться из плена условных и риторических образов, и тогда новое, оригинальное, его, державинское, сочеталось в стихах с традиционным. «Невыдержанность» Державина проявлялась и в начале и в конце творчества. Но никогда она не была так сильна, как в одах первой половины 90-х годов. Дер-

---

[1] Об этом писал еще Я. К. Грот в работе «Литературная жизнь Крылова» (СПб., 1868, стр. 12).

жавин пишет «Изображение Фелицы», «Водопад», «На взятие Измаила», «На кончину великой княгини Ольги Павловны», «Памятник героя» и им подобные стихотворения, и «невыдержанность» становится, собственно, их главной поэтической особенностью. Имея в виду прежде всего подобные произведения, Пушкин констатировал: «Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый...» [1] Белинский именно о «Водопаде» говорил: «Превосходнейшие стихи перемешаны у него с самыми прозаическими, пленительнейшие образы — с самыми грубыми и уродливыми». [2]

Кризис, который переживал Державин, определялся общественными причинами. Главная из них — остро возникшая необходимость определения своего места, места поэта в обществе. То новое, что принес Державин в поэзию, шло не только под знаком эстетического новаторства. Выдвинув тему личности, ее свободы, Державин, естественно, подошел к вопросу и о свободе поэта от царской власти. В феодально-самодержавном государстве отстоять свою независимость поэту-гражданину было нелегко. Первый шумный успех, как известно, Державину принесло стихотворение «Фелица», прославлявшее Екатерину. Так вопрос о *месте* поэта в обществе оказывался связанным с вопросом о *предмете* поэзии. Оригинальное, новаторское начало в творчестве Державина закономерно толкало поэта в сторону *от двора,* на путь личной независимости. Обстоятельства жизни Державина-чиновника все крепче связывали его *с властью, с Екатериной.* Губернаторство Державина, продолжавшееся, как известно, с 1784 по 1788 год, а затем двухлетнее пребывание не у дел создавали видимость свободы. Но уже в 1791 году судьба Державина круто изменилась. Он был назначен личным секретарем императрицы. Секретарство, длившееся до конца 1793 года, привязало Державина ко двору. Эта близость к власти и определила кризис творчества поэта в первую половину 90-х годов. Именно в эту пору Державин, как никогда, понял губительность для поэта связи со двором.

По сохранившимся стихотворениям мы можем проследить, как вырастало у Державина категорическое

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 178.
[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, стр. 251.

решение отстоять свою независимость и остаться поэтом. В стихотворении «На птичку» Державин прямо заявляет, что двор лишает поэта свободы, навязывает ему темы, выступая заказчиком и единственным ценителем его творчества:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

Стихи автобиографичны, искренни. Они служат отличным комментарием к творческой практике поэта начала 90-х годов. От Державина не только ждали, но *требовали* стихов. А поэт, как видим, уже знает, что оттого, что его будут «сжимать», он не запоет, а только «запищит». И Державин открыто стал отказываться от предложений Екатерины и ее второго секретаря Храповицкого писать похвальные оды. Замечательным памятником мужественной борьбы Державина за свою свободу является послание «Храповицкому» (лето 1793 г.). Отказавшись писать по заказу, Державин формулирует важную мысль — поэт, зависимый от власти, ласкаемый двором, получающий «монисты, гривны, ожерелья, бесценны перстни, камешки», напишет обязательно «средственны стишки». На истинного же поэта, говорит Державин, «наложен долг» «от судеб и вышня трона». И поэтому его обязанность не царей воспевать, а говорить правду:

Ты сам со временем осудишь
Меня за мглистый фимиам;
За правду чтить меня ты будешь,
Она любезна всем векам.

Последним звеном этой закрепленной в стихах борьбы за независимость поэта является «Памятник». В стихотворениях «На птичку» и «Храповицкому» больше констатации факта губительности для поэта связи с самодержавной властью. В «Памятнике» же развернуто глубокое понимание общественной роли поэта, его долга перед отечеством, который он может исполнить, только будучи независимым. Чернышевский по достоинству оценил эту позицию Державина, заявив, что поэт считал своим долгом «говорить правду и народу и царям».[1] Независимость

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., Гослитиздат, 1947, стр. 137.

и нужна была Державину для того, чтобы исполнить свой долг поэта-гражданина. Вот почему в год написания «Памятника» (1795) он решил издать сборник своих стихотворений, который полностью бы раскрывал читателю и его эстетическое новаторство и его гражданскую позицию. В сборник было включено и ранее запрещенное цензурой стихотворение «Властителям и судиям» – суровый и гневный упрек земным царям, обвинение их в неисполнении своих высоких обязанностей перед подданными.

Видимо, хорошо зная, что подобные стихи без разрешения Екатерины не напечатают, Державин передал ей весь приготовленный им сборник. И немедленно разразился скандал — по дошедшим до нас сведениям, гнев царицы вызвало стихотворение «Властителям и судиям». Державин был обвинен в якобинстве. И хотя, как рассказал впоследствии сам поэт, ему удалось объяснить, что стихотворение написано *до* французской революции, еще в 1780 году, и что оно является переложением 81-го псалма, сборник Екатерина все же выпустить не разрешила. Значит, дело было не в одном стихотворении, которое можно было в крайнем случае изъять, а во всем духе сборника. Видимо, *то*, во имя чего собирался издавать свои стихи Державин, — *правда*, — и не устраивало Екатерину. Державина постигла судьба Фонвизина: собрание сочинений, подводившее итог его деятельности почти за два десятилетия, было запрещено.

Но поэт, преодолев кризис, стал писать новые, художественно более совершенные стихотворения. Среди них «Вельможа», «Храповицкому» (март 1797 г.), «На смерть Катерины Яковлевны», «Приглашение к обеду» и многие другие. И все они оставались *неизвестными читателю.* Удалось напечатать их позже: некоторые — в 1798 году, а большую часть — в собрании сочинений, которое вышло в 1808 году.

Уход Державина в конце 1793 года с поста секретаря императрицы, в сущности, знаменовал разрыв с Екатериной. Недовольная и поведением Державина-чиновника, надоедавшего ей своими наставлениями и советами, и прежде всего Державина-поэта, она назначила его сенатором. Это была почетная опала. И хотя в последующем Державин получал некоторые назначения (например, при Павле), но он быстро отказывался от службы царям, продолжая пребывать без обязанностей в сенате. Так,

во второй половине 90-х годов Державин, не связанный более службой с царями и двором, утвердил окончательно свое место в феодально-самодержавном государстве — не чиновника, не влиятельного придворного, но *независимого поэта.* Именно к этому времени и относится его обращение к Анакреону.

Интерес к Анакреону у Державина совпал с началом широкого пересмотра в Европе поэзии древнегреческого лирика. Первая волна интереса к Анакреону прокатилась в XVI веке. Мотивы его стихов — любовь и наслаждения, вино и женщины, человек, упоенный мимолетными чувственными радостями, — были подхвачены дворянством и использованы для оправдания своей эгоистической, своекорыстной жизни. Во Франции культ Анакреона получил широкое распространение в поэзии и живописи в XVII и начале XVIII века. Анакреонтизм стал знаменем искусства деградирующего дворянства кануна революции, искусства, воинствующего в своем стремлении отвлечь человека от общественных интересов, увести его в мир частной жизни, полной чувственных удовольствий.

Популярность поэзии Анакреона порождала и протест против нее. Замечательным памятником такого страстного выступления против анакреонтического искусства является знаменитый «Разговор с Анакреоном» Ломоносова. В своем стихотворении Ломоносов выдвинул русский идеал человека-деятеля, потребовал от поэта гражданского служения. Во Франции в 70-х годах вызовом творчеству дворянских поэтов явились стихи Эвариста Парни. Он вырвал из их рук прославленное оружие, сделав Анакреона своим союзником в выражении новых, антидворянских взглядов на человека и его права. Пересмотр наследия Анакреона осуществлен был на основе просветительской философии. Человек, утверждали Гельвеций и Гольбах, — дитя природы. Всеми его поступками руководят непосредственные потребности, физические удовольствия и страдания. Себялюбие, личный интерес, наслаждение составляют основу морали. Так философия наслаждения, развернутая в эпоху гибели феодального государства и обслуживавшая господствующий класс, была применена революционной буржуазией к людям всех сословий, к каждой человеческой личности. Проповедовать культ наслаждения в новых условиях значило

отстаивать права всякого человека, значило выступать против монополии дворянства на счастье и радость, вольный и беспечный образ жизни.

Французский поэт тоже писал о любви, но о любви индивидуальной, «субъективной склонности», оправдывая человеческую страсть, изгоняя из поэзии условность и манерность. В четырех сборниках лирических стихотворений Парни развернул перед читателем целый роман — историю любви единого героя, исполненную страдания и радости. В Италии в то же время выступил с циклом по-новому понятых анакреонтических стихов поэт Касти. В России смело обновил и руссифицировал анакреонтику Державин.

С завоеванных позиций независимого поэта Державин дерзко изменил и традиционный облик Анакреона — он для Державина прежде всего поэт, поэт, независимый от власти, а следовательно, и свободный человек, имеющий право на счастье, любовь и радости жизни. С наибольшей полнотой эта поэтическая мысль выражена в стихотворении «Венец бессмертия», в котором Державин сознательно героизирует Анакреона:

Цари к себе его просили
Поесть, попить и погостить,
Таланты злата подносили,
Хотели с ним друзьями быть, —

Но он покой, любовь, свободу
Чинам, богатству предпочел;
Средь игр, веселий, короводу
С красавицами век провел.

В стихотворении говорится об Анакреоне, но то же пережил и сам Державин, счастливо избавившийся от внимания и милостей венценосных «друзей». Собственный опыт позволял решать по-новому общие и принципиальные вопросы поэзии. И Державин во вторую половину последнего десятилетия XVIII века много и вдохновенно работает. Но странное дело! Написав более двух десятков стихотворений, Державин *не опубликовал их*. Даже добившись наконец в 1798 году права издать сборник стихотворений, он *не включил туда своей анакреонтики*. Так читатель 90-х годов и *не узнал нового* Державина, отстаивавшего и отстоявшего свою независимость поэта, Державина, обновившего анакреонтику и открывшего

новые пути развития русской поэзии. Замечательные стихотворения, нужные своему времени, остались вне реального литературного процесса 90-х годов.

Что же происходило в литературе 90-х годов? Что обслуживало время и нового читателя? Под какими знаменами шло развитие русской литературы?

2

В литературе господствующее место заняло новое литературное направление — сентиментализм. Борясь за раскрепощение личности от феодальной неволи, Просвещение не могло не использовать искусство как могучее оружие критики существующего неразумного строя, как средство воспитания нового идеала жизни. Вот почему и во Франции, и в Германии, и в России была объявлена война классицизму. В спорах и полемике рождались эстетические теории, враждебные нормативной поэтике, создавались художественные произведения, открывавшие новые возможности изображения человека.

Ниспровержение классицизма диктовалось и другими органическими внутренними причинами. Просвещение как идеология, выражающая не только буржуазную идею, но в конечном счете отстаивающая интересы широких народных масс, принесло новый взгляд на человека, обстоятельства его жизни, место личности в обществе. Соответственно изменялись и содержание и формы искусства. Рождалось, с одной стороны, искусство, провозглашавшее доверие к реальной действительности, живой жизни, исполненной противоречий и страстей, жизни людей всех сословий, реабилитировавшее то, что объявлялось классицизмом низким и недостойным искусства, поэтизировавшее простого человека и его объективное «натуральное» чувство. С другой стороны, в боях с классицизмом формировалось искусство, раскрывавшее человека лишь со стороны жизни сердца. История засвидетельствовала, что *в одно и то же время* под воздействием идей Просвещения *складывались два художественных метода*, определявших *два литературных направления — реализм* и *сентиментализм.*

Между реализмом XVIII века и сентиментализмом много общего. Оба литературных направления, противостоя клас-

сицизму, способствовали демократизации литературы. И сентиментализм и реализм провозглашали внесословную ценность человека, воспитывали в нем чувство достоинства и уважения к своим силам и способностям, к своему чувству, помогая тем самым дискредитации феодальной идеологии, унижавшей человека, и подготавливая людей к пониманию свободы.

Были между двумя направлениями и существенные *различия,* обусловленные различным методом изображения человека. Реализм, раскрывая личность, связывал ее с окружающим миром, показывал зависимость и обусловленность ее характера и нравственного кодекса от обстоятельств бытия. Сентиментализм, превознося человека, погружал его в мир нравственной жизни, изолировал личность от жизни, обстоятельств, быта.

Особенности сентиментализма связаны с двойственностью идеологии Просвещения. Просветители проповедовали революционные идеи, оставаясь сами сторонниками мирных реформ. Эта двойственность просветительской идеологии проистекала из ее буржуазной природы. Рассматривая творчество Вольтера, Руссо и Дидро, Плеханов писал: «не будучи сторонниками революционного способа действия, они пугались приближающегося взрыва, а не приветствовали его. Они от всей души предпочитали бы мирную реформу насильственной революции. Это *мирное* настроение проповедников революционных идей ярко отразилось как в литературе, так и в искусстве. Буржуазная драма, в образах выражавшая стремления третьего сословия, совсем не знает боевых мотивов». [1]

Человек сентиментализма, противопоставляя имущественному богатству — богатство индивидуальности и внутреннего мира, богатству кармана — богатство чувства, был лишен боевого духа. Герой европейского сентиментализма не протестант, он беглец из реального мира. В жестокой феодальной действительности он жертва. Но у себя, у своего очага, в своем уединении он велик, ибо, как утверждал Руссо, «человек велик своим чувством». Поэтому герой сентиментализма не просто *свободный* человек и духовно богатая личность, но это еще *частный* человек, бегущий из враждебного ему мира, не желающий бороться за свою действительную свободу в обществе,

---

[1] Г. Плеханов, Соч., т. XXII. М.—Л., ГИЗ, 1925, стр. 21.

пребывающий в своем уединении и наслаждающийся своим неповторимым «я». Этот индивидуализм и французского и английского сентиментализма был по-своему прогрессивным в пору борьбы с феодализмом. Но и в этом индивидуализме, в этом равнодушии к судьбе других людей, в сосредоточении всего внимания на себе и полном отсутствии боевого духа уже отчетливо проступает эгоизм, который расцветет пышным цветом сразу после революции.

Именно эти-то черты европейского сентиментализма и позволяли некоторой части русского дворянства заимствовать и перенять его философию. Развивая лишь слабые стороны нового направления, лишь то, что ограничивало его объективную революционность, группа писателей в конкретно-исторических условиях — эпоха реакции после поражения крестьянской войны 1773—1775 годов — смело утвердила сентиментализм в России. Идейно-эстетическое перевооружение дворянства осуществлялось уже в 70-х и 80-х годах М. Херасковым, М. Муравьевым, А. Кутузовым, А. Петровым. В 90-х годах сентиментализм стал господствующим направлением дворянской литературы, а школу возглавил Карамзин, выученик А. Петрова и А. Кутузова.

Поражает интенсивность творчества, изобретательность организационной деятельности двадцатипятилетнего писателя, вернувшегося осенью 1790 года из заграничного путешествия. Используя богатый опыт русской журналистики, Карамзин начинает свою работу не просто как литератор, а именно как *собиратель* литературных сил, имеющий цель определить и направить развитие литературы по строго определенному пути. Вот почему он стал издавать «Московский журнал». В журнале он не просто печатал свои произведения, а утверждал строго продуманную систему философских, политических, литературно-эстетических взглядов. Каждый месяц выходил очередной номер «Московского журнала», в котором Карамзин выступал и как прозаик и как поэт, критик, философ. Журнал издавался два года. В 1794 году были выпущены альманах «Аглая» (первая часть) и сборник прозаических и поэтических сочинений под названием «Мои безделки». В 1795 году вышла вторая книжка «Аглаи». В 1796 году — сборник «Аониды» с принципиальным предисловием о русской поэзии. В 1797 году вышли вторая

книжка «Аонид», отдельное издание «Писем русского путешественника» (четыре части) и второе, расширенное издание «Моих безделок». В 1798 году читатель получил три книги переводов «Пантеона иностранной словесности». В 1799 году Карамзин выпустил третью книжку «Аонид», в 1801 году — «Письма русского путешественника» (шесть частей), третье издание «Моих безделок» и подготовил сборник «Пантеон российских авторов». В 1802 году начал выходить новый журнал «Вестник Европы». Издавать в течение десяти лет каждый год журнал, или альманах, или сборник собственных оригинальных сочинений, или хрестоматию переводов — такой активности, такого сознательного воздействия на общественное мнение русская литература еще не знала. Несомненно, быстрому росту популярности нового писателя способствовало и благосклонное отношение правительства к его деятельности. Вспомним, какие трудности приходилось преодолевать Новикову, Фонвизину, Державину, Крылову, не говоря уже о Радищеве, в их желании печатать свои сочинения.

Карамзин — лидер нового *направления* — фактически стал *главою литературы*. Вокруг постоянных карамзинских изданий объединились его литературные друзья, старые и молодые, ученики и последователи. Успеху нового литературного направления, несомненно, способствовало прежде всего то, что оно *отвечало живым потребностям своего времени*. После многолетней плодотворной деятельности французских и русских писателей-просветителей (сочинения первых широко распространялись в России), после художественных открытий, изменивших облик искусства, с одной стороны, и после французской революции, с другой, нельзя было писать, не опираясь на опыт передовой литературы, не учитывать и не продолжать, в частности, традиции сентиментализма. А важной потребностью времени и была потребность в глубоком раскрытии внутреннего мира личности, в понимании «языка сердца», в умении говорить на этом языке. Историческая заслуга Карамзина в том и состояла, что он сумел удовлетворить эту потребность. Как ни ослаблял силу художественного метода нового искусства его политический консерватизм, все же Карамзин и писатели его школы обновили литературу, развернули новые темы, создали новые жанры, выработали особый слог. Классицизм

отступил окончательно. Карамзинское направление одержало полную победу. Перед литературой была открыта возможность дальнейшего глубокого раскрытия человека, его душевной жизни.

И все же как ни велики эти успехи, они не должны мешать нам понять реальные и конкретные обстоятельства утверждения в литературе Карамзина. К сожалению, наша наука обходит вопрос о том, что Карамзин — это не только шаг вперед, но и *отступление* от того, что уже было завоевано литературой русского Просвещения, *преодоление* тех традиций, которые были заложены передовой литературой 70—80-х годов XVIII столетия, *борьба* с литературой рождавшегося реализма.

В самом деле, ведь *до Карамзина* литературой, вдохновленной просветительской идеологией, был выдвинут идеал свободного и независимого человека. При этом человек раскрывался не только со стороны его частных, семейных интересов, но прежде всего со стороны его связей с большим миром. Оттого герой просветителей жил интересами всего человечества, чувствовал патриотический долг перед отечеством и теми, кто нуждался в его сострадании, утверждал себя как личность в общественном деянии. Показывая обусловленность каждого человека обстоятельствами его бытия, и Фонвизин, и Радищев, и — по-своему — Державин сумели показать именно *русскую* жизнь, *русскую* природу, *русский* характер, проявлявшийся во взгляде на жизнь, в манере понимать вещи, в «сгибе ума» (Белинский). Эта литература была *воинствующе гражданственна.* Изображая реальную русскую жизнь, она смело вскрывала все общественные и социальные уродства, отчего ей был присущ критический сатирический пафос. Подняв тему человека, эта литература возвеличивала его, усиливала его волю, звала к активной деятельности на «благо общее». Борясь с классицизмом, эти писатели *до Карамзина* разрушали старые жанры, отказывались от «трех штилей», смело использовали живой разговорный язык. В произведениях Радищева была поставлена новая тема — народ, его настоящее и будущее.

Все это было *до Карамзина.* И все это бывшее не принималось Карамзиным и его школой. И не только не принималось, *но и отрицалось.* Утверждая новое направление, Карамзин, верный своим убеждениям и выработанной

им программе литературного развития, отказался от многих традиций русской литературы: от понимания писателя как гражданина, от сатиры, от объективного изображения жизни, от проповеди активной гражданской деятельности во имя изменения несправедливого мира и уничтожения зла, и многого другого. Отрицая и преодолевая сатирическое, реалистическое направление, борясь с просветительской идеологией, Карамзин устанавливал связь с предшествовавшей ему литературой *через голову этого направления*, замалчивая его опыт и достижения. Так, между прочим, была выработана им периодизация русской литературы XVIII века и определено место новой школы в ее истории.

В 90-х годах Карамзин добился многого. Как развивалось его творчество в следующем десятилетии — в 800-х годах? Какова судьба той *оборванной* в 90-х годах линии русской литературы, которая определялась творчеством Фонвизина, Радищева, Державина и Крылова? Как была воспринята новым поколением литераторов эстетическая позиция Карамзина?

3

Карамзин вошел и в XIX век активно: уже известный, популярный писатель, он начинает издавать новый журнал — «Вестник Европы». В течение двух лет Карамзин единолично выпускал боевой, воистину замечательный литературно-политический журнал. Сам он пишет, как всегда, много, печатая не только, как прежде, прозаические, критические и философские сочинения, но и выступая теперь в качестве историка, умного и тонкого политика.

Два года — 1802 и 1803 — Карамзин оказывался активным организатором общественного мнения нового века. Для литературной молодежи Карамзин стал действительно вождем того направления, которое в 90-х годах выдвинуло тему человека. О том, *что было в литературе в 80-х годах XVIII столетия,* давно не помнили. Казалось, что все *новое, нужное* и сейчас, в XIX веке, *связано с Карамзиным и его реформой*, а все, что было до него, считалось классицизмом, искусством условным, холодным, риторичным, бесконечно и давно устаревшим. Среди молодых карамзинистов не много оказалось талантливых учеников и последователей. Но зато был один действительно крупный

поэт — Жуковский. В течение десяти лет, как мы видели, никто и ничто не мешало Карамзину раскрыть себя сполна, написать все, что хотел, и напечатать все, что написал. Так Карамзин связал своим творчеством, своей деятельностью два десятилетия — последнее XVIII века и первое — XIX-го.

В 90-х годах Карамзин добился многого. Но сделанное и достигнутое не оказалось тем фундаментом, с которого он смог бы продолжать свой путь художника. Осуществив все свои замыслы в течение десятилетия, он как бы исчерпал возможности созданного им направления. Историческая задача была выполнена. Двигаться дальше, стоя на позициях карамзинизма, было нельзя — впереди ясно виделся призрак эпигонства. Появление массы эпигонов красноречиво убеждало в правильности такого ощущения. Оттого собственный эстетический опыт к началу XIX века уже перестал устраивать Карамзина.

В пору, когда все чаще и настойчивее упрекали Карамзина за его подражательность, за пристрастие к малым жанрам, к «безделкам», к мелким темам, к «бытию сердца» частного человека, он сам испытал неудовлетворенность своим творчеством. С конца 90-х годов его внимание все более станет привлекать античная и русская история. В «Вестнике Европы» начнут появляться первые исторические сочинения. Принципиально важной явилась статья «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств». В ней Карамзин изложил *новую, глубоко патриотическую* программу развития самобытного, национального по форме и содержанию, искусства. Теперь его внимание привлекают героические характеры и важнейшие события истории отечества, в которых проявлялся с наибольшей полнотой русский человек. Он объявляет писателя «органом патриотизма», развивая мысль о большой его общественной ответственности перед отечеством. Он стремится и писать иначе — теперь ему больше по душе «простые русские слова». Следуя этой программе, он сам напишет «Марфу Посадницу», а затем перейдет к созданию «Истории государства Российского».

Не трудно заметить, что и этот интерес к истории, и выдвижение задачи воспитывать своих соотечественников на примерах «русской истории, которые помогут понять все своеобразие и величие русского характера, и новое понимание долга писателя — все это *впервые выдвигается*

не Карамзиным: до него эта программа более последовательно и с других идеологических позиций была разработана и поставлена перед литературой русскими просветителями. В новую эпоху Карамзин *не начинал*, но *продолжал*, продолжал начатое до него, но *по-своему*, продолжал в пору, когда обращение к истории было почти всеобщим, когда исторические сюжеты и исторические характеры помогали передовым писателям бороться за самобытность и народность литературы, продолжал со всей страстью своей натуры и со всей силой своего таланта. Острое чувство времени и глубокое понимание возникающих в обществе потребностей помогли Карамзину и на этом новом этапе его творческой жизни делать то, в чем ясно выражалась нужда. На этот раз Карамзин не оказался *лидером*, стал не вождем своей школы (потому что не было этой школы!), а лишь рядовым участником литературного движения. Дело Карамзина было *нужным* и *важным* для литературы 10—20-х годов XIX века. А вклад его оказался в сравнении с другими *наибольшим*. Вот почему Пушкин справедливо назвал создание «Истории государства Российского» «подвигом честного человека».

Творчество Карамзина в первые десятилетия XIX века у нас не изучено. Не оценено и значение сделанного этим, в сущности, *новым писателем* для литературы 10-х и 20-х годов XIX века. Потому наша наука смотрит на Карамзина XIX века как на автора «Бедной Лизы»! На *нового* Карамзина натягивают давно сношенный им кафтан карамзинизма! Его и в XIX веке продолжают считать защитником эстетических позиций автора книги «Мои безделки», особенностей того слога, приятность которого в пору молодости он называл по-французски élégance. В действительности Карамзин на свое творчество 90-х годов смотрел исторически.

Современные же историки литературы объявляют Карамзина главой школы своих последователей и в XIX веке, делают его вождем эпигонов. Потому смысл и содержание литературного процесса на протяжении четверти столетия — с 1790 по 1815 год — сводится к господству принципов, развитых автором «Бедной Лизы» и «Писем русского путешественника». Поскольку, пишут они, Карамзин вместе со своей школой разгромил классицизм, ввел новые темы и прежде всего пробудил интерес к человеку, сделав идею личности, даже и без революционных выво-

дов, содержанием новой литературы, осуществил реформу языка, поскольку, наконец, идейно-эстетические вопросы, выдвинутые Карамзиным, были подхвачены последующей традицией, постольку эти четверть века литературного развития составляют *карамзинский* период русской литературы. Карамзинский период подготовил следующий — пушкинский период. Эстетическое развитие характеризуется так: сентиментализм Карамзина рождает романтизм Жуковского. Из недр романтизма рождается реализм, который утверждает Пушкин, сам воспитанный романтиками.

В последнем коллективном труде Института русской литературы «История русской критики» читаем: к концу 10-х годов «изживал себя период литературного развития, начатый сентименталистом Карамзиным и завершенный романтиком Жуковским. В условиях формировавшегося декабристского движения начинался новый период, возглавленный Пушкиным и ознаменованный решительной победой реализма над романтизмом».[1] Содержание самого периода определяется как смена классицизма сентиментализмом и романтизмом. «В это время на смену классицизму с его художественными принципами, завещанными XVIII веком, пришли новые литературные веяния, возникшие под знаком сентиментализма и романтизма».[2]

С еще большей категоричностью о Карамзине и его школе, как единственно важном, более того — *магистральном* пути развития русской литературы, о прямой связи между Карамзиным и созданным им направлением и Пушкиным пишет Н. И. Мордовченко. Идеи Карамзина «и все его творчество сыграли громадную роль в становлении русской литературы и критики: вопросы, поставленные Карамзиным и его последователями, составили основное содержание общественно-литературной борьбы двух первых десятилетий XIX века. С 1820 года центральной фигурой русской литературы сделался Пушкин, и с этого времени все важнейшие литературные дискуссии и споры так или иначе стали связываться с его творчеством. Карамзинский период русской литературы, сменив-

---

[1] «История русской критики», т. I. М.—Л., изд-во АН СССР, 1958, стр. 139.

[2] Н. Л. Степанов. Крылов. М., Гослитиздат, 1949, стр. 133—134.

шийся затем пушкинским периодом, — такова та магистральная линия, которая определяет также и развитие русской критики в изучаемую эпоху».[1]

Установление всякой периодизации имеет один смысл — раскрытие закономерностей исторического развития, определение существенных и главных моментов литературного процесса данной эпохи. Каковы же те практические результаты в изучении литературы конца XVIII — начала XIX века, которые дает нам подобная периодизация? Во-первых, она *мешает* понять действительное историческое содержание *всей деятельности* Карамзина, поскольку творческая позиция писателя в 90-х годах рассматривается как высшее и итоговое его достижение. Оттого практически именем Карамзина прикрывается выступление эпигонов. Во-вторых, она рождает *схему:* все новое, талантливое, появлявшееся в этот период, сводится к Карамзину и его школе (ведь «вопросы, поставленные Карамзиным и его последователями, составили основное содержание общественно-литературной борьбы двух первых десятилетий XIX века»), которая прокладывала магистральный путь развития литературы, поскольку именно Карамзин принес «идею личности и ее прав», и эта идея, «даже и без революционных выводов, логически из нее вытекающих», является «симптомом глубочайших сдвигов всей русской культуры».[2] Противостоящим этой школе идейно-эстетическим направлением был классицизм, возглавленный реакционером адмиралом Шишковым. Борьба между шишковистами и карамзинистами, между сторонниками старого и нового, между архаистами и новаторами объявляется главным нервом литературно-общественного развития 800-х и 10-х годов. Споры, объединившие силы обоих лагерей, велись вокруг проблем языковой реформы Карамзина. Начались они в первом десятилетии, после выхода книги Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». В 10-х годах борьба перешла на более высокий уровень — сражались уже два литературных объединения — «Беседа любителей российского слова» и «Арзамас». В этих спорах и полемике, утверждают исследователи, и выковывалась

---

[1] Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., изд-во АН СССР, 1959, стр. 15.

[2] Там же, стр. 18.

передовая (магистральная) литература, отстаивались те идеалы, которые в порядке преемственности передавались лицеисту Пушкину, юному члену «Арзамаса».

Отступлением от этой схемы оказывается басенное творчество Крылова. Оно никак не вытекало из карамзинского направления, а, напротив, *противостояло* ему. Потому его поэзия раскрывается изолированно от того магистрального пути, каким названа карамзинская школа.

Объявляя карамзинское направление магистральным путем развития русской литературы, некоторые исследователи признают, что в основном (за небольшим исключением) это направление представлялось деятельностью эпигонов, произведения которых обладали ничтожными художественными достоинствами. Оттого начало века признается эпохой безвременья, эпохой скудости и эпигонства. Из многочисленных суждений подобного рода ограничусь ссылкой на мнение Д. Д. Благого:

«К первым годам XIX столетия литература века предшествующего явно изжила себя. Большинства наиболее выдающихся ее представителей уже давно не было в живых. Но и те, кто еще оставались, перестали двигать литературу вперед, играть сколько-нибудь заметную роль в ее дальнейшем развитии. Почти археологической древностью доживал свой век Херасков (умер в 1807 году). «Развалинами» Державина (умер в 1816 году), в общем справедливо, называл последний период творчества великого представителя русского классицизма и первого русского предромантика горячий поклонник его стихов поэт и критик А. Ф. Мерзляков. Вожди русского дворянского сентиментализма — Карамзин и Дмитриев, — хотя еще были полны энергии и сил, почти вовсе отошли в это время от художественного творчества.

На литературную арену, оставленную корифеями, устремились эпигоны. Эпигонство — подражание старому, механическое перепевание переживших себя, утративших сколько-нибудь прогрессивную идейную и эстетическую содержательность и действенность традиционных литературных форм, — расцвело пышным, но бесплодным цветом в нашей литературе первых двух десятилетий XIX века».[1]

---

[1] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М., изд-во АН СССР, 1950, стр. 29—30.

Эпигонство господствовало, говорит далее Д. Д. Благой, в обоих лагерях — и у шишковистов и у последователей Карамзина. В это же время развернулась деятельность поэтов Вольного общества, но их творчество «сколько-нибудь большого литературного и, в особенности, художественного значения не имело». Только Крылов-баснописец представлял крупное явление: «Первый великий русский писатель-реалист XIX столетия, Крылов явился как бы живым соединительным звеном, связавшим воедино два конца, казалось бы, разорвавшейся литературной цепи — традицию Новикова, Фонвизина и даже в известной степени Радищева (его народолюбие) с творчеством Грибоедова, Пушкина, Гоголя».[1] Параллельно с деятельностью Крылова развертывалось поэтическое творчество двух талантливых представителей карамзинского направления — Жуковского и Батюшкова.

Так определяется содержание литературного процесса карамзинского периода. Справедлива ли рисуемая историками литературы картина? Вскрывает ли предлагаемая периодизация действительное содержание литературно-общественного развития в первые два десятилетия XIX века? Помогает ли она нам понять действительную исторически-конкретную сложность этого развития? Дает ли нам право реальная деятельность последователей Карамзина объявить творчество представителей этой школы магистральным путем развития русской литературы?

Если взглянуть на литературу первых двух десятилетий не через призму утвердившейся схемы, то мы увидим, что факты противоречат традиционной периодизации. За последние годы появилось уже немало работ, которые на широком материале показывали, что в литературе этих лет существовали интересные и богатые явления, которые не укладываются в схему, действовали писатели талантливые, чье творчество противоречило позиции Карамзина и его школы. Назову только некоторые из этих работ: книги В. Орлова[2] и Ю. М. Лотмана,[3] статью Г. В. Ермаковой-

---

[1] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина, стр. 30.

[2] «Русские просветители 1790—1800 годов». М., Гослитиздат, 1950.

[3] «А. С. Кайсаров. Литературно-общественная борьба его времени». Тарту, 1958.

Битнер.[1] О необходимости пересмотра этой схемы, о том, как она обедняет реальное содержание литературного развития 800-х годов, приходилось писать и мне.[2]

Прежде чем ответить на поставленные мною вопросы, следует разобраться в том, как вообще возникла данная периодизация литературы, кто ввел ее в оборот? Советское литературоведение не изобрело ее, но приняло по наследству от прошлой традиции. В соответствии с этой схемой строились курсы истории литературы и хрестоматии в дореволюционное время.[3] Наше литературоведение, оперируя данной периодизацией, ссылается на Белинского. Действительно, Белинский широко и устойчиво употреблял в своих работах формулу «карамзинский период русской литературы». Но данная периодизация не была выработана критиком — он воспользовался тем, что было *создано до него.* О то́м, какое содержание вкладывал Белинский в понимание карамзинского периода, я скажу ниже. Важно отметить, что подобная периодизация уже бытовала в критической литературе не только в 30-х, но и в 20-х и в 10-х годах.[4]

Развернутую концепцию истории русской литературы находим мы, например, у Жуковского. Он разделил многовековую ее историю на следующие периоды. Первый:

---

[1] «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века». Вступительная статья к сборнику того же названия. Л., Библиотека поэта, б. с., 1959.

[2] «Радищев и его время», гл. 6—8.

[3] См., например: «Историко-литературная хрестоматия», т. II. М., 1911. Составил А. Галахов.

[4] Н. Греч в «Опыте краткой истории русской литературы» (СПб., 1822) литературу XVIII и начала XIX века делил на два периода — «От Ломоносова до Карамзина» и «От Карамзина до нашего времени». Главную заслугу Карамзина историк видел в том, что он «по справедливости предпочел словосочинение французское и английское периодам латинским и немецким, в которые дотоле ковали русский язык» (248). Оттого «мы имели все право начать последний период истории русской литературы именем сего писателя. Карамзин сотворил новую, правильную, чистую, легкую, благородную русскую прозу» (279).

Н. Полевой в статьях начала 30-х годов писал: «Жуковский стоит на конце того перехода поэзии и прозы русской, который, начавшись после времен Ломоносова Карамзиным, продолжался до времен Пушкина и нынешней прозы нашего времени». «Карамзин составлял переход от латино-французской эпохи к чисто французской эпохе XVIII века» (Н. Полевой. Очерки русской литературы. СПб., 1839, стр. 99).

«Между основанием государства и Ломоносовым»; второй: «От Ломоносова до Карамзина», и третий — карамзинский — «его представителями являются Карамзин в прозе и Дмитриев в поэзии». В чем главная особенность литературы третьего периода? «Свойством этого периода является введение изящества и правильности. Язык приобрел более прочный фундамент, его формы определились, но все его средства еще далеко не изучены». Главная заслуга Карамзина в том, что он «открыл тайну слова в прямом значении — ясности, изящества и точности».[1] Соответственно Жуковским проводится нивелировка всей литературы — одних писателей он зачисляет в ученики и последователи Карамзина (Батюшков, Вяземский, Востоков, Гнедич и он сам, Жуковский), чья деятельность сводится к дальнейшему усовершенствованию слова, другие исключаются из литературного процесса и целиком переносятся в докарамзинский период (например, Державин). Третьи замалчиваются. А главное — вся литература XVIII века до Карамзина объединяется в один, ломоносовский, период.

Но и эта довольно стройная историко-литературная концепция не была разработана Жуковским. Оказывается, он только старательно воспроизвел взгляды своего предшественника. Предложил же новую периодизацию русской литературы, зачислил всех писателей XVIII века в один, ломоносовский, период, а свою деятельность выделил в особый период сам Карамзин, вождь русских сентименталистов.

В 1801 году, как я уже упоминал, Карамзин издал сборник «Пантеон российских авторов». Уже сам подбор писателей XVIII века был характерен, — там были Прокопович, Хилков, Кантемир, Татищев, Крашенинников, Барков, Ломоносов, Сумароков, Федор Эмин, Майков, Поповский, Михаил Попов, но не было Фонвизина, Державина, Новикова, Радищева. Ясно, что выбор имен определяла историко-литературная концепция. Подойдя к литературе лишь со стороны слога, Карамзин определил следующие периоды ее развития: «разделяя слог наш на эпохи, первую должно начать с Кантемира, вторую с

[1] В. А. Жуковский. Неопубликованный конспект по истории русской литературы. — См. в кн.: Труды отдела новой русской литературы. М.—Л., изд-во АН СССР, 1949, стр. 304, 307, 310.

Ломоносова, третью с переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которую образуется приятность слога, называемая французами élégance».[1] Заметим, что в третьем периоде (до Карамзина), проходящем под знаком деятельности Елагина, не названы два крупных писателя — Державин и Фонвизин. Причем Фонвизин, которого категорически не принимал Карамзин, конечно подразумевался в числе тех, кто презрительно назван «подражателем Елагина».

Выступление в печати определило некоторую деликатность выражений. В беседах с друзьями и единомышленниками Карамзин был откровеннее. Об одной такой беседе мы знаем от Г. П. Каменева. В письме к другу от 1 октября 1800 года Каменев сообщил о своем посещении Карамзина и разговоре с ним. Когда зашла речь о Фонвизине, которого хвалил Дмитриев, то Карамзин, будучи «противного мнения», не согласился с другом. В письме от ноября того же года рассказывалось о втором посещении Карамзина. На вопрос Каменева, «где и каким образом усовершенствовал он себя в российском языке», Карамзин ответил: «Вознамерясь выдти на сцену, я не мог сыскать ни одного из русских сочинителей, который бы был достоин подражания, и, отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить стиль его дикий, варварский, вовсе не свойственный нынешнему веку, и старался писать чище и живее. Я имел в голове некоторых иностранных авторов; спачала подражал им, но после писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом».[2]

Таким образом, бытующая в нашей научной литературе периодизация русской литературы XVIII и первой четверти XIX столетия была в свое время выработана и введена в обращение самим Карамзиным. Подхваченная его последователями, она стала обслуживать насущные нужды школы в ее боях со своими противниками. То новое, что принесли с собой в литературу в 80-х годах Фонвизин, Державин, Крылов и Радищев, или враждебное Карамзину, или в ограниченной части использованное им

[1] «Пантеон российских авторов», СПб., 1801, ч. I—IV.

[2] «Вчера и сегодня». Литературный сборник, составленный В. А. Соллогубом, кн. I. СПб., 1845, стр. 58.

(тема человека, но частного, раскрытого только со стороны жизни сердца, признание равенства людей, но равенства только морального и т. д.), растворялось внутри единого ломоносовского периода, который рассматривался весь как период торжества классицизма, «дикого и варварского» слога. Такая периодизация «наглядно» подчеркивала заслуги школы, характеризовала ее позицию как новаторскую в борьбе со старым риторическим искусством и варварским слогом. Оправдывалось тем самым и ее господствующее место в литературном движении, поскольку она вела литературу по магистральному пути развития. Моментами этой борьбы было и объявление Державина «развалиной», поэтом прошлого века, сведение его творчества к воспеванию «Фелицы» — Екатерины и отрицание какого-либо его влияния на поэзию 800—10-х годов, и принижение заслуг Крылова (талантливый баснописец, но ему далеко до Дмитриева), и всяческое замалчивание творчества Фонвизина.

Формула «карамзинский период русской литературы» должна рассматриваться исторически. Ее появление оправдано; в свое время она помогала пониманию заслуг школы; но антиисторически было бы смотреть на литературное движение двух десятилетий XIX века глазами карамзинистов, оценивать явления литературы с их идейно-эстетических позиций. Как всякая антиисторическая концепция, она сводит живое и богатое содержание литературы к творчеству группы писателей, а сложность литературной борьбы подменяет схемой. Потому-то она искажает наше представление о действительных процессах, происходивших в ту эпоху. Дурные следствия этой концепции налицо. Стоит сказать только, что до сих пор громадное значение художественной практики писателей 80-х годов для литературы начала века замалчивается. Тем самым затрудняется понимание истинной истории русского реализма и сложности пушкинского эстетического развития.

Отказаться от предложенной Карамзиным периодизации не значит унижать Карамзина или умалять его действительно большие заслуги перед литературой этого времени. Отказаться от нее — значит отказаться от предвзятого взгляда на важнейший этап русской литературы. Отказаться от этой периодизации — значит открыть доступ к пониманию истинного богатства литературы

первых двух десятилетий XIX века, значит увидеть литературный процесс во всей его сложности, значит понять роль творческих достижений Фонвизина, Державина, Крылова и Радищева для формирования русского реализма, для Пушкина. Больше того — это значит исторически правильно понять роль самого Карамзина.

Влияние схемы сказалось и в создании многих легенд, среди которых особое место занимает легенда о том, что против карамзинистов выступали только *справа*, только рутинеры в искусстве и реакционеры в политике. Факты свидетельствуют, что деятельность Карамзина и его последователей систематически подвергалась и в 90-х, и в 800-х, и 10-х годах критике с передовых идейно-эстетических позиций, и эта критика, показывая отрицательные, а порой и губительные следствия карамзинизма, предлагала вернуться к традициям просветителей 80-х годов. Укажу только на несколько примеров.

В журналах Крылова и Плавильщикова «Зритель» и «Санкт-петербургский Меркурий», выходивших в 1792 и 1793 годах, печатались критические отзывы о творческой позиции Карамзина. Крылов и Плавильщиков выступали против идеализации и украшательства жизни, требовали правдивого изображения реальной русской действительности, создания национальных характеров, обращения к русской истории, отказа от подражания иностранным образцам. Важным моментом их программы было требование «отечественности содержания» литературных и драматических сочинений. Если рассматривать исторически, то термин «отечественность содержания» был псевдонимом народности в ее еще только складывающемся понимании. [1]

Начатая Крыловым борьба была оборвана, журналы пришлось закрыть. Но в 800-х годах она развернулась с новой силой. В момент расцвета деятельности Карамзина в Москве создалось Дружеское литературное общество, объединявшее группу начинающих литераторов: Андрея и Александра Тургеневых, Андрея и Сергея Кайсаровых, Жуковского, Мерзлякова и др. На одном из собраний общества Андрей Тургенев — талантливый юный

[1] См. об этом подробнее: П. Н. Берков. Развитие литературной критики в XVIII веке. — В кн.: «История русской критики», т. I, стр. 100—110.

просветитель, литератор и критик — выступил с речью о русской литературе. Анализируя состояние современной литературы и видя, что в ней господствующее место принадлежит Карамзину, он заявил: «Скажу откровенно — он (Карамзин. — *Г. М.*) более вреден, нежели полезен нашей литературе». «Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись к мелочным родам...» Карамзин же «истощает жар души своей в безделках», противодействует «благу и успеху всего отечественного».[1]

В новом веке, как видим, Карамзина на основе его творческой практики 90-х годов вновь упрекают в подражательности, в отсутствии оригинальности, в пренебрежении ко всему отечественному. Более того — Андрея Тургенева возмущает и то, что Карамзин отказывается от «важных предметов» сам и ориентирует своих последователей на «безделки». Молодой критик увидел, что сосредоточение внимания на жизни сердца, на показе души уводило литературу в сторону от больших гражданских тем. Критикуя Карамзина, Андрей Тургенев ратовал тем самым за возвращение к великим, попранным школой, традициям русской литературы. К сожалению, Андрею Тургеневу не пришлось в дальнейшем полнее изложить свою программу. Начинающий критик неожиданно умер в самом начале своего поприща (1803).

В 1809 году вернувшийся с фронта Батюшков, внимательно разобравшись в литературной борьбе шишковистов и карамзинистов, написал талантливую сатиру «Видение на берегах Леты». Напечатать ее было невозможно, но сатира быстро распространилась в списках.

Зло и беспощадно высмеивая «варяго-россов», их бездарные стихи, варварски исковерканный язык, пристрастие к библии, Батюшков защищал от их влияния не только литературу. Он понимал политический смысл выступлений Шишкова и поэтому защищал дорогие ему идеи Просвещения, отвергая квасной патриотизм.

Но «Видение» было направлено и против школы Карамзина. В науке существует несправедливое мнение, что

---

[1] «Русский библиофил», 1912, № 1, стр. 29, 30.

Батюшков иронизировал лишь над «крайностями» сентиментализма типа творчества П. И. Шаликова. В действительности же Батюшков ясно и недвусмысленно обрушивается именно на оба направления — на поэтов «с Невы» (группа Шишкова) и поэтов «из белокаменной Москвы» (где жил Карамзин и большинство его последователей). Батюшков не ограничился созданием сатирического портрета Шаликова. Он указывает, что ему чужды все те, кто пишет стихи про «кладбище», «мавзолеи», кто сочиняет «журнал души моей», кто творит «унылые стихи» «для женщин милых», кто воспевает пастухов и пастушек. Но про «кладбище» и «журнал души моей» для «женщин милых» писали не только Шаликов и Долгорукий, а и Жуковский и Карамзин. В сатире Батюшков не хотел открыто задевать Карамзина и Жуковского, но не мог не высказать своего несогласия с их идейно-эстетическим кодексом. И в этом он был не одинок. Шишкова и Карамзина равно не принимали с просветительских позиций Гнедич и Крылов. Именно Крылов и оказался единственным поэтом, кого с любовью называет в «Видении» Батюшков, чьи сатирические произведения заслуживают бессмертия и не тонут в Лете.

Подобное выступление Батюшкова было отнюдь не случайностью. Разойдясь к 1809 году с карамзинской школой, он, естественно, не мог принять и многие их критические и историко-литературные концепции. Вот почему, задумав книгу о русской литературе, составив план очерков, посвященных крупным писателям XVIII века, от Кантемира до Радищева, Батюшков отказался от предложенной Карамзиным периодизации. Естественной также оказалась, в отличие от Карамзина, и высокая оценка творчества Фонвизина, и не только его комедий, но и прозы. Известно, что Карамзин своими последователями был объявлен создателем русской прозы. Батюшков придерживался иного мнения и рождение прозы связывал с деятельностью Фонвизина. В плане книги очерков о русской литературе он записал: «Фонвизин — образование прозы».[1]

Творческие успехи Крылова и Державина в 800-х и 10-х годах с большой силой и убедительностью вскрыли коренные и гибельные для литературы недостатки ка-

---

[1] К. Н. Батюшков. Соч., т. II, стр. 337.

рамзинской школы — подражательность, отсутствие оригинальности, культ «безделок», неумение показывать «отечественное». В журнале «Сын отечества» в 10-х годах появилась серия статей о русских и западноевропейских писателях, в которых были подняты вопросы народности и оригинальности литературы. Известно, что в это время «Сын отечества» был фактически рупором складывавшегося декабризма. Как выступления Катенина и Грибоедова по поводу баллад Жуковского, против подражательности, были в то же время и выступлениями за народность, за верность изображения «натуры», так и статьи «Сына отечества», критиковавшие карамзинизм, означали борьбу за народность. И характерно, что в ходе этой борьбы началось восстановление той традиции, которую предавал забвению Карамзин. Так естественно в журнале появились статьи о Фонвизине, Крылове, Державине.

Авторы статей об этих писателях указывали, что, несмотря на их отличие друг от друга, всех их объединяет оригинальность, народность, умение писать воистину русским слогом. В 1816 году появились две статьи — Измайлова о Крылове и Вяземского о Державине.[1] В одной из статей, говорившей о Фонвизине, выдвигалось требование «издать в свет полное собрание сочинений этого оригинального, замысловатого автора, который первым писал чистою русскою прозою». Тогда же в ряде других журналов появились статьи и заметки о комедиях Фонвизина, отмечалась их самобытность и верность передачи отечественных нравов. Это обращение к традиции не случайно. Как Карамзину для своего утверждения нужно было *отрицать* завоевания Державина, Фонвизина и Крылова, так новой, преддекабристской критике, боровшейся за народность литературы, против подражательности и антигражданственности, важно было *опереться* на отечественную традицию. Борьба за народность в дальнейшем будет усилена декабристами. И характерно, что именно Державина они объявят образцовым русским поэтом-гражданином, поэтом глубоко оригинальным, в чьих произведениях есть звуки сердца русского, есть игра ума русского.

С начала творческого пути Пушкин проявляет усиленный интерес к истории русской литературы, к литературе

---

[1] См.: «Сын отечества», 1816, №№ 2, 37.

XVIII века в частности. В его многочисленных высказываниях — поэтических и критических — мы не найдем карамзинской периодизации литературы. Более того — вся историко-литературная концепция Пушкина направлена против Карамзина.[1] Писателей, замалчиваемых Карамзиным, в частности Фонвизина и Радищева, Пушкин не только помнил, но и высоко ценил их вклад в русскую литературу. К их творчеству Пушкин обращался в течение всей жизни. Устойчивой была мысль Пушкина, что исторической виной школы Карамзина была ориентация на подражательность французской литературе, да еще последнего времени: «французская словесность искажается, — русские начинают ей подражать — Дмитриев, Карамзин, Богданович». «Вредные последствия — манерность, робость, бледность».[2]

Белинский, как я уже говорил, использовал в своих работах созданную до него периодизацию русской литературы. Но было бы глубоко ошибочным отождествлять тот смысл, который вносил в эту периодизацию Белинский, с тем, что подразумевал под своей схемой Карамзин. Популярную в критических работах формулу «карамзинский период» Белинский употреблял не только для удобства, но и для подчеркивания определенных и бесспорных заслуг Карамзина. В то же время постепенно, с годами, она наполнялась совершенно отличным от традиционного понимания содержанием.

Белинский, например, не только иначе, чем Карамзин, оценивал творчество Державина и Фонвизина. Оттого для него вся литература до Карамзина, в сущности, не является единым ломоносовским периодом. В статьях о Пушкине Белинский писал: «С Державина начинается новый период русской поэзии», поскольку «поэзия Державина была первым шагом к переходу вообще русской поэзии от риторики к жизни...»[3] Здесь же, рядом с Державиным, Белинский важное место отводит Фонвизину. Но самое главное — литература карамзинского периода для Белинского не сводилась только к карамзинской школе

---

[1] См. сделанный П. Н. Берковым доклад на Всесоюзной пушкинской конференции 1960 года на тему «Пушкинская концепция истории русской литературы XVIII века».

[2] А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах, т. VII, стр. 533, 532.

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 117—118.

и противостоявшей ей группе шишковистов. Белинский понимал и сложность и богатство этого периода: «этот период имеет свои подразделения, ибо в продолжение его литература обогащалась новыми элементами и двигалась вперед». Особое место занимал в литературном движении этой эпохи Крылов. «К этому периоду принадлежит Крылов, который один мог бы быть представителем целого периода литературы. Он создал национальную русскую басню и тем *первый* внес в литературу русскую элемент народности». [1]

Более того — даже Жуковский, творчество которого, казалось бы, теснейшими узами связано с эстетическим опытом Карамзина, по мысли Белинского, составляет особый период развития русской литературы: «Жуковский — этот литературный Коломб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии, по-видимому, действовал как продолжатель дела Карамзина, как его сподвижник, тогда как в самом-то деле он создал свой период литературы, который ничего не имел общего с карамзинским». [2] Белинский неоднократно подчеркивал, что как Жуковский явился «независимо от Карамзина», так самостоятельной была и «художническая муза» Батюшкова. [3]

Белинский высмеивал тех критиков, которые выводили творчество Пушкина из карамзинской школы, устанавливали родословную — «Карамзин произвел Жуковского, а Жуковский Пушкина!» Назвав подобные суждения «выдумкой», Белинский иронически спрашивал читателя: «Какова генеалогия?» [4]

Белинский многократно повторял, что формирование большого поэта происходит не в недрах школы, а на широких путях русской литературы. Вне освоения всего богатства и разнообразнейшего опыта предшественников не может быть настоящего, истинного поэта. Чтобы понять и объяснить Пушкина, Белинскому необходимо было раскрыть особенности и закономерности развития литературы за целое столетие.

Наконец еще одно. Применяя созданную до него формулу «карамзинский период», Белинский постоянно подчеркивал *особый* характер воздействия Карамзина на

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., стр. 139—140.
[2] Там же, т. VI, стр. 460.
[3] Там же, т. IV, стр. 417.
[4] Там же, т. II, стр. 381.

литературу своего времени, оправдывавший название периода его именем. То не было воздействием *эстетическим,* воздействием поэта-художника, который определял магистральный путь развития литературы, создавая художественные ценности непреходящего значения. Белинский усматривал это огромное влияние Карамзина совсем в другом. Он рассматривал Карамзина как «незабвенного действователя на поприще образования и двигателя общества, как писателя с умом и рвением к добру, но уже не как поэта-художника...» [1] Поэтому совершенно закономерно сопоставление карамзинского влияния на литературу с влиянием Ломоносова-реформатора, Новикова и Полевого. «Новиков, который, почти ничего не написав, так много сделал для русской литературы и русской образованности, как много сделали для того и другого Ломоносовы, Карамзины и другие...» [2] Ту же мысль, но еще определеннее, Белинский высказал уже в конце своей жизни: «Три человека, нисколько не бывшие поэтами, имели сильное влияние на русскую поэзию и вообще русскую изящную литературу в три различные эпохи ее исторического существования. Эти люди были — Ломоносов, Карамзин и Полевой...» [3]

Именно потому повести Карамзина, сыгравшие в свое время важную роль, быстро устарели. Во времена «переходные, в эпохи преобразований часто бывают нужнее и полезнее те легкие произведения, которые, могущественно увлекая толпу, тотчас умирают, как скоро сделают свое дело. И в этом самая слабая, а вместе с тем и самая важная сторона литературной деятельности Карамзина».

Другое дело Жуковский и Батюшков. Они, по Белинскому, «поэты по натуре, люди, призванные давать неувядаемые образцы настоящей поэзии, а не преходящей беллетристики только». [4]

Державин, Фонвизин и Крылов тоже были поэтами, но притом поэтами особого типа, поэтами «жизни действительной», поэтами, вносившими в русскую литературу «элемент народности» и тем самым определявшими ее развитие действительно по магистральному пути. Белинский подчеркивал, что Фонвизина «не только чрез-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, стр. 165.
[2] Там же, т. II, стр. 522.
[3] Там же, т. IX. стр. 672.
[4] Там же, стр. 677.

вычайно интересно изучать», но и «читать есть истинное наслаждение». «В его лице русская литература как будто даже преждевременно сделала огромный шаг к сближению с действительностию: его сочинения — живая летопись той эпохи».[1]

«Державин — отец русских поэтов. Если Пушкин имел сильное влияние на современных ему и явившихся после него поэтов, то Державин имел сильное влияние на Пушкина. Поэзия не родится вдруг, но, как все живое, развивается исторически: Державин был первым живым глаголом юной поэзии русской».[2]

Из приведенных суждений Белинского мы видим, что хотя он и употреблял формулу «карамзинский период», но вносил в ее понимание бесконечно много своего, отличного от того, что подразумевала под этим карамзинская критика. Мало того — он еще неоднократно оговаривал известную условность такой периодизации, поскольку деятельность некоторых поэтов, например Крылова, решительно выходила за рамки данного периода и составляла особый, самостоятельный период.

К сожалению, в нашем современном литературоведении эта периодизация употребляется не в значении, определенном Белинским, но в значении, канонизированном последователями Карамзина. При пользовании одинаковой терминологией оказывается совершенно различным понимание происходящих в течение века процессов. Следовательно, и по этой причине пользование периодизацией, условной в своей основе, не помогает, а мешает изучению литературы.

Следует в заключение сказать еще и о том, что рассмотрение истории литературы с позиций периодизации, предложенной школой Карамзина, ни для кого не проходит даром. Повлияла эта схема в некоторой степени и на Белинского. Так, вслед за традицией, он относил Державина к *докарамзинскому периоду*, не замечая его огромной и плодотворной деятельности в 800-х годах, когда он создавал лучшие свои произведения, отвечавшие насущным потребностям современности.

Под влиянием карамзинской критики сделана была и оценка Батюшкова. Белинский считал, что его поэзия

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, стр. 11.
[2] Там же, т. VI, стр. 657.

«лишена общего характера», что ее пафосом было «страстное упоение любви», что его главная заслуга — в создании исполненного гармонией стиха.

Данью традиционной схеме явилось и отнесение творчества Дениса Давыдова к пушкинскому периоду, рассмотрение его поэзии *после* Пушкина. Справедливо ли это? Известно, что из небольшого числа стихотворений Давыдова большая и главная их часть, в которых сполна определилась индивидуальность поэта, — два «залетных послания» Бурцову, «Моя песня», «Песня», «Песня старого гусара», «Договоры», семь элегий, «Мудрость» и некоторые другие — написаны с 1804 по 1817 год, и одни были опубликованы в периодических изданиях до 1821 года, другие широко распространялись в списках сразу после написания. Пушкин многократно признавался, что учился у Давыдова. Один из современников Пушкина записал слова Пушкина о Давыдове: «Он дал мне почувствовать, что возможно быть оригинальным».[1] Но Белинский отнес Давыдова к поэтам пушкинского периода (1820—1833), и эта схема усвоена нашей наукой. В «Истории русской литературы» творчество Давыдова рассматривается в VI томе, после глав, посвященных писателям-декабристам, Грибоедову, Пушкину, в разделе, который называется: «Поэты двадцатых — тридцатых годов»!

Отказ от периодизации русской литературы, предложенной Карамзиным, позволит нам увидеть в литературе первых десятилетий XIX века много нового и очень важного. И прежде всего мы увидим, как была *восстановлена* прерванная с начала 90-х годов XVIII века плодотворная *линия развития реалистической литературы.*

4

Годы вынужденного молчания Крылова оказались годами мужания его таланта. Вернувшись в новом веке в литературу, Крылов начал писать басни. Первый же сборник, изданный в 1809 году, убедительно и красноречиво свидетельствовал о появлении большого и самобытного поэта.

---

[1] М. В. Юзефович. Из памятных заметок. — «Русский архив», 1874, кн. 2, № 9, стр. 731.

Басни были новым и высшим этапом в творчестве Крылова. Его сатирическая деятельность в «Почте духов», «Зрителе» и «Санкт-петербургском Меркурии» опиралась на достижения и опыт новиковской и фонвизинской сатиры. Басни вобрали в себя и радищевский опыт. Сатира стала резче, она теперь направлялась не только на недостойных дворян и местную власть, но и на самодержавную политику Александра. В баснях 800-х годов Крылов поднялся до постановки остро политических, общенациональных проблем. Крылову были чужды политические убеждения Радищева: он не понял и не принял его идею народной революции как единственного пути к достижению свободы, и потому не оправдывал восстаний и революций, оставаясь на просветительских позициях. Критика общественного строя России осуществлялась Крыловым с позиций демократических, с позиций интересов защиты трудового народа. Но радищевский демократизм, его эстетический опыт изображения народа как творца истории, как «зиждителя», как хранителя национального духа и истинно человеческой нравственности, радищевский показ национальной и трудовой обусловленности морали — все это было усвоено и воспринято Крыловым, все это органически вошло в его басенное творчество. Вот почему в художественном творчестве именно Крылов был самым ярким и талантливым последователем радищевских традиций, последователем, бесконечно обогатившим эти традиции.

В 1811 году Крылов выпустил второй сборник, через четыре года — третий, в котором было уже опубликовано девяносто семь басен. Поэт-просветитель работал много, активно вмешиваясь в общественную и литературную жизнь. Его басни посвящались острейшим политическим и социальным вопросам, литературной борьбе; сделав своим героем человека-труженика, он раскрыл моральный кодекс русского народа.

Крылов не боялся сатирически изображать политику русского самодержавия. Уже в 800-х годах были написаны такие басни, как «Мор зверей», «Лягушки, просящие царя», «Волк и ягненок», «Лев на ловле» и «Слон на воеводстве». После многолетних стараний сентименталистов изгнать политику, живую современность из литературы, великая правда жизни вновь предстала перед читателем в баснях Крылова. Поэт использовал образы

зверей, освященные многовековой басенной традицией: с их помощью он сумел отлично передать действительные, реальные, конкретно-исторические отношения между русским царем и русским помещиком, с одной стороны, и русским мужиком — с другой. Осуществить замысел оказалось возможным благодаря языковому мастерству поэта.

От басни «Мор зверей» прямой путь к «Пестрым овцам» и «Рыбьим пляскам», в которых мотивы политической сатиры раскрыты с еще большей силой. Так Крылов настойчиво, последовательно, с возрастающей из десятилетия в десятилетие активностью развертывал свою сатирическую и просветительскую деятельность.

Сущность отношений между дворянством и крепостными с обличительной силой вскрыта в таких баснях, как «Волк и ягненок» и «Слон на воеводстве». Вина ягненка определялась с поразительным цинизмом: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Используя свойственные басне специфические принципы типизации, связанные с понятием аллегоризма, Крылов разоблачил особенности дворянской идеологии его времени.

Вторая группа басен (таких, как «Обезьяны», «Муха и дорожные» и др.) посвящена была сатирическому изображению русского дворянства. В них нашли продолжение темы и мотивы «Почты духов». Новым в творчестве Крылова было стремление изображать жизнь народа, раскрывать его нравственный кодекс. Во многих баснях (например, «Старик и трое молодых», «Крестьянин и смерть» и др.) носителем положительных идеалов Крылов сделал человека труда. В последующем Крылов населит свои басни садовниками, огородниками, сапожниками, работниками, от имени которых поэт и станет судить жизнь дворянства, порядки самодержавной России.

Используя традиционные басенные сюжеты, встречавшиеся, в частности, у Лафонтена, Крылов создавал картины русской жизни, раскрывал характер русских людей. В этом была одна из первых побед реализма — изображение крестьян, людей труда перестало носить отвлеченно-моральный и функциональный характер. В баснях Крылова изображались русские мужики; их чувства, мысли, поступки, представления, их мораль были национально обусловлены. Крыловым была открыта, по словам Белинского, «тайна национальности». Победа, одержанная пока

в крайне узких рамках басенного жанра, была многообещающей; она открывала широкие перспективы развития реализма, она нашла свое дальнейшее воплощение в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя.

Басни Крылова, будучи боевыми произведениями просветителя, утверждая реализм, объективно противостояли художественной практике поэтов карамзинской школы, были им враждебны. Но Крылов решительно отстаивал свои позиции и потому зло и едко высмеивал своих противников из обоих лагерей. Вот почему чрезвычайно интересны его басни, посвященные явлениям современной ему литературной жизни.

Басня «Парнас», написанная в 1808 году, посвящена положению дел в литературе. Попытки комментаторов приурочить ее к каким-либо частным конкретным явлениям (например, к деятельности Российской академии), несомненно, обедняют ее содержание. Крылов выступает против сословной корпорации в литературе, против использования власти для утверждения литературных авторитетов, против попыток расправиться с теми писателями, которые были неугодны власть имущим поэтам. Дворянские литераторы (последователи Шишкова, с одной стороны, Карамзина — с другой) в это время объединились для защиты своей идейно-эстетической программы. Каждая из двух групп выступала с требованием слепого следования рецептам и заветам своих учителей. Крылов сатирически изображает шумную борьбу дворянских литераторов.

Гора Парнас «отмежевана» новому хозяину. Тот стал пасти на ней ослов. Ослы решили, что они могут петь «громче девяти сестер». Они создали «братство», заведя особый порядок: «Коль нет в чьем голосе ослиного приятства, не принимать тех на Парнас». Нет сомнения, что басня была направлена против характерных явлений современной Крылову литературы: для него равно были неприемлемы и оды Хвостова и элегии Шаликова.

В том же 1808 году была написана басня «Пустынник и медведь». В ее основе — старинный и широко распространенный в мировой литературе сюжет. В то же время в ней содержатся живые наблюдения над современной модной литературой. Напомню стихи, раскрывающие психологическую мотивировку ухода пустынника из глуши:

Про жизнь пустынную как сладко ни пиши,
А в одиночестве способен жить не всякой:
Утешно нам и грусть и радость разделить.
Мне скажут: «А лужок, а темная дуброва,
Пригорки, ручейки и мурава шелкова?» —
«Прекрасны, что и говорить!
А все прискучится, как не с кем молвить слова».

Вряд ли можно сомневаться, что здесь содержится сатирический выпад против сентименталистов, которые в стихах и прозе беспрестанно писали «сладко» о «прелести» пустынной жизни, о красоте «лужков» и «темных дубров» и т. д.

В басне «Крестьянин и Смерть» Крылов раскрывает черты русского национального характера на примере отношения народа к смерти. Басня построена на основе пословицы: «Как жить ни тошно, а умирать тошней». Обращение к пословице не случайно. В моральном кодексе народа черпал свои идеалы Крылов. Он знал, что народ сурово, просто и материалистически относится к смерти. «Смерти бояться — на свете не жить», «Люди мрут — нам дорогу трут», «Бойся жить, а умирать не бойся», «Умел пожить — умей и умереть» и т. д. Как же вести себя, зная, что смерть неизбежна? Бояться ее наступления, утраты своей единственности? Предаваться отчаянию, «плакаться»? Нет, народ говорит другое: «Чем жить да век плакать, лучше спеть да помереть», «Чем с плачем жить, лучше с песнями помирать».

Народ — труженик. Жизнь человека он оценивает его трудом, его делами. Эта мораль определяет и отношение к смерти. «Не тот живет больше, кто живет дольше», «Жизнь дана на добрые дела», «Смерть злым, а добрым вечная память», «Жили люди до нас, будут жить и после нас».

Тем самым басня Крылова, раскрывая свойственное русскому народу отношение к смерти, противостояла огромному потоку стихотворений сентименталистов, которые вслед за Карамзиным прославляли смерть, как избавительницу от земных мук, насаждали мистику, уверяя своего читателя, что смерть лучше жизни. Воспевание смерти характерно и для Карамзина (см. «Надежду», «Стихотворение на скоропостижную смерть Пельского», «Могилу» и др.) и для Жуковского (в стихотворении «Путешественник» говорится: «Там, в нетленности *небес-*

ной, все *земное* обретешь»). Подобная философия общественно-порочна и антинациональна. Народ не принимал кокетства со смертью, он говорил: «Помирать — не в помирушки играть». Басня Крылова и осуждала эту игру «в помирушки».

Поэтическое дело Крылова было огромным и бесконечно важным для русской литературы. Но значение его во много раз усиливалось тем, что Крылов не был одинокой и случайной фигурой в литературном движении 800-х годов. Он действовал бок о бок с единомышленниками, талантливыми поэтами, которые двигались по тому же, что и он, пути — народности, самобытности, реалистичности.

Первым, конечно, должен быть назван Державин. 800-е годы были для Державина порой создания первоклассных, принципиально важных для русской поэзии произведений, порой небывалой активности поэта-гражданина. Одним из вредных следствий предложенной Карамзиным и некритически усвоенной историками литературы периодизации является исключение творчества Державина из литературного движения начала XIX века, создание легенды о Державине только как о «славном певце Фелицы», о Державине-вельможе, реакционере, доживавшем свой век развалиной, о поэте, талант которого иссяк с окончанием XVIII столетия. Творчество Державина противоречит этой легенде.

Я уже говорил, что, пережив кризис в середине 90-х годов, Державин обрел себя вновь, когда отстоял свою независимость. Осознание себя именно и прежде всего независимым поэтом определило характер творчества и литературно-общественную позицию Державина. Этому способствовало и окончательное прекращение его служебной деятельности. Вот почему, уйдя в отставку в 1803 году, Державин сознательно и чрезвычайно активно выступил как поэт, стремясь воздействовать на общество. В 1804 году он издал сборник своих новых произведений, написанных в конце 90-х и в начале 800-х годов, — «Анакреонтические песни». Сборник носил глубоко новаторский характер — перед читателем предстала смело обновленная анакреонтика, развивавшая главную тему независимости поэта от власти. Среди десятков анакреонтических стихотворений впервые печатались такие программные пьесы, как «Дар», «Венец бессмертия»,

«Свобода», «Желание», «О удовольствии», «Русские девушки». С 1805 по 1807 год в разных журналах появлялись стихи Державина, и среди них такие шедевры, как «Снегирь», «Цыганская пляска», «Евгению. Жизнь Званская». В 1808 году Державин издал собрание своих стихотворений в четырех частях. Значение этого издания до сих пор не оценено, а оно было огромным событием в литературной жизни, крупной вехой в истории русской поэзии. Новый читатель, новое поколение поэтов смогли *вдруг* увидеть *всего* Державина, понять громадность его таланта, удивительную поэтическую смелость, актуальность его творчества, раскрывавшего темы личности, ошеломляющий автобиографизм, мужество поэта-гражданина. Именно в 800-х годах и определилась та роль Державина в русской поэзии, которую так удивительно точно определил Белинский: «отец русских поэтов».

В чем же секрет огромного влияния Державина-поэта в 800-х годах? В том, что, активно выступив, он *восстановил* прерванную было линию развития литературы, показав отечественную традицию, в том, что его творчество оказалось современным и крайне нужным, в том, что он высоко поднял знамя гражданской поэзии, в том, что показал путь самобытности и народности, в том, что свел поэзию с небес, куда занес ее Карамзин, на землю, показав красоту и поэтичность жизни действительной.

Цикл гражданских стихов Державина, собранных в издании 1808 года, был крупным явлением общественно-литературной жизни десятилетия. Потоку охранительной поэзии, бесчисленным виршам сентименталистов и шишковистов, прославлявших самодержавную власть или жизнь уединенного частного человека, стихам тусклым, риторическим, лишенным и тени таланта, была противопоставлена грозная, разящая и блистательная по художественному мастерству, энергичная и живописная поэзия Державина. Стихам Державина была свойственна высокая мысль о гражданском долге и патриотических обязанностях человека. Им руководило убеждение, что гражданский и патриотический долг с наибольшей силой и страстью должен выполнять поэт. Он не просто пописывал стихи, он писал не для «милых», не для забавы — всякий раз он судил, обличал и карал вне зависимости от звания и чина, судил за неисполнение высокого долга человека и гражданина так, как он этот долг понимал.

Державин был далек от общественного движения эпохи; «возмутители», «бунтовщики», кто бы они ни были, мужики или дворяне, раз они выступали против самодержавно-крепостнических порядков, — его враги. Но Державин был сыном своего века, и передовая просветительская идеология наложила свою печать на его мировоззрение. Представление о человеке как о гражданине и патриоте, чье достоинство определяется не происхождением, не сословной принадлежностью, а делами, общеполезной деятельностью, составляет основу общественных и философских воззрений Державина-поэта.

Художественное воплощение автобиографического героя Державина, осознавшего себя свободной личностью, было величайшим открытием русской поэзии XVIII века. Оно было сделано до Карамзина, на иной философской и эстетической основе. Стихи Державина раскрывали обаятельный мир души русского человека, гражданина и патриота.

Главным в открытии Державина было изображение своего лирического героя в единстве общего и частного — гражданина, исполняющего свой долг, и частного человека. А как только на мир стала смотреть богатая личность, так сразу же в стихах оказалось возможным запечатлеть реальность, точность, конкретность окружавшей поэта природы. Она впервые перестала носить в поэзии условно-номенклатурный характер, перестала быть перечнем основных типовых признаков весны, зимы, осени, лета. Природа у Державина была *русской*, северной, раскрывающейся в неповторимых чертах и приметах, тонко подмеченных человеком, восхищенным красотой мира. Созданные поэтом картины ранней русской весны, золотой осени, нежаркого короткого лета открывали новую эпоху в русской поэзии, прямо предваряя позднейшие достижения Пушкина.

Карамзинской декларации 90-х годов о поэте — «искусном лжеце», чью заслугу составляет умение «вымышлять приятно» и «строить замки на песке», оказался противопоставленным державинский цикл стихотворений о роли поэта и месте поэзии в общественной жизни: «Памятник», «Лебедь» и «Храповицкому». «Памятник» впервые опубликован в 1795 году, а затем был включен в издание 1798 года. В собрании 1808 года он был перепечатан в конце первого тома. «Лебедь» написан в 1805 году

и впервые опубликован в издании 1808 года. Стихотворение «Лебедь» тесно связано с «Памятником». В обоих стихотворениях отчетливо сформулирована тема гражданского служения поэта своему народу. Бессмертие поэта, утверждает Державин, — его дела, исполнение гражданского долга. Оглядываясь на свое творчество, Державин видит свое право на память народа в том, что он бесстрашно умел «истину царям с улыбкой говорить». В стихотворении «Лебедь» развита та же мысль. Заслуга поэта в том, что он «языком сердца говорил и, проповедуя мир миру, себя всех счастьем веселил». Гражданская направленность поэзии делает имя поэта бессмертным в памяти благодарного народа. В пору торжества сентиментальной школы Державин, видимо, сознательно хотел противопоставить свое понимание роли поэта карамзинскому. Вне всякого сомнения объективная враждебность державинского понимания роли поэта карамзинской декларации о поэте — «искусном лжеце», чью заслугу составляет умение «вымышлять приятно» и «строить замки на песке».

К таким стихотворениям, как «Памятник», «Храповицкому», «Лебедь», примыкает цикл анакреонтических пьес, развивавших тему независимости поэта. Я уже говорил, что Державину принадлежит честь обновления анакреонтики. В стихи, утверждавшие право человека на счастье, радость и наслаждение, он вдохнул новую жизнь. Героем своих анакреонтических стихов он сделал самого себя. Но личность Державина — это прежде всего личность поэта. Воспевая право личности на счастье и радость, Державин утвердил еще одно право — на независимость человека. А так как этим человеком был поэт, то анакреонтическая поэзия изменилась кардинально, в самой своей сути: ее героем сделался не частный, жаждущий наслаждений человек, но свободный, независимый поэт. Державинская анакреонтика стала гражданской поэзией.

К циклу стихотворений, собранных в книге «Анакреонтические песни», примыкает и послание «Евгению. Жизнь Званская» — глубокое и программное произведение Державина. В «Жизни Званской» тема независимости поэта решалась не декларативно, но сознательно буднично, «заземленно». Державин не побоялся высокую гражданскую мысль о свободе поэта от власти раскрыть через быт. Делалось это на основе испытанного метода

автобиографизма. Свобода поэта — это свобода его, Державина. А он, Державин, — индивидуально неповторимая личность, русский человек, со своими взглядами на жизнь, привычками, вкусами, влюбленностью в природу, в живую и красочную «существенность». Он поэт, а не царев служащий, и живет в своем имении Званка, где отдыхает, наслаждается покоем, счастьем, любовью, где пишет, создает произведения, продиктованные его совестью, долгом. Званка — реальное имение, дом, стоящий над рекою, где господствуют «довольство, здравие, согласие с женой», становится и «святилищем муз», его, державинским, Пиндом.

«Жизнь Званская» открывала новые широкие горизонты перед русской поэзией. В стихотворении с гражданских позиций отстаивалась независимость поэта. В то же время «Жизнь Званская» — это первая попытка создания романа в стихах. Предметом поэзии стала обыкновенная, будничная жизнь обыкновенного человека. Его интересы, мысли, занятия, дела, описанные за один день — с утра до вечера, — стали поэзией, и притом интересной читателю. Читателя покоряла в стихах красота жизни. Точное и красочное описание быта не делало поэзию низкой. Державин учил — нет низких и высоких тем, низких и высоких предметов, низких и высоких слов. Есть человек и мир. Человек — хозяин мира. Его стремление к счастью и наслаждению естественно, и все в земном мире должно служить этому. Художественные открытия Державина и были немедленно усвоены молодыми поэтами — Давыдовым, Батюшковым, Пушкиным.

Денис Давыдов был первым поэтом нового века, который глубоко оценил Державина и органически воспринял его опыт. Предметом его стихов также стала будничная жизнь обыкновенного человека. И этим человеком был он сам — гусар Давыдов. Уже в первых двух «залетных посланиях» Бурцову во многом определилась поэтическая индивидуальность Давыдова. Его герой — живая личность — предстал в своих обычных, повседневных связях с миром. Оттого по-державински смешано низкое и высокое: точное описание жизни гусара, ночных попоек лихих друзей — и патриотическое чувство, желание постоять за родину, готовность в любой момент ринуться в бой. Вслед за посланием к Бурцову стали известны другие стихи Давыдова: «Моя песня», «Песня» («Я люблю кровавый

бой»), элегии. Элегии раскрыли образ гусара с еще одной стороны — мужественный воин, рубака и лихой гуляка предстал человеком с большой и нежной душой. В элегиях, писал Белинский, «личность его (Давыдова. — *Г. М.*) является такою рыцарскою, а его звание воина приобретает через то столько благородной, возвышенной поэзии».[1]

Освоение опыта Державина помогало быть оригинальным. Написав в 800-х и 10-х годах около двух десятков стихотворений, Давыдов обогатил русскую поэзию, заняв в ней особое место, оказав влияние на Батюшкова, Пушкина лицейской поры, способствуя становлению реализма в поэзии. В стихотворениях Давыдова представала в поэтическом облике не только обыденная, точно и красочно нарисованная жизнь или конкретный быт гусара. Поэт сумел сделать больше. Его стихи глубоко связаны со своим временем, а время было бурное — и в первом и во втором десятилетии XIX века Россия вела войны, и в частности — войны с Наполеоном. Тысячи русских людей были в походах. В походах был и герой Давыдова, и поэт сумел показать не только быт своего героя, но и его бытие, достоверно раскрыть духовный облик русского офицера-патриота, передать те чувства, тот патриотический подъем духа, который был характерен для русских людей эпохи антинаполеоновских войн.

Поэзия Давыдова потому и была оригинальна, что запечатлевала — пусть только одну небольшую сторону — реальный, бесконечно богатый мир, реальную жизнь человека, жившего в этом мире, его мораль, его быт, его страсть, его дела и деяния, человека, который по манере понимать вещи, по свойствам ума представал перед читателем как русский характер.

Батюшков сам рассказал о том, как его потрясло чтение четырехтомного собрания стихотворений Державина. «Недавно читал Державина, — сообщает он Гнедичу. — Тишина, безмолвие ночи. Сильное устремление мыслей, пораженное воображение, все это произвело чудесное действие... Какие стихи... ничем, никогда я так поражен не был».[2] В Державине молодого поэта привлекало прежде всего мастерство изображения живой жизни, яркость,

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 363.
[2] К. Н. Батюшков. Соч., т. III, стр. 53.

красочность, предметность мира. Читая его стихи, он видел изображенные предметы, осязал прелесть и красоту существенности. Особое его внимание привлекли анакреонтические стихи.

Многое из того, что он искал, уже было найдено поэтами, обновившими анакреонтику, — Парни и Державиным: и защита права человека на счастье и наслаждение, и понимание любви как земной страсти, и легкий, изящный, иронический стих. Осенью 1809 года в Хантонове и в последующие три-четыре года Батюшков обращается к Парни и Касти: пишет «в подражание» на сходные мотивы или переводит, но переводит творчески, многое меняя, отступая от оригинала, смело давая свое развитие сюжету и теме. Вот почему он имел все основания о стихах подобного рода говорить: «Взял у Парни, то есть завоевал». В результате перевода или подражания появился цикл стихотворений, который сам Батюшков называл анакреонтическим: «Привидение», «Ложный страх», «Источник», «Мщение», «Счастливец», «Радость», «Вакханка». К ним же примыкает и «Элизий».

Верный просветительскому учению, Батюшков понимает, что не религия, не божественные заповеди определяют этический кодекс человека. Основным источником нравственности он считает стремление человека к счастью. Это могучее и неодолимое стремление есть нормальное состояние человека, которого Батюшков рассматривал вне исторических и социальных связей, как естественного, а не общественного человека, того, по словам Энгельса, «естественного человека, веселого и плотского, который рождается от мужчины и женщины...» [1]

В конкретных обстоятельствах русской действительности того времени человек не имел ни желанной свободы, ни счастья, ни радости. Как же было поступать тогда художнику? Ответ зависел от мировоззрения писателя. Один был у революционера Радищева, противоположный — у Карамзина. Державин на новой основе возродил гражданскую поэзию, сумел изобразить своего героя в конкретных условиях русской жизни. Крылов сделал басню оружием борьбы с социальным угнетением человека, сатирически показав неприглядный образ жизни дворянства, точно и достоверно нарисовав бедственный, но нравственно

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 1-е, т. V, стр. 141.

прекрасный мир простых тружеников. Жуковский, веря в человека и горюя о его судьбе, в то же время подменил рассказ о нем рассказом о своей душе.

Батюшков только еще искал своего пути. Поняв величие человека, он, следуя в известной мере за Державиным, страстно желал показать всю красоту и радость бытия действительного, земного человека. Воспринимая в анакреонтических стихотворениях своего героя как естественного человека, он создал в стихах полный света и гармонии праздничный мир условной древности, какой-то далекой эпохи язычества, где люди жили, еще не будучи скованными ни общественными, ни моральными путами, жили свободно и полно, повинуясь лишь своим страстям. Мир, созданный Батюшковым, это как бы воспоминание о том, что когда-то было, и оттого этот мир показан реально, предметно, вещественно, и среди ясно видимых вещей и предметов, среди щедрой и праздничной природы живет веселый и плотский человек.

Анакреонтические пьесы Батюшкова противостояли поэзии Жуковского. Батюшкову были чужды и «небесная», идеальная любовь, и мистицизм баллад, и воспевание потустороннего мира, кладбищ, мавзолеев и гробов.

По стилю, так же как и по содержанию, Батюшков решительно отличается от Жуковского. Создавая текучий, изменчивый мир своей души, Жуковский лишал слово его определенности, конкретности и предметности. Желая утверждать живую жизнь и земную страсть действительного человека, Батюшков, идя вслед за Державиным, стремился вернуть слову его точный, конкретный смысл.

Создание анакреонтического цикла стихотворений было данью времени, поэтическим выражением идеала человека, усвоенного у французских материалистов-просветителей. Но живой опыт поэта, и прежде всего опыт только что отгремевшей войны, требовал своего воплощения, и воплощения в иных формах и образах. В стихи просились современники Батюшкова, действительность, которая его окружала, события, определявшие его бытие. Батюшков хорошо понимал, что в реальных условиях александровской России живут иные люди, непохожие на героя его анакреонтических стихотворений, который безотчетно наслаждался пиршеством духа и плоти. Как же изобразить своего современника? Поэт чувствовал: первое, что должен он сделать, — это передать определен-

ность, конкретность бытия нового героя. Какой могла быть эта общественная и историческая определенность сейчас, после войны — он не знал. Но она была ему понятна во время войны. Так появился цикл стихов о войне, писавшийся одновременно с анакреонтическими стихотворениями («Воспоминания 1807 года», «К Петину», «Послание г. Велеурскому»).

Картины военного быта, события и происшествия войны выписаны Батюшковым с еще большей точностью, выпуклостью и конкретностью, чем обстоятельства жизни героя в анакреонтическом цикле. Вот поэту вспомнилась ночь накануне битвы под Гейльсбергом («Воспоминания»). «Когда весь стан дремал в покое и ратник, опершись на копие стальное, смотрел в туманну даль», «Едва дымился огнь» ночных костров, «Аль светлый чуть струю ленивую катил» — именно в этих обстоятельствах герой стихотворения, лежащий в «низком шалаше», погружаясь в думу, «о родине мечтал». А завтра уже «трупы ратников устелют нивы» гейльсбергских полей, герой, «летя против врагов», будет ранен и, «рукой закрыв тяжелу рану», с трудом спасется. И вот он уже не на поле боя, а в мирном семействе, в доме рижского купца, куда его положили для лечения и где он встречается с юной Эмилией. В этом стихотворении все дышит достоверностью живой жизни — и военной и мирной. Высокое и низкое — патриотические думы, воинский подвиг и жизнь в лагере, ночевки в шалаше, страстное чувство к Эмилии, упоение любовью и хождение «склонясь на костыли» — все это равноправно входило в поэзию вместе с героем, реальным участником только что прошедшей войны. В этих стихах торжествовала и закрепляла победу поэтическая система Батюшкова, в которой слово должно было передавать предметность и реальность мира, воссоздавать «существенность» в ее живой земной красоте. Вот почему поэт, не боясь снизить, сделать смешным и непоэтическим своего героя, изображает его раненным в ногу, заставляет проводить любовное объяснение, «склонясь на костыли». Батюшков вполне мог отказаться от прозы жизни. Но все дело именно в том и состояло, что поэт стремился передать достоверность жизни героя и его земной страсти. И тогда костыли могли мирно соседствовать с «чашей радости», которую влюбленные «выпили до дна».

Уйдя в отставку в 1810 году, Батюшков должен был решить — что ему делать. Служить? Получить место? «Какое? Нет, я не так дешево продам свободу, милую свободу, которая составляет все мое богатство». Он хочет служить там, где может быть «полезен, а служить у министров или в канцеляриях, между челядью, ханжей и подьячих» — у него желания нет.[1] Батюшков всячески отстаивает свою независимость поэта и хочет самоопределиться в обществе. Под непосредственным воздействием Державина и было в это время написано важное в творческом наследии Батюшкова послание «Мои пенаты».

В русле державинского направления развивалось и творчество Гнедича. Используя опыт гражданской поэзии Радищева и Державина, Гнедич создает свои гражданские стихи. Следуя путем самобытности и народности, он самостоятельно решает эти проблемы, обращаясь к античности, переводя «Илиаду» и опираясь на образцы греческой поэзии, создает идиллию «Рыбаки», в которой стремится изобразить жизнь народа. Он глубоко верит, что художественное творчество народа, его свадебные обряды, хороводы, различные игрища исполнены истинной поэзии и потому могут помочь литературе стать национальной, раскрывать сполна «отечественность».[2]

Важную роль в демократизации литературы, в развитии ее по пути народности, в пропаганде идеала человека-деятеля сыграли произведения Радищева, изданные его сыновьями в составе шеститомного собрания сочинений (1806—1811), но, понятно, без «Путешествия из Петербурга в Москву». Так творчество Радищева, хотя и в очень ограниченной форме, приняло участие в литературном процессе начала века, противостоя литературной практике карамзинистов и шишковистов и укрепляя позиции поэтов державинского направления.[3]

В настоящей работе я не имею возможности останавливаться на творчестве других писателей, которые в той или другой степени, но объективно своим творчеством примыкали к державинскому направлению. И без того

---

[1] К. Н. Батюшков. Соч., т. III, стр. 148—149.

[2] См. подробнее об этом: А. Кукулевич. «Илиада» в переводе Н. И. Гнедича. — Ученые записки ЛГУ, № 33, серия филологических наук, вып. 2, 1939.

[3] Об этом я писал в книге «Радищев и его время», гл. 3 и 8.

ясно, что оно в первые десятилетия XIX века представляло собой мощное, глубоко плодотворное движение, имевшее в своих рядах талантливых поэтов.

Но в заключение мне хотелось бы обратиться к творчеству Пушкина-лицеиста. Пушкин тонко и безошибочно реагировал на все поэтические явления. С юношеских лет он следил за всем, умея отвергать и строго судить старое, отжившее, и отбирать нужное ему, учиться у настоящей поэзии. В годы ученичества, естественно, с большей отчетливостью на его стихах можно увидеть следы влияния творчества самых различных современных ему поэтов. Обращаясь к лицейским стихотворениям Пушкина, мы, с одной стороны проверяя себя, можем ответить на вопрос — а видел ли Пушкин это державинское направление? Воспринимал ли Пушкин литературное движение начала века в его действительной сложности или оно все сводилось для него к торжеству карамзинской школы, к борьбе шишковистов с карамзинистами? С другой стороны, взглянув внимательно на лицейские стихи, мы сможем понять, в какой мере справедливо бытующее в современной науке представление о том, как проходило формирование эстетического идеала юного Пушкина.

Каково же это представление? Обратимся к коллективному труду пушкинистов, к главе, посвященной Пушкину в «Истории русской литературы». Говоря о лицейском периоде, авторы пишут: «Ближайшими учителями его были Жуковский и Батюшков. Поэзия Батюшкова, пластическая и ясная, была очень близка молодому поэту. Уединение на лоне природы, беспечная любовь, дружба — все эти мотивы являются у Пушкина общими с Батюшковым». Мистики и отрешенности от земной жизни Пушкин не принял. «Воздействие Жуковского сказалось на ранней поэзии Пушкина преимущественно в усвоении так называемого «легкого» поэтического языка, противоположного напыщенности классицизма, и в элементах художественной формы, напевной мелодии и гибкости стиха».[1] В то же время отмечается и самостоятельность Пушкина, проявившаяся в создании им гражданских стихотворений — «Лицинию», «Воспоминания в Царском Селе», сатир — и, наконец, в стремлении изображать реалистически окружающий поэта быт.

---

[1] «История русской литературы», т. VI, стр. 172.

Трудно не заметить в лицейских стихотворениях замечательные по точности жанровые картинки, умение иной раз преодолевать условность поэтического языка сентиментальной поэзии, ориентацию на фольклор, интерес к живому, точному и меткому слову, робкий автобиографизм лирики. Отмечая это, исследователи указывают, что подобные особенности поэзии Пушкина проявлялись *вопреки его учителям* — Жуковскому и Батюшкову. Умение Пушкина изображать конкретно окружающий его мир именуется в науке «прирожденным даром» поэта: «Умение видеть, замечать и передавать виденное в словах было прирожденным даром Пушкина».[1] Иного — и справедливого — мнения придерживается Д. Д. Благой: Пушкин учился не только у Жуковского и Батюшкова, «свои первые литературные уроки Пушкин брал в школе у таких «из перерусских русских», — говоря позднейшими словами самого же поэта, — и притом наиболее народных во всей допушкинской литературе писателей, как Фонвизин и Крылов».[2]

Действительно, Пушкин уже в юности познакомился с творчеством Фонвизина, и сатирик стал его любимым писателем. Он знал не только его комедии, но и сатирические стихотворения. Вот почему, когда появилась потребность оценить современную литературу, Пушкин, идя вслед за сатирой Батюшкова «Видение на берегу Леты», пишет «Тень Фонвизина».

Внимательно следя за литературой своего времени, Пушкин сразу заметил вышедшее издание сочинений Радищева и познакомился со стихотворениями поэта-революционера. Уже в 1814 году он начинает писать сатирическую поэму «Бова», мечтая «сравняться с Радищевым».

Подобные литературные интересы и симпатии свидетельствуют, что Пушкина привлекала *вся* литература, а не одна только школа. Но дело этим не ограничилось — как свидетельствуют стихи Пушкина, он чутко уловил то направление, которое учило быть оригинальным. Отсюда — интерес к Давыдову. По таким стихотворениям, как «Казак» и «Пирующие студенты», можно с наибольшей отчетливостью видеть, как учился Пушкин у поэта-гусара.

---

[1] Б. Томашевский. Пушкин, т. I. М. — Л., изд-во АН СССР, 1956, стр. 123.

[2] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина, стр. 81.

Первое стихотворение интересно тем, что Пушкин следовал в нем не только Давыдову, но и Батюшкову, который сам написал стихотворение «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь») под влиянием Давыдова. В «Пирующих студентах» Пушкин учился воспевать будничные, прозаические явления — пирушку друзей — и делал это вослед Давыдову, который сам шел державинским путем.

Чем более писал Пушкин стихов в лицее, тем все чаще перед ним вставала тема поэта. Вопрос о роли и месте поэта в обществе, как мы видели, — кардинальный для литературы того времени. Категорически отвергая высокие, одические жанры классицизма, Пушкин не мог принять и идеала поэта-одописца, пишущего по заказу двора и для двора. В поэзии карамзинистов широко культивировался образ поэта — частного человека, отвергнувшего героические темы, отказавшегося от хвалебной оды и избравшего темы «нежные» — любви и дружбы. Следы влияния этого идеала поэта можно найти в некоторых лицейских стихах Пушкина. Но были и другие поиски, и они принципиально важны.

Я уже говорил, как Державин и Батюшков, исходя из автобиографизма как эстетического принципа, решили конкретно в своем творчестве проблему своей независимости от власти. Лучшими их произведениями на эту тему были «Жизнь Званская» и «Мои пенаты». Вослед этим посланиям и пошел Пушкин, написав в 1815 году стихотворение «Городок».

Обычно подчеркивается, что «Городок» навеян «Моими пенатами». К сожалению, подлинная и глубокая связь этих двух стихотворений и значение «Моих пенатов» для Пушкина обычно не выясняется. Сопоставления делаются только в угоду схеме — Батюшкову, как карамзинисту, свойственны условность и аллегоричность в изображении действительности, а Пушкин, в силу своего природного дара, воспроизводит ее реалистически. Даже такой исследователь, как Б. Томашевский, пишет: «В то время как Жуковский, Батюшков и другие воспроизводили действительность в вялых аллегориях, Пушкину уже в этом произведении удалось придать бытовую конкретность некоторым деталям своего стихотворения».[1]

---

[1] Б. Томашевский. Пушкин, т. I, стр. 73.

Стихи Пушкина и Батюшкова не подтверждают это суждение. В самом деле, Батюшков, вслед за Державиным, автобиографичен в «Моих пенатах». Только Званка — богатое имение поэта, а у Батюшкова в бедной деревушке Хантонове действительно стоит полуразвалившийся барский дом (см. письма Батюшкова к Гнедичу из Хантонова за 1809—1810 гг.). И он с гордостью пишет о своем действительно бедном доме. Оттого смелее и искреннее звучит тема отказа от богатства, противопоставление образа жизни независимого, бедного поэта «придворным друзьям» и «надутым князьям»:

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногой
С изорванным сукном.
В углу — свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель, —
Все утвари простые,
Все рухлая скудель!

В том же державинском ключе описывал и Давыдов свой домишко — место временного пребывания гусара-поэта:

...Посети домишко мой!
В нем нет нищих у порогу,
В нем нет зе́ркал, ваз, картин,
И хозяин, слава богу,
Не великий господин.
Он гусар и не пускает
Мишурою пыль в глаза;
У него, брат, заменяет
Все диваны — куль овса.

И это «вялые аллегории»?

Пушкин же, задумав написать «Городок», твердо решил точно следовать именно данной традиции. Естественно, он столкнулся с трудностями — не мог выдержать основного принципа этих поэтов — автобиографизма: он был лицеистом, а не поэтом, который отстоял свою независимость. Тогда он стал *сочинять* себе биографию и сочинял по образу и подобию любимых поэтов. Потому герой «Городка» такой же независимый поэт, как Державин

и Батюшков, и живет вдали от света, в простом домике, довольный своей свободой:

...Живу я в городке,
Безвестностью счастливом,
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет.

Не ясно ли, что этому умению передавать действительность в ее бытовой конкретности Пушкин учился у поэтов державинского направления? Все дальнейшее повествование в «Городке» также выдержано в духе батюшковского автобиографического стихотворения. Батюшков писал, что к его далекому полуразвалившемуся домику в Хантонове «не сыщет ввек дороги богатство с суетой»:

Но ты, о мой убогой,
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня.

И опять все здесь точно — офицер Батюшков, только что вернувшийся с войны, по-доброму говорит о тех, с кем он воевал, о солдатах. Из писем Батюшкова мы знаем, как он и его друг Петин, как-то встретив на улице калеку-солдата, повели его к себе домой и провели целый вечер за угощением и воспоминаниями. В этих строчках не описание реального факта, но создание исторически верного, конкретного, индивидуально неповторимого облика поэта-воина.

Пушкин не мог вспомнить подобного. Потому его стихи внеопытны и часто подсказаны поэзией. Но поэзией державинского направления, открывавшей путь к оригинальности, учившей изображать окружающий мир в его конкретности и реальности. И Пушкин учился:

Здесь добрый твой поэт
Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет
Не слышит стук докучный;

Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега
Скрыпит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега,
Дорожною клюкой
В калитку постучится...

После «Городка», в том же 1815 году, в «Послании к Юдину» — своему лицейскому товарищу, Пушкин вновь вернулся к теме поэта, решая ее на этот раз уже открыто вслед за Державиным и Батюшковым. Послание тем прежде всего и интересно, что демонстрирует пушкинское восприятие творчества Державина и Батюшкова в одном ряду, в русле одного направления, показывает, что Пушкин решал для себя проблему независимости поэта вслед за Державиным и Батюшковым. Тем самым «Послание к Юдину» открывает нам пушкинское понимание значения художественной практики поэтов державинского направления.

Послание принципиально автобиографично. Но биография поэта представляет собой соединение правды и вымысла. В соответствии с избранными образцами он строит образ поэта, используя факты реальной своей биографии и заимствованные в стихах. Вновь он мечтает жить уединенно «в мирном уголке», и тут идут уже знакомые нам стихи державинско-давыдовско-батюшковской линии:

Не лучше ли в деревне дальней,
Или в смиренном городке,
Вдали столиц, забот и грома,
Укрыться в мирном уголке,
С которым роскошь незнакома...

Но здесь, идя вслед традиции, он начинает использовать реальные факты — в детстве он жил в подмосковном имении родителей Захарове. Так вот его Захарово должно встать в ряд со Званкой и Хантоновом:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад...

Учителя формировали дар точного описания обыденных явлений и предметов. Но собственного опыта не хватало,

жизненных впечатлений было мало, а притягательная сила замечательных поэтических образцов велика. Державин покорял своим умением передавать ярко, празднично, предметно реальный мир, его окружающий: «Бьет полдня час... Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. Я озреваю стол... Багряна ветчина, зелены щи с желтком. Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, Что смоль янтарь-икра, и с голубым пером Там щука пестрая...» И Пушкин писал:

Но вот уж полдень. В светлой зале
Весельем круглый стол накрыт;
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.

Перед нами ученический опыт. Но поэт учился важному — передавать правду жизни действительной. Через несколько лет будет написана первая глава «Евгения Онегина», и станет ясным, каким плодотворным было это активное освоение опыта поэтов державинского направления.

Но вернемся к «Посланию». После обеда поэт предается мечтам, его ум пленяет мысль о героических подвигах. Следуют одна за другой тщательно выписанные картины — вот он на поле боя, «летит на гибель супостата», храбро сражается, выходит из боя раненым... Наступили мирные дни, он мечтает о встрече с возлюбленной, и наконец это желанное свидание состоялось. «Друг сердца» с ним — и поэт счастлив:

Одна ты в рощице со мною,
На костыли мои склонясь...

Исследователи упрекают это стихотворение в условности: «мечты о деревне и гусарских подвигах, возлюбленная раненого героя — условны, как условна самая форма послания».[1] Упреки эти несостоятельны, ибо изложенные в последней части «Послания» факты биографии реальны и точны, только это факты биографии не Пушкина, а Батюшкова. Пушкин их позаимствовал из автобиографического стихотворения Батюшкова «Воспоминания 1807 года». Батюшков же, следуя за Державиным, как

[1] «История русской литературы», т. VI, стр. 177.

я уже показывал, точно изложил все действительные события, приключившиеся с ним в 1807 году, — ожидание боя под Гейльсбергом, участие в сражении, ранение, излечение в Риге, в доме купца Мюгеля, и роман с дочерью хозяина Эмилией. Описал Батюшков и свидание с Эмилией:

Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса...

«Щука» у Державина и «костыли» у Батюшкова — это смелые поэтические образы новой поэзии, поэзии действительности. И Пушкин не заимствует то, что бесконечно дорого ему, а принимает как эстафету, чтобы двигаться вперед. «Костыли», помогая Пушкину твердо ступать по земле уже в самом начале творчества, уберегали от пагубного влияния условной поэзии сентиментализма.

В 1816—1817 годах особо бурно шло нравственное развитие Пушкина — вступала в свои права юность. Его взор обратился к Жуковскому, и это обращение оказалось целой эпохой. Пушкин увидел и почувствовал богатство поэзии романтической, открывавшей глубокий внутренний мир человека, таинства сердца. С жадностью принялся осваивать Пушкин опыт Жуковского, став под знамена романтизма. И это не случайность личного развития поэта, но закономерность развития русской поэзии. Белинский отлично раскрыл органическую связь между поэзией Державина и Жуковского: «Жуковский внес в русскую поэзию именно тот самый элемент, которого недоставало поэзии Державина: мечтательная грусть, унылая мелодия, задушевность и сердечность, фантастическая настроенность духа, безвыходно погруженного в самом себе, — вот преобладающий характер поэзии Жуковского, составляющий и ее непобедимую прелесть и ее недостаток, как всякой неполноты и всякой односторонности».[1]

Пройдя через романтическую школу, Пушкин в самом начале 20-х годов преодолевает романтизм и окончательно выходит на дорогу поэзии действительности. Но то не было возвратом к старому. Для поэзии Державина и его школы характерна своя неполнота и своя односторонность. Мудрый и подлинный смысл развития русской поэзии в первое десятилетие XIX века по ее магистраль-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 291—292.

ному пути в том и состоял, что в творчестве Пушкина наконец была достигнута полнота, навсегда ликвидирована односторонность.

Державинское направление включало и эстетический опыт Фонвизина. Он сказывался и в зрелых стихах самого Державина и в демократичности и русском духе басен Крылова. Но Пушкин осваивал его, и непосредственно — с первых лет своей поэтической жизни — он обращается к сочинениям любимого писателя. И характерно — Фонвизин оказывается нужным Пушкину *на всех важных этапах* его творческой биографии. Чем зрелее становился поэт, тем яснее и полнее вскрывались для него богатства фонвизинского наследия.

В лицейскую пору, когда шло формирование Пушкина-поэта, для него оказывалась близкой, дорогой и нужной прежде всего поэзия. Потому из фонвизинских сочинений его внимание привлекают стихи. Всего два стихотворения были напечатаны Фонвизиным, и они-то были замечены Пушкиным. Мало того — эти стихи, по Пушкину, с такой полнотой характеризовали облик Фонвизина-поэта, что именно его он избрал в качестве героя своего произведения «Тень Фонвизина», который судил современную Пушкину поэзию.

Сатира начиналась с развернутой характеристики Фонвизина. «То был, — пишет Пушкин, — писатель знаменитый, известный русский весельчак, насмешник, лаврами повитый, Денис, невежде бич и страх». Стихотворение свидетельствует о том, что его писал поэт, не только знающий и любящий Фонвизина, но и глубоко понимающий особенность и своеобразие его творчества. Ясно, что Пушкину дорог Фонвизин-сатирик. Затем он в укор современным поэтам, предавшим забвению сатиру, и напоминает «Послание к слугам моим», подтверждая, что гневные слова его героя, «грозного Демосфена» передних — Петрушки, живо звучат и сейчас, поскольку и в современной России «все идет той же чередой». Но Фонвизин не только «невежде бич и страх» — он «насмешник», «весельчак» и, самое главное, — «*русский весельчак*»! Пушкин-лицеист увидел народную, национально-русскую основу таланта Фонвизина. Державинское направление, как было показано выше, учило Пушкина идти путем народности и самобытности, помогало быть оригинальным. Вот отчего ему дорог и близок был в эту пору и Фонвизин-поэт. Стоит

вспомнить в этой связи позднейшую характеристику «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «все обрадовались... этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!» [1] Близость Фонвизина и Гоголя — в их народности, в умении раскрывать характер русского человека.

Из лицея Пушкин вышел поэтом-романтиком. Жуковский подсказал ему элегию как главный жанр. Ее героем стал унылый юноша — певец любви, певец своей печали. Молодой поэт утверждал: «Любовь одна — веселье жизни хладной, любовь одна — мученье сердец». Душа, «плененная тоской», искала утоления в страдании, в мечте о смерти. Романтизм уводил поэта от мира действительного, научая в собственной душе находить целую вселенную.

Пушкин учился новому в раскрытии душевных богатств личности, но его элегии не были оригинальными — так же писал Жуковский до него, так же писали одновременно с ним другие поэты. Эту ахиллесову пяту романтизма Жуковского видели многие. Кюхельбекер об этом написал точно и метко: «Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием». [2]

Еще раньше, в 1814 году, об этой преждевременной старости души писал Батюшков. Опыт Отечественной войны помог ему развить мысль, что эта старость, разочарование, душевная пустота есть следствие бездеятельности. «Недеятельная жизнь... расслабляет тело и душу. Стоячая вода гниет, способности человека в бездействии увядают... Тогда общество справедливо холодностию отомстит тебе за то, что ты был его бесплодным членом». [3] Деятельность, утверждает Батюшков, — вот что является условием самоутверждения личности в обществе.

В сборнике произведений Батюшкова «Опыты в стихах и прозе», вышедшем в год окончания Пушкиным ли-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VII, стр. 346.

[2] «Мнемозина», ч. II, 1824.

[3] К. Н. Батюшков. Соч., т. II, стр. 11.

цея, впервые было напечатано стихотворение «К Никите». Вдохновленное Отечественной войной, оно показывало, как чувство общности жизни, участие человека в исторических событиях вместе с народом рождает у личности силы необъятные, неудержимо влечет на подвиг. Послание противостояло потоку элегий с унылым, разочарованным в жизни и отделенным от нее своим «эгоизмом и мелочным самолюбием» героем. Оно славило активность личности, ее жажду подвига, битвы, смертельной схватки с врагом, возмездия.

В стихотворении «К Никите» Батюшков выразил чувства, идеалы и опыт своего поколения, которое проделало великий поход от Москвы до Парижа и выиграло Отечественную войну, того поколения, которое стало готовиться к борьбе за свободу народа-победителя, за то, чтобы миллионы русских людей перестали быть пленниками в отечестве своем.

Выйдя из лицея и окунувшись в бурную общественную жизнь столицы, Пушкин быстро преодолел влияние Жуковского и навсегда встал под знамена той идеологии, которая вела борьбу за свободу человека. Жадно вбирая опыт своего старшего поколения, своих «товарищей и братьев», он с особым вниманием и пристрастием обратился к национальной традиции — к русскому Просвещению.

Пушкин почувствовал задачу времени — создавать поэзию, которая бы вдохновила бойца на битву. Тут-то и пригодился опыт русских просветителей, раскрывших личность со стороны ее связей с миром всеобщего, показавших ее способность быть деятельным другом людей и умение находить счастье в служении общей пользе. Манифестом новой поэзии Пушкина и явилась ода «Вольность», написанная «вослед Радищеву». Новая муза — Свобода — стала теперь вдохновлять поэта. Оттого в оде поэт рассчитывается со старым: он призывает новую музу —

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...

Вслед за «Вольностью» пишется «К Чаадаеву». Старая форма дружеского послания была взорвана изнутри: вся сила лиризма, все умение проникнуть в интимнейший мир частного и отъединенного от жизни человека были обращены теперь на раскрытие мира души *гражданина*. Пушкин оставался романтиком — он обнажал сокровенную

жизнь сердца человека, но делал он это с гражданских позиций, обновив романтизм. И как теперь изменился этот мир! «Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман». Нетерпеливая душа рвется из-под гнета «власти роковой». Со страстным призывом обращается поэт к своему поколению: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Гражданское, высокое, торжественное стало содержанием интимного мира. Перед русскими людьми обнаружилось действительное богатство личности. Пушкин в своем живом сердце поэта слил воедино опыт поколения, выигравшего Отечественную войну, идею личности романтизма и идеал человека русских просветителей.

И в эту пору Пушкин обращается к Фонвизину. Фонвизин и Радищев помогают ему двигаться вперед. Выше уже говорилось, что именно в петербургский период Пушкин познакомился с политическим сочинением Фонвизина — «Рассуждением о непременных государственных законах», которое в списках распространяли декабристы. Именно это сочинение с особой наглядностью позволило Пушкину понять, что Фонвизин был истинным «другом свободы». Когда Пушкин избрал себе новую музу — Свободу, — он опирался на русскую традицию: жизненная позиция Радищева и Фонвизина свидетельствовала, что настоящий писатель тот, кто является «другом свободы».

Годы, проведенные Пушкиным в южной ссылке, были и годами интенсивного движения по пути обновленного им романтизма. И чем совершеннее оказывались создаваемые им произведения, тем яснее становилась исчерпанность возможностей романтического метода в создании человека действительного, современника Пушкина, живущего и страдающего в реальном мире, именуемом Россией. Там же, на юге, Пушкин и перешел на позиции реализма.

Пушкинский реализм — прямой наследник просветительского реализма XVIII века. Но Пушкин жил в иных условиях, и это время обусловило его новые художественные открытия, которые завершили начатую еще в XVIII веке работу по созданию реализма. *Историзм* был тем великим завоеванием человечества, которое усвоил Пушкин. Историзм Пушкин и положил в основание реализма. Историческая обусловленность человека, показ движения, развития истории и человека стали определяющим в создании художественного произведения. Обусловленность

человека обстоятельствами жизни приобрела новую глубину и значимость и стала социальной обусловленностью. Пушкинский метод позволит раскрывать социальный детерминизм в развитии человека и общества. Усвоение опыта романтизма обогатило Пушкина в изображении личности, ее духовного мира, субъективного психологического состояния. Наконец, возможности нового метода в творчестве Пушкина проявились с беспримерной до тех пор художественной силой и совершенством. Пушкин навсегда преодолел порожденную историей художественную ограниченность писателей XVIII — начала XIX века.

Осенью 1822 года из печати вышла романтическая поэма «Кавказский пленник», а весной следующего года Пушкин сел за новую работу, с тем чтобы заново рассказать о герое своего времени, рассказать уже с позиций реализма. Державинское направление, многое открывшее ему еще в юности, помогло писать первую главу «Евгения Онегина». И опять Пушкин вновь и вновь обращается к традиции, обращается к истории прошлого века, к дорогому для него творчеству любимых писателей. По-новому предстал и Фонвизин — может быть, впервые в своем единстве, во всем богатстве своего творчества. «Русский весельчак», сатирик и «друг свободы» теперь особенно ему важен, как автор «комедии народной». В основание первого русского реалистического романа был положен эстетический опыт первой реалистической, народной комедии.

В 1830 году в «Литературной газете» Пушкин напечатал анонимно рецензию на альманах «Денница». В альманахе внимание Пушкина привлекло прежде всего «Обозрение русской словесности 1829 года», сделанное И. Киреевским. В статье Киреевский высказывает мысль, что литература с начала XIX века прошла через три эпохи, в каждой из которых было преимущественным влияние трех писателей: Карамзина (филантропическое), Жуковского (идеализм) и Пушкина. Смысл влияния Пушкина был выражен довольно неопределенно и нечетко. Пушкин, уточняя Киреевского, так сформулировал смысл собственного эстетического новаторства: Пушкин — «поэт действительности».[1] Так в год окончания «Евгения Оне-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VII, стр. 116.

гина» Пушкин подтвердил свою органическую связь и близость с той литературой, которая с 70-х годов XVIII века увидела поэзию жизни действительной.

Прежде чем Пушкин приступил к работе над «Евгением Онегиным», и совершенно независимо от него, Грибоедов создавал «Горе от ума». Вдохновленная событиями Отечественной войны комедия вырастала из поэтического державинского направления и блистательного творчества Крылова, автора басен, этих «малых комедий». И так же, как Пушкин, Грибоедов, работая над комедией, обращался к традиции и к творчеству Фонвизина прежде всего. Связь между «Недорослем» и «Горем от ума» очевидна и не требует доказательств. Ее видели современники, о ней писали Белинский и Гоголь. Важно только подчеркнуть, что, создавая реалистическую комедию, Грибоедов *продолжал* дело, начатое до него, ему было на что опереться. Судьба художественного наследия Фонвизина оказывалась счастливой — оно активно помогало окончательному торжеству реализма.

Вот почему на протяжении всей первой половины XIX века, когда шел великий процесс утверждения реализма, к творчеству Фонвизина проявляется неугасаемый интерес. Обращались к нему потому, что оно отвечало на живые вопросы современного эстетического развития, потому, что была потребность, как писал Гоголь в 1836 году, понять и представить «фундамент колоссального здания будущей русской литературы». Называя некоторые имена писателей XVIII века, в том числе и Фонвизина, Гоголь требовал, чтобы «они брались в сравнение с нынешнею эпохой», иначе складывается впечатление, что современная литература «как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует».[1]

Гоголь вступал на путь реализма, прямо следуя за Пушкиным, вбирая его достижения и открытия. Но и ему для успешного движения нужно было самостоятельное освоение *всего* предшествовавшего опыта русской литературы, опыта тех писателей, которые учили быть оригинальными, открывали поэзию жизни действительной, создавали русские характеры, русские не по платью, но

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 539 и 174.

по уму, по взгляду на вещи, по языку, — опыта Крылова, Державина, Фонвизина.

Занимаясь историей русского театра, Гоголь писал: «Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальности. В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека под условием взятой эпохи и века; в комедии — легкие насмешки над смешными сторонами общества без взгляда в душу человека».[1] Русская национальная реалистическая комедия началась, по Гоголю, с Фонвизина именно потому, что драматург отказался от легкой насмешки над нелепыми и уродливыми сторонами жизни и взглянул в душу человека. Создавая своего «Ревизора», Гоголь, как и Грибоедов, сознательно продолжал традицию «Недоросля», первой русской общественной комедии.

Самые выдающиеся художественные достижения русской литературы связаны с реализмом. Делая обзор истории русского реализма, Горький закономерно обратился к его истокам, к эпохе работы русских просветителей в царствование Екатерины II: «Самым видным и интересным представителем ее (екатерининской. — *Г. М.*) эпохи для русской литературы последующего периода является основоположник реализма — Фонвизин».[2] Это мнение Горького было устойчивым. В докладе на Первом съезде писателей, говоря о развитии русского реализма, он так определил его этапы: «линия критического реализма — Фонвизин, Грибоедов, Гоголь и т. д. до Чехова, Бунина».[3]

Русский реализм имеет свою большую и сложную историю развития. Ее первые страницы были написаны Фонвизиным.

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 396.

[2] М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, стр. 36.

[3] М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 27. М., Гослитиздат, 1953, стр. 311.

ПРИЛОЖЕНИЕ

<ПИСЬМО Н. С. ТИХОНРАВОВА О ПЛАНЕ СБОРНИКА «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ПЕРЕВОДОВ Д. И. ФОНВИЗИНА»>

Во Второе отделение императорской Академии наук

1-го декабря текущего года исполнится сто лет со дня кончины Д. И. Фонвизина. Русская литература до сих пор не имеет полного и, что еще важнее, исправного по тексту издания его произведений. Главные недостатки *всех без исключения изданий «*Сочинений Фонвизина» (1830—1888) состоят: 1) в испорченности текста некоторых произведений его и 2) в неполноте.

1. Первое издание «Недоросля» напечатано было под непосредственным наблюдением и сохранило его правописание; но второе издание этой комедии сделано уже довольно небрежно, так что важная опечатка первого издания, тогда же оговоренная автором, осталась неисправленною как во втором, так и во *всех* следующих изданиях «Недоросля».

Текст «Бригадира», напечатанный в XXXIII части «Российского феатра», до такой степени неисправен, что нельзя допустить участие в нем автора (уже постигнутого жестокою болезнию). Даже в лучшем издании сочинений Фонвизина (М., 1836) текст «Бригадира» остался неисправленным. Многие сочинения Фонвизина распространялись в рукописях; из них одни утратились, другие напечатаны по смерти автора по рукописным спискам, нередко испорченным малограмотными писцами.

2. Только *первые* по времени *переводы* Фонвизина изданы были с его именем («Басни Голберговы», 1761 г., мелкие статьи в «Полезном увеселении», 1761, стр. 161—178, в «Собрании лучших сочинений», 1762, I, стр. 1—8, стр. 74—83; II, стр. 120—143, стр. 181—213 и «Слово Рейхеля», 1762); все остальные произведения его являлись в печати *анонимно*. Вследствие этого принадлежность Фонвизину некоторых произведений, несомненно вышедших из-под его пера, оспаривается голословно некоторыми издателями и исследователями его творений. [1]

С другой стороны, Фонвизину приписывается текст «Жизни Н. И. Панина», несомненно переведенный И. И. Дмитриевым с французского оригинала, принадлежащего перу Фонвизина. [2] В 1788 году автор «Недоросля» имел намерение снять завесу с своих анонимных произведений. В «Санкт-петербургских ведомостях» этого года (№ 42, стр. 588 и след. №) напечатано было следующее объявление:

«В суконной линии под № 16 раздается безденежно объявление о издании полного собрания сочинений и переводов *Дениса Ивановича Фонвизина* и разных других книг».

Полагая, что в этом «объявлении» должен был находиться полный перечень всех произведений Фонвизина, которые должны были войти в состав объявленного издания, я долго разыскивал это «объявление»; но все мои попытки достать эту драгоценность остались тщетными. Между тем едва ли не одно это «объявление» может в настоящее время определить с полною достоверностию *объем* литературной производительности Фонвизина.

Справки в Архиве и в библиотеке Академии наук, а также и в императорской Публичной библиотеке приведут, может быть, к открытию этого «объявления»: оно может оказаться или 1 (в экземпляре «Санкт-петербургских ведомостей» 1788 года) начиная с 26 мая (или 2) в «Росписи книгам, продающимся в книжной лавке № 16»; эта «Роспись» была напечатана в 1788 году.

До отыскания этого «объявления» вопрос о принадлежности Фонвизину того или другого из приписываемых ему произведений остается открытым.

---

[1] Ефремов и кн. Вяземский *(Прим. Н. С. Тихонравова.)*
[2] Ефремов. См. ниже. *(Прим. Н. С. Тихонравова.)*

В настоящее время для решения последнего вопроса необходимо прежде всего издать *тексты* произведений, приписываемых Фонвизину, дабы исследователи имели возможность подвергнуть оные критическому разбору.

Изучая литературную деятельность Фонвизина, я составил небольшой сборник «Материалов для издания *полного собрания* его произведений». Состав этого сборника определился вышеизложенными выводами о недостатках и слабых сторонах всех изданий произведений Фонвизина, поэтому мой сборник состоит из трех отделов:

I. Из произведений, которые переиздаются для восстановления правильного их текста.

II. Из произведений неизданных или не вошедших ни в одно из прежних изданий.

III. Из произведений, приписываемых Фонвизину.

В состав первого отдела составленного мной сборника входят:

1) *«Альзира»,* по двум спискам, с приложением позднейших переделок;

2) *«Корион»,* по списку, сохранившему провинциализмы в роли крестьянина;

3) *«Бригадир»*, по списку первоначальной редакции этой комедии, исправляющему во многих местах текст вульгаты (Бек.);

4) *«Недоросль»*, в буквальной перепечатке первого издания[1] с дополнениями и изменениями по позднейшей рукописи, исправленной *собственноручно* автором.

5) *Précis historique de la vie du comte de N. I. Panin.*

В издании сочинений Фонвизина (ред. г. Ефремовым) напечатан *сокращенный* перевод этой брошюры, сделанный И. И. Дмитриевым, а неполный русский текст Фонвизина, изданный Бекетовым, устранен.

Это сочинение может быть отнесено и ко второму отделу моего сборника, потому что во французском тексте не вошло ни в одно издание сочинений Фонвизина.

Ко второму отделу отнесены:

1) Немецкое письмо к поверенному;

2) Отрывок из письма о смерти Жан-Жака Руссо;

3) «Опыты» перевода с трех языков (французского, немецкого и латинского) (три главы из речи Цицерона за Марцелла), представленные при прошении Фонвизина

[1] С соблюдением правописания. *(Прим. Н. С. Тихонравова.)*

об определении его к делам «Государственной коллегии иностранных дел»;[1]

4) «О вольности французского дворянства и о пользе среднего состояния, или мещанства»;

5) «Депеша (21 мая 1771 г.) Сальдерна о Польше» в переводе Фонвизина;

6) «Рассуждение о национальном любочестии», из сочинений г. Циммермана (СПб., 1785), по рукописи, собственноручно исправленной Фонвизиным.

В третий отдел помещены:

1) *«Чертик на дрожках»* (в стихах);

2) Выдержки из стихотворной поэмы «Оскверненный Ванюшка, яблочник»;

3) «Жизнь некоторого господина, которая служит введением в историю ево в царство мертвых», по рукописи, из которой видно, что это «Житие Чупятова»;

4) «Повествование мнимого глухого и слепого» (так у Тихонравова. — *Г. М.*) («Собеседник»).

По моим соображениям, которые будут изложены в предисловии к «Материалам», статьи первая, третья и четвертая, несомненно, принадлежат Фонвизину. Представляя вниманию Отделения проект издания «Материалов для полного собрания сочинений и переводов Фонвизина», я имею честь ходатайствовать о напечатании к 1 декабря текущего года этих «Материалов» или в Сборнике Отделения, или отдельно.

К этому долгом считаю присовокупить, что мне не удалось разыскать следующих произведений Фонвизина:

1) сокращение сочинения Кларка: «Доказательства бытия божия»;

2) стихов, написанных для прочтения в торжественном собрании Академии художеств 1765 года июля 7;

3) отчета о реферате Фонвизина в заседании общества «Le rendez-vous de Lettres» (1778);

Стихи могут оказаться в Архиве Академии художеств, а отчет — в газетах парижских 1778 года.

Ординарный академик *Н. Тихонравов*[2]

22 апреля 1892 г.

---

[1] «Прошение писал того ж дому служитель Михайла Шумилов». *(Прим. Н. С. Тихонравова.)*

[2] Архив АН СССР, ф. 9, оп. 1, № 658.

СОДЕРЖАНИЕ

Георгий Пантелеймонович
Макогоненко

Д. И. ФОНВИЗИН

Редактор В. Базанова
Художественный редактор
Л. Чалова
Технический редактор
Л. Крючкина
Корректор Э. Урицкая

Сдано в набор 22/III 1961 г. Подписано к печати 25/VII 1961 г. М-37394. Бумага 84×108[1]/32. 13,875 печ. л. = 22,76 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 23,737 + 4 вкл. = = 24,227 л. Тираж 15.000 экз. Заказ № 2344. Цена 1 р. 15 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Измайловский пр., 26